Вячеслав Шугаев

Любовь в середине лета

ВЯЧЕСЛАВ
ШУГАЕВ

Любовь в середине лета

Повести, рассказы

«Современник»
Москва
1981

Р2
Ш95

Шугаев В. М.

Ш95 Любовь в середине лета: Повести, рассказы.— М.: Современник, 1981.—416 с.

Новая книга Вячеслава Шугаева названа по одной из его повестей, и это название отвечает смыслу всего сборника. В творчестве В. Шугаева давно замечен серьезный писательский интерес к проблемам нравственности, высоким человеческим чувствам: любви, дружбе, товариществу.

В книгу входят произведения, хорошо известные читателю и написанные в последнее время.

Ш $\frac{70302-142}{М106(03)-81}$ 123—81 4702010200

ББК84Р7
Р2

ПОВЕСТИ



ЛЮБОВЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

МОНОЛОГ ЮНОШИ

Все началось перед самым Абаканом. Теплушки, в который раз за дорогу, приткнулись у телеграфного столба, состав вздрогнул, и я проснулся. Перелез через храпевшего Вовку Горелова к перилам, где стояли все наши ребята, желающие взглянуть на свет божий. Ничего особенного за вагоном не было: далекие, облитые миражами хакасские сопки, желтый луг да серебристо-коричневые камышовые шишки в крохотном болотце возле насыпи.

Рядом со мной стояла Ленка. Я был в майке, она в сарафане, и ее прохладное плечо обожгло меня. Ленка кивнула на камыши.

— Прелесть, правда?

Я тут же спрыгнул на насыпь.

— Сейчас нарву!

— Чудак! Не нужно! — испуганно и поощрительно крикнула Ленка.

Я скатился по глинистому обрывчику к противной зелени болотца и прямо в брюках полез к камышам. Шишки никак не хотели отрываться, а когда я пробовал откручивать их, они опадали ватными комочками.

Сзади насмешливо свистнул паровоз; я, ожесточившись, загреб камыши в охапку, дернул изо всей силы и ухнул в зеленую жижу.

Вагоны проходили мимо, истошно орали ребята, а я все не мог взобраться на насыпь, скатывался по горячей пыльной гальке.

Я выполз на пропитанный маслом и угольной сажей прирельсовый песок, но было поздно. Вытряс сандалии, убедился, что курить нечего, потому что сигареты раскисли, и побрел вслед за поездом.

Майка и штаны начали подсыхать, но болотом от меня все равно разило.

По шпалам идти очень неудобно. Я пошел рядом с полотном. Несколько камышин нес с собой — собирался обязательно вручить их Ленке. Думать об этом было приятно, и я рисовал картину — вот вручаю ей камыши и говорю: «Возьми. Тебе они нравятся...»

Ленка скажет: «Валерка, ты такой милый, такой...»

И мы пойдем в степь — слушать, как свистят суслики и вскрикивают ястребы в небе. Ленка поцелует меня и скажет, что это здорово, что я рядом.

А наши ребята, от которых мы уйдем, будут немного завидовать нам и говорить: «Валерка молодец! Отстал от поезда из-за Ленки. В одной маечке сколько прошлепал. А камыши все-таки принес».

Потом я понял, что лгу сам себе. Никто не скажет мне «молодец». Ленка не поцелует меня. Произошла самая заурядная нелепость, виноват в которой только я.

Люди лгут сами себе чаще, чем другим. Однажды на катке какой-то блатяга пнул меня коньком и заставил уйти со скамейки. И почему-то его наглость не возмутила меня, а испугала. Я ушел с катка и долго мучился потом, краснел, вспоминая, как виновато забормотал «счас, счас» в ответ на бесцеремонный пинок. И утешился, дав себе клятву, что разыщу этого блатягу и надаю ему пощечин. Но где ж разыщешь, если сразу не врезал?

Но должен сказать, что друг другу мы тоже врем предостаточно. И врем-то неинтересно, без всякой фантазии. Мне, например, не нравятся многие знакомые. Один любит безответственно потрепаться, другой — зазнайка, третий всем угодить хочет. И я, вместо того чтобы разругаться с каждым из них, с дурацкой улыбочкой слушаю трепача, молчанием поощряю беспринципность.

Когда я учился в пятом классе, мама второй раз вы-

шла замуж. У меня появился отчим Петр Федорович — громадный добрый дядька. Он не знал, как надо обходиться со мной, и всячески заискивал: чуть не каждый день отпускал в кино и умоляюще смотрел на маму, если она за что-нибудь отчитывала меня. В общем, из Петра Федоровича вышел парень что надо!

Но почему-то после маминого замужества соседки по подъезду, встречая меня, жалостливо, со вздохами спрашивали:

— Как с отчимом-то, Валерочка, уживаешься?

— Строг, поди, новый отец-то? А?

— Ты уж с ним больно не спорь, не раздражай чужого человека...

Я хвалил Петра Федоровича, показывал обновки, но соседки все равно недоверчиво качали головами и вздыхали:

— Не родной — он и есть не родной.

Мне нравилась их участливость, потому что после расспросов я чувствовал себя особенным человеком — одиноким-одиноким; и уже как будто не существовало ни маминых забот, ни Петра Федоровича, ни их доброты, а только мое гордое и молчаливое понимание, что весь мир виноват передо мной, а домашние — в первую очередь.

Как-то я не выучил урока по литературе, а спросить должны были обязательно. Я, нахмурившись, стоял около учительской и мрачно ковырял замазку в подоконнике. Когда Вера Григорьевна, наша русачка, пошла в класс, я этакой букой загородил дорогу.

— Вера Григорьевна. Я сегодня не выучил...

— Что случилось, Валерий?

— Да дома неприятности, — а у самого сердце екнуло от страха: вдруг узнает, что я вру! Дома-то все было прекрасно, и вечером мы с Петром Федоровичем собирались на лыжах.

— Хорошо, Валерий. Останься после уроков, поговорим, — сказала строгая Вера Григорьевна.

На литературе я стал думать, что не очень-то уж и соврал. Вспомнил вздохи соседок, отчим действительно чужой человек, а вот родного отца я даже не знал: он погиб, когда мне было два года. Мне стало жалко себя.

После уроков я сказал Вере Григорьевне:

— Знаете, отчим хороший человек. Я не жалуюсь. Но мне так тоскливо бывает, что все из рук валится. Просто даже противно. Вот и вчера...

Вера Григорьевна взяла мою руку и ласково сказала:

— Понимаю, Валерий. Но это проходит. Ты держи себя в руках и постарайся поласковее относиться к Петру Федоровичу. Хорошо? И будь всегда со мной откровенен. Вместе как-нибудь разберемся.

Вера Григорьевна улыбнулась.

Я шел домой притихший и страшно довольный. Петр Федорович хороший? Хороший. Я так и сказал. Бывает мне тоскливо? Бывает. Тоже правда. И как-то очень легко было от разговора с Верой Григорьевной. Я смутно понимал, что случившееся счастливо оградит меня от многих бед.

Весной, вот-вот должны были начаться экзамены — Мишка Сычев натер доску елочной свечой — как раз перед уроком Веры Григорьевны. Она взяла мел, чтобы написать какие-то предложения, но ничего не получилось. На бледных щеках ее выступили розовые пятна:

— Кто испортил доску?.. Я спрашиваю, кто безобразничал у доски?.. Хорошо! Не начну урока, пока виновный не сознается.

Класс погрузился в тягостное молчание. Вера Григорьевна смотрела на меня. Серые, почти прозрачные глаза жгли мои щеки. Мишка Сычев ни за что бы не сознался, а Вера Григорьевна верила в меня. Я почувствовал в себе неудержимую, горячую волну смелости, отчаяния и встал из-за парты.

— Это я испортил доску.

— Хорошо. Останешься после уроков.

Я сел, ловя восхищенные взгляды девчонок, и сразу же стал раскаиваться. Ой, какой дурак! Ну что я теперь буду говорить? Что меня дернуло встать? Ведь не я же вымазал доску!

На перемене Мишка Сычев поднес к самому моему носу маленький крепкий кулак:

— Хмырь несчастный! Кто тебя просил, кто? Как втырю! Смотри, если заложишь! Темную сделаем!

Я совсем расстроился. Из-за него же горю, а он еще кулаками машет. Мог бы хоть спасибо сказать.

Вера Григорьевна привела меня в пионерскую комнату.

— Я не узнаю тебя, Валерий. Такой скромный, чистосердечный — и такое хулиганство. Никак не могу понять. Что скажет мама? Как я ни хорошо к тебе отношусь, но

вынуждена просить совет дружины, чтобы там обсудили твой поступок.

— Вера Григорьевна, мне вас жалко стало. Смотрю: вы так расстроились...

— Спасибо. Но ты бы мог меня пожалеть перед тем, как безобразничать. — Она холодно щурилась.

Мне стало плохо.

— Но это же не я, Вера Григорьевна! Я понарошку сказал, чтобы вам лучше было. Потом, я думал, что Сычев сам признается.

— Ах, так это Михаил напакостил! Ясно, — ледяным голосом сказала Вера Григорьевна.

— Только вы ему ничего не делайте, ладно? Прошу вас. А то получится, что я нажаловался. Вера Григорьевна, ну пожалуйста...

— Ты не пожаловался, сказал правду. Успокойся. Я всегда в тебя верила. Иди домой, маме передавай привет.

Что я наделал! Предатель, предатель! Ой, что же теперь будет? Дурак, какой дурак! Кто меня за язык тянул?

Я долго колесил по городу, представляя конопатое Мишкино лицо и его чернильные острые кулаки. Я пошел к нему, посвистел под окошком.

Мишка босиком вышел на крыльцо.

— Ты дай мне в морду, Мишка. Очень прошу. Я случайно проговорился Вере Григорьевне...

— Заложил, да? — шепотом спросил он.

— Честное слово, случайно. Дай в морду, если не веришь. Дай, дай!

— Иди ты! Ну, батек мне теперь даст! — Мишка сразу забыл обо мне, почесал в затылке и захлопнул дверь.

Домой я почти бежал, радостно что-то мыча. Все, все! Теперь я совсем не виноват перед Мишкой. Мне было легко, как будто я первый раз вымылся после кори.

— Эй, Микита, ты чего по путям шляндаешь?

Внизу, у самой насыпи, стоял и смотрел на меня здоровенный мужик в фиолетовой штапельной косоворотке. Щетина на его щеках отливала янтарем, светлые, как у плюшевого медведя, глаза весело щурились.

— Я не Микита.

— А как тебя по паспорту-то?

— Никак.

— А-а... Вот я и говорю — Микита Безымянный. Так, что ли?

Я решил не замечать издевок.

— Если подождете, я за метриками сбегаю...

— Я те сбегаю!

— Что значит «я те»?

— А вот по заднице твоими камышами пройдусь — узнаешь.

— Попробуйте...

Мужик гулко, щедро захохотал и легко, в два шага, взобрался на насыпь.

— Ну-ка, давай камыши!

Я испугался и потому неистово заматерился, чтобы прогнать испуг. Мужик, посмеиваясь, пошел на меня. Просмоленные мазутом и сажей галифе его держались на единственной пуговице, и в прореху виднелась выцветшая голубизна майки. Я схватил гальку покрупнее, замахнулся и промазал; в ту же минуту меня обдало махорочно-чесночным перегаром, и я очутился под мышкой у мужика.

Спустившись с насыпи, мужик положил меня на траву и с каким-то грустным вздохом неожиданно сказал:

— Пошкодишь когда малость — вроде веселее станет...

Я угрюмо встал.

Мужик достал деревянную коробочку с табаком, аккуратно оторвал мне листочек от замусоленного блокнота, сделанного из газеты. Чуть кружилась голова от табака и от солнца, и мне расхотелось злиться.

— Ты давай-ка величай меня Семеном. И пошли в избу чай пить да щи хлебать. Баба костюм твой всполоснет, вот и ладно будет.

— Спасибо. А я — Валерий. От поезда отстал.

— Понял уже. Студент, поди?

— Да.

— Чему вас там учат? Право, как маленькие... От поезда отстал. Э-эх!.. Приключение, приключение... Я в этих местах, считай, скоро пятнадцать лет живу, и все у меня нормально, по-человечески. Без приключениев всяких...

Он приостановился и широким, красным языком стал поглаживать цигарку, хотя она и без того получилась ловкая и тугая. Мне показалось, что делает это Семен нарочно, из озорства: не цигарку языком заклеивает,

а меня дразнит. Хотя почему бы и не поозорничать? Черт с ним, но меня поразила цифра, названная Семеном.

— Что, что? Пятнадцать лет вот здесь, в степи? Один? Брось!

— Зачем один? Баба у меня, ребятишки. Да коровенка еще, да собака, да мерин есть. Не один, брат... Стоп, стоп! Наврал я тебе про приключения. Было единожды. Кто-то в поезде стоп-кран рванул года два назад, так около самой моей избушки состав почти час стоял. Все молоко тогда продал, все огурцы подчистую расхватали, чугунок картошки для коровы сварил, так и ту раскупили. Чудаки эти пассажиры! Вот вроде тебя: «Ах, приключение! Ах, какой у вас домик! Ах, природа!» До сих пор голову ломаю — не пойму: над чем ахали...

Семен всхохотнул осуждающе и неожиданно звонко хлопнул меня по спине.

— О! Еще одно приключение вспомнил. Клавдя, когда шестого, Кольку, рожала, фельдшер, холера, опоздал. Вот приключение, слышь-ка, было!.. Я, будто этот акушер, разворачивался. Но ничего. Родился Колька честь по чести...

— Так у вас шестеро детей?! — изумился я.

— А что? Еще шесть будет! Пусть живут, дьяволята. На старости, слышь-ка, по всему Союзу покатаюсь... А что тут удивительного? Поди, знаешь, что в деревнях керосин берегут, зато пацанов много. А?..

Довольный шуткой Семен опять хохотал. Лукаво щурились желтые его глаза, и радостно крошилось солнце на его крепких, крупных зубах.

Через час я уже был знаком со всеми его ребятишками и с Клавдией, веселой, приветливой женщиной.

Она нисколько не застеснялась меня и продолжала кормить толстого глазастого пацана. Тугие яблоки-щеки его забрызгались теплыми капельками молока, а кнопочный нос смешно плющился о посмугленную солнцем Клавдину грудь. «Колька», — догадался я.

Потом хрустящий от чистоты, переодетый в Семенову (почти ненадеванную, как сказала Клавдя) гимнастерку и широченные штаны, я сидел на крылечке, покуривал и смотрел, как Клавдя отстирывает мою робу.

Лебеда и полынь у бани были такими сизыми в вечерних тенях и знакомыми, прогретая пыль так пахла дорогами, а подорожники так напоминали детство, что я поти-

хоньку умилялся и почувствовал, что могу просидеть на крылечке всю жизнь.

Потом стал удивляться, как это можно прожить в такой глуши и тишине пятнадцать лет и не бывать ни в кино, ни в театре. Иметь зарплату в пятьдесят рублей и кормить шестерых детей. Неужели человеку хватает только дома, огорода, работы, дум о куске хлеба для детей?

«Чертовщина какая-то получается! — заволновался я.— Ну ладно, есть корова, есть мерин, есть огород. Значит, пятьдесят рублей на хлеб, на сахар да на промтовары? Но ведь восемь человек!»

Я не вытерпел, окликнул Семена, копавшегося у сарая:

— А как же ребятишки у вас в школу ходят?

— Дак в интернат с сентября перебираются.

— А-а... — протянул я.

Да, видимо, здесь заботятся только о детях.

Семену надоело возиться у сарая, он сел рядом со мной.

— Давай посумерничаем. Закуривай... А слышь-ка, Валерка, рассказал бы чего забавное... Историю какую или там роман.

Я согласился и рассказал про «Кон-Тики». Семен долго и восхищенно крутил головой.

— Клавдя! Слышь! Один чудак через весь океан на плоту жарил! На бревнах, по сути, несколько месяцев болтался. А? Слышь, Клавдя? Да-а, парень... — Семен снова повернулся ко мне. — Смелость-то какую надо иметь... Я вот не то что через океан — в Барнаул к братану все не могу съездить, — неожиданно заключил Семен и замолчал. Только махра в самокрутке сухо потрескивала.

Перед сном я вышел на крыльцо.

Я стал думать о Ленке. Я очень мучаюсь из-за нее. В первую же осень мы ездили в колхоз и там как-то в дождь, от безделья, стали играть в почту. Я послал Ленке записку: «Я одинок как телеграфный столб. Фарфор и дерево, и песню проводов готов дарить я Вам». Она ответила: «Мне нужен не столб, а опора, мачта с парусом или в крайнем случае шест с громоотводом. Так что столбовому одиночеству ничем не могу помочь».

Я рассмеялся, хотя на самом деле разозлился: ее слова горчили этакой взрослой пренебрежительностью.

Ленка тогда встречалась с красивым пятикурсником Витей с геологического и только морщилась в ответ на мои записки. Но Витя, видимо, решил с первокурсницей не связываться и вскоре женился на девушке из консерватории. Кажется, на меццо-сопрано.

Я стал усиленно приглашать Ленку в кино и театры, она соглашалась; а провожая ее домой, я никак не мог удержаться от сцен: казнил себя расспросами о Вите и его добродетелях, начинал грубить Ленке, подчеркнуто холодно и рассеянно разговаривать. Ленка в конце концов не выдержала:

— Мне надоело. Видеть тебя не хочу. Больше не подходи. Что ты все крутишь?

Но я хотел быть около Ленки и поэтому извинялся, бодрился, смеялся, чтобы только она не думала обо мне плохо.

Еще я вспомнил, что глаза у Ленки похожи на ягоды терновника, что на смуглых щеках ее золотится пушок, как у шестнадцатилетнего пацана, вспомнил Ленкины губы, брови, волосы и не нашел ничего такого, что бы мне не нравилось.

Перед целиной мы не виделись больше месяца. Ленка ездила домой. На вокзале она очень холодно поздоровалась, и мне стало не по себе. Что-то с ней, видимо, случилось за этот месяц.

Но потом, уже в скрипящей и раскачивающейся теплушке, мы долго-долго стояли у раздвинутой двери, смотрели на огоньки и на ночь, мимо которой ехали, и Ленка была доверчивой. Я целовал ее, а она улыбалась как-то грустно и задумчиво и осторожно перебирала мои пальцы. Я понял это как извинение за холодную встречу на вокзале.

А на другой день под дребезжащий и всхлипывающий на стыках патефон Ленка все время танцевала с Вовкой Гореловым, будто меня вовсе не существовало на этом свете.

Я обиделся и, когда на какой-то станции Ленка попросила меня сбегать за мороженым, сделал вид, что не слышу. Ленка прикинулась очень веселой и стала допытываться:

— Валерочка, ты сердишься, да? Валерочка, милый, ну, я действительно хочу мороженого.

Я растаял и, обзывая себя тряпкой и мальчиком на побегушках, все же пошел...

Попутная дрезина притормозила на переезде, и я остался на дощатом настиле знакомиться с облупленным, посеревшим от пыли шлагбаумом. С дрезины еще махал Семен, поехавший в Абакан за мануфактурой, и я долго видел шельмоватую его улыбку.

Я сел на обочину раскаленного и древнего большака и дал клятву, что обязательно приеду к Семену в гости и привезу трехколесный велосипед Кольке, родившемуся без помощи акушера. Я решил так потому, что перед самым переездом Семен больно тискал мою руку и говорил:

— Ну, Валерка, навряд ли больше свидимся. Но охота будет — черкни какую писульку. Ты грамотный, и те письма легко писать. А мы с Клавдей когда и прочтем, да и порадуемся за тебя — Валерка-то, мол, с жизнью ничего управляется...

Мне стало грустно от внезапной и горячей волны искренности, когда про себя решаешь: навсегда запомнить и эту минуту и человека, заполнившего ее сладкой и грустной теплотой. Нет, я обязательно приеду к Семену и привезу трехколесный велосипед Кольке!

Пропыленный квелый клевер на обочине, дрожащий звон, перекатывающийся над степью, знойная пустота, надвинувшаяся с четырех сторон, заставили меня безотчетно затосковать. Показалось, что сижу я на краю мира и никогда, никогда не увижу ребят, Ленку.

Скверно чувствовать себя одиноким. Сначала, если я остаюсь сам с собой, вспоминаю все песни и стихи, пою и декламирую, чтобы не было скучно. Но не так-то уж много знаю я наизусть — какие-то отрывки, строчки, и через некоторое время вспоминать нечего. Пустота заливает тебя по грудь, потом по горло, а вскоре с макушкой. Сидишь, вытаращив глаза, хочешь только одного: с живым человеком поговорить.

Однажды я пожаловался Вовке Горелову, что отвратительно чувствую себя, когда один. Вовка валялся на койке в общежитии, по обыкновению с толстенной книгой. Он поднял очки на лоб и с минуту подслеповато щурил на меня голубовато-серые глаза.

— Это очень опасно, Валерка,— серьезно сказал он.— Если человеку скучно с самим собой, то он не человек, а млекопитающее. Не понимаешь? Ну, то есть за душой у него ничего нет, он пень, а не личность...

— Вовка, ты слишком много знаешь, — сказал я и позавидовал: Вовка чего-то рассуждает и, видимо, правиль-

но, и ему совсем не скучно. А я томлюсь, маюсь черт знает из-за чего.

Но больше всего я завидую Вовкиному умению говорить правду про других. Получается у него это как-то очень тонко и интеллигентно.

Однажды декан стал кричать на нашу группу: распустились, мол, больше всех пропусков, без стипендии оставлю! Вовка спокойненько поднимается, прилаживает очки поудобнее и говорит:

— Мне кажется несколько странной горячность Александра Ивановича. Если надо снять со стипендии — снимите, надо что-то сделать — сделайте. Но почему голосто свой не бережете? Не понимаю.

Декан еще больше краской налился, но смолчал. Мне тоже было неприятно, как он на нас орал, и про себя я по-всякому его обзывал, но встать и сказать — это другое дело. Тут дело, видимо, в уверенности. Чувствуешь, что если на все семинары сходишь, экзамены, даже по древнерусскому, железно отбарабанишь, то можешь хоть самому ректору правду-матку резать: легко, мол, с вашей зарплатой со стипендии снимать.

Хотя — кто его знает? — в уверенности ли все дело. Вон есть у нас Валька Капустин. Он из деревни приехал, трактористом был. Здоровый такой, зычный. Скулы так прочно ошпарены ветром, что даже аудиторная духота нипочем — пламенеют. Валька ходит в каком-то рыжем плаще и внушительных яловых сапогах. За солидный вид мы избрали его старостой, но очень быстро раскаялись. Он с беспощадной точностью отмечал все пропуски и даже пятиминутные опоздания. Так и записывал в журнале: «оп. 5 мин.». Возмутительная точность!

Причем откуда-то взял манеру этак трубно отчитывать нас по субботам, перед первой лекцией:

— Ну, вот что, голубчики-субчики! У Лехи пять часов, у Валерки — три, у остальных примерно в норме. Разгильдяи, лодыри и бог знает как вас еще назвать. Предупреждаю: будет это продолжаться — приму самые строгие меры. Вот так!

Когда таким образом Валька отругал всю группу, мы решили восстать. Заперли аудиторию на стул и спросили Вальку:

— До каких пор будет царить пришибеевщина?

— Человек ты, Валька, или заместитель декана?

— Чего ты выпендриваешься? Лучше других, что ли?

— Давно сказано: «Проверьте человека властью, и вы узнаете, кто он».

И так далее, а чем далее, тем буйней и ожесточенней. Валька сидел и посмеивался, улыбку даже не прятал. Мы перестали говорить и спросили, чему он смеется: может, темную ждет?

— Эх вы, гаврики! — сказал Валька. — На одного накинулись, расхныкались. Теперь так. — Он полистал журнал. — Кто опаздывает? Я или вы? Раз. Кому пока шею мылят за посещаемость? Мне или вам? Два. Кому на вас орать, если вы, как ужи, крутитесь? Это три. А насчет того, как лучше, кто хуже, то хрен с вами — я хуже. Но пропуски ставил и буду ставить. Точно говорю. А темную попробуйте устройте — вместе посмеемся и поплачем.

Он действительно продолжал ставить свои «оп. 5 мин.», о темной забыли, но я не переставал удивляться: что такое? Валька учился хуже многих. Троечки, троечки, редко четверки — видимо, после колхоза трудно разобраться в Горации. Но подобное обстоятельство не мешало ему ругать нас, заявлять тете Мане, преподавателю литературоведения, что она страсть как скучно читает. А сам в этом литературоведении еще еле разбирался: пыхтел в читалке, зазубривал трудные слова, вроде «амфибрахий» (Валька долго говорил: «амхибрахий»), и потом в коридоре все пытался ввернуть эти слова в разговор. Значит, дело не только в уверенности, что не сядешь на экзаменах, но еще в чем-то, что позволяет Вальке говорить какую хочешь правду? Мне бы так!

Странно получается. Он вроде бы со всеми за год переругался, а когда на целину собирались — весь курс, что называется, единодушно выбрал его бригадиром. Особенно «за» были девчонки.

А Валька после этого сказал:

— Ну, голубчики-субчики, я вам там дам жизни! Точно говорю!

...Я все сидел на пыльной обочине и пытался думать о жизни, о серьезном своем намерении быть волевым и деловым человеком, хотел сразу же шлифовать индивидуальность, чтобы она была неповторимой и яркой, но мешала жара, перестрелка кузнечиков. Придется отложить самоусовершенствование до другого раза.

А машины все не было, потому что в Абаканском автотресте не знали о моем появлении на пыльном и бесконечном большаке. Я покуривал Семенову махру.

И когда совсем уже было задремал, машина появилась.

— В «Красный курган»?

— Садись!

За баранкой сидел симпатичный блондинистый парень в красной ковбойке. Он прикурил сигарету, внимательно осмотрел меня темными холодными глазами, и мы поехали. Парень потихоньку насвистывал «Есть по Чуйскому тракту дорога...» и не разговаривал со мной. Я поерзал на сиденье, посмотрел на степь в ветровое и два боковых стекла и решил вступить в беседу.

— Давно на целине?

Свист.

— Красиво у вас тут, солнечно...

Свист.

— Мы, наверное, с тобой одногодки?

— Вряд ли...

Тогда я решил подкупить симпатичного блондина откровенностью.

— А меня, черт, угораздило от поезда отстать. Девчонка, понимаешь, мне одна нравится, так я вот из-за этих камышей для нее и отстал. Надеюсь зато на будущие объятия... — громоздил я одну пошлость на другую, рассчитывая, что блондин — наверное, известный в здешних краях сердцеед — одобрит мою влюбленную отчаянность.

Парень молчал, а я откровенничал, зная, что людям больше нравится, когда ты перед ними нараспашку.

За сопкой, сплюснутой к вершине, начиналось бесконечное поле. Посредине его белел барак. Шофер прибавил скорость, и мы пошли на этот барак, тараня тяжелый от пшеничного настоя воздух. Машина затормозила лишь у самой стенки.

Я мгновенно увидел испуганно завизжавших девчонок, далекое парение ястреба над полем, Вовку Горелова, сбривавшего свой цыплячий пух, синее пятно патефона на траве и спящего возле него Леху Забурина.

Я не увидел сначала Ленки — среди разбежавшихся девчонок ее не было. Она спокойно стояла в дверях барака и смотрела на шофера. Потом улыбнулась мне.

Парень ловко соскочил и, обойдя кабину, открыл мою дверцу.

— Принимайте еще одного романтика.

Потный, незагорелый и влюбленный, я вступил на целинную землю, крепко сжимая злополучные и заветные камыши.

Ленка еще раз улыбнулась.

— Здравствуй, Валерочка, — и через мое плечо кивнула. — Здравствуй, Костя.

Я протянул ей камыши и хрипло сказал:

— Это тебе...

Шофер засмеялся и пошел к патефону. Я спросил:

— Что это за тип?

— Это шофер, прикрепленный к нашей бригаде. Будет с нами всю уборку. Вчера он пробовал объясниться в любви...

— А я... я... я так думал о тебе, Ленка. Ты нисколько мне не рада?

— Что ты, Валерочка! Ты такой самоотверженный, такой... Здравствуй, Валерочка!

— А ты... что ты ему отвечала?

— Не стоит говорить. Глупости это... Ты умывайся, у тебя глаз не видно...

К нам подошел Валька Капустин. Он был босиком и в синей майке. Из-под нее выглядывало крыло выколотого на груди орла. Валька втиснулся между нами.

— Ну, гаврик, как доехал?

— Хорошо.

— Тогда так. Пойдем сколачивать нары. Эй, Вовка, закрывай цирюльню и буди Забурина. Все навалимся на нары! — крикнул он Вовке Горелову.

Я не стал больше смотреть на красивое Ленкино лицо, пошел за Валькой. Я забивал гвозди и старался не промазать, старался забыть о белокуром шофере Косте. Он, видимо, молчаливый нахал и не любит тренировать интеллект.

«Зато он любит Ленку, —застонал я, ударив молотком по пальцу. — Но с какой стати он ее любит? Ведь это же моя девушка!»

— Валерка, дорогой! Как я тебе рад!

Сзади широко и сонно улыбался Леха Забурин. Он заглянул мне в лицо и снова разулыбался.

— Жив, бродяга! Ну, слава богу!

Я обрадовался Лехе, и мы вышли покурить.

У Лехи добрые оттопыренные уши и румяные благополучные щеки. И глаза в такой грустновато-ленивой, зеленой дымке. Леха — самый здоровый и мускулистый среди нас. Улыбается широченно, открыто — симпатичный парень.

Боже мой, сколько раз я врал его маме, Анастасии

Ивановне! Леха часто влюблялся и обычно по утрам с милым смущением просил:

— Слушай, Валера! Надо прикрыть меня. Позвони домой, скажи, что я ночевал у тебя.

Отказывать было неудобно, и я шел звонить.

Когда декан вызывал его из-за пропусков, заведомо неуважительных, Леха искренне возмущался:

— Ну что он ко мне пристает? Горе какое! Обязательно нервы потрепать нужно!

Леха горячился убежденно, его большие губы гневно собирались в жесткую гузку, синели от напряжения. Он искренне верил в эти минуты, что обходятся с ним несправедливо, хотя сам кругом был виноват.

Я еще ни разу не слышал, чтобы Леха сказал: «Я не прав» или: «Я поступил дурно». Куда там!

Как и почему мы с Лехой подружились — до сих пор не пойму. Мне на самом деле противно, как он врет на каждом шагу. Я просто устал твердить одно и то же:

— Леха, хватит. Ну, можешь ты хоть раз правду про себя сказать? Ничего же с тобой не случится. Наоборот, к тебе лучше относиться будут...

Леха безмятежно улыбался.

— Ты же про меня все знаешь. Разве мало?

— Не в этом дело. Что ты, как маленький, врешь и врешь, неужели самому не противно?

— Противно, — смотрел на меня Леха честными глазами. — Валерочка, но я же никому не мешаю. И вообще, что ты меня воспитываешь? Друг ты мне или не друг?

Я злился, подолгу не разговаривал с Лехой.

От целины он тоже хотел отвертеться: ходил все, куксился, на головные боли жаловался.

Я не вытерпел.

— Не трепись! У тебя же чугун, базальт, а не голова! Я же еду! Может, не хочется, но еду, — сказал я, промолчав о том, что страшно обижен его предательством.

Леха тогда разозлился. Румяные щеки его побледнели, и, не поднимая глаз, он сказал сухим голосом:

— Знаешь что? Иди-ка ты, куда хочешь! Не имей привычки навешивать на меня своих антимоний. Обойдусь. Как хочу, так и делаю. Подумаешь, страдалец!

От целины он так и не открутился. В дороге мы не разговаривали.

Но сегодня мне очень нравился Лехин голос, сочный и давно знакомый.

— Грустно мне что-то, Леха. Не знаешь, почему?

— Брось, Валера, — бодро сказал Леха. — Плохое проходит, приходит хорошее. Диалектика, дорогой. Так чего мучиться? Живи и жди хорошего.

Вовка Горелов около нас неумело отпиливал доску, покраснев от старания. Доска все время выбивалась из-под колена, и это не понравилось Вальке Капустину.

— Пусти, кулема. Смотри: колено — рука — пила. Раз — и готово!

Валька быстро разделался с доской, заколотил мой участок нар, натаскал сена и даже не запыхался. Нас с Лехой он не тревожил, и, устыдившись безделья, я засуетился, бросился помогать, за мной потянулся Леха.

Поздно вечером снова приехал Костя, посветил фарами в девчоночью половину, но никто не вышел. Костя уселся у патефона и пять раз подряд прослушал пластинку «В парке Чаир».

Мне надоел патефон, и я вызвал Ленку. Мы пошли с ней от барака в поле, и Костя снова включил фары, и две серебристые тени побежали впереди нас. Ленка куталась в мой пиджак, а я сказал, что люблю ее и что мне наплевать на признания этого идиота Кости. Что я буду за нее драться и, если надо, умру.

Тогда Ленка сказала:

— Не в этом дело, Валера. Не надо драться, не надо умирать, не надо говорить о любви. Надо, чтобы я поверила, что ты мне нужен. Делай какое-нибудь дело. Паши землю, стань охотником или капитаном дальнего плавания. Но все это ради меня...

— Ленка, но мы же учимся!

— Все равно, — упрямо повторила Ленка, — делай какое-нибудь дело...

— Ладно. Я уберу вот это поле руками. Тебе хватит?..

— Посмотрим, — серьезно ответила Ленка.

От пшеницы шло тепло, как от нагретого за день озера. Я начал мучиться из-за Ленкиных слов и спросил:

— А ты что будешь делать для любви?..

— Буду верить в тебя.

Мы просыпались в семь утра. Натянув одеяло, завистливо наблюдали за Валькой Капустиным, как он в неизменной синей маечке сидел у зеркальца и брился, перекатывая от щеки к щеке потухшую папироску. Брился

Валька каждое утро, тщательно и со вкусом, по нескольку раз намыливая скулы, твердые и гладкие, как слоновая кость.

Время от времени он покрикивал, как кричат вахтенные на кораблях:

— Эй, на нарах! Как слышите-е? Эй, студентики-и!

Первым на зов откликался Вовка Горелов. Разыскав под подушкой очки, со сверхъестественной бодростью он спрыгивал на землю, судорожно размахивал худыми руками — имитировал физзарядку — и трусцой отправлялся в сторону горизонта, к обломкам гранита, которые мы прозвали «Могилой хакасского князя». Вовка надолго исчезал за этой здешней примечательностью, а мы еще лежали.

Валька скидывал майку, орел на его груди победно расправлял крылья, литым, тяжелым мышцам на руках прямо тесно было под кожей — да, заматерел Валька в своем колхозе основательно. Потом он уходил мыться, и слышно было, как неистово фырчит, урчит, постанывает Валька, наслаждаясь ледяной водой.

Я уже знал, что будет дальше, и подтыкал со всех сторон одеяло, накрывался с головой, оставляя узкую смотровую щель. Валька приносил ведро и кружку, для очистки совести еще раз басил густо, раскатисто:

— Но-о! Разнежились! На харч не заработаете!

Мы лежали.

Валька зачерпывал кружкой и размашисто поливал над нарами: и раз, и два, и три. Возникал тихий, устойчивый вой, прерываемый легкими утренними матерками.

Валька хохотал.

— Во! Другое дело. Хоть слышно, что языковеды проснулись. Давай, давай, гаврики!

Я орал:

— Садист, плантатор! Не хватайся, сам слезу!

Но Валька все равно ловил меня за ногу и тащил по тюфячным кочкам. Никуда не денешься — надлежало идти умываться, замерзая от росистого свежака и серого тумана над пшеницей.

Я часто думал: что заставило такого человека, как Валька Капустин, пойти в филологи? Обычно на нашем факультете собираются ребята, тайком кропающие стихи, девочки, начитавшиеся Писарева и Тургенева, очкарики вроде Вовки Горелова, которым на роду написано копаться в древнерусских летописях или удивить мир новым пе-

реводом «Слова о полку Игореве». Лично меня потянуло в филологию из-за книг: люблю книги.

Потом меня странным образом волнует вид чистой бумаги, я люблю новые ручки, аккуратно подточенные карандаши, пятно настольной лампы рядом и иногда испытываю смутное, приятное желание о чем-нибудь написать. В точности мне еще никогда не удавалось сформулировать: о чем? То ли о детстве, то ли о любви, но обязательно о чем-то хорошем и пока неуловимом. Мне нравится размышлять о том времени, когда я все-таки напишу, и как это будет здорово написано, и как будут удивляться Ленка, ребята, знакомые: «Скажите на милость! Какой талантище из Валерки вырвался!» Но пока на бумаге нет ни буквы, а тетрадку, в которой я намеревался записывать каждый свой шаг, пришлось приспособить под лекции.

В общем, я могу как-то объяснить, почему пошел в филологи, могу понять Леху Забурина: («Где-то надо учиться». «Лучше, чем студент, Валерка, социального положения не придумаешь»), но Валька, Валька Капустин что забыл на нашем факультете! С его норовистостью, зычностью, крепкостью лучше было двинуть в геологи, в физики — горы ворочать, космодромы утаптывать!

Ничего не понимаю.

Однажды я спросил:

— Валька, чего тебя в гуманитарии угораздило?

Он неожиданно круто смутился, растерянно смял папироску, будто я его спросил бог знает о какой деликатной вещи, и не своим, тихим голосом ответил:

— Так... захотел вот... дай, мол, попробую.

Потом смущение отстало от Валькиного скуластого лица, голос снова загремел:

— Ума, дядя, набираюсь, ума! «Ты узнаешь, как архангельский мужик...»

Валька не договорил, схватил меня за плечи, надавил сначала на правое, потом на левое.

— Первый такт в двигателе внутреннего сгорания мне объясняли так. Привет! Не задавай вопросов, когда взрослые заняты.

Разговор этот уже забылся, как Валька остановил меня в коридоре.

— Значит, так. Жили когда-то меннегинзеры...

— Миннезингеры, — скромно поправил я.

— Во-во! Ми-нне-зин-геры, — по складам повторил Валька. — Жили-были, песни сочиняли, черт знает как

давно. А я тебе, пожалуйста, тут как тут: знаю этих ребят, никуда они теперь не денутся. — Валька похлопал ладонью по лбу. — Вот здесь они. Веселые гаврики были. Думали, что я и слыхом про них не услышу. Шалишь, ми-нне-зингеры, — сказал Валька и пошел, уверенный, в яловых сапогах и рыжем плаще.

Я не успел спросить: «Ну и что, что они «вот здесь»? Ну и что, что «никуда не денутся»? А потом как-то забыл.

...Подняв нас, Валька углублялся в свой блокнот, заполненный процентами, центнерами, кубометрами и другими показателями нашей трудовой доблести. О нас он забывал, потому что мы в этом деле ничего не смыслили и целиком полагались на Вальку.

Потом мы ели разные каши, которые варили Ленка и третьекурсница с биофака Фира. Фира знала мое отношение к Ленке и поэтому подливала в кашу больше масла, чем другим. Это сходило незаметно, если не считать пронзительного взгляда Вальки Капустина.

Я смотрел на Ленку, на ее шалашиком подвязанный платок, на руки с самодельным маникюром и изнывал от неутолимого желания быть замеченным ею. С непонятным упорством хотел, чтобы она дотронулась до меня, улыбнулась, пошутила.

Но Ленка говорила только с Валькой Капустиным, потому что он был старший и отвечал за продукты и за нас.

С Костей Ленка тоже была неласкова, и это успокаивало меня, заставляя думать: «Ей просто некогда, закрутилась она, самой, наверное, охота побыть со мной. Я понимаю, Ленка, что трудно на целине таким красивым. Все, все понимаю». Меня подмывало как-то тактично пожалеть ее, чтобы знала только она и чтобы прониклась благодарностью, нежностью и сознанием: никто, никто на белом свете не думает о ней так восторженно, преданно, как я. Сначала я решил вставать по ночам и тайком, как тимуровец, прибираться на кухне, чистить по чугуну картошки и блаженствовать, видя по утрам радостное удивление Ленки. Но никакие, даже самые яростные, заклинания перед сном: «Встать в четыре, встать в четыре!» — не помогали, и я безнадежно просыпа́л.

Потом собрался переколоть все дрова, но, как назло, они попались узловатые, сучковатые, и с несколькими плахами я провозился до темноты, не единожды отшибив руки. Мне уже хотелось плюнуть на этот субботник, я

устал, не видел топора, но все равно тюкал и тюкал, безрезультатно, надеясь, что наконец выйдет Ленка и скажет:

«Да не мучься, Валерка. Достаточно. Большое тебе спасибо. Ты один так стараешься».

Но Ленка не вышла, я окончательно разозлился и бросил топор. Ладно, пусть просыпаю, пусть дрова такие проклятые, — дело не в этом! Неужели нельзя понять и оценить? Ведь на самом деле мне хочется, чтобы Ленке было легче! И чтобы она знала, знала об этом и чтобы наплевать ей было на Костю, на целину, на супы, на Вальку, на жару!

Такая вот каша в голове из-за Ленки! Но все равно где-то под самым черепом остается место для холодной, неприятной мысли: до чего противен этот белокурый Костя! Зубы такие уж ровные, белые, веселые — до неприличия! Будто нарочно кто навставлял их — один к одному — в укор всем щербатым вроде меня. И Костя не скупится: скалится налево и направо — смотрите, улыбайтесь вместе со мной.

С утра только и слышишь, как вопят девчонки:

— Костя, привезешь халвы?!

— Пожалуйста, зайди за пудрой!

— Костенька, поищи хорошего печенья!

Он отмахивался, затыкал уши, свистел, кричал на них:

— Ох, девки, кучеряво живете! Что я вам, бакалея-галантерея?

Но привозил все, что просили, и еще какие-то пустяки от себя. В основном для кухонных нужд: лавровый лист, зеленый лук, огурцы.

Костя посвистывал, небрежничал, вылизывал до блеска свой самосвал и, когда вылезал из-под него замазученный, как бочка солярки, начинал пугать девчонок: бросался на них, скорчив рожу и крича:

— Бабоньки! Родимые! Расчмокаю сейчас всех, расцелую!

Девчонки радостно визжали, бросаясь в разные стороны, как на деревенских вечеринках, когда парни кольцом охватывают толпу. Меня это удивляло: девчонки не ругали Костю, не стыдили, а прямо захлебывались восторгом от его шуток и выходок. В чем дело? Может, природа действует? Попробуй-ка я или кто из наших ребят такие штучки — какой бы вой поднялся!

На третий день, кажется, после приезда, когда схлы-

нула новосельная суета, девчонки загрустили: вспомнили, видимо, мам, улицы, дома, в которых жили, и стали тоскливо тянуть песни, вроде «По диким степям Забайкалья», «Мой костер», «Рябина», вгоняя и нас в уныние и тревожно-сладкую лень. Валька Капустин несколько раз пробовал согнать тоску, покрикивая:

— Хватит вам скулить-то! Дела другого, что ли, нет?

Но его не слушали.

Приехал Костя, подсел к девчонкам на бревно. Что-то зашептал на ухо Светке Крыленко. Она громко засмеялась, сильно всплескивая при этом руками. Песня оборвалась, а Костя стал рассказывать:

— Так чего я Свете-то говорю. Шофер у нас есть — Петя Митюшкин. Конопатый, курносый такой бобер. Он все прибаутки шпарит. Вроде того что: «Лучше переспать, чем недоесть», «Поставь туда, где положил». И дует в этом плане. Он одно время в колхозе работал, председателя возил. Вот приехали на какое-то совещание. Петя у подъезда ждет. Подходит к его автомобилю красивая девушка и спрашивает: «Друг ты мне или нет?» Петя солидно так отвечает: «Я больше, чем друг». — «Так отвези меня, пока не едешь». Пете живую прибаутку предлагают, он сразу за блокнот, куда собирал разные шутки, обрадовался и говорит девушке: «Поехали».

Да и проездили два дня. Приехал снова к исполкому, встает у подъезда. День ждет, другой. Долго ждет. Наконец приезжает председатель в бричке. Давай ругаться. А Петя ему: «Что лаешься-то! Я тут с голоду умираю, жду тебя, как свет в окошке. Шею, видно, намылили в тот раз, что даже машину родную не заметил». Махнул председатель рукой. А Петя с тех пор стал говорить: «Не езди, пока стоишь...»

Костя рассказал еще несколько историй про Петю Митюшкина. Все смеялись и забыли грустные песни. А по-моему, все это не очень смешно. Подумаешь, шоферские истории. Просто бывает так: из-за пустяков хохочешь как сумасшедший, даже палец покажи — и то захохочешь. Вот Костя и угадал в такую минуту.

Я сказал об этом Лехе Забурину. Он рассмеялся.

— Брось, Валерка. Завидно, что не над твоими байками смеются, так и скажи. — Леха добавил, опять со смехом: — Ревнивец ты жуткий. Рогов боишься пуще смерти, вот и мумришься. А, Валерка?

— Да иди ты! — разозлился я и покраснел в темноте.

Вообще мне очень хочется узнать, как Костя объяснялся Ленке в любви. Я выдумываю разные слова и прямо задыхаюсь от злости и унизительного желания попросить Ленку: «Расскажи».

Еще тяжелее видеть каждый день, как Костя останавливает Ленку, говорит ей что-то со своей дурацкой ослепительной улыбкой, причем на глазах у всех. Ребята косятся на меня, но проявляют такт: молчат. А я, как оплеванный, начинаю ломаться: хохочу, говорю неестественно громко, делаю вид, что живу на другой планете.

Со мной Костя усмешливо ласков. Угощает папиросами, подмигивает этак заговорщицки лукаво: мы, мол, с тобой, брат, все понимаем.

А я улыбаюсь как идиот. У-у, шоферня, пират! Красавец несчастный!

Сегодняшним утром Костя часов в шесть отвез на центральную усадьбу Леху Забурина. Ему пришла посылка от матери.

Костя вернулся один и, заметив наше удивление, объяснил:

— Леха скоро будет. Там попутка есть.

Мы поели, покурили. Валька с Вовкой сыграли в шахматы, а Лехи все не было. Поругались, еще раз сыграли. Валька нервничал и шипел:

— Размазня! Дам выговор!..

Я вызвался посмотреть за сопкой, не идет ли Леха пешком, потому что на Костино предложение съездить Валька ответил:

— Еще что! Может, на рученьках принесем?

Когда я шел, пшеница уже отряхивалась от тяжелой росы и прохладно пахло клевером. Запах этот опять обещал дневную жару. Выглянула из норы морда суслика и мгновение изучала меня. Я подмигнул суслику, и он спрятался.

За сопкой, в придорожном приямке, сидел Леха Забурин и ел вафли «Снежинка». Около валялись уже две пустые пачки, и Леха дожевывал третью. Увидев меня, он начал работать челюстями еще быстрее.

— Садись, Валерка, пожрем немного...

— Леха, ты гад! Тебя же ждут!

— Не психуй, Валерка...

— Боишься — угощать надо, да? Эх!.. — Я даже не знал, что говорить, так гнусен был Леха, жрущий вафли, так остро вспомнились его прежние выверты, так внезапно бросились в голову обида и понимание, что я для Лехи всегда был ширмой, но не товарищем.

— Запомни, Леха. Я тебя не знал, и ты меня тоже. Я тебе никогда больше руки не подам.

Леха деловито отряхнул крошки и спокойно сказал:

— Дурак. Интеллигентный дурак.

Я шел за Лехой. Он помахивал мешочком, в котором Анастасия Ивановна прислала вкусные вещи.

У барака Леха виновато заулыбался и смущенно развел руками.

— Ребята... Не сердитесь. Ей-богу, шофер не довез километра три. Пока шел, не утерпел, попробовал. А остальное — вам!

Барбарисы, зефиры, печенье, прочие кондитерские штуковины вызвали восторженный вой девчонок. Валька Капустин мрачно поглядел на эту сцену и махнул рукой. Он не стал объявлять Лехе выговора.

Мы поехали чистить кошары, и в машине Леха придвинулся ко мне.

— Ну, чего ты психовал? Я же честно все сказал, как ты учил, о Валера?!

Я молчал.

Леха пошарил за пазухой и протянул плитку шоколада.

— Угости Ленку. Наверняка обрадуется. И не дуйся. Ну, что особенного произошло?

Леха смотрел на меня жалобно и преданно. Я взял шоколад и выбросил за борт, хотя до последней секунды не хотел этого делать. Леха тихонько ахнул, отодвинулся и с презрением посмотрел на меня.

Золотистая плитка «Мокко» осталась в пыли.

Кошары, скатанные из темных старых бревен, стояли под высокой горой. Овцы в них сейчас не жили, а гуляли где-то по хакасским степям, оставив в кошарах за зиму массу грязи, которую убирали мы лопатами и кирками, потом грузили на Костину машину.

В первый день, наглотавшись едкой пыли, забастовал Степа Лохтенко:

— Ассенизатором я и в городе мог стать с незаконченным высшим образованием. А сюда я приехал неслы-

ханные урожаи собирать. И будьте добры, подайте мне пшеничку.

Степа был квадратный и неторопливый парень, добросовестно записывавший лекции и посещавший все семинары. Он гордился своей обстоятельностью, но тем не менее был вспыльчив. Степа перед экзаменами бушевал:

— Никому не дам лекций! Вы там по кино ходите, а я за вас пиши! Даже не просите!

Вот и сейчас он вспылил, справедливо заметив, что копаться в овечьем дерьме неприятно. Я устал и в душе поддерживал его. Валька Капустин молчал, по-крестьянски неторопко работая кайлом. Рядом пыхтел Вовка Горелов, постоянно поправляя сползавшие с носа очки. Спина Лехи Забурина маячила передо мной: он завоевывал Валькино одобрение. Я тоже стал бездумно ковыряться лопатой, но Степа не сдавался:

— Валька, ты брось в героя играть.

— Ладно, — буркнул Валька.

— Тогда отвечай: справедливо в дерьме рыться или нет?

К Степе подошел Костя.

— Степочка, бобренок кучерявый! Не лей слезу, пососи палец! — И играючи стал пластать широкие ошметки серой кизячной массы.

Я попробовал не отставать от него, но, запыхавшись и обессилев, с грустью подумал, что это невозможно.

Костя работал десять, двадцать минут, полчаса. Мы стояли и смотрели, потому что у него здорово получалось.

Потом Костя вложил упрямому Степе кирку в руки и приказал:

— Давай, драгоценный!

Больше мы не устраивали перекуров, пока не очистили кошару до черты, проведенной Валькой утром.

Мы «отходили» на траве и ждали обеда. Ленка и Фира что-то долго его не везли.

А Вальку Капустина заело, что не он, а Костя показал, как надо работать. И, подождав еще, Валька распорядился:

— Пошли. Не сдохнем. А пока — вкалывать.

Мы заворчали, но пошли, стараясь казаться сильными, неутомимыми мужчинами.

Валька работал за двоих, а мы двигались как дистрофики. Леха Забурин корчился, корчился, потом взмолился:

— Валя! Не могу, живот скрутило. Я исчезну.

— Валяй...

Видно, пошел свой шоколад дожирать.

Квелые и немытые, мы сидели под горой и все ждали лошадь с обедом. Лошадь звали Волгой, и мы тяжело шутили по этому поводу. Костя сидел в стороне, крутил кудрявой головой, покуривал и скалил зубы:

— Ну, бобры! Ну, бобры! Кучеряво живете, артисты!

Валька хмуро молчал, но, видимо, про себя соглашался с Костиными издевками.

Начали дремать, но враз вздрогнули от резкого деревянного грохота. С горы неслась наша Волга, и отчаянно цеплялись за бидон с супом Ленка с Фирой. Мы вскочили и заметались. Валька побежал в гору, размахивая руками, а я решил, что брошусь на лошадь, спасу Ленку, чтоб знала, как по-настоящему любят!

Валька умудрился запрыгнуть в телегу, и в эту самую минуту я, заорав от страха и восторга, кинулся к Волге. Глаза я закрыл, было легко от самоотрешенности. Почему-то я все еще был жив. Открыл глаза и увидел мирную Волгу, которую остановил Валька, Ленку, плачущую над опрокинутым бидоном, и Леху Забурина, беззвучно хохотавшего в полыни.

Я подошел к Ленке и сказал громко:

— Ты не расстраивайся. Мы не очень-то и проголодались.

Даже не взглянула на меня...

— Рыба! — с ехидной торжественностью провозглашает Вовка Горелов. — Теперь подсчитывай бабки — и нагишом под дождь!

Мы со Степой Лохтенко мрачно перебираем костяшки: все правильно, остались «сухими козлами».

Валька Капустин с радостной улыбкой рассматривает нас и показывает глазами: снимайте штаны. Степа истово начинает анализировать проигрыш. Он возмутительно точно вспоминает каждый ход, становится подозрительным.

— Подожди, дорогой Вова! Теперь я знаю, что ты умолчал о пустышечном дупле и дал Вальке под рыбу! А?

Вовка яростно протирает очки.

— Ты пойдешь под дождь? Нагишом?

— Нет, ты скажи, стырил ты дупль или нет?

У Вовки трясутся губы.

— Нахал! Наглый нахал!

— Сам наглец! — вскрикивает на полном серьезе Степан.

— А ты нахал и шулер, — тоже серьезно бледнеет Вовка.

Во всем виноват дождь, его глухая, нудная ворожба ссорит сейчас Степу и Вовку. Мы с Валькой начинаем успокаивать их; через минуту на кухне, где мы играли, устанавливается неловкое молчание.

Ленка у окна чистит картошку и бодрым голосом спрашивает:

— А под дождь-то кто-нибудь побежит?

— Значит, так, Степа. Шпарь на свежий воздух, попой: «Дождик, дождик, пуще» — и полегчает, — примирительно произносит Валька.

— Ну да, — криво усмехается Степа.

Тогда я снимаю рубашку:

— Есть два святых долга: карточный проигрыш и неоплаченные векселя...

Затем поворачиваюсь к Ленке, галантно кланяюсь.

— Сейчас я буду нагишом, и вы вряд ли получите эстетическое удовольствие.

Ленка, уходя, смеется:

— Короли не бывают голыми. Так что зрительниц будет хоть отбавляй.

Я раздеваюсь под целомудренным и осуждающим взглядом Степы Лохтенко, вытягиваюсь перед Валькой, как перед райвоенкомом на медицинской комиссии, и выскакиваю за дверь.

Выглядело это так: от холодного дождя я кривлялся и хохотал, как шакал, один-одинешенек на всю хакасскую степь.

Из окошка с удовольствием улыбался Валька Капустин, а из подъехавшего Костиного «газика» с изумлением смотрел на меня незнакомый бровастый мужчина.

Я провзвизгивал положенные три минуты.

Степу Лохтенко развеселил мой танец, и он даже помогал мне вытираться, хитро шмыгал носом: радовался, что вышел сухим из воды.

От нечего делать мы принялись рассматривать в окошко незнакомого мужчину, которого привез Костя. В прозрачном розовом плаще, широколицый, он ходил вокруг барака в сопровождении Кости и, как герой немого фильма, неестественно резко тыкал рукой в разные стороны.

Мужчина зашел к нам. С подбородка, поразительно узкого для такого лунообразного лица, стекала вода. Он промокнул ее ладошкой и, не замечая нас, сказал Косте:

— А ребят разместим в этой комнате. Нары уже есть и печка...

Вовка Горелов холодно уронил в пространство:

— А в лучших домах Филадельфии гости всегда здороваются с хозяевами...

Мужчина посмотрел на Вовку, как на марсианина:

— А ты почему одет?

— Тебя, — сказал Вовка, — дожидался.

Гнев скопился в узком подбородке.

— А ну-ка, встать, ю-но-ша! Развалился, молокосос!

Демонический Вовкин смех.

Валька Капустин подошел к мужчине.

— Значит, так. Я бригадир и хочу знать, кто вы такой?

Вмешался Костя, тихо сказал Вовке и нам:

— Бобры! Не скандалить! — И громко представил: — Знакомьтесь: начальник пятой Абаканской автоколонны Максим Петрович Ялов.

Потом, почти касаясь наших носов, махнул рукой и сделал этакий театральный полупоклон.

— А это, Максим Петрович, как вы понимаете, — романтики, покорители степей, орлиное племя. Боевой задор распирает им грудь.

— Не трепись,— сурово сказал Валька,— сами умеем.

Максим Петрович погасил одобрительную усмешку, с которой посматривал на Вальку, и спросил, изучая орла на груди:

— Где колол?

— Во флоте.

— О, да мы сослуживцы, — и он показал кисть, на которой вставало солнце над синим морем.

Валька дипломатично заметил:

— Горячий привет по этому поводу.

— Ладно, ладно. Салаги! А «до свидания» я вам говорю. Причем до скорого. Мои ребята понаедут, вашим девушкам веселее будет, — пошутил Максим Петрович.

Дождь с беспросветной тупостью колотился в крышу, и слышно было, как сыто чревовещает он в глубокой глинистой яме около барака.

Гудела печка. Железный бочонок, из которого она была сделана, раскалился докрасна, и смутные, жаркие блики плясали на стенах.

Я ехал с Ленкой на ферму за молоком.

Кобыла Волга шагала по вечернему полю, то и дело норовя забрести в пшеницу. Телега поскрипывала легонько и жалобно, как при дедах, сто лет назад. Сиреневые шишечки подорожника задевали спицы. Ленка лежала, закрыв глаза. Я не решался говорить. Знал и чувствовал, что надо что-то сказать, но не решался. Хотел сказать о моей любви, но она могла обидеться за тысячное повторение.

Так и молчали до фермы. Погрузили бидон с молоком и возвращались по темной ночной дороге, пахнувшей остывающей пылью. Я не оборачивался к Ленке и смотрел на звезды, на поле, хотя ничего там не видел. Распряглась Волга. Я долго не мог приспособить дугу к оглоблям — никак не лезла в гужи. Потом вроде укрепил, но через минуту Волга снова встала, сползла дуга. Так повторилось раз десять. Я вспотел и с тоской представлял оставшиеся до барака километры.

Вдруг Ленка позвала меня. Я подошел, она обняла меня и поцеловала в мокрый лоб.

— Валерка, ты любишь меня?

— Да.

— Ну, сделай, чтобы я навсегда поверила.

Я поцеловал ее теплые, пахнувшие полем губы.

— Валера, а хочешь, я поверю в твою любовь? Совсем, совсем поверю? Вот сейчас?

У нее были горячая шея и щеки. Я вдруг испугался и растерянно пробормотал:

— Н-но... Ленка...

Она замолчала, а потом спрятала лицо в сено. Я стоял понуро, как Волга.

Ленка поднялась, отряхнулась, спрыгнула на дорогу и пошла к бараку одна.

Я догнал ее и сказал, что люблю до самоубийства.

— Ты ничего... Ты... даже лошадь запрячь не умеешь! — крикнула она и побежала по дороге.

А я остался, и не стал запрягать Волгу, и не повез ребятам молоко. Я лег в сено, где недавно была Ленка, и долго, противно плакал.

Мы живем очень суетно. Не запоминаем станций, мимо которых проезжаем, людей, встречающихся на проселках и в городах, собственных чувств, вызванных грозой или приютившейся в лесу росистой поляной.

Происходит это от нашей чрезвычайной самонадеянности. Мы рассчитываем снова попасть на ушедшие станции, на росистые поляны, забывая о единственно данной нам жизни. Если бы мы всегда об этом помнили!

И я вдруг с необычайным волнением догадался, что когда-нибудь буду вспоминать об этих днях, как о самых счастливых.

Мне стало вольно, как птице, летавшей надо мной. И от возникшей радости я долго сидел, не желая очнуться. Потом встал, взялся за вилы и не заметил их тяжести.

Хрустко входили вилы в зеленую и сочную плоть кукурузы. Железные пальцы не успевали стряхивать зеленую кровь — так билась во мне жадность к работе.

Пришли деревенские девчонки на помощь и встали рядом. Спины наши сверкали от пота, и его соленая крепость благоухала над нами.

Тракторист Сеня на своей черной машине пружинил на высокой зеленой горе, поднятой нашими руками, а мы в это время отдыхали. Губы у девчонок припеклись от солнца, а жаркая густота их глаз смутно и сладко тревожила меня.

Не повторятся нынешняя любовь и нынешняя ненависть, как сладко, невыносимо, тревожно думать об этом! До слез жалко, что все, все будет по-другому. Будет совсем другая жизнь.

От этих дум возникало странное чувство, будто я тороплюсь, тороплюсь куда-то, а напрасно — торопиться не надо, все равно успеваю: те, будущие годы, как ни спеши, придут точно в назначенный срок. У них железный график. Тогда я успокаиваюсь ненадолго, но волнение возвращается снова: а не опоздаю ли, не перепутал ли я время? И снова бегу. Успеть бы, успеть...

МОНОЛОГ ДЕВУШКИ

Терпеть не могу проезжих эстрадников. Соберутся халтурщики — давай «удивлять провинцию». После их концертов я прямо-таки злюсь, как после глупой шутки на дне рождения: принесут громадный сверток, разворачиваешь, разворачиваешь и доберешься наконец до маленькой карамельки.

А Валерка любит эстраду. И чуть не силой тащит меня на каждый концерт. Последний раз, кажется в мае, у меня было скверное настроение, и я ругала себя, что согласилась

пойти. Я капризничала, Валерка виновато сидел рядом. Иногда он забывал о том, что я хмурюсь, и смеялся шуткам лысого конферансье, но потом спохватывался и усиленно морщил лоб. Мне стало смешно, стало веселее и легче. К тому же в этой эстрадной бригаде была хорошая певица, не очень знаменитая, правда, но мне понравилась. Она пела грустные песни просто, словно сидела у окошка или на скамейке в саду и уютно грустила о непришедшем любимом, об увядших цветах и еще о чем-то незапомнившемся.

По дороге домой, в темном переулке, где вместо асфальта лежали старые каменные плиты, Валерка стал гладить мою руку и говорить: «Ты славная и милая. Знаешь, как мне хорошо с тобой? Знаешь?»

Я почти не слушала его, а когда Валерка чересчур уж увлекся, сказала:

— Отстань!

Он обиделся, надул губы и с каменно-отсутствующим лицом шагал рядом, надеясь, что я устыжусь своей резкости и стану более ласковой. А мне было не до него. Я завидовала, что у меня нет такого золотистого платья, как у певицы, такого задумчивого и приятного голоса и мне никогда не будут так хлопать люди, загрустившие по первому моему желанию. Каждый день ее полон смысла, определенности, занятости, ее, наверное, окружают красивые мужчины, которые не сюсюкают, как Валерка, а решительны, веселы и ради любви могут пойти бог знает на какие вещи...

Ну вот что лепечет Валерка? Толку-то от этих слов!

Я ничего не могу. Мне восемнадцать лет, и в это время мой отец уже водил поезда, а мама нянчила Генку. А я даже не знаю, какой выйдет из меня преподаватель литературы.

Видимо, у меня нет никаких талантов — ни землю пахать, ни выступать с эстрады. И еще не знаю, какой буду учительницей. А хочется, ужасно хочется сделать что-то непременно, сейчас же. Может быть, уехать в деревню и выйти замуж за тракториста? Нарожать здоровых, крепких мальчишек, они бы качались у меня в плетеных зыбках и росли вольно, как трава. А я бы по утрам ходила по лебеде доить коров, руки бы у меня потрескались от земли и труда; носила бы косынку в синий горошек и любила бы своего тракториста.

А может, вот-вот придет любовь — только не хочу так называемой юношеской, с бесконечными хождениями в ки-

но, объятиями в темных переулочках, чтением чужой лирики и вечным выяснением: кто кого и как сильно любит.

Хуже не придумаешь. В прошлом году за мной ухаживал (бр-р, какое гадкое слово!) Витя Грудин, геолог-пятикурсник. Симпатичный парень, высокий, широкоплечий — такому только и быть геологом. Так он меня замучил разными романтическими штучками. Каждый вечер поражал сюрпризами. Подведет в парке к какому-нибудь пню и говорит:

— Сощурь глаза! Правда, на терем походит?

Или сосулька на трубе висит, Витя увидит ее и:

— Смотри, смотри! Как оленьи рога...

А если, провожая меня, не прочтет чего-нибудь вроде: «Мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак», то спать, наверное, не сможет. Мне надоела эта лирика. Вроде бы геолог, здоровый парень, где-то в тайге месяцами молчать будет, а ведет себя, как ребята с нашего курса. Они, кроме стихов, ничего не знают — им простительно, но Витя-то, Витя мог бы быть посдержанней, помужественней!

Однажды я ему сказала:

— Ну, а свои слова у тебя есть? Или только чужие?

— Ты мне нравишься.

— Господи! Право, как попугай! Ну, прыгни с четвертого этажа, в проруби искупайся, ударь меня, только не говори одно и то же! Противно же, как ты не понимаешь?!

Мы поссорились и больше не встречались. Я немного погрустила — все-таки он был видный парень, но потом решила — наплевать.

Вот и Валерка примерно такой же. Уж так любит повздыхать, поминдальничать, сердце потерзать — хоть плачь. Но Валерка тем хорош, что умеет слушать и понимать меня. Я почему-то очень люблю вспоминать все, что было до университета. Причем в голову лезут такие вроде незначительные мелочи, что не каждому и расскажешь. А меня они трогают: по-моему, в них бездна прелести. Я, например, могу вспомнить, с какой прической пошла на первый взрослый вечер в восьмом классе, кто и что говорил мне, приглашая на танцы, какое платье мне сшила мама к выпускным экзаменам. Помню первые комплименты, наивное и упоительное торжество, когда с катка меня пошел провожать Генка Соколов, нравившийся всем девчонкам из 9-го «Б»; смешной случай из второго класса — папа стал в то время начальником дороги, когда

я на перемене громогласно похвасталась: «А мой папа самый-самый большой начальник. Захочет — и любой поезд остановит!» Господи, конечно, все это мелочи, вздор, но, по-моему, очень милый, и я страшно дорожу этими воспоминаниями. Валерке они тоже интересны, и поэтому мне с ним легко. Вот если бы он поменьше говорил и не так часто клялся в любви...

Не хочу так. Хочу, чтоб было молчаливое мужество, длинные разлуки и короткие, чистые, как морозное утро, встречи.

Правда, говорить об этом никому нельзя, потому что я студентка и должна учиться, а не думать, какая из меня получится женщина.

А вдруг мой главный талант — быть женщиной? И хотеть много-много ребятишек от сильного, молчаливого и застенчивого человека? Растить их, и бороться с разлуками, и радоваться встречам?

...Я все чаще так думаю. Особенно по утрам, когда груди смешно вздрагивают от холодной воды, и я застываю над умывальником от предчувствия непонятного счастья.

Мы ехали на целину, и Валерка отстал от поезда, спрыгнув нарвать камышей.

Мне нисколько его не жалко, потому что настоящий парень никогда бы так глупо не отстал. У настоящего парня все получилось бы хорошо и ловко.

Считается, что мы с Валеркой дружим, или, как говорит Валька Капустин, «керосиним», Валька всегда грубит с девчонками, но я, например, знаю, что он каждую неделю пишет письма в колхоз, где учительствует его жена Даша. Валерку он называет не иначе как «гаврик» или «субчик-голубчик».

Тот не обижается, но каждый раз досадливо морщится.

А вообще Валерка неплохой человек. Он добрый, симпатичный, и у него черные брови. Но этого еще так мало! Ладно хоть перестал глубокомысленно философствовать, еще не выйдя из зала после новой картины, и научился правильно держать локти во время еды. Все-таки достижение.

Но так глупо отстать! Совершенно непростительно. И все потому, что Валерка ничего не умеет делать в жизни. Только говорит. Слава богу, что на целину поехали. Будет теперь серьезное, настоящее дело...

Я забилась в самый угол вагонных нар, чтобы никто не приставал с сочувствиями. Начнутся всякие: «Не го-

рюй, догонит», «Не переживай, все будет хорошо», и еще в том же духе. А я не переживаю и не горюю, я злюсь. Бог с ним, пусть тащится по шпалам, но с какой стати я-то буду страдать?!

Ко мне подсел Валька Капустин, лохматый, веселый — в кои веки выиграл в шахматы у Вовки Горелова.

— Кавалер-то твой, поди, упрел?

— Да ну его!..

— Знаешь, у нас в деревне частушку поют: мой миленок похудел....

— Валька, не дразнись!

Он засмеялся.

— Значит, так, Ленка. Прибудет твой Валера в целости и сохранности. Малость проветрится — это всегда на пользу.

Хороший парень Валька. Он, наверное, даже не подозревает, как может нравиться девчонкам. Вроде и грубит, и задирает, и подсмеивается, а с ним очень легко. Можешь ему пожаловаться, поплакаться, всякой чепухи наговорит, и все твои страхи и ахи разобьются о какую-нибудь незамысловатую Валькину шуточку вроде: «Э-э! Это мура. Ты не плачь, не плачь, Маруся. Пригодится опохмелиться». Или: «Брось губы дуть, гусь ущипнет».

И понарошку по голове погладит или достанет платок и давай тебе глаза вытирать, хоть и слез нет. Не выдержишь, засмеешься, и — все в порядке.

Действительно, чего это я разнервничалась? Подумаешь, от поезда отстал! Не с самолета же упал. И злиться нечего. Просто смешно...

Ветреный рассвет встретил нас в Абакане. Из совхозов пришли машины, и со всех грузовиков мощные, как на подбор, дядьки в брезентовых плащах и телогрейках стали выкликать:

— Медицинский!

— Политехнический!

— Университет!

Это нас. Ребята беспорядочно заторопились к грузовику. Я чего-то задумалась на своем чемодане. Ко мне подошел рослый парень в синем свитере, в гимнастических, на штрипках, брюках и в измазанных мазутом кедах.

— А уж смуглянку я с собой посажу,— и, улыбаясь, взял чемодан.

Шофер, этот парень в синем свитере, убрал с моей стороны в кабине ватного Буратино и закрыл крышечку ма-

ленького ящика, в котором лежали граненый стакан, какая-то книжка, обернутая в газету, и несколько пачек «Примы».

Я попробовала задремать, но ничего не вышло — очень трясло; потом повернула к себе продолговатое зеркальце и поправила волосы, внезапно подумав, что тысячи женщин до меня, в кино и в жизни, вот так же поправляли волосы в различных автомобильных ситуациях. Безотчетная традиционность жеста приобщила меня к этим тысячам женщин, и я улыбнулась.

Парень стал балагурить:

— Улыбочка — первый сорт. На ветровое стекло приклею.

Я холодно пожала плечами.

— Сейчас произойдет авария. В щепки, в кювет — у шофера сердце разрывается!

— Что это ты разговорился?

— Мой друг, водитель Петя Митюшкин, советовал: «Костя,— грит,— если в кабине находится такая симпатяга, жми на тормоз и на горло. Соловьем заливайся, не упускай момента».

Я молчала, хотя в общем-то мне польстил этот ухарский комплимент: «симпатяга». Непроизвольно я снова потянулась к зеркалу. И встретилась глазами с Костей. Он серьезно-серьезно посмотрел на меня.

— Да, деваха ты исключительная,— вдруг горячо и торопливо заговорил он. — Абсолютно точно. Слушай, давай подружимся?

Я гмыкнула.

— Нет, я серьезно. Я тебя не подведу, точно, — закрутил он головой и полез за сигаретой.

Я улыбнулась.

— Это что, объяснение на третьей скорости?

— Да ты послушай,— снова заторопился он.— Веришь не веришь, я давно жду такой случай: вот чтобы такая, как ты, села. Брось улыбаться, уж я-то знаю. Была на Кызыльском тракте? Это тебе шестьсот километров за баранкой, как по струнке тянешь. Влево, вправо вильнул — и хана, в пропасть. Вот там я и догадался, что должен встретить исключительную девушку. Хоть режь — должен. И пожалуйста, садишься ты. А я почему-то думал, что в Кызыле тебя встречу. Но это липа, просто шарики не сработали. Нет, серьезно. Я везучий парень. Как загадаю, так и выходит. Смотри у меня, не спрыгни.— Парень по-

грозил и снова серьезно-серьезно вгляделся в мое лицо.

Я смотрела на него, на светлые, как желуди, глаза, на светлый чуб, на упрямый подбородок с резкой впадиной посредине и понимала, что он говорит правду. Ту самую, которую я так давно и до конца неосознанно ждала и с которой так неожиданно встретилась.

Я не знала, что говорить и думать, мне было не по себе.

Парень спросил:

— Тебя как зовут?

— Лена.

— Меня Костя.

— Поняла уже...

Валька Капустин назначил меня поварихой. Я долго не соглашалась, но он сказал:

— Разносолов никто требовать не будет. Щи всякие вари и каши. Если работать как следует будут — все съедят.

Видя, что глаза у меня покраснели, Валька сердито засопел, зачесал затылок и утешил:

— Я тебе наряды хорошо буду закрывать. Заработаешь не меньше других. Думаешь — целина сплошное зерно и подвиги? Щи нам тоже нужны. А ты девчонка быстрая, значит, справляться будешь...

В помощницы прикрепили Фиру Медведеву, тихонькую, хрупкую девочку с биофака. Она носит школьные еще косички и смешные полудетские сарафаны.

Фиру бесполезно посылать за дровами, к бочке с водой. Она ходит действительно как за смертью. Когда я не выдерживала и кричала из кухни: «Фира! Где дрова?! Что ты с ними делаешь?» — она объясняла ровненько и спокойно:

— Они, понимаешь, в грязи все. Вот я счищаю.

А когда я требовала воду, она успокаивала:

— Лена, да ты не волнуйся. Тут в бочку сор всякий нападал. Сейчас вот уберу.

Не волноваться я не могла и поэтому как можно скорее хотела хоть в чем-нибудь обнаружить у Фиры талант. Но если она солила суп, то ребята после него выпивали бочку воды, если резала лук, то без крови дело не обходилось, если варила кашу, то ее не то что ложкой — ковшом экскаватора невозможно было разбить.

Я отчаялась и покорно слушала Фирины объяснения.

И вдруг талант объявился. Она феноменально быстро чистила картошку.

Я изумилась, но Фира тихонько и скромно сказала:

— У нас, знаешь, какая семья? Картошки за зиму десять кулей съедаем. Вот и научилась...

Больше я Фиру не беспокоила и всячески расхваливала ее Вальке Капустину. Он не верил, но говорил:

— Смотри сама. Тебе с ней возиться...

А Фира часами сидела на чурбане у большого чугуна, и часами мелькали ее руки. Она походила в эти минуты на мою бабушку, которая постоянно вязала какие-то носки и варежки. Только бабушка мурлыкала старинные песни, а Фира молчала, и я замечала в ее глазах то испуг, то улыбку, то спокойное раздумье.

Меня страшно интересовал этот взгляд, и я спрашивала:

— Фира, о чем ты сейчас думаешь?

Щеки ее розовели.

— А так. Обо всем сразу. Ничего определенного.

Тогда я ставила вопрос ребром:

— О мальчиках?

— Ты что?! — пугалась Фира и снова надолго замолкала.

Интересно смотреть, как едят наши ребята. Они приезжают в два часа черные, охрипшие от долгого молчания. Моются и сразу — за стол.

Я не вижу, как они работают, но судя по разговорам и аппетиту, неплохо. Разговоры однообразны: сколько сделано до обеда? Сколько вычищено в кошаре, сколько погружено и уложено силоса? Мне это однообразие нравится: наконец-то разговоры о деле, которое уже сделано. И я смотрю на ребят. Валька Капустин ест равнодушно, добросовестно съедая все, что ему принесут. Видимо, опять раздумывает о нормах, о нарядах, об авансе, о том, что нужно вызвать «автолавку» и съездить за молоком.

Вовка Горелов крошит хлеб на мелкие кусочки и смотрит на тарелку с супом как на шахматную доску. Анализирует картошины, капусту, мясо. В общем, едок-аналитик.

Степа Лохтенко ест по-крестьянски аккуратно, ложку несет, поддерживая хлебом. Крошки за собой убирает и относит лошади.

На Валерку я не смотрю. Неприятно, как он косится

на сидящего рядом Костю, нервничает и все пытается встретить мой взгляд: мол, я схожу с ума, что этот идиот пристает к тебе. А ты не сходи, если ничего сделать не можешь. Право, улыбчивый и развеселый Костя выигрывает рядом с надутым Валеркой.

Костя ест быстрее всех. Он смешит нас забавной привычкой: когда спрашиваешь, надо ли добавки, Костя мотает головой, вроде бы отказываясь, а сам в это время говорит:

— Давай неси еще.

Или наоборот: согласно кивает и тяжело так басит:

— Ты что? Я ведь не резиновый.

Потом Костя выскакивает из-за стола и ни на шаг не отходит от меня. Соберет тарелки, воду принесет. Это мне в принципе приятно, но уж больно недвусмысленно посматривают на нас девчонки и нарочно громко кричат: «Валера! Пойдем на кухню в домино играть!» — чтобы, значит, он был поближе ко мне. Это называется: оберегают старую дружбу, а по-моему, девчонкам просто хочется поехидничать.

Косте на подобные шутки наплевать. Он останавливает меня где-нибудь за углом и серьезно спрашивает:

— Ленка, дак как ты?

— Что?

— Подружимся или нет?

— Перестань! Слушать надоело.

— Вот те на! Я же серьезно.— Костя начинает горячиться.— Хоть кем быть, я от тебя не отстану. Может, я такой уж больше не встречу!

— Да перестань ты, Костя...

Однажды он попробовал обнять меня. Я увернулась. Он засмеялся.

— Что ль в городе лучше обнимают?

— Не нахальничай.

— Какое же нахальство — обнять? — снова смеялся он, а я почему-то подумала: если бы Костя учился с нами — на улице на нас бы все оглядывались. Черное и белое — всегда приятное сочетание.

Тьфу, дура! Какая чепуха в голову лезет!

Обеды портит Светка Крыленко. Она за что-то не любит меня, сморщив свое румяное лицо, корчит великого дегустатора.

— Суп-то у тебя, Лена, не уварился. И ты чересчур перца много кладешь.

Валька Капустин вообще-то пресекает подобные речи, но все равно они меня злят. Я не люблю Светку Крыленко. Она беленькая, курносенькая и вечно строит из себя этакую простушку-хохотушку. Играет в сорванца-мальчишку. Чуть что — хохочет. Не смешно, а все равно хохочет. Ей говорят: не делай — она делает. И опять со своим бодрым смехом. Ох, как она мне надоела, эта Светка!

А в дождь надоедает не только Светка, но и все наши ребята. В них оживают из-за сырости говоруны, и они до изнеможения спорят, толкутся на кухне. Советуют, что да как сварить, да чего хотелось бы. Сколько могу, я держусь, а потом кричу на них. Ребята обижаются: слова, мол, не скажи. Но с кухни не уходят.

В такой же вот дождь к нам пришел начальник Костиной автоколонны Максим Петрович. Добрый, полный дядька, а щеки круглые, как мячики.

Зашел на кухню.

— Вот где благодать! Самое сухое место на земле.

— Что вы,— сказала я,— из дров сколько угодно можно воды выжать...

— Товарищ повариха, пришлю не дрова, а бочку пороха. Устроит?

— Еще как!

Мы улыбнулись друг другу, и Максим Петрович ушел на половину к ребятам. Слышу вдруг, шум там поднимается. Я — туда. Оказывается, Вовка Горелов психует из-за того, что Максим Петрович «здравствуйте» не сказал.

Мне жалко стало этого промокшего, намотавшегося по грязи дядьку. Тут уж не до «здравствуйте». Идиот Вовка. Подумаешь, неласково с ним поговорили. Сколько нам взрослые всякого прощают...

За ближней сопкой начинался вечер, неясный, грустный и влажный. А у нас еще было светло — только-только побежали рассеянные тени — и можно было разглядеть божью коровку, выбиравшуюся из колеи. В светлом небе слабо белели звезды — я хорошо их видела, покачиваясь на старенькой, дребезжащей телеге. Из-за толчков звезды все время дрожали, как радужные светлячки во сне. В бидоне лениво и широко плескалось молоко, и где-то за сопкой непонятно звенела темнота.

Валерка сидел рядом с бидоном, свесив ноги на одну сторону телеги. Он курил папиросу за папиросой, и по его

напряженному затылку, по неловко сгорбленной спине было видно, что он ждет не дождется, когда я заговорю.

Сам Валерка начать не решался. А я лежала на сене, смотрела на звезды и улыбалась. Я вспомнила, как мы ходили с ним в кино, как перекидывались на лекциях записочками, как он страдал и слонялся по залу на танцах, потому что я запрещала приглашать себя... Еще я вспомнила о темных переулочках, о цветах, которые дарил мне Валерка, о разных хороших словах, которые он говорил.

И я подумала, что Валерка преданный и милый и не надо мучиться, слушать шоферов, воображать всякие страсти — надо просто и спокойно верить в Валерку. Попытаться сделать его сильным, достойным любви человека.

Вечер перебирался и на эту сторону сопки, спрятал сначала пшеницу и далекие поля, а потом и нас. Несколько раз распрягалась Волга, и Валерка терпеливо мучился с ней в темноте. Его тень заслоняла случайный свет звезд. Я позвала его.

— Поцелуй меня, Валера...

Я знала, что вечер, степь, звезды, запах сена — это Валерка и его любовь ко мне. Поэтому я сказала:

— Хочешь, я тебе совсем-совсем докажу, что верю в тебя?

Я увидела, что у него испуганно расширились глаза и дрогнули губы. Он чуть слышно сказал:

— Н-но... Ленка...

Я оставила его в степи и быстро пошла. Потом побежала и бежала до тех пор, пока ноги не стали как ватные и глухо не заломило в ушах. Я убегала от яростного, прожигающего стыда, от презрения к себе и к Валерке, от обиды, что, может быть, навсегда потеряна моя самая лучшая и чистая минута.

На кухне я долго сидела на Фирином чурбачке, где она всегда чистит картошку. Смотрела невидящими глазами в окно и думала, что никогда не прощу Валерке.

Потом, когда рассвело, в кухню вошел Костя. Он страшно удивился, увидев меня:

— Ты чего это тут ни свет ни заря?

— Так. Захотелось.

Он с шумом напился и сказал:

— Позорюем, Ленка?

— Помолчи лучше.

Он понял, что я здесь не просто так и не от хорошей жизни не сплю.

— Нервишки люфтят?

— Да.

— Бывает.— Костя уселся на порог. Стало завидно, что он такой уверенный, лихой и беспечный.

— Мой друг, водитель Петя Митюшкин, советует так: не плачь, когда весело. Ты реветь не собираешься? Слава те господи!

— Не смешно.

Костя не замечал моего ледяного тона.

— Н-да. Было дело, мы с Петей Митюшкиным раз к зубному врачу ходили. Вот уж смех-то. На Кызыльском тракте есть такое паршивенькое местечко — Джагайский перевал. Дорога — лед, и памятник нашим ребятам — руль над могилой. Как пропеллер, значит, над погибшим летчиком. И вот Петю угораздило к самой пропасти скатиться — аж задний борт в пустоту уткнулся. Я его тащу, покрышки визжат, Петя было помогать стал — воткнул первую скорость, а самого опять назад повело — вот-вот и сыграет. Я изо всех сил надрываюсь, и вдруг трос...

Костя замолчал, доставая папиросу.

— Ну и что? — вырвалось у меня.

— Ничего. Петя летит вверх тормашками, я бросаю машину — и за ним. Руками, значит, как крыльями, махаю и лечу. У самой земли догоняю Петю. Цоп его за шиворот. Спрашиваю: «Ты где это падать учился?»

Костя добился своего, я улыбнулась.

— Болтун ты.

Костя хитро прищурился.

— Подожди. А где же зубной врач?

— А-а! Это на самом деле было. Отбуксовал я Петю от пропасти, поднялись мы на перевал, а у меня в глазах темно — зубы разнылись. Петя тоже скулу баюкает. Видно, впопыхах-то мы так нахрустелись, что в Кызыле бегом в больницу.

Неожиданно мне представился город, где я выросла и училась. Пока я там жила, даже и не думала, что есть какой-то Кызыльский тракт, Костя, эта степь. Но та, знакомая жизнь, и эта, о которой я ничего не знала, все время шли и шли навстречу друг другу. И вот сегодня утром скрестились бог знает где, в маленьком бараке. Две разные дороги. Необычность этого ощущения взволновала

меня. Не хотелось оставаться одной и возвращаться к неприятным воспоминаниям. Я сказала:

— Костя, прокати.

— Всегда пожалуйста.

И мы поехали. Степь блестела от росы. Промелькнула сопка. Она дымилась от рассвета, и мне показалось, что за ночь у нее выросли на вершине седые волосы.

Костины руки крепко держали баранку. Они были коричневыми от загара, с четко проступившими венами, с множеством заусениц на ногтях, в которые прочно въелся мазут.

В открытое окно хлестал ветер. Господи, как хорошо, что Костя пришел сегодня утром!

МОНОЛОГ ЮНОШИ

Возле барака лежал серый пористый камень, похожий на пемзу. Однажды Вовка Горелов, думая, что он легкий, с маху пнул его и запрыгал на одной ноге, заскулив от боли. Степа Лохтенко, ротозейничавший рядом, захохотал.

— Во-во! Я тоже к нему прикладывался! Значит, не я один дурак!

Вовка яростно погрозил ему кулаком. Степа залился от этого еще пуще. Наконец боль потихоньку отпустила, и Вовка захромал вокруг камня, с облегчением вытирая холодный пот со лба, потом схватил эту серую коварную булыгу и хотел отбросить, но хилые его руки не рассчитали тяжести, и камень вывернулся, чуть снова не придавив ногу.

— Слабак! — сказал Степа.— Вот как это делается.

Он хотел взять камень, как ядро, и толкнуть, но тоже ничего не получилось.

— Так, так... Неплохо. Можешь всю жизнь называть меня слабаком, если бросишь его хотя бы на два метра. Если нет, то я тебя буду звать более ласково — слабачок. Ладно?

— Ладно,— сказал упрямый Степа и снова взялся за камень, вытаращив глаза и покраснев.

Снова ничего не получилось.

— После трех попыток ты — слабачок. Хорошо? — не унимался Вовка.

— Отстань,— начал злиться Степа, неистово мусоля булыгу.

— Раз, два, три, четыре,— считал Вовка,— ну, хватит, надсадишься, слабачок. Пошли-ка лучше обедать, слабачок. Слабачок, слабачок, слабачок с кулачок,— дразнил он, как маленький.

— Заткнись лучше,— взбунтовалась в Степе отчаянная запорожская кровь,— заткнись, пока этой каменюгой по голове не стукнул.

— Но ведь ты же у нас силач, ты воду-то хотел выжать! Жми! А то подружимся! Слабачок слабачка видит издалека,— нарочно не замечал Степиной злости Вовка.

Тот взбесился и бросился на Вовку.

— Дурак! Бык бешеный! Не соображаешь, что ли?

На Степу это было похоже. Как-то он поспорил, что съест три первых и пять вторых. На третьем бифштексе стало ясно, что Степа заработает заворот кишок. Началась подначка, и, рассвирепев от предчувствия проигрыша, пятый бифштекс Степа швырнул в оппонента. За это Степу хотели побить, но обошлось, забылось, хотя при случае никто не отказывался «позаводить» его: уж больно легко это получалось.

На этот раз Степа быстро отошел и почувствовал себя виноватым.

— Давай спорить, Вовка. За полмесяца я этот камень одолею. На три, а то и на пять метров буду бросать. Спорим? На какое хошь прозвище?

— Начисто ты сдался!— все еще испуганно и зло отрезал Вовка.

— Серьезно, спорим? В глаза наплюешь, если не брошу.

Вовка опять отмахнулся. Степа уже «заработал» на малых оборотах.

— Не веришь, да? Не веришь? Или боишься? Знаю, знаю, очкарики все трусы.

Вовка, чтобы отвязаться и не затевать новую свару, согласился:

— Ладно. Спорим. Только отстань.

После этого Степа раз двадцать на дню подходил к камню, тужился над ним до обильного пота и, возвращаясь к бараку, обязательно ощупывал мускулы, довольно улыбаясь. Покрепчали, мол, и изрядно. Где-то сутки на шестые усиленного тренажа Степа стал ворочать камень еще и перед ужином.

И вдруг резкий, высокий, тревожный вскрик. Степа,

уронив камень, на коленях стоял над ним и, как говорящая кукла, коротко вскрикивал:

— А! А! А!

Потом схватился за живот и медленно повалился на бок, подобрал колени к подбородку и так, скрюченный, замер. Мы испугались, окружили его.

— Живот! Живот! О-о! — хрипло выдыхали белые Степины губы.

— Доигрался, гаврик!.. Твою так! — злым шепотом выругался Валька Капустин и побежал ловить Волгу, потому что Костя, как назло, уехал на ночь в Абакан.

Девчонки осуждающе посмотрели на Вальку, но, честное слово, мне нисколько не было жалко Степу, расплачивавшегося за собственную глупость.

Но над стонущими принято изливать сочувствие, и я молчал, не зная, что делать. Зато уж девчонки изощрялись в советах, предположениях.

— Сейчас бы пузырь со льдом...

— Пузыри давно исчезли, есть местная анестезия.

— Вот идиотизм, аптечки даже нет!

— Какая там аптечка! Срочно в операционную нужно...

— Степочка, милый, больно, да?

Валька подвел запряженную Волгу, послал девчонок за матрасом и сказал:

— Значит, так. Ты, Леха, и ты, Валерка, в темпе везите его на центральную усадьбу. Гоните проселком — там дорога помягче будет. Возвращаться без задержек, без вас спать не ляжем. Старший — Зарубин. Давай погоняй.

Ну, Валька! Он прекрасно знал, что мы с Лехой в контрах, смотреть друг на друга не можем, и пожалуйста, объединяет в отряд по спасению умирающего. Ну, Валька! Пока ходил, запрягал, быстренько придумал для нас поездку в воспитательных целях. Если бы не Степу везти, ни за что бы не поехал!

От барака до центральной усадьбы пятнадцать километров. Первую половину мы проехали вроде нормально: Степа легонько постанывал, облизывая пересохшие губы и закрыв глаза. Волга шла на редкость плавной рысью, колесный стук глох в пыли, плыли мимо сопки, и закат мягко скользил по их вершинам. Я сидел у левого края, для прочности взявшись за боковую слегу. Леху я не видел, потому что сидел к нему спиной. Леха правил, сочно чмокал и пощелкивал кнутом... Я злился, что

от меня нет никакого проку в этой телеге и что за Валькину блажь теперь расплачиваюсь неприятным соседством с Лехой. Я думал о нем, и казалось странным, что совсем еще недавно мы вместе смеялись, знали друг про друга все, и знание это связывало нас вроде бы так крепко. Я вспомнил, как Леха однажды говорил:

— Вот иногда про себя чего только не думаешь: и что ты самый умный, самый честный, самый талантливый. И то, что врешь, выкручиваешься — все это временами, пустяки, ступенька, чтобы стать хорошим. Ведь правда, бывает такое?

Леха тогда был грустен и нежен. Он сказал еще:

— Почему я перед тобой до ниточки душу выворачиваю? Говорю такое, в чем никому, никогда — под пыткой! — не сознался бы. Да, Валерка, хорошо, что находит вот так человек человека. А?

Я почувствовал, что он на самом деле искренен, что это бескорыстное признание и что Леха действительно любит меня. Я говорил тогда тоже путано и лирично, что-то вроде:

— Ты тоже много значишь для меня, Леха. Да, очень хорошо, очень, что мы нашлись. И давай уж всегда вот так — друг с другом только по большой честности.

Полно, уж не приснился ли мне этот разговор? И стыдно, что он все-таки состоялся. Стыдно, стыдно! Все вранье, минутное откровение, нечаянность, чтобы потом еще больше врать, подличать из-за плитки шоколада. Не будь того давнего признания, я бы так не мучился и не думал сейчас о Лехе с такой злостью и презрением. Непостижимо просто получается в жизни: вчера — друзья, сегодня — враги, везем больного Степу, молчим, кругом степь, сопки, закат, и будто никогда ничего не было хорошего.

Закричал Степа — протяжно, истошно; мы вздрогнули. Волга испуганно шарахнулась, а крик все продолжался, незатухающий, дикий:

— Больно-о-о-о...

Мы, не глядя друг на друга, наперебой спрашивали:

— Растрясло, что ли?

— Может, потише надо?

— Ну что, что? Потерпи, недалеко уже...

Он не слышал нас. Крупный пот дрожал на его бровях. Степа все сильнее поджимал колени, кричал... Стало страшно.

— Не гони! — не выдержал я.

Волга «сбавила скорость» до шага, мы очутились в оглушительной вечерней тишине, которую терзал Степин голос. Минута, другая, десятая. Крик. Без пауз. Нельзя же так! Степа! Не надо.

Неожиданно Леха начал орать:

Ехали цыгане с ярмарки домой, да домой!
Эх, остановились под яблонькой густой!

Он старался перекричать Степу, и я понял, что ему страшно. Я не мог слушать этот отчаянный, остервенелый вой и тоже закричал:

Эх, загулял, загулял, загулял
Парень молодой, молодой...

Волга понеслась, неистово мотая головой и фырча.

Когда мы въехали на центральную усадьбу, Степа бессильно тянул:

— Ы-ы-ы...

Потом мы сидели на больничном крыльце и ждали. Мы молчали и прислушивались, не закричит ли Степа.

Но было тихо. Я сказал:

— Только бы хорошо все кончилось.

Леха не ответил, но, видимо, думал об этом же. Наконец вышла толстая девчонка в белом халате и белых резиновых тапочках.

— Вашему Лохтенко повезло. Третий приступ аппендицита, но успели. Молодцы! Денька через два можете проведать...

Вечер исчезал, но все никак не мог исчезнуть, рассеяв по степи серый, призрачный свет, в котором еще было видно и дорогу, и рябиновый колок в овражке, и дальнюю сопку с тригонометрической вышкой на маковке.

А немного погодя появился месяц и каким-то образом умудрился поместиться у Волги под дугой и покачивался, покачивался, как елочная игрушка. Давно-давно я не чувствовал себя таким маленьким, счастливым, верящим в живую воду, говорящего Конька-Горбунка и хитрую улыбку месяца. Вдруг открылась в эту ночь и приняла меня страна детства, такая светлая и добрая.

Я улыбался возникшему чувству и думал: «Как хорошо, что со Степой все в норме, что его спасение — просто чудо, а чудо это устроили мы с Лехой Забуриным, который сидит рядом со мной. Мы не разговаривали с ним, и даже

недавно я ненавидел Леху, но, право же, какие это пустяки по сравнению со Степиным криком, его спасением, нашим отчаянным воплем. Черт знает, как жизнь умеет возвыситься над мелочами!»

Я засмеялся и взглянул на Леху. Он повернулся ко мне.

— Не будем, что ли, дуться? Как ты?

— Давай, Леха, не будем,— легко и весело согласился я.

Мы закурили. Степь сливалась с небом, и было такое чувство, что все начинаешь сызнова. Я думал, что вот как просто и славно получилось, без душераздирающих объяснений. Сдерживая радость, мы болтали о пустяках.

— Степа оклемается и — дуду! — домой!

— Да уж. Повезло как утопленнику.

— Ладно, хоть все в порядке.

— Ага.

Покурили, и Леха попросил:

— Свернем на ферму?

— Ты что! Валька взбесится. Ждут ведь...

— Ну, Валерка,— ласково тянул Леха,— на часок всего-то! Степа жив, здоров. Теперь-то уж не страшно. Давай, Валера?

Было бы свинством не согласиться после таких хороших минут.

— Давай. Но час, не больше.

Леха обрадовался и заорал:

— «Под горой, у реки, хуторочек стоит!» — Потом басом, горделиво выпрямившись, сказал: — И не забывай, дорогой, я тут старший. Хочу — помилую, хочу — нет. Право руля!

И мы свернули к ферме.

Там работала девушка Нина, с которой Леха неизвестно как познакомился: то ли на танцы специально ходил, то ли случайно разыскал тот хуторок. Наших девчонок Леха просто не замечал.

За полчаса мы добрались до фермы. Привязали Волгу к пряслу и пошли в сепараторную. Я зажмурился — так там было бело и ярко. За выскобленным столом сидели Нина, румяная и крепкая девушка, и пожилая тетка в марлевом платке, морщинистая, загорелая, с темными, бойкими глазами.

— Здорово, Нинок! Добрый вечер, тетка Маня!

Леха улыбался во весь рот, этак разухабисто и лихо, как гармонист на вечеринке.

— Здравствуй, здравствуй! Уж подождал бы первых петухов да являлся,— беззлобно сказала тетя Маня, перебирая какие-то коричневые корешки.

— Ой, не говори, тетка Маня. Промешкали, да вот на ночь глядя только и добрались,— этакой деревенской скороговорочкой засокрушался Леха, и я в который раз удивился неиссякаемому артистизму, с каким он врал.

Нинины щеки словно кто-то облил брусничным соком, она потупилась и исподлобья взглядывала на Леху. Он засмеялся.

— Нинок! Ай не соскучилась? А я, слышь, во сне тебя видел.

Притворялся Леха отменно.

— Ну да, видел! Балда такая,— низко, густо, ласково изрекла Нина и засмущалась еще больше.

— Тетя Мань! Есть охота — смерть! — округлил глаза Леха и свесил голову, как будто сил уже не хватало держать ее.

Тетя Маня погрозила пальцем и ушла в сенцы. Леха попробовал обнять Нину за крутые, могучие плечи, но она вывернулась, улыбаясь Лехе, и покосилась на меня.

Тетя Маня принесла две тарелки сметаны и две горбушки ноздреватого, с рыжей корочкой деревенского хлеба. Сметана была густой и холодной, как пломбир, мягко проскальзывала в горло.

Я наелся и понял: ничто больше в этом мире меня не интересует. Вообще мир — нереальность, проглядывающая сквозь туман сытости. Но все-таки я сказал:

— Леха, надо ехать.

— Подожди немного,— не замечая меня, равнодушно ответил он и снова стал смотреть на Нину.

Они поднялись оба и пошли к дверям.

— Леха, поедем. Скандал будет! — вяло бросил я вдогонку.

— Ладно. Сейчас поедем.

Тетя Маня обернулась ко мне.

— Матери-то пишешь?

— Пишу.

— Во-от. Это хорошо. Никогда мать не забывай... Лексей-то — дружок твой?

— Да.

— Он что, сирота? Детдомовский?

— Н...н-да,— чуть не проговорился я и подумал: «Это-то он зачем соврал?»

— Беда одному-то. Уж какой Лексей здоровый, а мне его так жалко, так жалко,— завздыхала тетя Маня.

— Ну, спасибо вам. Надо ехать,— сказал я, поднимаясь.

— Сиди, сиди. Что ж, думаешь, Нинка его так скоро отпустит? Светать начнет, вот и поедете,— устало зевнула тетя Маня и снова принялась перебирать корешки на столе.— Ты, парень, не томись. Располагайся вон в чулане, на лежанке. Отдохни маленько.

Я вышел на крыльцо. Холодный ветер с тонким присвистом летел по степи. Я поежился: если бы сейчас ехать, просквозило бы до костей. Ни ватников у нас, ни плащей. Бр-р-р!

На повети громко засмеялись Нина и Леха. Я пошел в чулан и брякнулся на теплый, уютный тулуп. Поплыли в глазах радужные круги. Все хорошо. Со Степой тоже порядок. На улице ветер. Мы свое дело сделали...

— Вставай! — будил меня Леха.

— Сколько?

— Шесть. Да вставай ты! Только-только к завтраку успеем.

С великим сожалением расстался я с теплым тулупом. В степи все еще сквозило, но небо было чистое, бледное, предрассветное. Я бежал рядом с телегой, пока не согрелся. Леха погонял и погонял, легкая усмешечка не отставала от его полных, сочных губ.

Километрах в двух от барака мы увидели человека, шагавшего по обочине. Знакомый рыжий плащ, высокие гладкие голенища сапог, огромная клетчатая кепка.

— Валька! — почти враз вскрикнули мы, и мне стало зябко и неуютно.

Валька услышал тележный скрип и остановился. Лицо его полыхало коричневым румянцем. Сапоги исхлестала мокрая трава, несколько зеленых листков прочно приклеилось к ним, и было похоже, что Валька шел по мелкому болоту.

— Уж не нас ли встречал? — беспечно-дрожащим голосом спросил я.

Валька не ответил, отобрал у Лехи вожжи и заорал на Волгу:

— Но-о! Обрадовалась, встала!

Ясно: Валька не в духе. Леха осторожно заговорил:

— Понимаешь, чеку по дороге потеряли. Пока наладили...

— Где? — спросил Валька.

— Что «где»?

— Чеку потеряли?

— У Крутого лога.

— Я там час назад был, ничего не видел.

Леха заерзал и отодвинулся. Я решил замять это очевидное вранье.

— В общем, со Степой все в порядке. Аппендицит, говорят, случай тяжелый, но выживет. Так что о'кей.

— Знаю. Я сейчас из больницы,— спокойно сказал Валька и огрел Волгу кнутом.

Мы быстро переглянулись с Лехой. Внутри, чуть повыше живота, что-то противно заныло, стало жарко шее, ушам, затылку.

Я представил, как Валька шагал всю ночь, под ветром, и думал разные ужасы про Степу, а возвращаясь обратно, психовал из-за нас. А ребята ждали, ждали нас и его. Ужас! Что будет?! И, совсем не желая этих слов, понимая их жалкий смысл, я неожиданно сказал:

— Вот, Леха, говорил же я...

Он холодными, злыми глазами посмотрел на меня, но промолчал. Показался наш барак. Леха подвинулся к Вальке.

— Ты не поднимай скандала. Ну, так уж вышло. Не базарь, ладно?

Валька остановил Волгу и, багровея, повернулся.

— Ты это мне?! Мне, сучонок? — Валька, не сдерживаясь больше, вытянул кнутом Леху по спине, отбросил кнут и огромной, тяжелой ладонью припечатал еще по шее так, что Леха заспотыкался и, в наклон, заработав руками, побежал.

Я съежился, решив, что Валька влепит сейчас и мне, но он, тяжело дыша, плюхнулся в телегу и дернул вожжи.

А Леха, видимо, ждал: Валька догонит сейчас его и добавит, поэтому сгорбился, зажав руками затылок, и тонко закричал:

— Хватит! Не буду, правда, не буду!

Мне хотелось бормотать какие-то оправдательные слова. Леха обернулся, увидел стихшего Вальку и вдруг погрозил двумя кулаками враз.

— Ты ответишь, рожа! Еще как! За что ударил?! Еще руки распустил, нашелся!

А я в это время говорил:

— Валька, мы действительно последние скоты. Это я виноват — не заставил Леху приехать вовремя. Так нельзя, я знаю. Скверно, очень скверно...

— Брось ты, не зуди...

И все же мне стало легче: великое дело — выговориться. И пусть Леха не психует. Когда-то надо отвечать за свои поступки. У барака он надулся, разрумянился больше обычного. Кивая на Вальку, глядя прямо перед собой, заговорил глуховатым, истеричным баском:

— Скажете, не свинство, да? Я мотаюсь всю ночь, а меня этот дуролом лупит! Он думает, я промолчу. Думает, раз бригадир — можно по шее! Знает: сдачи не дам — лошадиных сил меньше,— румяные Лехины щеки подергивались, подрагивали тугие складки на скулах.— Но при всех говорю: посчитаемся по-другому, Валька. Мне здесь больше нечего делать. Завтра, нет, сегодня же я уеду. С побитой мордой лучше дома. И вот там поговорим — не хочу этой целины, этого скотства, не хочу! Понятно?!

Ребята молчали. Я понял: никто не будет удерживать Леху, уговаривать — он быстро оценил Валькину горячность и безошибочно рассчитал: с целины можно сматывать, корча из себя оскорбленного.

Да-а, к Лехе не прикопаешься...

У Вальки были усталое лицо и усталый голос, когда он сказал:

— Точно, врезал я ему. За вранье, за дешевые его потроха. Знаю: права не имел. Но думайте, как хотите,— каяться не буду. Еще бы раз пришлось, еще бы врезал. Беги, пожалуйста, заявление пиши — пусть судят. И не пугай — я сам все напишу.

— И побегу. С такой рожей, как ты, не то что под одной крышей не хочу быть, а и... — и Леха, наплевав на девчонок, выругался зло и густо. Они заморщились, зашикали, но Валька остановил.

— Пусть. Пусть душу отведет. В дороге легче будет. Теперь нам с ним разбираться — вы уж не лезьте.

Я смотрел на Ленку. Вот она выпятила нижнюю губу и сдула со лба прядь. Эта привычка всегда мне нравилась: она делала Ленку какой-то простодушной и милой. «Эх, знала бы ты, как все скверно выходит»,— и тут мне показалось, а может быть, и на самом деле было так, что она поглядела на меня с брезгливой жалостью. Я отвернулся,

чтобы она не видела, как запрыгали мои губы. Я так возненавидел себя!

Потом я отозвал Леху.

— Ты в самом деле уедешь?

— Тебе-то что?

— Интересно.

— Иди лучше, стелись перед Валькой. У тебя неплохо получается.

— Но мы же виноваты, Леха.

— А по шее одному мне?

— Так вышло.

— Знаешь, Валера,— он глянул в упор, сумрачно, холодно, ожесточив, собрав в гузку большие губы,— неохота мне с тобой разговаривать.

— Ну, как знаешь...

Я провожал его до попутки по великолепной и чистой степи. Мы молчали. Было слышно, как скользит о сапоги репейник и где-то, невидимый, летит самолет. У сопки Леху ждала Фира. Она спросила: «Можно мне проводить тебя, Леша?» Он пожал плечами: как хочешь. Я не удивился Фириному появлению, я думал о Лехе и о себе и только спросил:

— Что ты обо мне думаешь?

— Ничего хорошего,— ответил Леха, поправив рюкзак, и они с Фирой пошли к проселку — маленькая Фира и большой, грузный Леха, мой бывший товарищ.

Какая грустная и пыльная полынь под ногами! Наверное, Леха хотел сказать, что я ничуть не лучше его. Это справедливо. Я стоял на сопке и видел, как далеко уже по степи шагали Леха и Фира.

Пусть у человека всегда имеется возможность, забрезговав скверно прожитыми годами, начать с любой секунды жить по-другому. Пусть! Меня это не утешало.

Я трамбовал силос в траншее, слушал патефон, а Вовка, Валька и другие ребята о чем-то говорили со мной, острили, долбались в «козла». Все было как всегда, и только Ленка не говорила мне даже «здравствуй». Как она презирала меня! Как не могла простить той давней поездки за молоком.

Я решил увидеть ее еще раз, по-настоящему: один на один. Я думал сказать Ленке, что глупо и совсем никому не нужно наше молчание, что я действительно ее люблю и

пусть она выходит за меня замуж. Я буду выписывать ей из Крыма цветы, я буду всегда, везде любить только ее.

Ленка должна мне поверить, и тогда я стану лучше думать о себе.

У барака Ленки не было, и я пошел прямо на кухню.

Там Ленку целовал белокурый Костя.

Ленка тихонько ахнула, увидев меня, и отвернулась от двери, безотчетно приглаживая волосы. Костя смущенно улыбался и смотрел мне в глаза. Что-то дрогнуло, зазвенело в висках. Надо было уйти, наплевать, застрелиться, а я сказал сдавленным хриплым голосом:

— Гх, гх... Очень мило. Секс-бомба на целине. Гх, гх... То мне, то ему. Ясно. Как говорят знатоки: перед ним стояла стерва.

Ленка снова ахнула и спрятала лицо в ладонях, а Костя спросил этаким шепеляво-блатным говорком:

— Што ты сказал, бобрина?

Удушающая злость подступала к горлу. Я мог снести этот барак и растерзать десятерых таких, как Костя.

— То, что ты — сволочь и дешевка!

Неуловимый, мгновенный прыжок. И я, как от удара кирпичом, брякнулся на землю. Вскочил, и снова — бац, бац! — будто не кулаком, а булыжником по скуле, по скуле, под глаз! Звенело в ушах, и стало страшно от нестерпимой боли. Костя стоял передо мной, тяжело вздыхая: «Ах ты, хмырь! Ах ты, гад!» Он ждал, когда я брошусь на него с ответным ударом, но я не мог пересилить боли и страха. Закрывшись руками, я повернулся и пошел прочь — в степь, в пшеницу. Упасть бы скорей и выть.

Не знаю, сколько времени я пролежал в пшенице. Плыла в глазах радужная рябь, и грохотало надо мной пронзительное одиночество, когда есть вот только степь и ты — отчаявшийся, растоптанный, никому не нужный. Я не плакал, не стонал, лишь горячо, со свистом дышал открытым ртом, желая раствориться в этой теплой земле, чтобы уж ни за что не отвечать, ничего не предпринимать, не доказывать, не оправдываться. Лежать и лежать безучастно!

Никогда в жизни я не дрался. Я стыдился признаваться в этом и в мальчишках и потом, повзрослев. Когда при мне заговаривали о драках, я прикидывался искушенным, многажды битым и многажды бившим человеком, с лихостью рассказывая пацанам о придуманных стычках и

потасовках. Сплевывая сквозь зубы, принимал стойку и небрежно говорил: «А я ему — терц! Терц!» А сам ни разу не дрался, потому что всегда казалось ужасным: как это кого-то ударить в лицо кулаком, в мягкое, увидеть дрогнувшие глаза? Но еще ужаснее представлять, как ударят тебя. Про себя я радовался, что никогда не дрался, что не бит, но почему-то, рассказывая байки о собственной храбрости и ловкости, я был совершенно уверен, распалив воображение, что при случае могу постоять за себя. Все-все так просто: перед тобой лицо, поднимай руку и бей. Пусть противно, но если придется, то придется (хотя втайне я надеялся, что никогда не придется). А сегодня надо было ответить, ударить, зубами грызть, но не сдаваться! А я не смог. И вот лежу в пшенице, понимая, что нельзя возвращаться в барак побитой собакой. Как смотреть в глаза ребятам, встречаться с Костей, с Ленкой? Я убью Костю! Убью. Иначе все бессмысленно.

Я сел, потому что пришедшая мысль приободрила меня. Да, убью. Он так или иначе пойдет к «могиле хакасского князя». Я подкараулю Костю на этой тропинке и камнем ударю по голове. Я приподнялся от мстительной, щемящей радости, представив, как он лежит на земле, в полной мере наказанный за сегодняшнее. Лучше бы дуэль, но нет пистолетов. Если на кулаках, то он сильнее меня, и мне не справиться. Нет, камнем, только камнем, чтоб знал, гад.

Но камнем — это же по-свински! Нет. Я просто дождусь его на тропинке и брошусь, повалю, растопчу. Ах, как больно он меня бил!

Вот и «могила хакасского князя». Я лег за бугром, земля была теплой, остро пахло сырыми листьями подорожника. Папиросы кончились, я лежал и уже тупо сожалел, что все так задумал. Напрасно я хамил Ленке, напрасно обозвал Костю. Может быть, они в самом деле любят друг друга. И что из того, что я тоже люблю? Надо было молчать, стать чище и лучше. Но все равно я не мог уйти от этого бугра.

Несколько раз проходили ребята. Смеялись, переругивались и не подозревали, что я совсем рядом. Это было странное ощущение: хотелось окликнуть их, пойти завалиться на нары, но неумолимое, уже угнетавшее меня упрямство не позволяло обнаружить себя.

Наконец на тропинке появился Костя. Я сразу узнал его, хоть и было темно. Он шел и насвистывал свою люби-

мую «Есть по Чуйскому тракту дорога». Он поравнялся со мной. «Ну же, ну!» — резко ухнуло вниз и заколотилось сердце. Я привстал, бросился на Костю и неловко ухватил за плечи. От его свитера слабо пахло бензином. Он метнулся вперед, вскрикнув:

— Кто там?!

Я пытался повалить его, но он вывернулся и через секунду прижал мои руки к земле, недоуменно, испуганно глядя на меня.

— Ты что, бобер? Ты что?

Я закрыл глаза.

— Эх ты! Чудило,— спокойно сказал Костя, все еще не отпуская рук. — Ну кто же так делает? Не бойся, бить не буду!

Я отряхнулся и попросил у него закурить.

— Держи,— Костя протянул сигарету.

Я закурил и, когда шли обратно, сказал ему тихо, и мне самому были противны эти слова:

— Не говори Ленке...

— Ладно...

МОНОЛОГ ДЕВУШКИ

Фира Медведева забастовала:

— Лена, ты не сердись, пожалуйста, но я не хочу больше чистить картошку.

— А что ты будешь делать?

— Я пойду на силос...

Мне смешно на нее смотреть, на ее косички, на худенькие руки. И я смеюсь.

— Ты же пионерочка, Фира. Ведь здесь кукурузный лист — и тот больше тебя. С тобой что-нибудь обязательно случится: или под машину попадешь, или в кукурузе насовсем потеряешься.

— Ты не смейся, Лена. Мне очень надо работать на силосе. Вот я не скажу зачем, а надо. Понимаешь?

Я не понимала и посоветовала Фире поговорить с Валькой Капустиным.

Фира поджала губы и умолкла на своем чурбачке. После ужина она остановила Вальку.

— Валя, назначь меня на силос. Очень прошу...

Он откровенно захохотал.

— Там же, Фирочка, машины, а не детский сад. Нянек там нет.

Фира, как днем, упрямо и звонко выговаривала:

— Как не стыдно, Валя? Я же очень прошу! Я же знаю, что там тяжело будет. Значит, мне действительно надо. Если, Валя, не поставишь на силос, я сегодня же ночью уйду на станцию.

Валька растерянно посмотрел на меня, а я только пожала плечами.

— Ну ладно,— сказал Валька,— как хочешь. Ну-ка, ну-ка, не вздумай реветь! Завтра на силос пойдешь.

— Я и не плачу,— счастливо прошептала Фира, сморгнув две огромные слезины.— Это у меня братишка всегда говорит, что у него слезки на колесиках. А я совсем-совсем не плачу!

Она легонько напевала остаток вечера, не замечая меня. На удивление быстро вымыла посуду, подмела пол и, наконец, великодушно посочувствовала:

— Ой, Лена, как же тебе трудно будет одной! Но ты не расстраивайся. Девочки помогут. Да и я после работы приду, поделаю что-нибудь. Мне тебя очень жалко, Лена.

— Спасибо,— серьезно ответила я, хотя и так в общем справлялась одна. Но Фира забыла об этом, она искренне радовалась завтрашнему дню.

В первый же день у Фиры случилась неудача. Она ровняла в кузове хлеставшую из раструба комбайна кукурузу. Фира сначала бешено тыкала в тяжелую зеленую струю вилами, но быстро устала. Минутка отдыха — и Фира уже по колено в мокром пахучем крошеве. Она отчаянно принялась разравнивать его руками, но поток опять опережал. За какой-то круг комбайн, как средневековый инквизитор, закопал Фиру по шею в прохладную зелень. Она отчаянно крутила головой и верещала, пока тракторист не услышал и не полез отгребать Фиру. Фира очень просила не рассказывать об этом позоре ребятам, но тот не удержался: уж больно ему смешно было, как «студенточку завалило». Ребята оказались безжалостными. Они сочинили, что выдергивали ее чуть ли не за косички, а она в это время будто кричала: «Ой, ой! Сапоги там остаются...»

Фира слушала насмешки с каменным лицом, у нее побледнел и заострился веснушчатый носик. Я удивлялась, почему Фира не плачет, и осторожно спросила, когда ложились спать:

— Завтра, может, на кухне останешься?

— Ни за что! Пусть, пусть им смешно. Я и к этому готовилась. Вытерплю!

И Фира уходила по утрам с ребятами в поле. Правда, Валька Капустин отправил ее на ямы, и больше Фиру не засыпало. Я уже перестала удивляться странному Фириному упрямству, когда случилась противная история с Лехой Забуриным и Валеркой. И вот тогда я поняла, что происходит с Фирой.

В тот день после завтрака я прибралась в кухне и присела на порог, не зная, что делать дальше. За углом барака кто-то разговаривал. Я узнала Фирин голос:

— Леша, ты не сердись на Вальку...

— Ничего, проживу,— пробубнил Леха.

— Надо было правду, Леша, сказать. И ничего бы не было. Но это все пройдет. Я же знаю. Правда, Леша?

Я представила маленькую Фиру в распахнутом ватнике, с прижатыми к груди кулачками.

Леха что-то промямлил.

— Леша, можно я тебе писать буду? Как мы тут живем. Чтобы ты знал?

— Как хочешь.

— Ты не сердишься, что я с тобой разговариваю?

— А чего ж сердиться-то?..

— И еще вот что, Леша. Я тебя люблю.

Молчание. Видимо, Леха совсем растерялся.

— Да! Люблю, люблю! Ты не улыбайся. Я в поле из-за тебя пошла. Ты хороший. Я знаю.

— Да уж,— вздохнул Леха.

— Нет, ты хороший. Ты добрый. Ты один не смеялся, когда я в кукурузе застряла...

— А я и не знал об этом...

— Я понимаю, Леша. Я такая нескладная. Ты можешь не обращать на меня никакого внимания. А я все равно буду, буду тебя любить! — восторженно и преданно звенел Фирин голос.

Я ушла, потому что и так слышала лишнее и надо было раньше подняться, но не могла — настолько поразило меня Фирино признание.

Мне стыдно, что я только себе отпускаю право на глубину и чистоту сердечных токов, мне завидно, что я не могу так самоотверженно любить.

Пшеница уже совсем пожелтела, и ребята говорят, что на дальних полях начали работать лафетные жатки. Я

хочу как-нибудь съездить туда и посмотреть, потому что никогда в жизни не видела их.

Я спросил у Вовки Горелова, что такое лафетная жатка, и он сказал:

— Пароходное колесо плюс маленький брезентовый конвейер и железное сиденье для машиниста. Колесо захватывает пшеницу, бросает ее на конвейер, и пшеница идет с него ровным таким валком на землю. Дозревать.

Почему все-таки жатка называется лафетной, Вовка не знал, но согласился, что звучит это по-боевому.

Хочу съездить и посмотреть на них, но если не успею, то все равно жатки скоро придут и на ваше поле. Уложат пшеницу в валки (смешно: будто уложить волосы), и тогда-то уж ребята встанут на комбайны. Интересно, как будут справляться.

Костя тоже ждет зерно и своих товарищей шоферов, которые вот-вот приедут. Он загнал «газик» в тень барака, достал из кабины серый брезентовый плащ и расстелил под машиной. Выложил на цветастую промасленную тряпку разные ключи, плоскогубцы, молоток и большой комок пакли, чтобы вытирать руки от грязи. Как-то ловко и незаметно нырнул под машину и, щурясь, застучал ключами, молотком, всякими гайками. Я вижу, как он хмурится, насвистывает, деловито и смешно оттопыривает губы, продувая гайки. Иногда Костя выбирается из-под машины и из маленького деревянного ящичка достает какие-то блестящие кружочки, резиновые пластинки. Он смотрит на меня и подмигивает, улыбается. Потом снова исчезает под машиной.

Я завидую Косте, его привычке с интересом заниматься будничным делом. Ну, что действительно хорошего валяться в такую жару под пыльной машиной и методично ковыряться в разных железках. А у него это получается так осмысленно, с таким вкусом, что хочется немедленно заняться какой-нибудь, пусть маломальской работой. И делать ее быстро, красиво, с интересом. Со смешной лихорадочностью я начинаю метаться по кухне, чищу кастрюли, мою пол, скребу громадным тупым ножом столы.

Отрывает от этой суеты Костин голос:

— Ленка, иди сюда.

Подхожу к машине. Он усердно протирает стекла.

— Давай помогай.

— Вот еще!

— Подруга ты или не подруга?

— Знакомая.

— Ну, добро. А когда мы с тобой подружимся, поеду я в твой город. Хату, конечно, никто нам не даст, и тогда я оборудую семейный автофургон. Утречком ты просыпаешься, а автомобиль уже стоит у самого твоего университета. А?! Здорово?! То-то! — хохочет Костя, но я чувствую, что смех какой-то ненатуральный. Чересчур громкий, словно Косте неловко и он старается скрыть эту неловкость.

— Разговорчики,— хмурюсь я.

— Ленка, помоги-ка вот здесь.

Я наклоняюсь, и Костя чмокает меня в щеку.

— Дурак!

Но злиться совсем не хочется.

— А что я тебе вечером скажу — закачаешься,— Костя связывает веник из полыни и не смотрит на меня.— Соображаешь?

— Нет,— сказала я и заторопилась на кухню.

«Наверное, предложит выйти замуж,— подумала я.— Даже обязательно предложит. Он ведь самостоятельный человек, и всякие романтические недомолвки ему не нужны».

Я почувствовала тревожную, размягчающую усталость. Вот пожалуйста: тебе предложат в полное распоряжение чужую судьбу, а ты...

Я не знала, что отвечу. И даже не потому, что здесь Валерка и не пережитые воспоминания о нем, а просто никогда в жизни мне ничего еще не приходилось решать серьезно. Говорят: «Как подскажет сердце». Чушь какая! Подсказывает голова. И даже в любви.

Я крикнула Косте:

— Ничего не говори вечером, ладно?

Он не ответил. А может... может, Костя собирался сказать что-то другое. А я, самоуверенная дура, уже успела напридумывать бог знает что!

От безжалостного стыдливого жара я не знала куда деваться.

Но, к счастью, о худших наших мыслях другим ничего не известно, и я потихоньку успокоилась, суетясь над праздничным обедом.

Ох, уж этот праздник! Когда мы с ребятами придумали отметить враз несколько именин и первый рабочий аванс, все казалось просто. Костя съездит за вином и редкими

лакомствами, типа колбасы и арбузов, в Абакан, а мне в помощь выделят Светку Крыленко и Вовку Горелова, и втроем мы запросто управимся. Первая половина плана осуществилась блестяще: Костя сел за руль, пересчитал деньги и привез то, что надо.

Вторая часть операции происходит так: я одна ношусь по кухне, одна бегаю и за дровами, и за водой, а Светка Крыленко лежит в тени под телегой. Она, видите ли, обиделась, а поэтому считает, что можно не работать. У-у-у! Я дрожу от злости, но принципиально не хочу заговаривать первой. Элементарная наглость с ее стороны. Все получилось из-за патефона. Среди вороха эстрадных песенок мы привезли пластинку «Вариации Грига». И сегодня Светка захотела часок побыть меломанкой. Она раз двадцать ставила Грига, ахая и охая в пространство. Но после началось:

— Ты послушай, Ленка, это место! Удивительно!.. А вот это, наверное, фиорды, сумрак, вечер.

Вовка Горелов, понимающий толк во всем серьезном, терпеливо слушал. По-моему, Светка перед ним и выламывалась. Но мне надоело.

— Ах, Светочка, сейчас бы в концертный зал имени Чайковского! Ах, а там бы живой Рахманинов! — сказала я гнусаво и томно.

Светкины щеки обожгло кипятком возмущения, она нервно дернула плечами и в скорбном молчании улеглась под телегу.

Жалобного Вовкиного взгляда я не стала замечать, потому что ненавижу, когда до одурения чем-нибудь восхищаются: природой ли, музыкой. Красота, по-моему, разжижается от неумеренных восторгов, а молчаливое поклонение, наоборот, цементирует ее. Конечно, я не очень-то смыслю в классической музыке и вечно сомневаюсь, когда ее объясняют: вот здесь, мол, композитор изображает рассвет, а здесь — грусть по любимой. Мне в этих местах почему-то мерещатся треугольники, круги, пирамиды большие и маленькие. Но не в этом дело. Просто не надо ахать над красотой, как над рублем, найденным в книжке перед самой стипендией.

Ладно. Пусть Светка дуется и лежит под телегой. От этой несправедливости мне жалко себя. Жалость помогает взобраться на вершины самоотреченности: лежи, лежи, Светка. А потом придешь на готовенькое, каково тебе будет?

А на Вовку Горелова я не злюсь, хотя от него тоже толку мало. Утром он провернул мясо, а потом сказал:

— Знаешь, Лена, как-то надо оформить этот вечер. Так сказать, в духе традиционного студенческого юмора. Шуточки на плакатах написать, изречения. А?

Вовка, интеллигентно оттопырив мизинцы, поправил очки и ушел сопеть над ватманскими листами.

Часа через три он показал первую продукцию: плакаты со славянской вязью: «Веселие на Руси есть питие» и «Подливайте, товарищ сосед!» Вовка довольно посматривал на меня, но я холодно изрекла:

— Академизм, дорогой Вова. Все равно что: «По газонам не ходить» и «У нас не курят». Уж слишком скрупулезно ты шутишь.

Вовка нахмурил свой умный лоб.

— Может быть. Может быть, ты и права, Лена. Надо подумать.

Думал он долго. Наконец принес «Двенадцать застольных параграфов». Я успела прочитать только: «О кзыл шербет!», «Ты не прав, пьяница» и «Ох, уж эти студенты!» — как приехал Максим Петрович. Он устал. Его широкое лицо хмурилось, отчего клин подбородка пропадал в тяжелых, нависших складках щек.

— Костя где? — спросил Максим Петрович.

— Уехал куда-то...

— У-ух! Так и знал.— Он тяжело опустился на лавку.— Дай-ка попить, Леночка!

— Здравствуйте, Максим Петрович,— оскалился Вовка Горелов и стал приторно кланяться.

— А-а! Приятель, который за вежливость. Как живешь? — Максим Петрович исподлобья посмотрел на Вовку.

— Вы хотели спросить: живете?

— Как тебя по отчеству-то?

— Вы хотели спросить: как вас?

Максим Петрович махнул рукой и жадно припал к кружке с водой. Потом снова спросил:

— Куда же Костя пропал? Прямо от рук отбился, как к вам прикрепили.

Вовка с мстительной улыбкой перебил:

— Что, больше кричать не на кого? Раз подчиненный — обязательно на глазах вертись, да?

— Нет, почему же. Была бы охота — на вас душу от-

вел. Но некогда, понимаешь, некогда,— мы засмеялись вместе с Максимом Петровичем.

Вовка мучительно соображал, что бы такое позаковыристее ответить, но Максим Петрович уехал.

Мы веселились вовсю, потому что выпили вина и поели разных вкусных вещей. Никто не критиковал Вовкины плакаты, и стало смешным присловием и правилом ежеминутно повторять: «Ох, уж эти студенты!» Ляпнет кто невпопад, и суматошный, беспричинный смех: «Ох, уж эти студенты!» Досмеялись мы до бессильного, щекотного похохатывания.

Да, висели Вовкины плакаты, стояли праздничные столы, и мы сидели во всем нарядном, смешливые, обветренные и немного пьяные. Вспомнили Степу Лохтенко, который уехал неделю назад, и выпили за его живот, чтобы он стал прочным, как банковский сейф. И вообще за то, чтобы все хорошо было не только у Степы, но и у всех нас.

Меня позвал Костя, настойчиво потянул за руку.

Мы отошли в темноту.

— Ленка, что я тебе скажу,— зашептал он и вдруг крепко, крепко поцеловал.— Ты не бойся. Я никогда не подведу. Днем-то, слышь, что я надумал...

— Нет, нет! Молчи! — испугалась я и убежала в комнату.

Фира поет тоненьким, хрупким голоском. Она не видит меня и поэтому скорбно морщит беленькие брови, стараясь петь как можно искреннее и печальней.

Фира поет, и деревянный, пожелтевший от времени и зерна совок челноком ходит в ее руках. От бурта к транспортеру, от транспортера к бурту. Фира сейчас у нас героиня, потому что наконец нашлось дело, с которым она справляется легко и умеючи.

Около нашего барака выросла громадная гора зерна, похожая на хакасскую сопку. Я только на минуту представила, что вот не Фире, а мне пришлось бы перекидать эту гору на транспортер старым деревянным совком. Представила — и ужаснулась такому занятию, потому что мне оно кажется нескончаемым. Мне всегда страшно, так же как перед экзаменами прочитать все сто пятьдесят книжек, значащихся в обязательном списке, если я не вижу близкого конца дела.

А Фире не страшно. Она подходит, маленькая, к громадной горе, берет свой совочек, включает транспортер — и пошло. Зерно сыплется с транспортера пульсирующим неровным дождиком час, два, три. А Фира поет тоненьким голоском, и мелькают ее руки. И я часто думаю, что в героев превращаются такие вот люди, как Фира. Они не раздумывают, много или мало надо сделать, они просто делают. Терпеливо и с какой-нибудь песенкой. Поют, поют, и смотришь — пирамида готова, завод загудел, и, пожалуйста, вы свидетели трудового подвига.

К нам приехали шоферы, и наши ребята уступили им свою половину. Валька Капустин немного похмурился и потом собрал девчонок.

— Как это ни прискорбно, придется спать в одной комнате. Люди мы взрослые и понимаем что к чему...

Светка Крыленко ехидно перебила:

— Это как так?

— Ну, ты, ладно, — смущенно нахмурился Валька, — понимаем, что выхода нет. Так что давайте без всяких ойканий и монастырских ужимок. Без ложного стыда всякого... Как туристы или альпинисты...

В этот вечер все долго не ложились спать, много хохотали, чересчур громко и часто без всякого повода. Все нашли какое-нибудь занятие: одному непременно захотелось перешить пуговицы у телогрейки, другому — побриться, третьему — просто пошататься по комнате. Один Вовка Горелов тихо и смирно сидел на краешке нар и, сняв очки, дремотно помаргивал на лампочку. Вовка очень уставал на копнителе и вечерами вяло ел, разговаривал. Разомлевший от нестерпимой дремоты, Вовка наконец спросил:

— Так это... Как мне раздеваться-то? При всех или за дверью? Или вы отвернетесь?

Кто-то тонко-тонко хихикнул.

— Давай так, Валька же говорил, что мы — туристы. Хочешь — в одежде, хочешь — без нее...

Вовке было лень вдумываться в эти слова; он хотел спать. Вовка согласно кивнул головой и начал стягивать рубашку.

Пунцовеющим голосом Светка Крыленко зашипела:

— Что же это такое, а? Вот никогда не думала, что Вовка такой нахал! Фу! — и Светка с грохотом понеслась к двери, хотя весь день работала с Вовкой на одном копнителе и тот даже на обед не надевал рубашку.

Вовка виновато заморгал и, стянув сапоги, полез на нары так, не раздеваясь. Положение спасла Клара Бутова. Она всплеснула руками отчаянно, весело и просто, как это умеют делать мудрые работящие матери, у которых семья не меньше тринадцати человек.

— Да что вы, ребята! Давайте ложиться спать! Ребята пойдут покурят, а мы в это время устроимся. Давайте, шагом марш, мальчики! Завтра чуть свет на работу.

Мы облегченно загалдели, не испытывая больше неловкости. Уже в темноте, когда Валька Капустин докурил на пороге папиросу и приказал: «Теперь всем спать»,— решил сострить Валерка, протянув полусонным, бесцветным голосом:

— «И труд, и ложе делим вместе».

Комната тихонько рассмеялась, а Фира повернулась ко мне и прошептала:

— Лена, почему все смеются? Разве Валера сказал что-нибудь смешное? Я тоже где-то читала эту строку...

Я промолчала, и Фира подумала, что я уже сплю.

Утром ребята уехали с первой машиной, а девчонки задержались. Помогли мне вымыть посуду, убрать со стола. Фира сразу же села за письмо — она писала матери каждый день. По две странички, крупными буквами, выведенными химическим карандашом. Каждый раз Фира чуть-чуть взбрызгивала бумагу, чтобы казалось, будто она пишет чернилами.

Фирино письмо подсыхало на столе, когда в него заглянула Светка Крыленко. Светка фыркнула, побагровела, а потом захохотала. Каждый звук у нее получается отдельно, будто она нарочно выкрикивала: «Ха! ха! ха!»

— Девочки, девочки! Фирка-то что матери пишет: «Здравствуй, мамуля! Главная новость: теперь мы спим с мальчиками...» Ха! ха! ха! — оглушительно выстрелил Светкин голос.

Фира рассердилась. Она поджала губы «на замок», как это делают в детской игре «молчанка». Фира взяла письмо и звонко сказала Светке:

— Чего ты смеешься, Света! Что ты нашла смешного в письме? Ведь я написала правду! Мама же еще не знает, что мальчики переехали в нашу комнату. Ты скажи, Света? Это нехорошо смеяться и не говорить, над чем смеешься. Почему вы смеетесь? — изумленно и гневно обращалась Фира уже к нам.

Мы растерянно переглянулись, но никто не решился объяснить Фире, почему мы смеялись.

Точно так же нам было неудобно после случая с телеграммой Лехи Забурина. Она пришла из Омска. Леха сообщал, что он вторые сутки ничего не ел и у него нет денег добраться до Свердловска. Мы развеселились, получив телеграмму, потому что показалось очень забавным: человек сбежал с целины и вдобавок еще застрял где-то. Этаким транзитным лоботрясом слоняется по омскому вокзалу. Больше всех смеялся Валька Капустин.

— Ну дела... Жрать Лехе нечего, и какая-нибудь сердобольная старушка угощает его черствыми пирогами. Участливо спрашивает Леху: «Куда же это ты, сынок, путь держишь?» А Леха вгрызается в пироги и урчит обиженно: «Да с целины, бабка, бегу...» Ну дела-а... — посмеивался Валька, и мы поддержали его.

А Фира сказала:

— Валя! Лешке ведь очень больно сейчас. Мы здесь вместе, а он один. Мы работаем и уже зерно стали возить, а Леша даже не увидит, сколько его соберем. Думаешь, Валя, он не понимает? Думаешь, Леше легко без нас ехать? Не надо смеяться, Валя,— звонко рассуждала маленькая Фира, и Валька перестал посмеиваться. Он помрачнел и стянул с головы свою рыжую, старую-старую кепку, которую ребята звали «аэродромом». Мы собрали в эту кепку тридцать рублей, и Костя отвез их на почту, на центральную усадьбу.

Я подумала, что Фира вступилась за Леху не только из-за своей любви к нему, а потому что каким-то десятым чувством поняла: тяжело сейчас не Забурину в частности, а вообще человеку, впервые наказанному в жизни. И это делало Фиру мудрее, взрослее нас и естественнее. Она походила на крестьянскую девочку, с детства приученную к здравому смыслу и состраданию. Про зерно Фира, видимо, тоже говорила не зря. Однажды я видел, как Степан Федорович, совхозный бригадир, долго стоял у бурта и пересыпал зерно из ладони в ладонь, и чему-то улыбался. Он, видимо, думал об этом зерне, и оно напоминало ему о всяких случаях из жизни. Я после попробовала так же, как Степан Федорович, пересыпать зерно, чтобы понять, о чем думал бригадир и чему он улыбался. Зерно было сухое и теплое, и желтая струйка была беззвучна, как время, отсчитываемое песочными часами. Белый па-

лет от степного ветра пристал к каждому зернышку, и от этого казалось, что мои губы тоже обветрили, и хотелось попить холодной воды.

Больше я ничего не испытывала и так и не поняла, чему улыбался совхозный бригадир Степан Федорович, пересыпая зерно из ладони в ладонь. И, наверное, долго еще не пойму. А Леха Забурин уехал и никогда этого не поймет.

Фира может петь и думать у своего транспортера о любви и о жизни, а я устала!

Если бы кто знал, как я устала. Надоело все: супы, каши, ребята, эта суета вокруг страды. Не пойму, что мне надо. Вот Валька Капустин до смерти хочет отобрать знамя у отряда из «Теплого ключа» и нам не дает из-за этого покоя: будит чуть свет, понукает, тормошит. Вовка Горелов вдруг заделался механиком и все грозит собрать старое динамо и на прощальном банкете ослепить настоящим электрическим заревом. Светка Крыленко, как всегда, щебечет что-то ультраоптимистичное. А мне все это неинтересно, и, наверное, поэтому устаю еще больше.

Сейчас у меня такое чувство, словно я пришла провожать кого-то на вокзал и жду не дождусь, когда прозвенит третий звонок и поезд тронется. И вот наконец-то отправление. Я испытываю страшное облегчение, но, когда остаюсь одна, с поднятой рукой, вдруг начинаю завидовать уехавшим. Уходящий поезд, голый, неуютный перрон; дальняя дорога, которая не для меня,— все это странной болью отдается в сердце. За семафором возник прощальный гудок. Ах, что же я молчала, отчего не уехала?

Мою усталость заметил Валька Капустин. Он спросил:

— Ты чего как вареная?

— Да нет, тебе показалось...

— Сгорбилась, как старуха. Ногами шаркаешь. Вон, равняйся на Фиру. Работает, как машина, и песенки поет.

Для меня давно уже смешались день и ночь, и иногда кажется, что я круглыми сутками не отхожу от плиты. Так получается потому, что надо кормить и ребят, и шоферов, и комбайнеров. Сначала я каждого встречала, для каждого грела еду заново, но поняла, что так вообще угроблюсь.

К часу ночи с поля приезжают почти все. Мне помогают вытащить оба котла под навес, на наш длинный, сколоченный из толстых досок стол. Котлы ставим рядом

с открытым патефоном, и, если помогает Вовка Горелов, он обязательно заводит заигранную «В парке Чаир», и под ее шипение я ухожу спать.

Далеко за нашим бараком на небе появляются две узкие полоски — черная и розовая. Это где-то за лесом начинается утро.

Я хочу быстрее заснуть, но долго ворочаюсь и прислушиваюсь к стуку молоточков в висках.

Слышу, как приезжает толстый, добродушный, с седой щетиной на щеках Павел Филимонович Сырков. В его кабине наверняка спит Валерка, сморенный бешеной работой на комбайне.

Павел Филимонович растолкает сейчас Валерку:

— Приехали, паренек.

Иногда я жалею, что мы с Валеркой в ссоре. Уж ему-то я могла пожаловаться и на усталость, и на скуку, и вообще на все. Не Косте же об этом говорить: сам-то он почернел от работы и, определенно, не поймет, как мне тяжело.

Павел Филимонович тоже заводит пластинку с песенкой из индийского фильма.

Муль — мультина — тик,
Мульмультин,—

неестественно тонко поет певица, и Павел Филимонович добродушно ухмыляется.

— Ишь, запищала...

Все. Сплю! Стихают молоточки в висках, враз уносится в бледное небо тоненький голосок: «Муль-мульти-и-и...»

Павел Филимонович Сырков из той же автоколонны, что и Костя. Он приехал позже всех шоферов и сразу всем нам понравился. Достал из кабины два большущих арбуза и принес на кухню.

— На-ка, дочка, угостишь своих хлопцев...

Его щетинистое лицо было так добродушно, так весело блестели капельки пота на залысинах и крупном ноздреватом носу, с таким пантагрюэлевским спокойствием колыхался под синей спецовкой живот, что я засмеялась, как маленькая девчонка, встретившая на улице циркового клоуна.

Павел Филимонович тоже обрадовался.

— Ишь ты, какая девка славная! Ишь, смех-то за каждым зубом прячется. Давай-ка, записывайся ко мне в дочки, а?

В это время на кухню заглянул Костя. Увидев Павла Филимоновича, он хотел уйти, но тот притянул его за рукав.

— Коська, сынок! Нехорошо. Старых друзей забываешь...

— Кучерявая жизнь пошла. Все некогда,— ответил Костя.

— А я тебе тут невесту приглядел. Хошь, сосватаю?

Я покраснела, и он засмеялся еще сильнее.

— А-а! Да вы тут без меня, видно, договорились! Молодец, Коська!

— Не дури, Павел,— нахмурился Костя и вышел.

— Ладно-ладно. Пошутить нельзя, сразу — как порох, — с лукавым смирением заговорил Павел Филимонович.

Потом помог мне разжечь плиту. Он так сильно дул, что шея стала малиновой, а в печке, по-моему, задвигались здоровенные березовые поленья.

— Ух, тяжело стариком быть,— отдувался он, поднимаясь.— Я вам что, Леночка, скажу. Коська действительно мировой парень. Мы уж с ним, наверное, больше пуда соли вместе съели. Так что знаю,— добродушно гудел Павел Филимонович.

Вскоре он совершенно освоился на стане. Покуривал, похохатывал с ребятами, всем улыбался, всем помогал, и мы стали звать его дядей Пашей.

Однажды наши только что уехали на работу, как появился Костя. Он почему-то пришел пешком. В новеньких, хрустящих и блестящих сапогах, в двубортном коричневом костюме, на груди сверкала «молния» голубой тенниски. Костю словно окунули в чан с одеколоном — так он невообразимо благоухал. Лицо непривычно окаменело и посолиднело, губы со значением поджаты.

— Господи, Костя! Дай я тебя разгляжу как следует.

Он остановился и неторопливо покашлял в кулак.

— Это какой такой одеколон?

— Это духи «В полет»,— не своим, сдавленно-деревянным голосом сказал Костя и снова застыл.

— Что с тобой? Разыгрывать собираешься?

— Елена, бросай кухню. Пошли на пару серьезных слов.

— Куда?

— Тут рядом.

Мы пошли от барака вправо, по тропинке, проложенной в высокой и сухой полыни. Тропинка взбиралась на невысокий, заросший густой травой бугорочек с одиноким коряжистым кустом боярышника, на котором еще много было желтых листьев и красных перезрелых ягод. Костя шел впереди — степенный, прямой, важный. Что еще за новости?

— Погляди-ка сначала одну вещь,— он откатил из-под куста большой белый камень. Под камнем пряталась яма, выложенная свежей соломой.

Я неосторожно нагнулась и больно укололась о твердый и острый шип боярки.

— Ой! — вскрикнула я, схватившись за щеку, но тут же еще раз ойкнула, теперь от удивления: на соломе лежали три маленьких лисенка с мокрыми черными носами. Они смешно шевелили ими и тихонько повизгивали.

— Прелесть!

— То-то,— сказал Костя, отставив ногу и важно постукивая папиросой по новенькой пачке «Казбека».— Вишь, какие махонькие. Погладь, пока мать не прискочила.

Я послушно погладила, но, спохватившись, резко встала:

— Что все это значит?

— Зоопарк в командировке,— мелькнула прежняя, дурашливая, лихая Костина улыбка, но он тут же согнал ее и снова стал важным и степенным.— Обожди. Погляди еще кое-что,— и протянул тетрадный листок.

«Заевление. Прошу уволить меня после страды по семейным причинам. В прозьбе прошу не отказать».

— Ты собираешься уезжать?

— Да, вот еще погляди.

— Сберкнижка?! Зачем?!

— Погляди, погляди, не убудет.

— Ну... пятьсот рублей тринадцать копеек.

— Во! Видишь?

— Да. Но что...

— Елена! Значит, я... это... сватать пришел.

— Сватать?! Ой, не смеши!

— Какой смех! Ты что, Ленка? — всерьез обиделся Костя.

— Нет... Но... Как же так?!

— В просьбе прошу не отказать,— снова сквозь солидность проглянул прежний Костя.

— Кстати, в «просьбе» пишется буква «с»,— для чего-то сказала я. — И «заявление» — через «я».

— Ленка, мигом исправлю! Счас за ручкой сбегаю.

Я представила, как возвращаюсь с целины с Костей, являюсь домой и знакомлю с мамой: «Мой муж». Обморок, шок, инфаркт! Да и вообще все это смешно, и я не могу сказать «да».

Наклонив голову, отвернувшись от Кости, стала рвать боярку. Костя взял за руку и повернул к себе.

— Боишься, да? Смеешься? — Исчезли все его сватовские замашки, и он стал таким же, как в первую встречу на абаканском вокзале.— Юзом по гололеду? А я мечтал — вот она, исключительная деваха! Эх ты, носорожиха...

Костя ушел, а я осталась. «Почему же носорожиха? Почему?»

Просто не знаю, как иногда бывает скверно на душе!

Сначала Валерка, потом Костя. Ну что они пристали со своей любовью? Надоело. Оставьте меня в покое! Только бы мучить своими переживаниями: «Ах, я плохой, но люблю. Ах, я хороший, и ты еще пожалеешь». Надоело, надоело, надоело! Быстрее бы кончилась эта страда, хочу к маме, хочу чистоты, тишины. Книжку бы интересную читать на диване, сидеть на лекциях, ходить по асфальту, вообще сделаться бы маленькой-маленькой, играть в «классы» и лапту и ни за что не отвечать...

МОНОЛОГ ЮНОШИ

Мы часто думаем о несбыточном. По-моему, это неплохо. Когда мой комбайнер Федор Струнько и штурвальный Венка Тящин по утрам смазывают комбайн, я ухожу к ближайшей копне, чтобы не слышать Венкиного мата, заваливаюсь в хрусткую солому и начинаю мечтать.

Я воображаю, что стал обладателем пятитонного реактивного грузовика.

Никто не знает, что он реактивный, что ему не страшны самые разбитые дороги и что он никогда не требует ремонта. Я бесшумной тенью проскальзываю мимо уполномоченных ГАИ, и все удивляются моей ловкости, феноменальной быстроте, с которой я выполняю любое поручение. С начала страды я изъявляю желание возить зерно на элеватор. Делаю по тысяче рейсов в день. Я помогаю всем целинным землям досрочно вывезти зерно и становлюсь Героем Социалистического Труда. Ленка после вручения мне ордена и медали подходит и гладит желтую прохладную звездочку Героя. Потом она садится в кабину реактивного грузовика, и грустный блюз, звучащий в приемнике, заставляет Ленку расплакаться. Она плачет оттого, что неосмотрительно предпочла Костю мне, и раскаяние ее глубоко и искренне.

Я лежу на хрусткой соломе и понимаю, что мечтаю о несусветной чепухе, в которой никогда никому не признаюсь. Но вот странно: у меня даже щеки начинают гореть, когда воображаю, как меня награждают звездочкой Героя и как ко мне подходит Ленка. Я по-настоящему переживаю этот момент, будто сижу в кинотеатре и смотрю фильм про себя.

Я закрыл глаза, и мне показалось, что хлебный, вечный запах соломы — желтого цвета. Над полем, над всем миром плывут его густые солнечные волны. И нет-нет да улыбаются жаркие, как терновник на летних полянах, Ленкины глаза...

Вообще я думаю сейчас о Ленке и о Косте со странным спокойствием, как человек, поднявшийся утром на высокую гору и вдруг обнаруживший, что маленькие дома внизу, легкий туман в яблонях, друзья и враги — все это прекрасно и неповторимо. Человеку становится грустно, он дает себе слово там, на горе, что с сегодняшнего дня не будет больше мелким в ссорах и радости, а будет мудр и участлив и никогда не станет унижать себя ложью.

Несколько раз, глядя на Костю, я пытался разозлиться: «Ненавижу, ненавижу! Ух, как я его ненавижу!» Но странно: от этих молчаливых заклинаний я не приходил в ярость. Будто не мне рожу побили, а кому-то другому, хотя отчетливо, до мелочей, я помнил тот день и вечер, когда задумал отомстить Косте. Очень странно. Может, у меня атрофировались какие-то нервы, возбуждающие самолюбие, честь и волю? Но, наверное, все-таки виновата

усталость. Вкалываем в последнее время до одури — зерно, зерно, зерно! Так что для посторонних мыслей не хватает места.

Меня поднимает голос Венки Тящина:

— Эй ты, хрен моржовый, пошли работать!

Он легкий, тоненький, белобрысый, с синей наглостью в глазах. Я поднимаюсь и иду за Венкой.

Венка не может без мата. Он даже здоровается и то обязательно с присловьем. Примерно это звучит так:

— Здорово! Так твою в корову.

Когда на комбайнах стали работать наши девчонки, Венка сдержаннее не стал. Он по-прежнему матерился, но после каждого залпа солидно добавлял:

— Извините, девочки.

Мы бежим с Венкой по полю, потому что Струнько не любит ждать, и сейчас, даже не окликнув нас, махнул трактористу и поехал. Венка на бегу начал ругаться и, вскочив одним махом на мостик, размахивает кулаками перед носом Струнько.

Я тоже цепляюсь за подножку и лезу на свой копнитель, где мне знакомы каждая щель в досках мостика и каждая зазубрина на поручнях. Выдергиваю вилы, втиснутые в пространство между стеной копнителя и мостиком, и жду, когда побольше навалится соломы.

Венка все еще бушует перед Струнько, а тот и голову не повернет. Его долговязое тело походит сейчас на сплющенный треугольник, острая вершина которого напрочь припаялась к поручням. У Струнько длинная шея с огромным кадыком, на голове замызганная ушанка. Одно ухо у нее повисло крылом и на каждой выбоине презрительно помахивает перед Венкиным конопатым носом. Струнько вытянул кадыкастую шею и одной рукой полегоньку поправляет штурвал.

Струнько всегда молчит и работает как вол. Мне иногда во сне даже видится его треугольная фигура, застывшая на мостике,— так она примелькалась. Ест он на скорую руку, остальное время, до глубокой ночи, не оставляет комбайна.

Венка ненавидит Струнько. Об этом я узнал совершенно случайно. Однажды, когда Венка торчал у меня на мостике и курил, Струнько обернулся и махнул мне рукой: иди-ка, мол, сюда. Я перебрался.

Он молчал, легонько поигрывая штурвалом, и неот-

рывно смотрел на иглы подборщика. Потом подтолкнул меня:

— Вишь, кочка...

Он повернул штурвал на себя, и хедер прошел над бугорком. Струнько повернул штурвал в прежнее положение.

— Понял? Кочки — на себя, ровно — от себя. Держи...

У меня вспотели руки, и я судорожно вцепился в штурвал. Через минуту подборщик зацепил землю. Но потом пошло нормально. На повороте Струнько отобрал штурвал. Вспотевший и возбужденный, я сказал громко:

— Интересно!

Струнько ничего не ответил и уже не замечал меня. Я потоптался немного на мостике, надеясь снова ощутить в руках непривычную и приятную тяжесть штурвала. Но бесполезно. Я вернулся к Венке.

— Ты не очень-то с этим гадом якшайся, — зло сказал он.

— Почему?!

— Этот кобель кадыкастый — сосланный бандеровец. Третий год в совхозе.

— Ты чего? — испугался я.

У Венки побелели губы и глаза. Он чуть не трясся от ярости.

— Ничего. Батька моего бандеровцы ухлопали,—с ненавистью промычал Венка.

Я ничего не сказала ему, да Венка и не нуждался в моих словах. Он курил и курил, странно притихший.

Я не успел обдумать Венкину новость, потому что с другого конца загона мне махал шапкой Вовка Горелов. Мы придумали с ним соревнование, чтобы не было так скучно мотаться по полю. И раз Вовка махал шапкой, значит, он считал себя победителем.

Значит, я зазевался, потому что Вовка выигрывал редко.

В первый день на копнителе Венка объяснил мои обязанности:

— Солома сыплется — ты ее вилами ровняй. Как до трубы доровняешь, жми на педаль к таковской матери. Давай!

Солома хлестала тугая, обильная, с диким напором. Я ворочал вилами что есть силы, но через какие-то секунды солома, как пена из пивной кружки, поперла из копнителя. Соломенный шнек захлебнулся и подозрительно затрещал.

— Жми!— услышал я Венкин крик. Я нажал на педаль осторожненько, как будто открывал плевательницу в кинотеатре «Гигант».

Шнек затрещал сильнее. Тогда я топнул со всего размаху, и крюки, сдерживающие решетку, отскочили. Желтая глыба копны легко осела на землю. Теперь я решил быть хитрее. Я не дожидался, пока опять затрещит шнек, а давил педаль как можно чаще.

Прибежал Венка.

— Ты что, как сорока с проводов поносишь! Смотри!

Я оглянулся: ветер шевелил по всему полю жиденькие ошметки моих копенок.

— Копны надо по ниточке ставить. Как солдат перед парадом. Кто за тобой будет по всему полю бегать да по охапке собирать?— объяснял Венка.— Волокушами же сгребать будем. За один ряд зацепим и весь его в стог. Понял?

Через два дня у меня стало получаться. Вовка, с его методичностью и вдумчивостью, освоил дело быстрее и стал издеваться надо мной.

— Хлебороб ты, Валера, отчаянный,—говорил он при встречах.

Я спокойно сказал ему:

— Давай, кто дальше копну протянет?

— Давай,— засмеялся Вовка.

Парень я все-таки длинный, и руки у меня длиннее Вовкиных, поэтому мне легче было трамбовать солому. Я тянул до предела, до тех пор, пока верхушка копны не коснется шнека, и стукал по педали. А потом злорадно рассматривал Вовку, изо всех сил суетящегося на мостике; но когда копна перерастала его, Вовка покорно вываливал солому. И ряды наших копен походили на квадраты шахматной доски: Вовка не дотягивал до меня метра два-три.

Он несколько дней назад жаловался, что ночью долго не может заснуть: все время затекают руки, и ощущение такое, будто их валунами гранитными придавило. Но все равно смешно смотреть на Вовку, на его чудовищные варежки, сшитые им самим из старых носков, на шелковый шарф с пальмами и яхтами, почерневший от грязи.

Этакий профессор на субботнике.

Иногда я жалею Вовку и жму на педаль пораньше. Обгоняя мою копну, Вовка ликует: машет шапкой, кор-

чит рожи, истошно орет, но не слышно что — из-за ветра и тракторного рева.

К вечеру мы застряли: лафетчики по-идиотски косили здесь, и несколько рядов валков лежали против хода комбайна. Струнько нахохлился, ушел далеко вперед и, вернувшись, пробубнил:

— Давай, студент, потихоньку иди, разворачивай валки. Быстро согреешься...

Я в самом деле задрог от остренького вечернего ветерка и поэтому сначала ворочал валки чересчур быстро, так что запыхался и вспотел. Никогда не думал, что охапка колосьев такая тяжелая! В лицо постоянно тыкались колкие пузатые колоски, и их усики, забравшись в нос, заставляли оглушительно чихать.

Вскоре меня догнал Венка.

— Видел? Старый хрыч-то боится меня. Даже не посмотрел в мою сторону. Тебя послал. А то бы я ему сказал сейчас,— с довольной улыбкой говорил Венка.

— Что?

— Нашел бы что. Не пьешь, не куришь, вкалываешь что надо. А я душой, мол, чувствую, что ты недобитый бандеровец. Сука, мол, ты! Вот кто!— Венкин голос то потухал в колосьях, то снова злился на все поле.

— А я, Венка, не могу на него злиться. Не получается...

— Понятно-о, — тоненько выкрикнул Венка,— не твоего ведь батька-то убили. А моего, моего! Понял?

— У меня тоже с войны отец не пришел...

— Ну и что? — сказал Венка. — У многих не пришли. Да вот кто их убивал — те далеко. А у меня этот гад под руками ходит.

Мы замолчали. Совсем стемнело, и сзади помаргивал циклопьим глазом комбайн. В луче света золотой ежик стерни казался легкомысленным и нереальным.

Венка вдруг спросил:

— Валерка, ты темноты боишься?

— Не знаю. Не думал.

— А я боюсь. Мне все время осенью из сенок страшно выходить. Выйдешь да вдруг потеряешься. А?

— Не знаю, Венка.

— А-а-а... — протянул Венка.

Я остался ночевать у комбайна. Тракторист Вася заглушил мотор и закрылся в кабине до утра. Я забрался

в копнитель, до половины забитый соломой. Сначала было холодно, но потом я согрелся и задремал.

Венка со Струнько варили похлебку. Комбайнер стоял перед огнем на коленях и, вытянув шею, сдувал пену с котелка. Венка сидел, кутаясь в рыжий, поистертый до крайности тулуп. Очнувшись, я услышал, как Венка негромко пытал:

— Федор, ты моего батька убил? Ты скажи, скажи. Я ведь все равно узнаю... Слышишь, Федор, из обреза, наверное, стрелял?

Струнько уже не дул на котелок, но все еще стоял на коленях.

— Сынок, не убивал я!.. Верь не верь — не убивал!..— хрипло и ласково сказал Струнько.

Его кадык черным воробьем дернулся на экране костра.

— Ну, режь меня, рви на части — не убивал, — мучился голос Струнько.

Получалось, что он на коленях просит Венку.

Я не мог спокойно лежать и заворочался. У костра замолчали. Венка еще глубже спрятался в тулуп.

Под мелким холодным дождичком мы возимся с Венкой у комбайна. Струнько и тракторист Вася ушли в кузницу — чинить какую-то шестеренку.

Венка правит иглы подборщика, а мне сунул в руки тавотницу:

— Давай шприцуй. Где увидишь отросток с шариком, туда и дави. Понял?

Отростков этих не счесть, солидол почему-то не проходит на них и зеленовато-коричневыми мармеладинами падает на землю. Я говорю Венке:

— Это как макароны продувать. Бессмысленно. Видишь, все наружу льется.

— Ничо, ничо, шуруй, — покрикивает Венка, — ты без смысла жми. Чо-нибудь, да и внутрь попадет.

Он в замызганном свитере, резиновых сапогах, ежеминутно озабоченно швыркает, а когда надоедает, вытирает нос промасленной паклей. Мазутные усы уже до ушей.

Мне страшно не хочется мокнуть, и я бочком, бочком пытаюсь проскочить к ближайшей копне.

— Куда?! — как на лошадь, орет Венка...— Ну-ка, нука! Бери ветошь и протирай машину, — он упоен властью и уж ни за что не допустит филонства.

— Дождь же, Венка. И так все смоет. Что ты пристал? — начинаю я злиться.

—Машина любит сверкание, — повторяет Венка струньковскую поговорку. — Разве не слышал, что труд — это радость? — азартно швыркает он и подмигивает. С козырька у него текут ручьи.

Я улыбаюсь.

— Что же ты, Венка, для Струнько своего так стараешься? Странно.

— Не трепись, рожа. Работу с ним не мешай. Понял?

— А меня зло берет, что в дождь надрываемся. Могу я позлиться или нет? — нервно спрашиваю я.

— Хоть зубами скрипи. А только дождь кончится, а у нас все готово. Понял?

— Нет, — голос у меня начал дрожать, — хорошо вы тут живете. Роскошно. Я могу вам еще пятки чесать, в порядке шефской помощи. И в дождь сверкание получать. Я все могу. Город селу все сделает. Только дождичек лучше переждать, — и я решительно направился к копне.

— Ну и пошел к таковской матери,— сказал Венка.— Понаехали... комсомольцы... добровольцы... Зараза! — ворчит он вдогонку.

Я зло плюхаюсь в копну и закуриваю. Минут через десять приходит Венка и садится рядом. Чумазый, насмешливый. Впервые замечаю, что веснушки у него даже на ушах.

— Дай-ка закурить, хрен моржовый!

Папиросу вытягивает из пачки зубами, чтобы не измазать маслом.

— Ты комсомолец, Венка?

— Ну!

— А почему так материшься? — наивненько спрашиваю я, желая отомстить за «добровольцев» и за «заразу».

— Ругаться никто не запрещает.

— Как же! Для комсомольцев это позор, — значительно нахмурившись, говорю я. — Запросто могут выгнать.

— Ну да! У нас все ребята ругаются. И батька мой ругался.

— А ты должен быть сознательным.

— Не держится.

— Вот так раз! — строго и солидно продолжал я. —

Бросать надо матерщину. Газет не читаешь. Там ясно сказано: у комсомольца недостатков не бывает. А ты лаешься, как извозчик. — Венка не понимает, что я разыгрываю, и смущенно признается:

— Несколько раз бросал. Не получается.

— Признаешь, значит, что виноват? — мрачно гляжу на него.

— Да, конечно...

— Распустились тут... комсомольцы... добровольцы... зараза! — ворчу я, подделываясь под Венкин голос.

Он недоуменно таращит глаза, понимает, что его «купили», смеется, крутит головой:

— Ну, брат... Даешь... Вот даешь!

А мне вдруг страшно захотелось попытать Венку вопросами в стиле Вальки Капустина, этак прямодушно, прямолинейно, вообще прямо. Не каждый же день в конце концов об этом разговариваешь.

— Венка, а зачем ты в комсомол вступил?

— Как зачем? Что я, рыжий, что ль?

— Нет, серьезно. Зачем?

— Ну, надо было — и вступил.

— Что значит «надо»? Какая тебе разница: в комсомоле ты или нет? Что так, что этак — у комбайна бы возился. Правда?

— Ну?

— Не нукай. Можешь ответить?

— Чего привязался? Вступил и вступил!

— Ты на кого походить хотел?

— То есть как?

— Ну, в заявлении ты что написал? На Кошевого, на Чайкину или на Матросова?

— Ни на кого.

— Значит, просто в передовом отряде захотелось быть, да?

— Да не писал я так!

— Ну, а что ты написал?

— Вот привязался! «Написал, написал»! Что Васек, то и я...

— Какой Васек?

— Кореш мой. На С-100 который. Вот на той неделе ко мне приходил.

— Не помню. А что он написал?

— Что он? — Венка вдруг приподнялся и, рубя рукой, скороговоркой продекламировал: «Трактор степь распа-

шет — новая земля. Мне без комсомола, ну, никак нельзя!» Вот что! Васек сам придумал. Понял?

— Понял. А почему ты по-своему как-нибудь не написал?

— Да иди ты! Разве лучше Васька придумаешь? — изумился Венка моей тупости.— Васек — вот такой законный парень. Нынче весной у нас, знаешь, распутица была — ни проехать, ни пройти. В Старом логу вообще мертвое дело было — «МАЗ» и тот садится. А возить-то все равно надо. Что делать? Три недели в Старом логу стоял и всех вытаскивал. День и ночь. Все успели до сева к нам завезти. Так я Ваську жратву носил и на тракторе маленько учился, — с гордой небрежностью сказал Венка.

Мы замолчали.

Я вспомнил: нас принимали в комсомол целым классом, перед ноябрьскими праздниками. Старшая пионервожатая Вера Маркова каждый день разучивала с нами Устав и каждый день строго напоминала:

— Ребята! Чтоб мне ни одной двойки! Двоечникам в комсомоле делать нечего. Смотрите!

Рекомендации всем дала тоже Вера Маркова и совет дружины. Забыл, что я чувствовал в день приема, но зато отлично помню: учителя оставались после уроков, консультировали двоечников, то есть почти решали за них задачи и писали диктанты.

На бюро меня попросили рассказать биографию.

Я сказал, что родился в таком-то году, в четвертом классе был звеньевым, а в шестом выпускал стенгазету.

Потом меня спрашивали, сколько у комсомола орденов и за что дан каждый из них. У меня была хорошая память, и я легко ответил на этот вопрос. А вот Паша Зябликов чуть не запурхался. Его спросили, что такое демократический централизм, и Пашка пыхтел, уцепившись за четыре слова: «сверху донизу, сверху доверху». Но все-таки его приняли. Так мы стали комсомольцами.

Я представил, как Венка шлепал по весенней грязи к своему Ваську, как они радовались друг другу, как чисто было небо над черной, парной землей и как пахло снегом от первых ярких луж. Я представил все это и вдруг остро позавидовал Венке. Мне бы так ходить к Старому логу, черт возьми. Да тоже бы к законному парню, сочинителю, работяге, хохмачу...

Снег выпал неожиданно ночью и был мягким, рассыпчатым, идиллическим. Он намылил верхушки сопок и чистенькой веселой шкуркой лег на поля. Валки снег закрыл не полностью, они показывали желтые бока, и было похоже, что кто-то поджарил на поле гигантскую глазунью.

На горизонте клубилась сиреневая мгла — это уходили снежные тучи, а над ними уже морозно светило солнце. С утра мне приварили снежком синяк под глазом, и я сидел в бараке, прикладывая мокрые холодные шарики из снега, и надеялся, что в такую погоду работать не будем.

Но приехал дядя Паша.

— Специально за тобой, паренек, послан. Струнько злится, требует тебя срочно, потому что Венка на копнитель не встает.

Я пошел к машине, удивившись безлюдью около барака.

Оказывается, все уехали, пока я возился с синяком.

Дядя Паша говорил по дороге:

— Страсть любил в снежки играть! Выскочишь на улицу в одной рубашке и — айда лупить направо и налево. Холодок по пузу ползет, а голове жарко. Вольно так, распрекрасно себя чувствуешь!

Дядя Паша улыбается воспоминаниям и подмигивает в зеркальце моему синяку.

Комбайн наш потихоньку работал, орали воробьи над березовым островом посреди поля, проклевывалась латунная стерня из-под белого снега, угрюмый Венка пыжился у штурвала, а Струнько шел впереди и вилами отряхивал валки. Он не обратил на меня внимания, и я, щуря отмеченный синяком глаз, принялся за работу.

Так прошли два часа. Солнце, войдя в силу, превратило снег в миллионы капель. Струнько махнул Венке рукой, и тот дернул проволоку, ведущую к сигналу в кабине Васи.

Мы встали, потому что надо было подождать, пока земля обсохнет. Приехал Валька Капустин и привез «молнию».

Он велел Вовке прикрепить ее к решетке копнителя.

Валька совсем не мерз: кепка на затылке, телогрейка нараспашку. В ковшике промасленных ладоней горит спичка, от которой Валька прикуривает очередную, десятую с утра, папиросу. Он окутался дымом, деловито и крепко высморкался и сказал:

— Вот, значит, дух приехал поддержать, а то закоченеете.

Валька, единственный из нас, штурвалит, и здешние механизаторы с ним разговаривают с мужицкой серьезностью, без той шутливой снисходительности, которая ежедневно перепадает на нашу долю.

Каким-то образом Валька стал на «ты» с Максимом Петровичем. Они часто цапаются из-за разных бригадных дел. Один орет, другой орет — кажется, вот-вот подерутся. А они — раз! — и договорятся. Видимо, потому и на «ты» перешли, чтобы легче ругаться было. А то на «вы» лаяться как-то неудобно.

Вот позавчера Максим Петрович приехал вечером и заявил:

— Валентин, завтра забираю машины из-под комбайнов. Переводи ребят на свеклу.

— Еще чего выдумал?! — сказал Валька. — И не подумаю.

— Ну и черт с тобой! Будете бездельничать.

— Ну да! Лучше и не пытайся. Выходим на комбайны.

— А я сказал: заберу машины!

— А я в райком поеду!

— Ну, Валентин. Зерно, зерно же! Когда мы его отсюда на элеватор перевозим? — стал убеждать Максим Петрович, тыча рукой в сторону буртов с пшеницей.

— То-то и оно, что зерно! — сказал Валька. — Мои-то гаврики должны почувствовать, что это такое. А? В кои веки поймут, а ты — «машины заберу»!

— Черт с тобой, — махнул рукой Максим Петрович и уехал.

Мы работали на другой день на комбайнах.

Я думал о Валькиных словах насчет зерна, и мне представилось, что вот эти желтые бурты, желтый дождичек над бункером комбайна не просто хлеб, а нечто громадное и необъятное: и вся степь, и Венка Тяцин, и Костя, и Валька, и тысячи других, неизвестных мне людей!

В «молнии», которую привез Валька, горячо приветствовался агрегат комбайнера тов. Струнько, который, «несмотря на капризы природы, продолжал бороться за урожай».

Валька покуривал, пока все читали «молнию». Венка отошел от нее и срывающимся голосом сказал:

— Валентин! Ты мою фамилию вычеркни!

— Это почему? — удивился Валька.

— Я рядом с бандеровцем значиться не могу!

Валька растерянно огляделся. Я увидел, как покорно ссутулился Струнько на своем мостике.

— Не дури,— хрипло сказал Валька,— вы же здорово работаете...

— Вычеркни, говорю! К чертям собачьим! — Венка тряс белым, острым кулаком перед Валькой.

Валька совсем растерялся. А Струнько задумчиво и печально сказал:

— От холера! Знает хлопчик, как язву солью присыпать. Неужели ж на роже у меня написано, что я гад и можно со мной, как с поганой собакой, обращаться? От холера... — глубоко вздохнул Струнько, а мне стало больно смотреть на него. — Давайте робить, хлопцы. — Но сам не сдвинулся с места, а сощурившись, глядел на дальний лес. — Столько натерпелся, — тихо, словно не нам, пожаловался Струнько.

Он дернул проволоку, подавая Васе короткий, тоненький сигнал, похожий на вскрик. Вася включил первую скорость.

На дальнем поле мы остались одни: Вовкин комбайн перегнали к соседям в «Теплый ключ». Теперь я просто коченею от скуки на своем мостике: некому помахать, покричать, не с кем поиграть в «кто дальше копну протянет».

К нам ходят две машины: Костина и дяди Пашина, но они задерживаются на пару минут, не больше — чтобы только принять бункер. Струнько не может позволить себе такой роскоши, чтобы машины ждали.

Ползет по полю наш комбайн, березовый остров недосягаемо далек — я все посматриваю на него: там конец страды и бесчинствует холодный, упорный ветерок. Я попрыгиваю на мостике, вспоминаю стихи и песни, но теплее от этого не становится. И так изо дня в день — без всяких перемен.

Но сегодня случилось невероятное: Струнько простоял полтора часа. А вышло вот что. Ближе к обеду примчался на мотоцикле какой-то дядька из совхоза и долго трясся по кочкам рядом с комбайном, что-то крича. Ветер и трактор мешали разобрать слова. Струнько посматривал на мотоциклиста, но сигнала не подавал, пока не прошли гон.

Дядька совершенно охрип от крика.

— Федор, имей совесть! Ору, ору, ноль внимания. Давай слазь, поехали!

— Куда?

— Литровку ставишь? Не прогадаешь.

— Э! На дурня хочешь поймать?

— Ладно, Федор. Поехали. Там бумаги на тебя пришли. Айда быстрее в правах утверждаться, — широко улыбнулся дядька.

— От холера, от... — запричитал Струнько, для чего-то стянул свой малахай, потом бросил его и начал вдруг охлопывать себя по карманам, — от холера, спички подевались куда-то...

— Айда! Ладно, потом накуришься,— торопил дядька.

Струнько пошел было к мотоциклу, но, словно спохватившись, подбежал к Венке, который стоял у трактора и ковырял сапогом землю.

— Сынок, богом прошу, поедем со мной. — Струнько, вытянув шею, склонился над Венкой, и ветер шевелил его спутанные, отросшие за страду седые волосы. — Сынок, не откажи. А?

— Чего ж, поехали, — сказал Венка. — Ладно.

— Федор Петрович, я бы тоже с вами, — попросился тракторист Вася.

— А я не против, хлопец. Спасибо тебе скажу.

И они поехали. Венка с Васей в коляске, а Струнько поместился сзади мотоциклиста.

— Через час вернусь! — крикнул нам Струнько, когда они уже тронулись.

— Позагораем, — сказал Костя, выпрыгивая из кабины. Он достал книжку и залег в копну.

Вскоре появился дядя Паша. Узнав, что случилось, он заулыбался:

— Вот и подвалило Феде счастье. Орден теперь в самый раз получит. Это уж как пить дать — столько уж он хлеба-то добыл. Вот видишь, паренек, как подобру-то все славно получается.

— Павел, — позвал его Костя, — ты меня не теряй. Промнусь малость. В Балагановку до магазина сбегаю. Бутылягу про запас возьму,— он подмигнул мне и заулыбался, потом вдруг нахмурился и покачал головой: смотри, мол, у меня, не балуйся. Чего это он заигрывает? Забыл, что ли, о той сваре? Может, я только придумываю черт знает что, а на самом деле просто? Было и прошло?

— А ты почему пешком-то? — спросил дядя Паша.

— Да тут пара километров. Пройдусь. А то геморрой наживешь не ко времени...

Мы остались одни. Дядя Паша для чего-то заглянул в трактор, взобрался на мостик комбайна, а потом сел рядом со мной.

— Скучаешь? Но-о... Не стоит. Скоро в город вернетесь. Там веселья поболе будет. А нам уж здесь век вековать.

Дядя Паша снова пошел и оглядел трактор.

— Паренек! Чего нам с тобой скучать?! Давай на малых оборотах похлеборобствуем.

— Как?

— Я в трактор, ты за штурвал — авось бункер насобираем. Все зря время не пропадет.

— А вы умеете?

Дядя Паша засмеялся.

— Я ж водитель-механик. На бульдозере когда-то рычаги тянул. Вот ты-то не боишься ли?

— Мне Струнько один раз показывал, — сказал я, почувствовал, что очень хочется самому постоять за штурвалом.

— Я тебе включу, а ты не зевай.

— Ладно.

Мы потихоньку поехали, дядя Паша ежеминутно поглядывал в заднее окошечко и благодушно улыбался мне. Я весь сжался, расставил ноги, ожидая какого-то невероятного события: то ли случится землетрясение, то ли комбайн сейчас перевернется и раздастся оглушительный взрыв. Я слишком часто и судорожно перебирал штурвал, так что дядя Паша погрозил пальцем.

Но ничего не происходило. Зерновой шнек, как всегда, с пренебрежением выплевывал пшеницу. «Будто девка семечки на завалинке грызет!» — подумал я и успокоился.

Потихоньку, как праздничный шар водородом, наполнялся я торжествующим чувством: «Сам, сам, сам!» Никто не видит, не знает, не слышит, а я добываю зерно, кручу штурвал. Работящий и молчаливый. Прыгает, вертится, покоряется земля, и у меня горят уши. «Ура, ура знаменитому хлеборобу Валерке!»

Я горделиво вытянулся на мостике, небрежно цвиркая сквозь зубы, мужественно перекатывал из угла в угол папиросу, как вдруг трактор встал.

— Все, паренек. Круг сделали, — дядя Паша подошел к мостику. Седая обильная щетина на его щеках светилась благодушием. — Вот видишь, за полчаса бункерок набрали.

Я, разочарованный, спрыгнул на землю. Все еще горела голова и гулко, радостно колотилось сердце, не желая освобождать меня от чувства всесильности, гордости и еще от чего-то, о чем не расскажешь.

Дядя Паша ссыпал зерно в кузов и сказал:

— Я мигом сейчас отброшу.

— Ага, поезжайте, — тоном уставшего победителя разрешил я и закурил, во все глаза рассматривая комбайн, на котором только что работал.

Дядя Паша действительно обернулся очень быстро. Выпрыгнул из кабины, спросил:

— Коська не возвращался?

— Нет.

— Теперь, брат, мы с тобой герои, — похлопал он меня по плечу. — Тимуровцы. Феде-то пока не сказывай. Пусть нечаянностью этот бункер будет.

Потом вернулся Струнько, притихший, растерянный, с непонятной улыбочкой на губах. Будто ему было неловко, что он ни в чем не виноват и приходилось столько людей понапрасну вводить в заблуждение. Он сказал:

— Давайте робить, хлопцы.

Венка забрался ко мне на мостик, покурить.

— Ну что?

Он затянулся, с силой постучал кулаком по поручню.

— Э-эх!..

Я увидел, как у него покраснели глаза.

Вот как это случилось: черные прутья берез змейками врезались в бледное небо, под деревьями тускнели гильзы листьев, будто осень только что ушла со стрельбища, и маленький ежик перебегал поляну в красном берете из листа. Я хорошо видел ежика, потому что комбайн подошел к самому березовому острову посреди поля. Я оглянулся, провожая ежа, и удивился — сзади осталась только соломенная проволока стерни. Ни справа, ни слева — нигде не было валков. Я перегнулся через поручни, заглядывая вперед. Мы убирали последний желтый поясок, которым был подпоясан березовый остров. Все. Последний круг!

Я завертелся на мостике от нетерпения, от жгучего желания скорее посмотреть — как это кончается страда? Равнодушно ворчал трактор. Венка невозмутимо пыхтел папиросой.

Все. Комбайн встал. Я спрыгнул прямо через поручни, как прыгают с машины, и с сияющей рожей бросился к мостику комбайна. Струнько с хмурым удивлением посмотрел на меня. Никто из них не прыгал и не визжал от радости.

Струнько вытер тряпицей руки и сошел с мостика спокойно, будто собирался пообедать или подтянуть болты. Тракторист Вася дожидался Струнько и солидно, со значением произнес, подавая руку:

— С благополучным тебя, Федор Петрович!

— Угу,— буркнул Струнько,— отробились, слава богу.

Он сел прямо на стерню и, как в музеях смотрят интересные картины, рассматривал свой комбайн. Вася задумчиво сидел рядом и, сцепив на коленях руки, жевал соломинку.

Венка складывал тулуп и говорил:

— Хочешь, приезжай сегодня в баню. Я мамке с утра наказал топить. Хочешь? Я тебе на гармошке поиграю...

Я проглотил комок и сдавленно сказал:

— Спасибо, Венка...

Он с удивлением посмотрел на меня и, видимо, заметил мои покрасневшие глаза. Ухмыльнулся и засопел, стягивая тулуп веревкой.

Потом Венка сказал:

— Рад, хрен моржовый, что отмаялись? То-то! Это тебе не в соломе мечтать, грезы-мимозы, — но материться Венка не стал. — Ладно, Валерка. Давай я тебе проводы устрою.

Он взял лопатку с мостика и стал окапывать ближнюю копну. Потом присел на корточки и чиркнул спичкой. Копна запылала вольно и жарко.

— Ишь, как порох, —удовлетворенно приговаривал Венка, и я заметил в его синих бесстыжих глазах детский восторг, словно при виде интересной игрушки.

Копна скоро догорела, и пепел зазмеился белыми и красными червячками.

— Вот так-то, хрен моржовый, — сказал мне на прощание Венка.

Я не стал ждать машины и пошел напрямик через

поле. Сухо трещала стерня, и сухими ручейками осыпалась земля. Я шел, распахнув телогрейку, потому что стало жарко.

Приезжал директор совхоза. На грузовике с открытыми бортами стояли застланная красной материей тумбочка и знамя. Было похоже, что приехали за каким-то почетным покойником и сейчас его будут выносить.

Директор стоял возле тумбочки у знамени в пыльных сапогах. У него было усталое лицо. Он сказал речь:

— Товарищи студенты! Хлеборобское вам спасибо и поклон. Мы очень довольны вами. Теперь езжайте и учитесь спокойно. И не забывайте Хакассию. Она вас тоже не забудет.

Мы гаркнули «ура!», и директор, вздрогнув, смущенно улыбнулся. Потом он называл наши фамилии и поздравлял персонально. Он жал всем нам руки, неловко наклоняясь с грузовика. От частых поклонов лицо у него стало красным и сердитым.

Пришли знакомые нам машины, но с красными плакатами и с толстыми скамейками. В кузове, в щелях между досок, застряло много зерен. Тех самых, которых мы перевозили горы.

В Абакане, на вокзале, я подошел к Ленке. Она ела арбуз, и от сока у нее почернел пушок на верхней губе. Я спросил:

— Что же теперь-то будет, Ленка?

— То есть?

— С нами. С тобой и со мной?

Она смотрела на меня холодными глазами:

— Ничего. Ровным счетом ничего.

— Ты ждешь Костю?

— Я никого не жду. Никого, никого! — У Ленки посмуглели щеки, и что-то дрогнуло в ее удивительных глазах. Она, конечно, ждала Костю.

Мы с ним так и не заговорили, так и не помирились... Ну и пусть! Ладно.

Сейчас его ждала Ленка. Что ж! Я отошел.

Когда дали первый звонок, я снова разыскал Ленку. Она стояла у окна и все время смотрела на вокзальные двери. Было пусто и грустно: Ленке никогда не будет до меня дела.

Я тоже стал смотреть в соседнее окно. Дали отправ-

ление, а Кости не было. Ленка крепко сжала стальную перекладинку со шторкой.

Поезд пошел.

Мы проехали переезд, где давно я расставался с Семеном. Мы проехали и домик, где жил Семен. Он сколачивал что-то во дворе и даже не поднял кудлатой головы.

1963



ЗАБЫТЫЙ СОН

1

Утром в день свадьбы Трофим Пермяков с завидной точностью поспешил на службу, хотя никто бы не укорил его за предусмотренный законом отгул. В обед отсиделся в конторе, мучаясь жениховским своим положением: любого встречного приглашай к столу да еще улыбку из себя тяни — изображай душевное довольство. В предсвадебной суете он видел досадный сбой всего прежнего хода жизни, такого обстоятельного и размеренно-плавного.

Конторские знали нрав Трофима и не приставали с веселыми расспросами о свадьбе, не связывались, — пошлет куда подальше.

Но с Дальнего озера пришел за ондатровыми капканами Иван Фарков и, дорвавшись до райцентровских запасов водки, с утра колобродил в конторе — в полный голос ругал директора промхоза, главбуха, приемщика пушнины, но вдруг, без перехода, сменил гнев на милость, всех зауважал, занежничал и, конечно же, сунулся к Трофиму:

— Слыхал, слыхал, Трофимушка! — Черный, мордатый, здоровый Фарков неожиданно прослезился. —

Прошла молодость-то, прошла! Уж я ли не парень был — не стало. И тебя, Трофимушка, сегодня пропьем. Ох, пропьем, не пожалеем!

Трофим упер глаза в стол, сухое, бледное, длинное лицо порозовело.

— Распишусь, тогда и с поздравлением лезь. А пропить, Ваня, без тебя пропьют. Завтра опохмелиться приходи.

— Но-но-но! Не зажимай! — Фарков погрозил толстым грязным пальцем. — А я те, Трофимушка, гостинцу привез. Сохатинка-свежениика, хошь, шашлык жарь.

— Не нужен мне твой гостинец. Иди проспись лучше, не разоряйся.

— Обижа-аешь! — густо протянул Фарков и покрутил тяжелой головой. — Ох, обижа-аешь!

— Иди, иди, парень. Добром говорю.

— Молчи, жених! — И Фарков плюнул на Трофимов стол.

Трофим вскочил, и графин с водой на тяжелой скорости пронесся мимо увернувшегося Фаркова.

На мгновение протрезвев, Фарков выскочил за дверь, но снова просунулся.

— Врешь, Трошка. Не возьмешь на скандал — ученый. Думаешь, тебе свадьба, а мне сутки?! На-ка вот! Графин я те после припомню! Недоносок ты, и дети твои недоносками будут! — Фарков скорчил мерзкую рожу, скурносился, наморщил черные толстые щеки — глаза, придавленные ими, превратились в щелки, хищно выставились крупные желтые зубы. — Ы-ы! Мыфыфей! — гнусаво и непонятно подразнил Фарков и, сторожась, прикрыл дверь.

Трофим брезгливо подобрал губы, двумя пальцами вытащил промокашку, потыкал ею в столешню: гнев сошел со лба, со щек — они вновь побледнели — и сжигал только уши алым пламенем, в котором белели хрящи.

Скандал этот наблюдал Виктор Буйков, инспектор из треста промхозов, но не вмешивался. Буйков часто бывал в Преображенском и, легко перенося тяготы таежного хлебосольства, не раз признавался в застолье: «Я, мужики, душой у вас отдыхаю. Будь моя воля, ушел бы к вам охотоведом. Но жена — зарежь ее — против. Из-за бабы и пропаду, чахотку на бумагах заработаю. Кстати, мужики... Благоверная моя спит и видит: соболь на плечах, соболь на голове. С кем по-дружески

договориться можно? Сам-то в тайгу когда попаду? Добро, мужики? Вот спасибо!»

Буйков некоторое время молчал, а потом откашлялся и строго заметил:

— Что же ты, Трофим Макарыч, нервы распустил? Ты же руководитель, образованный человек — и вдруг графины кидаешь?

— Жалко, что не попал.

Светлые, обжигающе-зеленые глаза Буйкова дрогнули.

— Попал! Да это уже уголовный кодекс! Тем более пьяный-то он, а не ты. Нехорошо.

— Ты, Виктор Петрович, тоже помолчи. Настроение у меня неважное.

— То есть?

— Без то есть. У меня еще чернильница на столе стоит.

— Ну-ну... Герой... Забываешься, парень! — Буйков потяжелел от справедливого возмущения, горло пересохло, потным жаром примяло реденькие волосы, и череп как бы раздался, увеличился, переваривая Трофимовы дерзости. Но Буйков вовремя опомнился. «Завелся мужик. На любой рожон полезет. Швырнет чернильницей — вся командировка насмарку. Доказывай, разбирайся, требуй наказания. Нет, нет и нет!»

— Ладно, Трофим Макарыч. Утихнем, замнем. — Буйков прикрыл ладонью лицо, как бы отстраняясь от прежнего настроения, а открывшись, улыбнулся. — Значит, захомутали ясна сокола?

— Почему захомутали. Сам в здравом уме и памяти.

— Значит, пир на весь мир?

— Приходи вечером. Выпьешь — посмотришь, на весь или только на район...

— Спасибо. Если смогу — обязательно.

— А чего не сможешь? Деваться тебе все одно некуда. А других гостей нигде нынче не будет.

— Первый раз такого жениха вижу: у него свадьба, а он на работе торчит. К чему бы это а, Трофим Макарыч?

— Что ж, что свадьба. Работа-то замуж не выходит.

— Все-таки праздник. А то на тебя посмотришь и подумаешь: не иначе как на аркане мужика под венец тащат.

— На голове, что ли, мне ходить, если свадьба? Лет

десять проживем — вот тогда я, может, повеселюсь.

— Да-а, далеко заглядываешь... — Буйков, удерживая зевок, напряг щеки, покраснел — выступили ленивые крупные слезы.

— Без загляду только воробьи живут. — Трофим встал, потянулся к оленьим рогам на стене снять плащ и кепку. — В общем, появляйся, Виктор Петрович.

Все же Трофим укоротил рабочий день — пошел уговаривать дизелиста, чтобы тот светил нынче подольше, не глушил движок в одиннадцать вечера, когда свадьба только-только наберет силу.

Дизелиста Петра Красноштанова он застал дома. Тот сидел у окошка, читал книгу, обернутую в газету, и сделал вид, что страшно удивлен появлением Трофима.

— Ух ты! Кого вижу-то! Здорово, Троша. — Красноштанов встал, аккуратно, не закрывая, положил книгу на подоконник, снял маленькие, какие-то птичьи очки в стальной оправе. — Давно не виделись. Считай, с весенней охоты. Как живешь, Троша?

— Свадьба у меня нынче. Вот просить пришел.

— Что ты говоришь?! И тебя, значит, потянуло? Кого берешь? — Красноштанов распахнул руки, словно собирался обнять Трофима, длинное, тощее тело его странным образом заколебалось, закачалось как бы под воздействием столь неожиданной новости. «Во ломается! — подумал Трофим. — Будто первый раз слышит. Спектакль, стервец, покажет. Делать ему нечего».

— Петя, ты посвети нынче подольше. А уж я в долгу не останусь.

— Даже слушать обидно, Троша. Да я всю ночь могу светить. Мотору что — он железный, а я человек, я все-о понимаю.

— Хоть до часу посвети, ладно?

— Больше ни слова, Троша. Петька Красноштанов разобьется, но сделает. Что ты, не знаешь?! — Бледное, худое, носатое лицо Красноштанова осветилось преданностью, братской готовностью услужить Трофиму, непроизвольно задвигался кадык на длинной шее, словно Красноштанов уже глотал свадебную бражку.

— Спасибо, Петя, сильно уважишь. — Трофим не знал, что еще сказать, и кивнул на книгу: — Что за книженция? Толстая какая.

— У-у, парень! Книга — во! Про то, как люди жили! — Красноштанов схватил книгу, суетливо нацепил

очки. — Третий день читаю и почти все время реву. Вот посмотри, как он, чертушка этот Жан и Жак, пишет: «Оставьте меня навсегда, не пишите мне, не усугубляйте мук моей совести, дайте мне возможность забыть, если возможно, чем мы были друг для друга. Пусть глаза мои никогда более не увидят вас, пусть я не услышу более вашего имени, пусть воспоминание о вас не смущает моего сердца...» Это баба, значит, объясняется... Как, а? — Красноштанов опять бережно положил книгу на подоконник, сдернул очки и зажал в кулаке.

«Дурында он все-таки! — Трофим с жалостью посмотрел на Красноштанова. — В самом деле слезу пустил. Ослаб душой, совсем ослаб». Он вспомнил, что у Красноштанова есть прозвище — Милый Зять, что пьяного его колотят и жена и теща, а сам он, выпив, любит похулиганить: то собак свяжет за хвосты, то начальника милиции дверь колом подопрет.

— Петя, тебе кто же Милого Зятя-то дал?

— Да это карга. Теща. Тсс.— Красноштанов испуганно сжался, но тут же тихонько рассмеялся: — Тьфу ты, ее же дома нет, а я все боюсь. Она, она, дура старая, припечатала! Я ей однажды выпивши давай книжку читать. Читаю да говорю: вон как люди ласково жили. Не сволочили друг друга, а уважительно обращались. «Милая маменька, милый зять...» Она и давай меня Милым Зятем навеличивать с тех пор. Как ни скандалим, а все «Милый Зять». Лучше бы материлась, честное слово.

— Ясно,— сказал Трофим. — Так ты уж посвети, Петя.

— Какой разговор!

2

Невеста тем временем изнемогла под тяжестью праздничных забот: чистила рыбу, шинковала капусту, до ряби в глазах резала морковь, свеклу, картошку, воздвигая винегретную гору; схватывалась, что забыты огурцы, неслась в погреб; по дороге на бегу вспоминала, что еще не взяла у соседей посуду и, не добежав до погреба, сворачивала к воротам — мчалась через улицу к Сафьянниковым, от них в магазин за гранеными стаканами; наконец, обессилев и утонув в омуте не-

сделанного, опустилась на лавку и, приговаривая угасшим, дрожащим голосом: «Ну что это за свадьба! Не свадьба, а каторга!» — расплакалась.

Мать ее, Елизавета Григорьевна, крупная, рыхлая, болезненная женщина, давно уже отдыхала на табурете посреди кухни.

— Ну, девка, и раскисла ты. Я в твои годы с зари до зари спину гнула, и ничо — плясать могла, с отцом твоим до петухов простаивала.

— При чем тут годы, мама! В такой день и все сама, сама! Нет, я тебя не упрекаю — с твоим сердцем вообще бы в холодке сидеть да не шевелиться. Но он-то мог остаться! Знает ведь — родни нет, девчонки только после работы прибегут; и люди-то, поди, смеются, что в конторе сегодня.

— Мой тебе совет, Нинка. Брось, не гоношись боле. Ляг, полежи — тебе нынче, ой, не скоро отдыхать. Баня вон топлена, полежи, да сбегай, поплещись. Пусть народ видит: румяна невеста да свежа. И перед мужем предстать должна как росой умытая. Старики как говорят: ясные да бодрые — будут дети добрые; квелые да пьяные — будут все с изъянами.

— Ой, мама, опять ты с этими разговорами! — Нина перестала плакать. — Хватит уж тебе! Что я, девочка шестнадцати лет — знаю, все знаю!

— Бесстыжие вы все-таки нынче, все до одной. Нашла перед матерью чем хвалиться — зна-аю! Ты скажи, не таись: может, Ване полоумному люльку уж заказывать? Пусть плетет. А то и оглянуться не успеешь...

— Как не стыдно, мама! С утра просвещаешь — весь поселок слышит. — Нина быстро встала, схватила ведра, коромысло.

Огородной тропкой меж желто-зеленых безголовых стволов подсолнухов она спустилась к обмелевшей сентябрьской речке. Забыла про ведра и, задумавшись, присела на теплый белый камень. Смотрела на живую, по-летнему блестевшую воду, на багровые крепкие еще листы прибрежной смородины, смотрела слепо остановившимися глазами и ничего не видела. «Уж быстрей бы проходил этот день! — думала Нина. — Так устала, так устала — кто бы знал! Невеста, невеста, как-то дальше все будет?»

3

Весной Нина получила письмо от Томки Еланцовой, с которой училась когда-то в библиотечном техникуме. Письмо обрадовало Нину напоминанием об ушедшем безоблачном времени, она даже зажмурилась, глядя на конверт. Но отхлынула от сердца горячая грустная радость, и Нина удивилась: никогда они с Томкой не дружили и писем друг другу писать не клялись. Томка жила в Боготоле, работала в городской библиотеке, вышла замуж за «чудесного скромного парня» — так писала Томка, он — составитель поездов, заочно учится в институте, а можно считать, что «учимся вместе, я приношу ему книги, вместе сидим над контрольными», у них двое «чудесных крепеньких шалунов»,— впрочем, Нина сама может убедиться в этом, посмотрев на прилагаемую фотографию.

И далее Томка расписывала, во что она одевает своих бутузов, чем кормит, поит, расписывала их необычайную смышленость, их многообещающие склонности и задатки. Нина внимательно рассмотрела фотокарточку: да, славные ребятишки, курносые, беленькие — в мать, и так же испуганно-удивленно таращат глаза, как Томка на экзаменах.

Письмо произвело на Нину большое впечатление. Ночью ей даже приснились белоголовые курносые мальчонки, которых она любит без памяти: они за ворота, на траве поиграть, а она уже места не находит, из рук все валится — бежит посмотреть, как там ее миленькие да ненаглядные; они качели под старой черемухой привязали, а она с крыльца не уходит — не дай бог, расшибутся. И вот чуяло сердце — пришла беда: зовет их обедать мать, то есть она, Нина, а мальчонки не откликаются, как сквозь землю провалились. Она туда, сюда, плачет, кричит, волосы рвет — нет мальчонок. Догнала она их в глухом и темном лесу: уводит за руки сыновей какая-то старуха, сгорбленная, с холщовой котомкой за спиной. Нина в ярости ухватила старуху за плечи и трясет, трясет ее: «Вот тебе, старая карга! Вот тебе! Будешь чужих детей воровать!» Старуха вывернулась, лицом к Нине стала: «Успокойся, Ниночка, — вежливо так говорит. — Сыночки-то мои, ошиблась ты. У тебя-то ведь никого нету». Томка, Томка Еланцова уводила Нининых сыновей!..

Проснулась Нина в слезах и долго обдумывала сон. За окном начинался рассвет, бессолнечный, но теплый, просторный, апрельский. Глухо дождила капель — Нина поняла, что ночь была тоже теплой, и, не угнетенная солнцем, сейчас особенно свежа снежная сырость, горчащая разбухшим ожившим тальником. Нина поспешно встала, словно торопилась куда-то, натянула пальто, платок, на босу ногу обулась и вышла на крыльцо. Влажно дышал прозрачно-серый теплый снег: на ближней горе за ночь появилась черная тропка — проторил ручей и неторопливо, с паузами, пробовал сейчас голос в огородных сугробах. Все живое хмельно сникало от тальниковой, возбуждающе чистой горечи. У Нины закружилась голова, она схватилась за косяк, закрыла глаза и так простояла минуту-другую. Очнулась, с легкой улыбкой опустилась на мокрое, веселое от капели крыльцо. Сказала себе с неожиданной серьезностью, точно поклялась: «Как хочешь, Нинка. Хватит быть дурой. Тебе двадцать шесть, никого уже не дождешься — все принцы, рыцари и прочие «чудесные скромные парни» давно переженились и стали отцами. И черт с ними. Тебе нужен полный дом ребятишек, непьющий муж. Тебе пора замуж, Нинка. Хоть за колодину лесную, но пора».

Несколько позже мать завела излюбленный разговор:

— Которую весну без мужика встречаешь. Вон, смотри, Трофим. Чем тебе не пара? Не пьет, не курит...

Нина промолчала. Да, уж если замуж, то за Трошку Пермяка — вместе выросли, за одной партой сидели. Огорчало, конечно, что не больно пригож, да выбирать-то не из кого! В Преображенском одни старики да семейные, холостые же ребята, как на подбор, шалопуты, а все путные перебрались в город. Так что Трофим — первый жених здесь, и завидный жених. Вот если бы в город. Но от больной матери не уедешь, лучше душу не травить, не надеяться.

4

Студенткой она снимала угол у одинокой старухи, жившей в рабочем предместье. Еще быстрая, худенькая, с ласковым морщинистым лицом, с лег-

кими седыми волосами, которые она не любила прятать под платок, старуха казалась приветливой и добродушной, но на самом деле была сущей змеею: в одиннадцать вечера закрывала ворота, пряталась сама за многочисленными засовами и задвижками — и хоть в подворотне ночуй. Однажды Нина на лавочке просидела до утра — хорошо, что время летнее было. Иногда старуха говорила: «Я в город съезжу. Ты меня не дожидайся, ложись. Изнутри закройся, я вторые ключи беру». Но вскоре возвращалась, жаловалась: «На автобус не сядешь — давка. Постояла, постояла да и плюнула» — и принималась за ревизию: пересчитывала куски в сахарнице, на свет разглядывала банки с вареньем, со вздохом, ласково спрашивала: «Вишневое-то, Ниночка, сильно приглянулось? Не распробовала, поди, как следует, не успела?»

Нина бледнела и, до слез ненавидя старуху, говорила:

— Дарья Семеновна! Что я, варенья не видела?

Дарья Семеновна, строго поджав губы, обрывала:

— Может, и не видела, может, и не пробовала. А место свое знать будешь. Иди на кухню да свет долго не жги. Норову больно много, а с норовом надо одной жить.

Живности Дарья Семеновна не держала: ни кур, ни свиней, ни коз, даже кошки не было в доме; и объясняла это так: «Мне самой немного надо, а скотину попробуй прокорми. Жилы вытянешь». Тем не менее с Нины брала двадцать пять рублей в месяц да еще заставляла мыть полы, колоть дрова, таскать воду — за книги Нина садилась, изрядно умаявшись. Но от старухи не уходила, со странной покорностью терпя ее самодурство, словно верила, за терпение рано или поздно воздастся.

Ох, как же переменилась Дарья Семеновна, когда на побывку приехал ее внук Костя, тихоокеанский моряк! Преобразилась в добрейшую старенькую бабушку, для которой внук — свет в окошке, последняя радость, последнее утешение в этой затянувшейся жизни. Поубавилось морщин на лице, побелело оно, зарумянилось, прибавилось живого, искрящегося блеска в холодно-голубых глазах, голос стал непритворно мягким, ласковым и рассыпчатым: «Костенька, сиди, сиди, я сама; Костенька, попробуй вот курник — курочку свежую купила, у

деревенской бабы сторговала; Костенька, ты вот здесь, здесь, подле меня сядь, эдак-то я на тебя еще не смотрела», — и все эти радостные причитания сопровождались каким-то бессильным робким смехом, будто Дарья Семеновна боялась надоесть Костеньке: вдруг соберется и, не погостив толком, укатит обратно, на свой Тихий океан.

И к Нине Дарья Семеновна переменилась: «Ниночка, садись с нами; Ниночка, ты куда побежала не поевши — ну-ка, ну-ка, оладьи с пылу с жару отведай; Ниночка, брось ты эти книги — сходили бы вон с Костей в кино или прошлись бы — теплынь-то какая».

Нина все ей простила и радовалась за нее: «Вот ведь может человеком быть! Без родни-то сердце онемело — вон как хлопочет. Как бабушка моя покойная. Не наглядится, не нарадуется на внука».

А хлопотать было ради кого. Не высок, но строен Костя, широкогруд, не шея, а медный лиственничный ствол, кудрявый, белокурый, зубы будто только что надраены, скулы аккуратны, крепки, весело глянцевеют от избытка здоровья, прямой, может быть, чересчур четких линий нос, глаза дымчато-голубые, ласковые...

Костя отнесся к Нине с покровительственно-братской сердечностью: «Повезло бабушке на юнгу. Ниночка, давай помогу. Хлеба нарежу, разолью сам. Как успехи в учебе и личной жизни? В норме? Ну, молодец, порадовала краснофлотца. А то страну защищаешь, а сам все думаешь: как там Ниночка-то? Двоек бы не нахватала да от женихов отбилась. Есть женихи-то? Да, да, да, трави давай, отнекивайся. Ну, я их отважу, — задымились ленивой грустью Костины глаза, он погладил Нинины косы сильной тяжелой ладонью.— Ниночка, не мучь меня, Ниночка, пойми меня, Ниночка, мне грустно без тебя», — пропел он и, не стесняясь Нины, не замечая ее, как не замечал бы сестру, стянул форменку, стянул тельняшку — открылась Нине белая, мощная, в лепных сгустках мышц грудь, покрытая золотистым пухом...

— Полей мне, Ниночка. Только от души.

Нина зарделась, застигнутая не смущением, а впервые испытываемым удовольствием видеть белое, сильное мужское тело. Она засмеялась, взяла ведро с водой, ковшик и вышла во двор. Она смеялась и когда окатывала крутую Костину спину, как бы вместе с ним

переживала восторг под струями колодезной, тяжелой от донного холода воды.

Вечером моряк предложил:

— Ниночка, выбирай: кино или танцы? Но сразу и честно предупреждаю: даже «Яблочко» не умею.

Конечно, Нина выбрала кино, и, конечно же, моряк купил билеты на последний сеанс, и места оказались в последнем ряду.

В жаркой, душно-влажной темноте зала Нина все-таки замерзла: закоченели руки, ноги, чуть зубами не начала постукивать, но удержалась, стиснула так, что занемели скулы. Странное волнение, поначалу заморозившее ее, угнетало все более и более — Нине сделалось страшно. Чтобы прогнать страх, успокоиться, она сбивчиво, горячечно зашептала, не раскрывая рта: «Ой, какая же я дура! Чего боюсь, чего?! Нет, что-то будет — вон как трясет всю! Никогда раньше такого не было!»

Костя обнял ее за талию. Тонкий крепдешин не защищал тело то жара быстрой ладони. Дрожь, зябкость, ледяной покров тотчас исчезли, теперь погружалась Нина в огненный гипнотический водоворот, не имея сил да и не желая вырваться из него. Потяжелела, сникла голова и устроилась, успокоилась на Костином плече.

Возвращение домой было медленным, кружащим, осененным цветущей яблоней, овеянным ее прохладой. Во дворе Нина вздохнула:

— Спокойной ночи, Костя. Приятных снов. — Нина повернула к дровянику, куда переселилась с первыми теплыми ночами.

Костя, возбужденный, обнадеженный ее покорным, уступчивым настроением, окликнул:

— Ниночка, куда же ты? Не бросай краснофлотца. Кубрик свой покажи. Посидим, потравим. А, Ниночка?

— Хорошо.

Едва переступили порог, он обнял ее. Объятие, сильное, непреодолимое, освобождало наконец Нину от всех сегодняшних страхов, от обморочного жара, от изнуряюще-томительной телесной жажды. Она обхватила его за шею и, уже не чувствуя силы его рук, приникла сама и опять согласилась:

— Хорошо, хорошо. Пусть... Пусть так.

Очнулась от тишины, пропитанной свежим, густым

запахом смолы, разогревшейся в июньском тепле. Осчастливленная небывалой болью, уставшая от небывалых слез, Нина улыбнулась и услышала затаенное дыхание Кости, потянула руку, погладила его горячее лицо. Он испуганно, обрадованно заговорил:

— Ниночка, я же не знал. Если б ты сказала...

Она нашла его губы и прикрыла ладонью.

Костя быстро оправился от неожиданности, подаренной ему этой девчонкой. Голос его окрасился победительной, горделиво-усталой интонацией:

— Ты теперь жди меня, Ниночка. Мне год остался. Вернусь, ошвартуюсь возле тебя. Ты зимой, на каникулах, может, махнешь ко мне? Если, конечно, в плаванье не уйду. Все равно ясность полная: жди.

А Нина вмиг повзрослевшим, печальным сердцем поняла: не надо ждать, не надо верить этому моряку. Ничего не будет, никогда он к ней не вернется, хотя сейчас искренне думает, что говорит правду.

— Ты чего молчишь, Ниночка? Не веришь? Боишься?

— Нет, нет, не боюсь. Верю.

...Костя уехал. И в тот же день Дарья Семеновна отказала Нине в квартире. Не отводя глаз, сухо и твердо объяснила:

— Продавать буду дом. Не обессудь. У тебя каникулы скоро, за лето найдешь угол. А уходи сегодня же, я к сестре в Красноярск собралась — долго пробуду. И повременить не могу.

Нина охнула, ради Кости переменилась к ней эта ведьма, сделала из нее приманку, чтобы внучек ненаглядный всю побывку дома был, глаза да сердце бабушкины тешил. На тебе, Костенька, квартирантку свеженькую, молоденькую, только не пропадай, ради бога, из дому...

Нина, бесслезно почернев, собралась и молча ушла. Старуха так же молча проводила ее до ворот. Несколько ночей Нина проспала на полу у подруги, а потом начались каникулы.

Она написала Косте семь писем, в ответ получила два. В последнем он сообщал, что надолго уходит в плавание, на учения — Нина поняла, что больше он не напишет.

Никогда потом Нина не упрекала его, не винила, словом дурным не поминала, напротив, без всякой на-

дежды все ждала, думала, снился он ей, а если на улице видела моряка, замирало сердце. Она замедляла шаги и ждала: сейчас ее окликнут, обнимут, оцарапают щеку грубым сукном форменки...

5

Сосватать Трофима помогло кино. Нина загодя запаслась билетами и, подкараулив Трофима во дворе, вышла на крыльцо.

— Соседу привет. В кино, Троша, не собираешься?

— Да вроде нет. — Трофим заметил, что Нина говорит непривычно звонко и весело, никогда она с ним так не разговаривала. — А что за картина? — хотя и знал, какую картину будут показывать, — вчера посмотрел.

— Ой, голова садовая! — Нина рассмеялась. — А я и не знаю. Мама билеты брала, да вот что-то сердце у нее прихватило. А одной идти неохота.

— Ага. Ясно. — Трофим подумал, разглядывая Нину. — А сама-то идешь?

— С кавалером чего ж не пойти. И возвращаться небоязно. — Нина опять рассмеялась, старательно и невесело.

— Ладно, раз так. Давай сходим, посмотрим. — Трофим, между прочим, часто недоумевал: что-то долго Нинка в девках сидит. Собою видная, рядом с ней наверняка не пожалеешь холостую жизнь. Он бы, например, не пожалел. Но как об этом скажешь? А ухаживать он вовсе не умел.

Они чинно сидели в зале, добросовестно смотрели на экран, Трофим угощал Нину шоколадными конфетами — она терпеть их не могла, но не отказывалась, осторожно шелестя бумажками. После сеанса говорить не могла — так липко, сладко было во рту. Хорошо хоть говорить не пришлось: Трофим разговора не затевал. До дому дошли молча. У калитки, протянув руку, он сказал:

— Спасибо за компанию, Нина. Вечер толковый вышел.

— До свиданья, Троша. Тебе спасибо.

А вечер был в конце апреля теплый, темный, сухой; на завалинках пробилась трава, почки на лиственницах выпустили первые бледные иглы — витал над Преображенским хвойный дух, приняв в себя и тонкое, едва

уловимое дыхание молодой травы. Нина постояла на крыльце, подышала, повздыхала и пошла в избу.

Через день уже Трофим караулил Нину.

— Нина, я подумал, долг платежом красен. Теперь у меня лишний билет. Пойдешь?

— Даже не знаю, Троша. Дома дел столько.

— Как же так? Должником-то нехорошо ходить. Совестно.

— Пожалеть, что ли, тебя? Ладно, всех дел не переделаешь. Пошли.

В этот раз он угощал ее лимонадом принародно, и Нина спиной чувствовала, как на них поглядывают поселковые бабы, и, кажется, слышала, как они перешептываются: «Вишь, в кино каждый день заладили».

Возвращаясь домой, он доверительно сообщил:

— Директор сегодня премию посулил. К маю. Думаю, мотор на лодку новый взять. На лодке любишь кататься?

— Люблю, но потихоньку. Чтоб ветер не сильно дул и не брызгалось.

У калитки опять пожал Нинину руку:

— Жалко, завтра картина та же. Больше ведь и ходить у нас некуда.

— А знаешь, Троша, если хочешь, приходи завтра к нам чай пить.

— Во сколько?

— Ну, часов в семь.

Чаёвничал он у них теперь каждый вечер, ни одной новой картины они с Ниной не пропускали, и настал наконец день, когда Трофим торжественным, каким-то напружинившимся голосом сказал:

— Нина, мы должны быть вместе.

— Ой, Троша!.. Я не думала, не знаю... Ой, ну как же это?!

— Нина, ты что-нибудь имеешь против меня?

— Что ты, Троша!

— Тогда решай. Согласна?

— Да, — Нина потупилась, напряглась, ожидая, что сейчас Трофим обнимет ее, поцелует, начнутся жениховские вольности, к которым она еще не готова, не дай бог, не сдержится, оттолкнет его — на том все и кончится.

Но Трофим боялся отказа, а потому ни о каких вольностях не помышлял.

— Маме пока не надо говорить, — сказала Нина. — Привыкнем, обсудим, уж потом ей, ладно?

— Это верно. Торопиться не к чему.

В июне, на троицу, он посадил Нину в лодку с новым мотором и повез на Березовый остров.

На белый песчаный припай выползли разноцветные туши лодок, осыпались, выравнивались высыхающие следы: женские, легкие и быстрые, и мужские, тяжелые, медленные под праздничным грузом. Поляны, лужайки, опушки, прелестно и тихо освещенные до людского нашествия пламенем жарков и желтенькими маленькими фонарями душистой зубровки, потускнели в грубых, ослепительных вспышках бутылочного стекла. Трещал, гнулся Березовый остров под неутомимыми ногами гуляющих и только чудом не тонул.

Нина и Трофим не знали, где присесть: за каждым кустом голосили, чокались, целовались, плясали, ссорились... Нина даже пошутила: «Нет места для жениха и невесты». Но место все-таки нашлось, укромное, солнечное, зеленое, этакий островок на острове, возникший у подножия старой березы и окруженный густым боярышником. Они выпили, помолчали, еще выпили. Трофим, красный, с мокрым лбом, глянул на Нину и тотчас опустил глаза:

— Вот денек, а! То ли от него, то от вина в голову ударяет.

— У меня тоже голова кругом. — Нина виновато и покорно улыбнулась, прикрыла глаза, прислонилась щекой к берестяному березовому боку. «Ну, пусть поцелует, обнимет. Что же теперь», — подумала она, возбужденная вином, горьковато-теплым, влажным запахом листа и близостью этого вроде не чужого теперь мужчины.

Но Трофим медлил, не обнимал — Нина открыла глаза: он, пригнув ветку, выламывал березовый букет-веник.

— Сейчас ветер сделаем. — Он помахал веником, и Нину остудило зеленой свежестью. Она тоже притянула ветку и тоже выломала букет-веерок.

Поблизости, на одной из полян, зазвенел пьяный голос Милого Зятя.

— Солнышко такое, воздух, а мы водку хлещем. Березки скоро почернеют от нашего дыха, да и сами со стыда сгорим! Эх! Троица — святой день, а мы как в

будни пьем. Вот я сейчас, сейчас скажу вам.— Милый Зять умолк и вдруг тонко-тонко закричал: — Троица! Поэт и женщина! С синим зверем на руках! Нет, надо же, какой день! И как сказано-то про него!

Трофим усмехнулся:

— Во дает Петька. Разобрало.

— А мне его жалко. — Нина уже опомнилась, оправилась от возбуждения, погрустнела, и ее до слез растрогали пьяные, непонятные, но красивые слова Петьки. — Он сейчас все-все понимает. А протрезвеет — будет как побитая собака.

На обратном пути, приглушив мотор, Трофим сказал, не глядя на Нину:

— Свадьбу, однако, не надо большую. Суетня, колготня — зачем нам это?

— Конечно, лучше своих только собрать, и все. Мне тоже пир не по душе.

Но зато по душе он был Елизавете Григорьевне. Услыхав о желании молодых справить свадьбу в семейном кругу, она схватилась за сердце и запричитала:

— Да вы с ума сошли! Позор-то какой: одну дочь и ту не по-людски отдам? Нет уж, голуби мои, свадьба так свадьба — и никаких!

Трофим рассудительно начал:

— Вы поймите, мамаша...

— Ты не торопись, я тебе еще не мамаша. Вот свадьбу сыграем — буду мамаша. Нет уж, чтоб все как у людей.

Трофим подумал, подумал, спокойно сказал:

— Я согласен.

Решили, что свадьбу сыграют в сентябре, перед ондатровым сезоном, в осеннее благодатное затишье.

6

Пришел жених, сосредоточенно-усталый, в новом темно-синем костюме с красным сельхозинститутским значком на лацкане. Присел у кухонного стола, вздохнул:

— Еле вырвался. Как назло, инспектор из треста приехал. Пришлось пригласить. Петьку Красноштанова уговорил — будет светить до часу.

Невеста была в светло-сером платье с кружевами на манжетах и в треугольном вырезе на груди. Взвол-

нованная, румяная после сухого банного жара, она забыла дневную усталость. Не дала передохнуть и Трофиму, схватила за руку, стряхнула невидимые пылинки с плеч:

— Не сиди, не сиди, костюм изомнешь. Встань-ка, я тебя отряхну. Галстук поправь. Ну, что это ты без плаща — не лето ведь. Ну, ладно, все. Ой, Троша! Как я волнуюсь! — Она хотела, чтобы и он волновался, понял: к этому порогу вернется не прежний Трофим Пермяков, а преображенный в главу семьи, в ее мужа. Нина взяла его под руку.

— Пойдем, Троша. Мама нас уже ждет.

— То есть? Где ждет?

— Там. — Нина кивнула на закрытую дверь комнаты.

— А я думал, в загсе.

Посреди комнаты неподвижно, молча, неулыбчиво стояла Елизавета Григорьевна. Ее окружили подруги, такие же тяжелые, глыбистые от возраста старухи. На полу перед Елизаветой Григорьевной лежал коврик, сшитый из оленьих камусов, прежде виденный Трофимом на стенке.

Остановились перед тещей. Нина прошептала:

— Благослови, мама.

Трофим вмиг покраснел, рассердился: «Во дают! Театр устроили, попа еще не хватает. Да я им кто?» — но Нина дернула его за руку, Трофим не удержался и упал на колени. Хотел встать, но Нина не пустила.

— Ниночка, Троша! Детки мои! — голос у Елизаветы Григорьевны задрожал. — У Троши никого нет. Не дожили отец с матерью до такого дня. И у Ниночки я одна. А теперь у вас обоих одна. Живите счастливо, детки. И помните родительское слово: берегите друг дружку, иначе не жизнь, а маета будет. Господь вас благослови! — и Елизавета Григорьевна всхлипнула, подруги ее тоже потянули платки к глазам, и Нина поднялась с мокрыми глазами. А Трофим, поначалу рассерженный неожиданной выдумкой тещи, вдруг отметил: «А ничо, душевно вышло».

Они отправились в загс. В воротах Елизавета Григорьевна сунула в карман Нининого плаща гладкую золотистую луковицу — Нина удивленно замедлила шаг.

— От сглаза, дочка, от сглаза, иди. — Елизавета Григорьевна легонько подтолкнула ее.

Как раз в это время всем мужчинам поселка понадобилось быть во дворе: кто дрова колол, кто забор чинил, кто просто по двору дело искал. Бабы были откровеннее и стояли у калиток, сложив руки на животах. Нина и Трофим шли не торопясь, посреди улицы, и глядеть на них можно было, слава богу, досыта. Нина ничего не видела и не слышала, Трофим же думал: «Поглядите, поглядите. Денег не берем. Все ж таки сколько в людях любопытства! Ну, бабы — понятное дело, а мужики-то, мужики чего не видели?» Трофим улыбнулся, заметив, как его однофамилец Федька Пермяков зазевался на них и упал, поднимаясь на крыльцо. «Так тебе, рыжему, и надо!»

Возле загса Трофим нахмурился: «Хоть бы Зуиха чего не выкинула. Стыда не оберешься».

Зуиха, или Антонина Зуева, крепкая, ладная, бездетная вдова, заведовала районным загсом. У нее всегда квартировал какой-нибудь геолог, и Антонина давно уже имела прозвище «разведчица недр». В прошлом году она ездила в город на трехдневный семинар «Новые свадебные обряды», перенимала опыт. Ничего особого не переняла, но вывезла какие-то чудные речи и вгоняла ими в краску молодоженов. Поздравив и вручив брачное свидетельство, Антонина поднимала руку, требовала тишины и, потупившись, задушевно так, негромко говорила: «Есть, товарищи, в брачной жизни и деликатная сторона, как говорят ученые, интим. По их словам выходит, что счастье в семейной жизни начинается с брачной ночи...»

У Трофима в голове мутилось, когда представил, как Антонина и им ляпнет такое. Поэтому, расписываясь, прошептал на ухо Антонине:

— Только заикнись про свой интим. Сожгу твою контору и тебя вместе с ней!

Антонина отпрянула, возмущенно вытаращила прозрачно-зеленые блудные глаза, хотела, видимо, одернуть Трофима, но пора было поздравлять молодых.

— Любовь вам да совет, Нина и Трофим Пермяковы! Горячо поздравляю новую семью от имени и по поручению Преображенского райсовета!

Разлили в стаканы красный густой портвейн — здешний райпотребсоюзовский магазин отродясь не завозил шампанского, а водкой потчевать молодоженов было как-то неловко.

...У дома молодых встречала Елизавета Григорьевна с подругами. Только Нина и Трофим приблизились к калитке — старухи осыпали молодых овсом и карамельками. Одна карамелька угодила Трофиму в лоб — прожгло мгновенной обидной болью, чуть слезу не вышибло.

Дома их усадили в передний угол, теснехонько, плечом к плечу — не то что ссора, даже тень ее чтобы не протиснулась — поставили перед ними рюмку, тарелку — пейте из одной, ешьте с одной — и, увлекшись приготовлением к выпивке, забыли о них. Сидеть, прижавшись друг к другу, было неловко и жарко — Нина отодвинулась, наклонилась к подружке, они зашептались, засмеялись. Трофим между тем прикидывал: «После третьей должны «горько» крикнуть. Нет, однако, после второй, черти, не вытерпят». Он покосился на Нину и вздрогнул от внезапного жаркого озноба, растерянно улыбнулся.

«Как же это при людях-то» — Трофиму стало не по себе. И в женихах боялся, не обнял ни разу, а теперь боялся пуще прежнего.

Он страдал, когда разговор в мужской компании ни с того ни с сего приобретал душно-скоромную тяжесть: грубая, с бесстыдными подробностями похвальба мужиков друг перед другом угнетала его.

— Горько! — дружно, весело и трезво прогремело застолье. — Горько!

Трофим побледнел, перед Нининым лицом не выдержал, закрыл глаза. Прижались губы к губам и быстро, неинтересно для гостей, расстались.

— Горько! — опять весело и дружно потребовало застолье.— Горько!

Теперь губы соединились, замерли надолго, и это длительное бездействие удовлетворило гостей — можно было выпивать дальше. У Трофима закружилась голова: Нинины губы теплы, ласковы и вовсе не так спокойны, как показалось гостям,— они приоткрылись ожидающе, покорно и обожгли влажным жаром.

Вскоре пьяненькая старуха Сафьянникова задребезжала высоким, одеревеневшим голосом:

Я теперича твоя, сударь,
Я теперь твоя суженая,
Я теперь твоя ряженая,
Я теперь расчешу кудри,
Я теперь перевью желты.

Старуху не слушали. Настало то самое время, когда выпивка резко обозначила песенные пристрастия гостей. Истинно поселковые добросовестно ревели:

Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой...

Антонина Зуева, полыхая ярким и сочным румянцем, голосила:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина... —

подтягивал ей и Виктор Буйков.

Младшая ветвь застолья, хлебнувшая городской бойкости, перекрикивала всех:

А мы едем, а мы едем за туманом,
За туманом и за запахом тайги!

В полночь погас свет, но Елизавета Григорьевна ждала этого и приготовила лампы — никаких происшествий в потемках не вышло.

Нина шепнула:

— Троша, я больше не могу. Устала.

Они пробирались меж гостей, занятых спорами, песнями. Лишь старуха Сафьянникова приметила исчезающих молодых и закричала:

— Ложитесь вдвоем — вставайте втроем! На каждую ночь — сына и дочь!

На пороге их встретил Милый Зять:

— Светильщика забыли! Люди добрые! Для светильщика «горько»! «Горько» — Троша! «Горько» — Нина!

Трофим с Ниной посторонились. Милый Зять, моргая, тряся головой, полез целоваться. Трофим пристыдил его:

— Эх ты! Насветился уже.

— Троша, я еще зажгу, зажгу! Ты душу мою пойми: не мог я от вас вдалеке. Тошно, Троша, тошно! — И Милый Зять то ли рассмеялся, то ли заплакал, схватил чей-то стакан и выпил.

Ночной воздух легко покалывал морозцем; полная низкая луна освещала желтую замерзшую траву, печальные темные дома; ее свет ясно очерчивал деревья в ближнем сосняке, неторопливо отражался на льдистых вершинах гольцов.

В нетопленную комнату, куда вошли Нина и Тро-

фим, лунный свет добавлял серебристого волнующего холода, белая пугающая синева окружала брачную постель.

— Совсем, совсем я озябла, — сказала Нина и обняла себя за плечи. Трофим укутал ее в пиджак. Нина подошла к столу, уставленному пирогами и кувшинами бражки.

— Троша, садись, поешь.

— Что ты! В горле застрянет. А ты будешь?

— Ну что это я так дрожу! — Нина плотнее закуталась в пиджак, нервно, коротко рассмеялась. Трофим взял одеяло с постели и снова набросил Нине на плечи.

— Троша, неужели Петька драться полезет? Вот ужас будет!

— Да его там вмиг свяжут. А вообще хорошо все, без крику, без скандалов, правда?

— Ой, господи, какой все-таки холод!

Больше нечем было укрыть Нину. «Медведя легче из берлоги поднять, — ненавидел себя Трофим. — Холодно, ты понимаешь? Не топлено специально — мужик ты или не мужик?!»

— Нина, мы хорошо будем жить. — Трофим приблизился к ней, вздрагивая, обнял за плечи. «Надо что-то сказать...» — Нина, я что думаю. Я тебе все буду говорить. У меня от тебя никаких секретов не будет. Понимаешь?

— Да, да! — Нина резко повернулась к нему — пиджак и одеяло упали на пол. Лунный свет смягчился, потеплел — господи, как светло!

7

Через два дня после свадьбы Трофим собрался в тайгу. В попутчики напросился инспектор Виктор Буйков, пожелавший осмотреть ондатровые озера.

Выходили с рассветом, по инею. Нина поднялась раньше Трофима, с первой синью в окнах, оладий напекла, чаем напоила, забытый шарф сунула в рюкзак, — Трофим шел и думал об этом, улыбался: ради одного такого провожанья стоило жениться. Раньше он наверняка бы ушел натощак, и давил бы грудь до первого привала утренний тошнотный голод, да и шарф наверняка оставил бы на гвозде, не хватился.

Начался длинный крутой тягун, но Трофим не почувствовал его, дыхание не заглохло, не сбилось — легко ему шагалось. Он все возвращался памятью к неостывшим ночам и с горячей головой, свежею радостью в сердце удивлялся, как он мог жить один.

Сзади задыхался Буйков, тягун замучил его, и он, хрипя, попросил:

— К черту, передохнем.

Буйков привалился к стволу кедра, жадно, со всхлипами хватал воздух. Багровое лицо омывал обильный пот. Трофим был недоволен задержкой, а потому не присел, поправил плечами рюкзак и стоял, наклонившись, выставив вперед левую ногу, в любую секунду готовый продолжать подъем. «Так мы далеко не уйдем. Охотовед называется. На первых километрах сдох. Инспектор, ешкин корень!»

Буйков наконец отдышался, но подниматься не хотелось.

— Смотрю и не насмотрюсь. Красотища! В перекуры ее только и видим. Особенно я. Всю жизнь мечтал на природе жить, специальность такую выбирал, а сижу в дыму, в бумагах...

Трофим промолчал, огляделся: влажные темные подпалины появились на стволах сосен, кедров — утренник отступал, неровно слизывая иней с травы, с неутомимо-зеленых листьев кашкарника; сизо-влажно блестели ягоды жимолости. «Хорошо, — подумал Трофим. — Каждый кустик на месте, каждая травка в деле. Да только вслух хвалить — сглазить недолго».

Тягун вскоре иссяк, тропа выровнялась и чуть расширилась. Буйков тотчас же пристроился сбоку и изводил Трофима разговорами, без которых даже в лесу не мог обойтись.

— Слушай, а как это ты от медового-то месяца открутился? Я бы черта с два отпустил.

— Я, что ли, на тебе женился?

— Ладно, ладно. Ну, брат, у вас и бабы злые! Эта вдова-то, ну, такая здоровая... Антонина, Антонина — вот как! Так меня двинула, я чуть в окно не вылетел.

— Не лезь, когда нельзя. Мужик рядом с ней сидел — кавалер ее, квартирант.

— Да что ты! А я ей наговариваю, я ее — за талию! Тьфу, дурак!

— По-другому и не назовешь.

Буйков умолк, сморщился, потер ладонью лицо — то ли стыд стирал, то ли обиду прикрывал, что Трофим с его «дураком» согласился. Буйков решил поставить Трофима на место, напомнить о своем инспекторском чине и, проходя мимо просторной брусничной поляны, темно-багровой от перезревшей ягоды, сказал:

— Смотри, сколько добра пропадает. А вы заготовки на треть не осилили. Собрали бы баб, ребятишек, да и двинули добирать.

— Собирали, да всего не соберешь.

— Всего не надо. План сделайте.

— Ну что ты со своим планом! Дела, что ли, не знаешь? Мы вон грибы вообще не брали — некому.

— Кстати, за грибы выговор обеспечен. И тебе и директору.

— Хоть двадцать. Ни жарко ни холодно.

— Да ты что, Трофим Макарыч? С ума сошел?

— Не знаю, кто из нас тронулся. В прошлом году вы мне три раза на вид ставили. За ягоды, за грибы опять же, и за рыбу, и ничо, жив-здоров. Работаю. Может, выгоните?

— Может.

— Давай посмотрю. Ты, что ли, за меня сядешь?

— Ты уж больно нервный. Ну неужели нельзя что-нибудь придумать? Сколько ягоды — и коту под хвост. Неужели бабам-то заработать неохота? Бери да бери.

Трофим остановился.

— Давай кончать, Виктор Петрович! Душу не трави. Где, где людей-то возьмешь?! Или охоться, или ягоды собирай. Мы нынче за лето одно зимовье построили вместо пяти. Собирались лабаз на Устьянке ставить — кола не вбили. Мы же не охотники, мы кто хошь: плотники, скотники, заготовители, только не охотники. Охотой кормимся, а палец о палец для нее не ударили!

— Что ты разорался! Знаю я все это, а за дело болеть все равно надо!

Озера они достигли только к вечеру, в послезакатных ясных сумерках. Сразу же пошли ставить капканы. Буйкова Трофим отправил к южному берегу, где погуще были заросли ежеголовки, болотника, рогоза, и среди обилия еды чаще встречались кормовые столики — поотвыкшему от промысла Буйкову легче будет найти ондатровые тропки среди зарослей. Значит, без добычи Буйков не останется, а доброе настроение на-

чальства, считал Трофим, по возможности надо поддерживать. Он наказал Буйкову:

— Смотри, ставь так, чтобы вместе с капканом тонула. Не то сова утащит или сама уйдет, без пальцев.

— Ладно, помню.

Трофим остался на северном, привальном берегу, быстро нашел ондатровые выходы, насторожил десяток капканов, вернулся, поставил палатку, вырубил несколько лиственничных сушин для костра, надрал бересты, приготовил бредень — и как раз пришел Буйков.

Они, торопясь — вечер уже наседал на озеро, — не снимая сапог, прошлись по прибрежному травянистому мелководью, зацепили двух щучек-травничек и с дюжину окуней.

— Хорошо развернулись, — сказал Трофим. — И с ухой, и с жарехой.

Позже, при свете аккуратного жаркого костерка, окунаясь в горячие, дурманящие запахи ухи, Буйков достал бутылку спирта.

— Примешь?

— Что-то охоты нет. Не привык в тайгу брать, — соврал Трофим. В рюкзаке лежала укутанная, запеленатая бутылочка. Но НЗ есть НЗ.

— Я это понимаю. Тут воздух пьянее вина. Пить вроде нужды нет. А как подумаешь: у костра, под уху, и не принять? Плеснуть?

— Самую малость.

Буйкова разобрало быстро — Трофим толком поесть не успел.

— Вот, Трофим Макарыч, ну почему человек такой слабый? Мне город ужасно надоел, работа бумажная надоела, за всяким барахлом для дома надо гоняться, а изменить ничего не могу. Все на жену ссылаюсь, она, мол, никогда город не бросит. Чушь это! Как миленькая бы за мной поехала! Поломалась, поломалась бы и никуда б не делась. Двое пацанов, без отца не оставишь. Все дело во мне! Это я не могу с места сдвинуться, лень мне хлопотать, менять что-то. Хочу, да слабости много. Все понимаю, а переделаться не могу.

Буйков, забыв о Трофиме, налил себе, поспешно выпил, закурил, тупо уставился на костер. Трофим с любопытством слушал Буйкова: «Вон чо, душу выворачивает. Крепко мужика защемило», — но и о деле не за-

бывал, готовил к ночи светильники: нащепал лучинок и в каждую зажимал берестяные лоскуты.

— Жена. Да что жена! — отвлекся от костра Буйков. — Если уж мужской разговор пошел, так такую жену давно бы выгнать надо. Вот у тебя еще все впереди, а я, считай, все прошел... Прошлым летом, представляешь, сама призналась. Я, говорит, была с одним мужчиной, не могу больше скрывать. Замучилась, мол... Представляешь?! Дура, я ей говорю, зачем же мне-то рассказывать? Что я тебя, за язык тянул? До сих пор не пойму! Но самое смешное — простил ведь я ее! Простил! И знаешь почему? Именно за признание ее, как говорят на суде, за чистосердечное. Смутило оно меня, с толку сбило — и простил. Хотя, может, опять вру, опять слабость меня победила: с разводом морока, жизнь по-новому устраивать, квартиру разменивать... Да пропади оно пропадом!

Буйков уже еле-еле держался, еле языком ворочал. Поднял бутылку, посмотрел на свет, встряхнул, но ума еще хватило — не допил. Повалился на траву, мгновенно уснул.

Трофиму стало нехорошо от разговора. «Что за мужик, ешкин корень! Разве о таких вещах говорят? Дурак пьяный! Оплевал себя за здорово живешь и улегся».

Часа в три ночи он растолкал Буйкова.

— Пошли, капканы проверим!

Тот долго, мучительно очухивался. Наконец сказал осипшим, тяжелым голосом:

— Башку свернешь в такую темень.

— Не свернешь.— Трофим зажег берестяной светильник — береста вспыхнула чадным жирно-красным пламенем.— Держи. — Он сунул Буйкову несколько лучинок.

— Зажигать замаешься. — Буйков уже сидел и отчаянно тряс головой.

— Скоро сто лет, как мы у треста фонарики просим. Может, ты теперь поймешь, что нельзя без них.

Пока проверяли капканы, вытаскивали мокрых черных ондатр — отвратительные, голые, сплющенные хвосты их тускло, зловеще взблескивали, — Буйков немного отошел и, видимо, сгорал от стыда, припомнив пьяные откровения. Страдающим, дрожаще-бодрым голосом он сказал:

— Я, парень, ерунду какую-то порол.

— А я и не помню. Мало ли кто что наговорит.

— Врешь, наверное. — Буйков наклонился к воде, напился из ладоней. — А между прочим, полезно иногда душу отвести, выговориться. Хоть и совестно потом, а все как-то легче делается. Жалко, что душу-то мы только во хмелю чистим. А если бы всегда сердце-то открытым держать! Чуть что, тоска какая завелась — сразу к ближнему своему: помоги, мол, брат. Как легко бы жилось!.. Вот хочешь знать, Трофим Макарыч, о чем я часто думаю?

— Скажи, если охота.

— Жаловался я сегодня и на жизнь, и на личность свою безвольную, и жаловался, конечно, зря. Сам кругом виноват. Скучно живу, серо, пасмурно! Лениво живу! Куда жизнь подтолкнет, туда и иду. А нет чтоб посопротивляться, поупираться против течения — в этом же весь интерес! И ведь знаю, знаю — рано или поздно поплачусь за эту лень, за эту скуку, в которой увяз по доброй воле. Прямо-таки чувствую иной раз: готовится мне наказание или испытание какое-то! Ты пойми, я не в том смысле говорю, что чудеса какие-то должен был вытворять, подвиги там или геройство какое-то — нет! Тут в другом дело. Я вроде против себя самого иду. Мне сердце говорит: возмутись, плюнь на свою канцелярию, по свету помечись, поищи свою главную пользу, за которую люди тебя запомнят, а я его уговариваю: брось ты хорохориться, везде хорошо, где нас нет, живем же не хуже других. У тебя не бывает такого, Трофим Макарыч?

— С чего бы? Я с жизнью не заигрываю, серьезно живу. Как и положено.

— Откуда ты знаешь, как положено?

Трофим промолчал.

8

Вскоре Трофим забыл ночной разговор с Буйковым и думать не думал, что со временем вспомнит его. А вспомнит не раз и будет с недоверчиво-испуганной улыбкой говорить себе: «Надо же! Углядел, нагадал! С пьяных-то глаз да с угарной головы. Вот оно и пришло, испытание. А я не верил! Да ведь если разобраться, и не хочу верить. Ведь не может такого быть,

чтобы каждому человеку испытание посылалось вроде как в расплату за обыкновенную, нормальную жизнь, без всяких там выевертов и мечтаний! Может, мне только обыкновенную и надо! И никакой другой? Потом: кем посылалось? Чушь какая-то, чертовщина! Не может быть!» И здравый смысл, которым Трофим наделен был с избытком, решительно отверг похмельный буйковский бред. Но раз уже испытание настигло Трофима, пришло нежданно и негаданно, то и здравый смысл согласился с ним, примирился и даже объяснил это необычайно просто: «Значит, без этого жизнь не прожить. Так и положено».

А «полагалось» ему в разгар семейного счастья встретить девушку, и она с упрямою пылкостью влюбилась в Трофима. Чувство ее и возникло-то из девчоночьего желания кого-то полюбить и кому-то поклоняться, и в поклонении этом достигнуть такой жестокой и слепой чрезмерности, что и в самом деле подумаешь о наказании.

Больно будет Трофиму, тошно, мухоморная тоска к сердцу подкатит и долго будет мучить его удивление: за что же все это на него свалилось?

Пока же девушка эта, Маша Свирина, училась в далеком городе.

Маша Свирина была у родителей единственным и поздним ребенком. Когда-то ее мама учительствовала в сельской школе, учительствовала долго и с горьким, печальным мужеством думала, что ее удел — воспитывать чужих детей. Но однажды приехал инспектор районо, тогда еще моложавый, мечтательно-робкий и болезненный мужчина. Они встретились и поняли: счастье, лунные ночи в саду, вздохи над каждым листком и цветочком, домашний очаг, тихие вечера у зеленой лампы — все это еще впереди.

В Машеньке души не чаяли, холили, нежили, верили в ее счастливую судьбу — она была, по их мнению, необыкновенным ребенком: рано выучилась читать, была рассудительна, послушна, не боялась темноты, не боялась оставаться одна, редко плакала. Рано в ней проявилось какое-то недетское, обескураживающее родителей прямодушие. Лет в семь она вдруг неприятно рассмешила их, начав передразнивать папу: «Ах, ма-

мочка, мамочка. У Машеньки кровка из носу, скорее девочку в постель»,— и с рассудительной укоризной прибавила: «Как маленькие. В куклы играете». И впоследствии, из некоего стихийного протеста, из детской неприязни к фальши, Маша никогда не употребляла ласкательных суффиксов.

Когда она училась в десятом классе, с папой случился инфаркт. Мама, всегда разбавлявшая свое прекраснодушие житейской трезвостью и гибкостью, вдруг поняла: они — старики, и может так получиться, что Машеньку некому будет учить в институте.

Выбрав минуту, она обняла дочь и сказала:

— Машенька, папа теперь уйдет на пенсию. Мне до нее тоже недолго. Может, тебе лучше пойти в техникум? Два года, и у тебя специальность. Захочешь — будешь учиться дальше.

Маша отстранилась от нее, посмотрела широко раскрытыми черными глазами.

— Значит, ты считаешь, что я вдруг могу остаться одна?

— Господи, Маша! Что за манера так безжалостно думать!

Маша хотела сказать: «Не надо, мама. Я же и тебя и папу очень люблю»,— но помешал приступ внезапной, неуместной (Маша это понимала) сдержанности, и она промолчала, с неожиданной ясностью представив, как останется одна. Вот она возвращается с кладбища, похоронив папу и маму, в окружении зареванных подруг. У самой же в глазах ни слезинки, только сухая радужная резь. И так пусто, черно в душе, что кажется странным и неприятным высокое, нежно-прохладное апрельское небо. «Почему апрельское? Неужели это случится в апреле?» — испуганно спросила себя Маша, но отвечать не стала, да и ответа никакого не было, и вновь ясно и живо увидела себя в осиротевшей квартире. Услышала свой голос безразлично-ровный: «Вот, никого теперь у меня. Теперь сама по себе буду»,— и подруги, пришедшие с ней с похорон, снова заплакали, обнимая ее, утешая, и щеки у нее стали мокрыми от чужих слез. Потом Маша увидела, как она, проводив подруг, растерянно, невыносимо одиноко бродит по комнатам и спокойно, без слез причитает: «Вам хорошо, вы вместе, вам теперь ничего не страшно, а мне-то как быть, как жить?» Вдруг нашла старенькую папину

пижаму на спинке стула, на подоконнике — недовязанный мамой шарф, и только тогда прорвались, захлестнули рыдания.

Она так мучилась своим воображаемым сиротским горем, что побледнела, осунулась, и у нее гулко замедлилось сердце. Но, очнувшись, Маша так застыдилась своего преждевременного страдания, что с какой-то отстраненной горячей ненавистью подумала о себе: «Дрянь, какая я дрянь! Заживо хороню! А они только обо мне и думают. Ну надо же было брякнуть такое! Ужас! Откуда это во мне? Ведь люблю же их!»

Маша рванулась было к родительской спальне, чтобы приласкать папу и маму, обнять их, но сознание неловкости, смущения перед бурным изъявлением чувств остановило ее. «Что же, так вот и кинуться на шею: «Папочка, мамочка, простите, я вас так люблю!»? Некрасиво же, стыдно, как на сцене. Я-то не так хочу, может, и слов-то таких нет, чтобы всю боль, всю близость, что ли, свою высказать их. Нет, не пойду», — решила Маша.

Она и сама не знала, отчего так часто и причудливо меняется у нее настроение, но после каждого взрыва, толчка, перепада соглашалась, что скоро перессорится со всем классом, со всей школой, вообще со всем светом.

Вдруг она находила, что любимая, обожаемая ею Лидушка, математичка, чересчур часто спрашивает Колю — тихого, бледного отличника, и Маша однажды с благодарной холодностью, а вернее, с ревнивой вздорностью высказалась: «Мне кажется, уважаемая Лидия Павловна, знания любимчиков не являются знаниями всего класса. Может быть, Коля и экзамены будет за нас сдавать?» Лидушка, бедная, так оторопела и растерялась, что Маша, мгновенно опомнившись, не выдержала и выбежала из класса. «Ой, дура, дура! Теперь хоть из школы уходи. Ну как я снова с ней встречусь? Ведь глупо Кольке завидовать. Это мне хотелось, чтобы Лидушка меня выделяла и чтоб все это видели. Хоть провались теперь! Нет, ни за что в школу не пойду!» Но, конечно, пошла, а покаянный, жаркий озноб при встречах с Лидушкой потихоньку слабел и вскоре вовсе перестал досаждать Маше. «А может, и не зря я тогда ляпнула, — думала она, — Лидушка ко мне ласковее стала, нет, дружественнее. И на переменах снова со

мной разговаривает, и последний фильм ей не понравился, как и мне. Хочу, хочу быть такой же красивой и остроумной! Очень ее люблю!»

Ни с того ни с сего она могла выговорить своей подружке Галке Семиусовой, молчунье и скромнице: «Неужели тебе не противно вечно со мной соглашаться, вечно поддакивать? И даже платье ты сшила в точности как у меня! Почему ты так делаешь, Галя? Это же смешно и жалко. Тебе этого никто не скажет, а я скажу. Я твоя подруга». А увидев, что в Галкиных глазищах копятся слезы, Маша переходила на крик: «Зареви, вот зареви! Уж сейчас-то хоть не молчи! Обругай меня, поссорься, отвернись, уйди, в конце концов! Ну что ты, дурочка, ревешь-то? Перестань! Учти, если не перестанешь, разговаривать с тобой не буду!»

Душевная неровность доставляла Маше столько хлопот и мучений, что она однажды задумалась: «Отчего я такая? Отчего так живу? Будто нарочно себя и всех извожу. Раньше же я не такой была. Хотя нет, раньше я и не думала, какая я. А сейчас вот думаю. Видимо, доросла, понимать хочу: зачем живу, для чего? Да, да! Хочу настоящей жизни! А то школа, уроки, отметки — с ума сойти как скучно. А где-то вокруг меня мучаются, ошибаются, работают — уж у них-то дни не такие резиновые, как у меня. Всерьез хочу жить! Да, да! И скорее, скорее! А то вдруг что-то главное, большое пропущу, а оно больше и не повторится».

И теперь уже Маша с радостью отнеслась к маминому предложению: да, да, только в техникум, два года — и все, все у нее будет всерьез!

9

Если бы в годовых отчетах Преображенского промхоза приводились сведения о семейно-бытовых достижениях, то в отчетах этих, вероятно, встретилась бы и такая запись: «Трофим и Нина Пермяковы за время совместной жизни добились неплохих результатов: они успешно воспитывают сына и дочь, ладят между собой, за истекший период не наблюдалось ни одного семейного скандала, а семейное согласие, в свою очередь, положительно влияет на производственные показатели».

Существуй такая бумага в действительности, Трофим

полностью ее одобрил бы, — он и сам не раз с удовлетворением отмечал, окидывал трезвым, хозяйским взглядом свою семейную жизнь: «Нормально живем, по уму все выходит. Юрка — толковый мужичок у нас получился. Шутка ли, в девять месяцев пошел — говорят, большая редкость. Самостоятельный, цепкий — в меня уродился. Да и Лизке всего пять месяцев, а какая девка зубастая. Два зуба — тоже, считай, редкость. Мать-то ревет от нее — такая кусучая. По уму, по уму, чего там говорить!»

Потускнели уже в памяти, закатились за дальние горы сладкие медовые ночки, смолкли, заглохли их быстрые, невнятные и жаркие голоса, — порой всплывающие в памяти, вызывали они у Трофима лишь удивленную улыбку. «Откуда что бралось?»

Он полюбил домашние нескончаемые хлопоты: подправить забор, починить крышу, углубить погреб, перебрать печку в бане, заменить водостоки, он на работе теперь составлял список хозяйственных прорех и нужд, которыми займется в субботу, воскресенье или после службы.

Он полюбил при мало-мальски удобном случае говорить:

— Это, парень, бабье дело. Меня не касается.

— Жене велю, она сделает.

— Где свитер купил? Да черт его знает! Благоверная расстаралась.

С неизъяснимым наслаждением возглавлял он семейные советы: кому какую обновку купить и к какому празднику; не попроситься ли ему в командировку в город, а то вон Лизка ползунки все истерла; брать ли у Кирьяновых телку и какую окончательно цену давать — в любом случае он соглашался с тещей, солидно, медлительно говоря: «Да, конечно, так и сделаем»,— но ему казалось, что судит он и приговор выносит тоже он.

Утопая и нежась в тихом семейном счастье, Трофим только однажды за это время сильно понервничал и поволновался — в торжественные дни открытия поселковой телефонной станции.

В любой конец Преображенского можно попасть за пять минут, и никто здесь никогда не нуждался в телефоне. Но однажды город выделил районному узлу связи АТС на двадцать номеров. Господи, как, оказывается, ждали телефон в Преображенском! Сын пошел на отца,

брат на брата, свояк на свояка — каждому нужен был телефон, и каждому в первую очередь! Трофим написал дюжину заявлений, прежде чем добился, утвердил свое право на этот, в сущности, бесполезный в Преображенском аппарат.

Телефон ему поставили, страсти утихли, и счастливчики, решительно не знающие, кому и по какому поводу звонить, прощались теперь друг с другом городским, хлестким:

— Ну, пока. В случае чего брякни.

Нина, верно, телефоном пользовалась. Из библиотеки, шалея от дневного безделья и болтовни своих помощниц, она звонила домой:

— Мама! Ну как ребята?

— Чего? — кричала в трубку Елизавета Григорьевна, и Нине казалось, что она услышала бы ее крик и без телефона.

— Мама! Говори нормально, не кричи.

— Не слышу! Какого лешего как в подушку говоришь!

— Да не кричи ты! Ребят испугаешь!

— Слышу, слышу! Чо надо, дочка?

— Ребята, спрашиваю, как?

— Юрка чашку разбил, а Лизавета вот проснулась. Слышишь, кричит?

— Ясно. — Нина расстроенно опускала трубку: разбудили Лизочку. Некоторое время она сидела, сложив руки на коленях, уставившись в одну точку, и видела: Юрик заталкивает в рот осколки разбитой чашки, мать успокаивает Лизочку, а у Юрика из горла кровь, он без сознания, — Нина вскакивала: «Девочки! Я скоро!» — и мчалась домой.

Она влетала в дом и бросалась к Юрику: ушастый, худенький, белобрысый, он стоял возле табуретки и за хвост стягивал жирного старого кота.

— Чашка где?! Осколки?! — запаленно выдыхала Нина.

— Да ты чо, девка! — Елизавета Григорьевна поджимала губы. — Дурней тебя, что ли? Собрала я осколки.

— Слава богу. — Нина целовала Юрика в макушку и с утихшим сердцем подхватывала на руки Лизку, надутую, нахмуренную толстушку.

— Кто здесь сердится? Кто губки свои пухленькие дует?

Лизка требовательно, сильно вцеплялась в материну грудь и, как галчонок, открывала рот.

— Ой ты, обжорушка моя. — Нина выпрастывала грудь, и Лизка ненасытно и жадно припадала — носишко плющился, скользил по тугой белой коже.

Елизавета Григорьевна укоряла:

— Потакай, потакай. Еще наплачешься. Как ни попросит — на, пожалуйста. Время знать надо.

— Мне не жалко, молока на двоих хватит, — отговаривалась Нина, порозовевшая, похорошевшая, притихшая от сладко терзающей боли, причиняемой Лизкиными зубами.

Материнство переменило Нину, и порой она сама удивлялась: «Откуда во мне это?» Вдруг замечала: стала иной походка — медлительной, плавной, видимо, как вынашивала Юрика и Лизку, приучилась к такой. Ни с того ни с сего настигал Нину внутренний жар, тревожно напрягающий тело, она останавливалась, замирала от страха: «Что-то случилось! Ой, что-то случилось!» — но жар внезапно пропадал, Нина смахивала холодный пот, облегченно вздыхала и опять со странной ясностью замечала, будто в зеркало смотрела, что у нее налились, сухо и ярко запеклись губы, потемнели, провалились глаза, точно сжигала ее запретно-счастливая страсть. Или случались с нею припадки нестерпимой, захлестывающей радости — хоть кричи, плачь! Изнывало сердце от восторга: «Милые мои, сладкие, жизнь за вас отдам», — и она прижимала к себе Юрика с Лизкой, целовала их бессчетно.

10

Маша Свирина уезжала в Преображенское по распределению, закончив финансово-кредитный техникум. Провожали ее папа и мама, грустные, седенькие, похожие друг на друга.

Был пасмурный сентябрьский день. Тихое, тяжелое тепло сулило дождь, и Маша оделась по погоде: черный свитерок, короткая серая юбочка, черные туфли на низком широком каблуке. Плащ она пока положила в сумку, сумку поставила на чемодан и вот отрешенно стояла в зале ожидания, погрузившись в странное состояние: еще в городе, дома, еще рядом папа и мама, а она уже не здесь, не с ними; предстоящая жизнь неиз-

вестна, но уже имеет над ней волнующую, загадочную власть...

Папа и мама стояли чуть поодаль, молча переживали разлуку. Папа потихоньку перекатывал языком мягный холодок валидола, смотрел на дочь с некоторой обидой: «Что же, ей нечего сказать нам? Отошла, замкнулась.— Но тотчас же и огорчился, что в такую минуту корит дочь, пусть даже молча.— Боже мой, какая она хрупкая, совсем девочка, разве дашь ей двадцать лет? Ведь никакого в ней лукавства, никакой житейской хитрости. И едет в тайгу, в глушь, с ее-то тонкой, болезненно-чуткой душой...»

Маша подошла к ним.

— Надоело, правда? Скорей бы уж улететь.

Папа вздохнул:

— Не могу привыкнуть, дочка. Ради такой минуты уместно отказаться от некоторой черствости.

— Папа, не мучь себя. Все хорошо, я улетаю, а тебе лучше всего сейчас полежать. Я заметила, ты вторую валидолину сосешь.

Мама грустно улыбалась.

Наконец объявили Машин рейс, они расцеловались, и Маша вошла в автобус, на прощание подумав: «Хорошо, что не разревелась. Они ужасно расстроились бы».

Сентябрь в Преображенском — чистый, сухой, в прощальном пламени лиственниц. Каждое утро Маша только что не жмурилась от оранжевого, багряного, золотого веселья на окрестных гольцах. И оттого, что было солнечно, просторно и каждый день вспыхивали новые праздничные костры, Маша быстро освоилась в Преображенском. Ее поселили у старухи Сафьянниковой, и та обрадовалась квартирантке. «Девку можно, с девкой веселее. Теперь не умру в тараканьей компании. Живая душа рядом».

Маша очень боялась собак, своры беспривязных лаек на улицах поселка ужаснули ее, но лайки были улыбчивы, и Маша скоро привыкла к ним. Привыкла раскланиваться с незнакомыми людьми, хотя вначале это смешило ее. Привыкла откликаться на имя-отчество: забавно, ее принимают за совсем взрослого человека.

В неурочные часы она бродила по улицам. Вроде бы

не на чем задержать глаз в Преображенском: темные, матерые пятистенники, плетни, жердевые заборы, кое-где тротуары из занозистых лиственничных плах, бревенчатый двухэтажный клуб посреди молодого посаженного соснячка — ни затейливой резьбы на наличниках, ни точеных-крученых балясин ни у одного крыльца, ни каких-нибудь этаких, с причудой, палисадничков — все просто, но добротно, из векового листвяка. Поразили Машу бесконечные поленницы, выложенные вдоль заборов, на полянках, за огородами, в тупичках меж домов,— она однажды даже попробовала шагами измерить длину преображенских поленниц, досчитала до шести тысяч, сбилась, да и надоело. «Неужели их сжигают за одну только зиму?» — ужаснулась она. Отметила также, что в Преображенском почти нет замков, двери припирались либо жердиной, либо закладывались щепкой. «Конечно, все друг друга знают. Какие тут могут быть воры». Удивилась, что во дворах, помимо бань, стояли избушки, уменьшенные копии домов. «Неужели коров там держат?» — спросила она у старухи Сафьянниковой, у которой у одной не было во дворе избушки. «Что ты, девка! Это же зимовьюхи: еду там для скота варят, стирают, многие и едят там, чтобы грязь в дом не таскать».

Подолгу Маша смотрела на реку, холодную сентябрьскую синь которой согревали костры пылающих лиственниц. Просилась, рвалась за быстрой водой возбужденная осенью душа.

В те дни Машу удостоил вниманием телеграфист Венка Мокин, необычайно нахальный парень. Рыженький, тощенький, с острым бледным носиком, Венка явился к Маше домой. Не поздоровавшись, не снимая кепки, прямо с порога приступил к делу:

— Ты, что ли, приезжая будешь?

— Я.

— Как звать-то?

— Маша.

— Марья, значит. Взаимно, — Венка небрежно сделал ручкой, этак от сердца к сердцу,— Вениамин я. Пошли в клуб.

— Зачем?

— В самодеятельность запишу. Петь, плясать будешь.

— Не хочу я петь и плясать.

Старуха Сафьянникова, онемевшая было за чаем, опомнилась, замахала руками.

— Я те дам, «взаимно»! Пошел отсюда, ботало коровье. Машенька, гони его взашей, шпану поселковую!

Венка и бровью не повел.

— Давай, Марья, собирайся. Нехорошо от молодежи откалываться.

Маша рассмеялась:

— От какой молодежи?

— От передовой и инициативной.

Старуха Сафьянникова не вытерпела, вылезла из-за стола:

— Кого ты слушаешь? Это же первый хулиган, Машенька. Я его как облупленного знаю.

Венка опять сказал:

— Пошли, пошли, Марья. Я ведь не сам по себе. Меня секретарь комсомольский послал. Веди, грит, интеллигенцию. Не хватает ее.

— Врет он, врет, Машенька, — опять начала старуха Сафьянникова.

— Я пойду, Марфа Ульяновна. Мне интересно.

— Ой зря, ой зря! — завздыхала старуха.

На улице Венка сказал:

— Старуху не слушай. Из ума выжила. Про секретаря, чтоб ты знала, вранье. Это я лично тебя пригласил.

— И про самодеятельность наврал?

— Про нее — нет. Вовлечем.

В клубе Венка подводил ее к знакомым и представлял:

— Моя подруга.

Маша возмутилась:

— Почему ты так говоришь? Какая я тебе подруга?

— Еще успеешь, будешь. Не в этом дело.

Она повернулась, оделась, ушла. Венка догнал, взял под руку.

Маша вырвалась.

— Я думала, ты веселый. А ты нахал.

— Нахальства во мне нет. Заводной я — что в голову взбредет, сразу осуществляю. — Венка пошел как-то бочком, бочком, скоком и, улучив минуту, поцеловал Машу в щеку.

— Дурак! — Маша с силой оттирала щеку. — Дурак и хулиган.

— Переживу. — Венка опять изловчился и уже поцеловал в губы.

Маша вскрикнула, замахнулась на Венку, но он отскочил.

— На память от Вениамина Мокина!

Маша бросилась к нему с кулаками, но Венка побежал легко, неслышно и исчез в осенней темени.

Ночью Маша лежала с открытыми глазами, осторожно трогала опухшие, горевшие губы. Поцелуй рыжего телеграфиста заставил ее вглядываться в темноту, населенную бесшумными белоснежными видениями, о которых никто ничего не знает. «Сколько девчонок, наверное, сейчас вот так не спит. Думают, думают. А вдруг возьмут и решат: надо в кого-то влюбиться. Ой, что будет! Было тихо, спокойно, вдруг утром — миллионы влюбленных! — Маша засмеялась. — Вот и я возьму и влюблюсь», — но представить, что будет после этого, она не могла и уснула.

Утро наступило свежее, хрусткое — легкий морозно-душистый иней покрыл заборы, траву, крыши, стволы деревьев и придал особую ясную прелесть притихшему пламени тайги. Ее безмолвное, плавно-волнистое течение по падям, распадкам, гольцам заворожило Машу, как только она вышла на крыльцо. Она почувствовала странное желание соединиться с ним, слиться, проникнуть в его глубину и силу — никогда еще природа так радостно и полно не захватывала ее. Маша подумала, что в такое утро хорошо и легко отказаться от былых ошибок, грехов, от былого равнодушия; хорошо на этом морозце, при солнышке, решиться на новую жизнь, дать слово, клятву быть доброй, справедливой, любящей, выбрать в советчики раз и навсегда совесть и сердце, слушаться только их...

Хотя Маша не видела в своем прозрачном прошлом ни грехов, ни ошибок, все же захотела перемениться, превратиться в серьезную, умудренную женщину, чья судьба заполнилась бы страстной верой в какого-то человека и любовью к нему.

— Вот возьму и влюблюсь! — сказала Маша вслух, сказала, волнуясь, без тени легкомысленной улыбки. — Влюблюсь, поумнею, буду страдать. А ведь кто-то нуждается во мне, кто-то уже достоин моей любви, кому-то без меня плохо!

В этот день Маша ни в кого не влюбилась, не влю-

билась и в последующие дни — ее незнакомец нигде не объявлялся.

Но Маша не переставала ждать его, напротив, нетерпеливая вера в скорый приход любви приобретала черты опасной исступленности и горячности; Маша плохо спала, плохо ела, беспричинно вздрагивала и бледнела, начались слуховые галлюцинации — ей казалось ночью, что где-то неутешно, до хрипоты, плачет ребенок.

Из тайги вернулся Трофим. Ветрено-черный загар на скулах освежил бледное, худое лицо. Голубые глаза его на загорелом лице непривычно потеплели, голубизна их как бы сгустилась, стала ярче.

Трофима познакомили с Машей. Он бегло отметил, что новая сослуживица хрупка, большеглаза, бела, по-городскому нарядна. «Где они этих маминых дочек берут? — сурово подумал он о трестовском отделе кадров. — Сами тайги годами не видят и к нам посылают таких. Сбежит же, изревется вся, к маме запросится». Трофим невнимательно пожал Маше руку и тут же забыл о ней.

А Маша позже вздыхала, припоминая знакомство: «Вот в кого бы влюбиться. Какое у него хорошее лицо. И взгляд — молодой, веселый. А рука теплая, ласковая, крепкая...»

Через день или два в клубе к ней подошел Венка Мокин, чинно поклонился.

— Извини. Я тогда погорячился.

Маша отвернулась.

— Ну-ка посмотри мне в глаза и скажи: «Веночка, ты дурак, но хороший». Ма-ша!

— Ты нахал! И отстань от меня!

— Спокойно, Машенька, спокойно. Не забывай, Вениамин Мокин у всех на виду.

Маша отошла: в самом деле, зачем с выпившим дураком связываться. Но Венка опять был тут как тут.

— Нас кое-что сближает, Маша, — Венка привстал на цыпочки и сделал вид, что тянется губами к ее щеке. Маша толкнула его. Венка присел на пыльный пол, но тотчас же вскочил, раскинул руки и полез обниматься.

Из толпы вышел Трофим, схватил Венку за шиво-

рот и поддал коленкой под зад. В дверях Венка уцепился за косяк, обернулся, крикнул:

— Ну, ты, Пермяк! Давно не били?!

Трофим пошел на него.

— Давно. Может, ты попробуешь?

Венка не стал рисковать, исчез, тем более что и приятели затерялись в толпе.

К Маше подошла Нина:

— Не обращай внимания. И не бойся — после кино мы тебя проводим.

— Я не боюсь. Противно только.

Вернулся Трофим, тоже утешил:

— Сейчас картина начнется — все забудешь.

— Спасибо вам,— едва слышно проговорила Маша.

Она убежала из клуба — какая уж тут картина! Дома сразу ушла к себе и, не включая свет, тысячу раз с закрытыми глазами просмотрела сцену своего спасения. «Да, да, да! Такого можно полюбить! Смелый, сильный...»

И началось молчаливое, безответное, смиренно-страстное служение столь странно найденной любви.

Маша прислушивалась к голосам в коридоре конторы — может быть, услышит его; мимо комнаты охотоведов пробегала быстро, на цыпочках — вдруг выйдет он; теперь просиживала у окна — смотрела, как во дворе напротив он колет дрова, кормит собак, чему-то смеется вместе с Ниной — Маша о ней не думала, забывала, да и не все ли равно! Как хорошо, что его двор напротив. Она мучилась, что он не знает о ее чувстве и только потому не замечает ее. Может быть, объясниться? Но как, где? Она не боялась объяснения, боялась лишь, что Трофим не поверит.

11

Стенную газету «Наш промысел» бессменно из года в год редактировал Трофим и так поднаторел в этом деле, что обходился без помощников: сам рисовал, сам писал, и газета выходила в положенный срок — в канун торжественных дат. Но чтобы сослуживцы не забывали стараний Трофима, он перед праздниками обходил контору и с утомленной, капризной ноткой в голосе приказывал:

— Товарищи! Чтобы завтра каждый принес заметку. Не могу же я за всех вас сочинять.

Сослуживцы виновато, сочувственно поддакивали, уж в этот-то раз обещали написать непременно, но Трофим знал: завтра он возьмет из квартального отчета цифры у Нины в библиотеке — журналы с подходящими к дате картинками и стихами, усядется за лист ватмана: в левой половине отметит положительный опыт передовых охотников и подпишется под этой половиной своей подлинной фамилией; в правой — наведет критику на пьяниц, прогульщиков, лодырей и там подпишется псевдонимом А. Сибирский-Былинников, в правом нижнем углу нарисует почтовый ящик и напишет тушью: «Дорогие товарищи! Слово — полководец человечьей силы. Пишите заметки от души, а не вполсилы. Редколлегия».

И перед нынешним ноябрем Трофим собирал заметки, вернее, напоминал: «У некоторых совести совсем нет! Обещанного в три года не дождешься»,— но пришлось замолчать. Маша Свирина из бухгалтерии вызвалась ему помочь. Он обрадовался.

— Наконец-то! В кои веки нашлась добрая душа. Вот что значит молодой специалист. Легок на подъем, не то что наши замшелые пни. Спасибо, Маша.

Вечером они остались вдвоем в унылой прокуренной комнате охотоведов. Маша торопливо, дрожащими руками расправила лист ватмана. Она решила: «Последнюю точку поставим, и я все скажу ему. Нисколько не страшно. Даже если не поверит, не страшно. Главное — сказать. Главное, что я его люблю».

— Что мне делать, Трофим Макарыч?

— Вот из этого журнала стих вырежи. А из этого — картинку. Ее в центр наклеишь, а под ней стих.

Сам Трофим привычно и споро оформлял заголовок: нарисовал белку с кедровой шишкой в лапках — ничего белка вышла, похожая; в противоположном от белки углу и пониже нарисовал охотника, целящегося в нее,— вроде тоже ничего вышло.

Трофим подумал, что все молчком, молчком неудобно, девчонка обидится, скажет: «Я ему помогаю, а он и словом не приветит».

— Как тебе у нас? Не скучно?

— Нет, мне здесь нравится.

— Так уж и нравится. Тайга, глушь — чего тут хорошего?

— Люди здесь добрые; просторно, тихо. Потом... —

Маша хотела сказать сразу, напролом: «Здесь вас встретила»,— но слова эти задержались в горле. — Вообще хорошо здесь. Даже собаки не кусаются.

— И домой не тянет? К отцу-матери?

— Мне их жалко, но домой не хочется.

— Почему?

— Я бы по-своему жила, а они бы мучились, дрожали над каждым моим шагом. И меня бы мучили.

Трофим с интересом взглянул на нее: «Забавная девчонка. Я с ней просто так заговорил, а она всерьез, как на духу отвечает, даже щеки разгорелись».

— Значит, нравится тебе здесь? Ну и что ты с этим «нравится» делать будешь? Навек, что ли, с нами поселишься?

— Не знаю. Я об этом не думала.

— Вот когда подумаешь, сразу разонравится. Парней у нас молодых,— ну, чтоб с перспективой — нет, жизнь однообразная, так тебя скука-то одолеет, без оглядки убежишь.

— Почему обязательно скучать и убегать — будто по-другому не может выйти?

— При мне по-другому не выходило.

Уже нарисован почтовый ящик, уже появились красные слова: «Пишите от души, а не вполсилы», вот-вот последняя точка. Маша уговаривала себя: «Пора, начинай, три секунды — и все, не надо оглядываться, как в реку броситься: холодно, тепло ли — поплыву»,— оказывается, невозможно, язык отсох, горло перехватило.

Тогда Маша на клочке бумаги написала записку и протянула ее Трофиму.

— Что это?

Маша молчала.

Трофим прочитал вслух: «Трофим Макарыч! Я вас люблю». Несколько опешив, сказал:

— Я тебя, конечно, тоже люблю, но что-то таких шуток я не понимаю.

Он вертел записку в пальцах, размышлял, нахмурив белесые брови.

— Хоть убей, Маша, ничего не понимаю! Может, игра такая городская? Или еще что? Понимаю, что шутишь, но в каком плане и что мне отвечать — не пойму.

Маша опустила голову, в отчаянии закусила губу. Внезапно сорвалась и выбежала на улицу. «Он поверит, поверит, что я его люблю!»

Трофим остался в полном недоумении: «Чудная какая-то, ненормальная. Стой, стой! А может, бабы из бухгалтерии подговорили разыграть меня? Ты, мол, ему объяснись и посмотри, что ответит. А завтра похохочем». Совершенно уверенный, что над ним подшутили, раздраженный этой уверенностью, Трофим разорвал записку и сжег в пепельнице.

Дорогой он поостыл, успокоился, более здраво подумал обо всем. «Сама, наверно, все-таки придумала. Девка вроде правдивая, вон как отвечала мне. Записка, наверное, просто блажь, или от скуки, или от нервов. Любит она меня, как же. А впрочем, молоденьким такие мужчины, в соку, как я, вполне могут нравиться.— Трофим засмеялся: — Ну их к черту, этих баб!»

12

Через день или два Трофим обнаружил в кармане полушубка записку. «Я вас действительно люблю. М.» Он испугался — прохватило быстрой горячей испариной, порвал записку, затоптал в сугроб; читал ее под желтыми вечерними окнами конторы, после работы. «Это что же такое! А если бы я руку в карман не сунул? Если бы Нине попалась? Совсем девка с ума сошла: что я ей — парнишка желторотый, пацан, чтоб любовные писульки получать?! Дети, жена... Что она, дура такая, не понимает?»

Он решил завтра же все выговорить Маше, чтоб выкинула дурь из головы и оставила его в покое.

«Придумала забаву. Скучно, конечно, надоело одной — это я понимаю. Но она-то как не поймет: ничего между нами не выйдет, неподходящий я ухажер. Семейный мужик, отец. Любовь крутить — характер не тот. Хвост раздувать, петушиться — не по мне, а всерьез — совесть не позволит. Завтра я ей все-о выложу!»

Перед домом, хоть и помнил, что клочки записки втоптаны в сугроб, все же снова сунул руку в карман, мало ли, береженого бог бережет. В дом вошел с ненатурально громким, показным оживлением, пряча от Нины смущение и несуществующую вину.

— Ну, мать! Быка съем. Мечи на стол, что есть и чего нет.

Схватил на руки Лизку, пощекотал губами теплый

оголившийся животишко. Лизка восторженно закатилась, зашлась в визгливом тоненьком хохоте. Нина отобрала дочь.

— Балуйся, балуйся перед сном. Потом до двенадцати не уторкаешь. Ты чего это шумный такой? Выпил, что ли, с кем?

— Какой там выпил! Много я выпиваю, будто не знаешь. Погода хорошая или еще почему.

— Да уж, да уж, рассказывай. Ну-ка дыхни. Правда, ветром надуло, развеселился. — Нина улыбнулась, передала дочь Елизавете Григорьевне, налила в умывальник воды, достала с печки мужнины тапки и уж потом захлопотала у стола.

Трофим ел без аппетита, кусок в горло не лез, но он ловко прикидывался: жадно, быстро, весело жевал, с полным ртом хвалил стряпню:

— Ну, молодец у меня хозяюшка! Прямо тает во рту — вроде уж сыт, а глаза все еще хотят.

Нина улыбалась, прислуживала за столом с ласковым, неторопливым довольством. А Трофим, встречаясь взглядом с женой, розовел, смущался и, чтоб скрыть смущение, подмигивал Нине, показывал большой палец, без устали жевал и жевал.

Назавтра, в обеденный перерыв, Трофим вышел из конторы за Машей, догнал ее в пустом переулке:

— Постой-ка.— Он помялся, похмурился, наконец, преодолев нерешительность, нашел подходящие слова: — Ты вот что. Записок не пиши. Выкинь эту блажь.

Маша удивленно, обиженно посмотрела на него.

— Я не могу выбросить. Я вас люблю.— Напрягшемуся от волнения телу сразу полегчало. Свободно, плавно обмякли плечи, исчезла тянувшая шею боль,— наконец-то Маша сказала эти слова, сказала, глядя ему в глаза, и голос почти не подвел, только чуть-чуть дрогнул.

— Ты чего говоришь-то? За что ты меня любишь? Что это за любовь к женатому мужику? Думай хоть.

— Я думала. Вы не такой, как все. Я знаю, вы очень хороший, вы — гордый и думали, что вам любовь не нужна.

— Не выдумывай ты, не морочь голову! Я обыкновенный. И люблю я жену, детей, так что ты уж не влезай, не путайся.

— Хоть тридцать три жены! Хоть сто детей — я вас все равно люблю!

— Заладила, как кукушка: «Люблю, люблю!» Ты чего добиваешься, не пойму? Чтоб, значит, и я в тебя втюрился, забыл дом, семью... Так, что ли?

— Если вы меня полюбите...

— Ох ты, батюшки! — Трофим схватился за голову.— Да мне тридцать три таких не надо, как ты! Ну что ты ко мне пристала! Помоложе, что ли, нет?!

Маша прижала к груди руки — красные варежки пылали маленьким костерком.

— Эх вы! Вы просто боитесь. Боитесь, что все так вдруг...

— Ну, хватит.— Трофим заговорил сухо, строго, уняв раздражение.— Чтоб больше никаких записок, никаких объяснений. Нынче последнее. Все.

— Нет. Все равно я люблю вас.

Трофим не ответил, ушел растерянный и злой. «Боюсь! Молодая, а нахалка! Девушка называется. Навяливается, и все тут! Но ругайся не ругайся, а что же теперь с ней делать? Не прибьешь, не припугнешь кулаком — девка. И как ошалела, на рожон прет. А вдруг на людях подойдет и влепит: «Я вас люблю» — с нее станется, с сумасшедшей. Что я тогда? Как людям в глаза смотреть?»

Однако рядом с раздраженным недоумением возникло в Трофиме некое негромкое, приятное сомнение: а может, действительно со стороны виднее, и замечает посторонний глаз что-то такое в его душе, особое... Но, на мгновение поддавшись этому сомнению, Трофим спохватился, обругал себя: «Эй, эй, парень, дуролом таежный! Послушал какую-то девчонку и разомлел. Нашла, видишь, тебя, отметила».

И вечером, в семейном кругу, Трофим жестоко обругал себя, когда обнаружил, что сравнивает Нину с Машей. «Конечно, та девчонка, ей положено гибкой да тонкой быть. И глаза глупые таращить. А Нина — мать и должна соком наливаться. Только попробуй, дуролом, еще раз сравнить!»

13

Маша думала: «Он не верит, что я его люблю. Если бы как-то доказать, что-то сделать — он бы

переменился, поверил. Он бы тоже полюбил меня. А что, что сделать? Как доказать?»

Она помнила, что по воскресеньям с утра Трофим носит воду с реки на всю неделю. Дождавшись воскресенья, морозным ясным утром Маша пошла на берег, забралась в фанерную будку, брошенную каким-то рыбаком, и, волнуясь, смотрела на тропку, пробитую в прибрежных сугробах. Пустынная белая река, голубовато-холодные торосы, снежная тихая пыль в розовато-печальном сосняке, прибрежная смородина — все это Маша видела в проем фанерной будки, и под влиянием снежного, морозно-радостного оцепенения ей примерещилось ненадолго, что она, маленькая девочка, сидит на елочном базаре под Новый год в фанерном теремке, пока пустом, не занятом торговлей, и забытое чувство щемящего, хвойного, детского счастья поселилось в ней. Когда оцепенение прошло и вместе с ним уплыло невесомое, прозрачное видение из детства, Маша сразу же озябла и погрустнела. «Никогда бы не подумала, что буду сидеть среди сугробов в какой-то будке и ждать человека, который не любит меня».

Она увидела Трофима — в старой лоснящейся телогрейке, перехваченной какой-то веревкой, в валенках-бахилах. Он не ожидал встречи, лицо его, серое, небритое, было усталым и постаревшим.

— Трофим Макарыч!

Трофим вздрогнул — взвизгнули ведра на коромысле.

— Маша! Ты зачем здесь? А ну уходи! — Он оглянулся: слава богу, высокий берег, надставленный сугробом, прятал их от домашних окон.

Маша подвинулась к нему — теперь их разделяла прорубь, широкая, с черной водой, которая холодно, таинственно жила среди голубовато-белых сосулистых наледей.

— А я все думаю, думаю о вас, Трофим Макарыч... А вы обо мне?

— Уйди, уйди ты, ради бога! Ну, есть совесть-то у тебя?

— Хорошо, уйду.— Маша побледнела. «Сейчас вот возьму и прыгну в прорубь». Она вздрогнула от этой дикой, глупой мысли, отвела глаза от черной бездонной воды, отступила: «Да, да, уйду. Надо уйти. А он подумает: ну все, отделался, выбил блажь из головы. Неужели он ду-

мает, что у меня блажь? Прихоть? — Маша еще отступила, снова прошептала чуть ли не вслух: — Глупо, глупо, дико так делать!» — и, как бы отталкиваясь от этих слов, убегая от них, решилась, зажмурилась — и быстро шагнула в воду.

Загремели ведра, Трофим бросился на колени, успел ухватить Машу за воротник, приподнял, подхватил под мышки, выволок, усадил на лед.

— Ну беда, ну беда,— причитал он.— Что же ты, дура такая, делаешь?

Маша встала, мокрая, со сбитым платком, стекленели брызги в волосах. Она не успела даже испугаться и спросила серьезно, даже с какой-то деловитой ноткой в голосе:

— Теперь верите? Теперь видите?

— Верю, верю! — Трофим поправил ее тяжелый, льдисто-заскорузлый платок.— Быстрей домой беги. Переоденься, водки выпей. Есть водка-то?

— Не знаю,— Маша бессильно улыбнулась.

— Беги, беги.— Он враз устал, закружилась, набухла ломотной болью голова.

Маша ушла, а он оперся на коромысло и долго бездумно стоял. Забыл набрать воды, домой вернулся пустым, пожаловался на сильную головную боль, разделся и лег. Нину перепугало его бескровное лицо, она дала ему две таблетки аспирина, укрыла, потрогала холодный лоб, покачала головой: «Нынче грипп такой, что не поймешь. Без жара, а вон как скрутило».

Трофим лежал с закрытыми глазами и на время как бы забыл, что женат, что за дверью кричат, плачут, лопочут Юрка с Лизкой, его дети, и тогда видел черную прорубь, стеклянные брызги в Машиных волосах, ее светящиеся, беспощадные глаза. «За что, за что она меня так полюбила?! Ведь это сколько сердца надо иметь, чтобы вот так-то в прорубь шагнуть? За что, за что?!

На самом деле, за что? Как жил, как годы заполнял, чем? Оглянись, и ничего не увидишь — все ровно, уныло, как тайга в пасмурный день. Ну, жил и жил, все по одному месту топтался, ничего не замечал: мать схоронил — дальше жил, институт одолевал восемь лет— одолел, снова живу; с Ниной сошлись — что же, я не видел, не понимал: ее годы подперли, меня тоже — вот нравилось дураку довольным быть: «У меня все по-

людски, слава богу, на жизнь не обижаюсь, ничем не обделила».

Никогда не мучился, никогда голова не болела. Не жизнь — тянучка, лыжня накатанная. Дурная, серая, сладкая, как в берлоге. Правильно тогда Буйков говорил: на беспокойство душевное сил жалко, хлопотно, мороки много».

Трофим изо всех сил вспоминал, перебирая пережитые дни чуть ли не с младенчества, искал в этой груде, выбирал из обломков заурядного, тусклого, обыкновенного хоть какую-нибудь малость, заслуживающую людской благодарности. Но попадались одни мелочи, пустяковины: когда-то у однофамильца Федьки Пермякова проходящие бичи разорили зимовье, всю добычу за сезон унесли — так он, Трофим, без слов принял участие в складчине, отдал двух соболей Федьке, чтобы с семьей лето перебился; когда-то в дальних гольцах пропал парнишка из геологической партии — так он, Трофим, охотившийся в тех местах, три ночи не спал, а вывел геологов на парнишку, который по дурости и с перепугу ушел в другую падь; когда-то поправил, починил Сафьянниковой избу, пожалев старуху, больную и одинокую.

«Как мало! — растерянно говорил себе Трофим.— Ну, ясно, понятно, людям обо мне нечего вспомнить, никуда уже не денешься. Но для общества-то старался, государство ни разу не обманул».

Теперь Трофим вспоминал, какую же выгоду имело от его жизни государство, и принужден был безжалостно признать: почти никакой. Работал, как нынче молодежь говорит, «от и до», не утомляясь лишними стараниями, и все.

«Ну что ты будешь делать? — мучился Трофим.— Со всех сторон зряшный человек. Из-за такого дуролома еще и в прорубь кидаются».

И уже вовсе увяз в темноте и духоте, когда думал о семье. «Ребятишки без отца не могут, на себе испытал. Безотцовщину с пяти лет прошел. Да и куда без них? Юрка вон только на коленки залезет, а я уже прямо мурлыкать готов. Лизавета заревет — и мне впору реветь. Глазенки, смотри, какие маленькие, а слезы крупнущие, дождем — вот же как все устроено: человечек еще никакой, а обиды в нем сколько на эту жизнь. И Маша как дите. Сегодня в прорубь кинулась, завтра еще чего-нибудь удумает».

До вечера провалявшись, промаявшись в постели, Трофим встал, вместе со всеми поужинал, помог Нине уложить ребятишек и, когда остались вдвоем, тихо, с невыносимо замирающим сердцем, сказал:

— Помнишь, в день свадьбы я обещал тебе все говорить? — Трофим помедлил.

Нина не дала договорить:

— Ты что? Ты... — У нее покраснело лицо, шея и даже грудь в вырезе ночной рубашки.— Тебе кто-то понравился, да?

— Да ты не думай, ничего серьезного не было. Ты помоги мне...

— Она... Она... Это Маша Свирина?

— Да.

— Она знает?

— Да.

— Тут я тебе не помощница. — Нина готова была зареветь в голос, да боялась детей напугать. — Без помощи обойдешься. Иди к ней, иди!

— Нина, ничего же не было!

Она отвернулась к стене, долго плакала, потом села и сквозь слезы выкрикнула:

— Уйди от меня! Никогда тебе этого не прощу! Уйди!

Он встал, взял подушку и перебрался на диван. «Кончилось, рухнуло все, все рухнуло! Хоть в петлю лезь!»

Нина снова заплакала.

«Может, я что не так делала — на сторону его потянуло? Ухаживаю, может, плохо? Неряха, лентяйка? Придираюсь к нему, пилю? Ведь ни разу не поскандалили. По любви вон девки выходят, и то такого мира в доме нет. А может, вот теперь и аукается, что без любви шла? Детей хотела, семью, дом — получила... Нет, нет, нет! Ни за что не отдам, не уступлю! Не уступлю — и все».

Под утро слезы кончились, и, обессилевшая, какая-то невесомо-несчастная, Нина прислушалась: «Спит или нет? Будто бы ровно дышит. Всю ночь проревела, а ему хоть бы что. Помощь ему нужна, как же. Наверное, договорились обо всем. Ты, мол, ее подготовь, скажи, пусть, мол, проревется, злость-то слезами и выйдет». Нина опять всхлипнула — новых слез еще не накопилось. «Если все уладится, по-другому заживем. Чтоб не только

дом и дети. Еще, еще что-то надо, а не только про зарплату да кому что купить».

14

Утром, чуть свет, Трофим ушел в контору. Нина слышала его вздохи, поспешные сборы, но не встала, не накормила, не напоила — пусть натощак разбирается, кого любит, кого нет.

По дороге заскрипели его шаги, Нина в рубашке, босиком кинулась к окну: не вышла ли эта разлучница на свидание с утра пораньше. Нет, один на дороге: в доме напротив еще и окна не светятся.

Ребятишки спали возле бабки на печи, спали крепко, разрумянившись в тепле. «Деточки мои,— с навернувшейся слезой подумала о них Нина.— Может, осиротеете скоро, отцу-то не нужны вы». Одетая, в валенках, в шали, она не отрывалась от окна, дожидалась, когда выйдет из ворот Маша.

— На улице-то не связывайся с ней, не позорься,— сказала Елизавета Григорьевна.

— Мама! Ты не вмешивайся, лежи! — Нина даже вздрогнула от неожиданного совета матери.— Смотри не вздумай со старухами горем делиться.

— Не бойся. Без меня скоро весь поселок знать будет. Сходила бы к Сафьянихе днем.

— Еще чего! Я с ума не сошла — молитвы собирать.

— Ну да, вы же ученые. Ничего, приспичит — и за молитву схватишься.

Маша вышла на улицу. Нина где быстрым шажком, где бегом — догнала.

— Здравствуй, Машенька! Утро доброе! — голосисто и весело поприветствовала Нина.

— Здравствуйте,— Маша побледнела, поняла, что Нина знает все.

— Правду, нет ли, говорят, будто уцененные мужики теперь в ходу?

«Зачем она так?» — поморщилась Маша.

— Не знаю.

— До чужого добра охотников много.— Нина не могла больше сдерживаться.— К Трофиму не лезь. Вылетишь отсюда,— всю жизнь не опомнишься.

— Я люблю его.

— Уезжай отсюда, пропади, чтоб духу твоего не бы-

ло! — Если бы не улица, Нина ударила бы ее, уж за одно только, что глаз не прячет. — А он тебя любит?! Да ему на твою любовь — тьфу и растереть. Он же не знает, куда от тебя деться.

— Я не хочу с вами разговаривать. — Маша повернулась, пошла, напрягшейся спиной ждала: сейчас на нее бросятся, будет ужасно стыдно... Но Нина лишь плюнула ей вдогонку.

«Стыдно. Нехорошо как! — думала Маша. — Но я же знала, что так будет. Наверное, он сказал ей вчера, признался... Ведь если сильно, сильно любишь, ни на кого нельзя оглядываться. Если так любить, всех победишь!»

В конторе ее сразу же отозвал Трофим, серый, не выспавшийся, с воспаленными глазами. Они зашли в красный уголок.

— Вчера я сказал дома.

— Да, я знаю. Мы сейчас разговаривали с вашей женой. Она говорила, что вы не знаете, куда от меня деться.

— Зря она это. Вчера я понял: никогда их не брошу! Никогда. Вот ты говоришь, любишь меня. Тогда уезжай. Ничего у нас с тобой не выйдет.

— Хорошо, хорошо! Но иногда, на секунду, можно вас видеть? Мне больше ничего не надо...

— Не знаю, Маша, ни к чему это. — Трофим настроился на бурное, длительное объяснение и потому растерялся от быстрого Машиного согласия.— Сильно она ругалась? Обидела, наверно, тебя?

— Что вы. Просто сказала, что мы не должны забывать о детях. Конечно, я не забываю, я понимаю, как вам тяжело.

— Да, да. Ее правда. И никуда от нее не денешься.— Трофим хотел уйти, но Маша взяла его ладони, спрятала на мгновение в них лицо, зажмурилась: «Может, поцелует»,— но Трофим не поцеловал, лишь погладил щеки и отнял ладони.

— Все, все, Маша. Хватит. Не трави душу.

15

Нина между тем места себе не находила: то бесцельно перебирала книги на стеллажах, то принималась подшивать газеты, то тотчас же бросала и, взяв

журнал из свежей почты, долго листала его, не видя страниц. «Дура я, дура. Надо было утром встать, сделать вид, что ничего не случилось. Мужики незлопамятных больше любят».

Не дожидаясь урочного часа, она побежала в контору позвать Трофима на обед. Откуда только силы взялись. Явилась туда веселая, бодрая.

— Ой, мужики! Друг друга не видите — так начадили. А ты, Троша, не куришь, а дышишь этой заразой. Собирайся-ка на волю! Утром убежал — крошки во рту не побывало. Пошли, пошли, стахановец!

На улице Трофим сказал:

— Зря ты с ней скандалила. Я же предупреждал: ничего между нами не было. Сами бы разобрались, зачем девчонку впутывать.— Он щурился, морщился от резкой снежной белизны, а Нине показалось, что это на нее он злится. «На меня наплевать — девчонку пожалел». Но вслух сказала смущенно и покорно:

— Да я и не скандалила. Обидно стало, вот и не утерпела.

— Она ни при чем. Я уж ругаю себя — черт за язык вчера дернул. Давай не будем больше про это.

— Конечно, Троша. Я же понимаю.

Весело хрустел снег, весело светило солнце, свежий мороз скользил по легким синеватым сугробам, но Нинина душа никак не могла открыться этому ясному зимнему дню. «Как он меня успокаивает! Врет все! Любит ее, потому и выгораживает, потому и утешает».

С какой-то нервно-спокойной ласковостью она накормила Трофима обедом, заставила побриться, сменить рубашку («Нехорошо, Троша. Будто поухаживать за тобой некому»), но как только проводила за порог, резко, сухо приказала матери:

— Сходи к Сафьянихе. Посмотри, одна ли дома.

Елизавета Григорьевна обернулась быстро:

— Одна.

Нина, не одеваясь, только накинула шаль, выскочила на улицу. Елизавета Григорьевна примерзла к окну: у ворот Сафьянихи Нина замешкалась, быстро рыскнула взглядом налево, направо и вошла.

— Здравствуйте, бабушка Марфа! — громко сказала Нина.

— Здорова, здорова. Не ори так, стекла вылетят.

Нина забыла, что старуха глохнет почему-то лишь на улице, а дома слышит прекрасно.

— Давно не видела вас, бабушка Марфа.

— Ну, садись, посмотри.

— Как живете? Не хвораете? — Нина злилась, что надо говорить обязательные пустяки: «Ведь знает, зачем я здесь. Наверняка мать успела, шепнула».

— А что со мной сделается? Завтра не умру, так еще поживу маленько.

— Как с квартиранткой-то ладите?

— Слава богу. Девушка хорошая, заботливая.

— Видать, что хорошая. Только мужиков чужих любит.

— Ну тебя, Нинка, не греши. Такая скромница, тихоня. Поди, и не целовалась еще.

— Не скажу, не видела. Бабушка Марфа, некогда мне, на работу надо. Так что не обессудьте, напрямик спрошу.

— А чо такое? Неужто Машеньку в чем подозреваешь?

— Будет вам, бабушка Марфа, притворяться. Что я, свою мать не знаю? Сто раз уж тут, наверно, жаловалась?

— Не обижай, не обижай мать-то.

— Ну ладно. Питье просить я пришла.

— Это како тако?

— Если бы не ребятишки, я бы стерпела, бабушка Марфа. Ничего бы не надо. А теперь не могу, на вашу помощь только и надеюсь. Дайте питье.

— Что-то, Нинка, темно говоришь. Недогадлива я стала.

Нина вздохнула: скучно старухе, охота язык почесать, любопытство потешить.

— Из-за вашей квартирантки Трофим голову потерял.

— Да ты чо! Не путаешь ли, Нинка? Она вон какая. Ей и среди молодых найдется.

— Мне лучше знать, бабушка Марфа. Дадите, так давайте, а то некогда.

Старуха тоже поняла: терпение у Нины кончилось, вспыхнет, уйдет, и тогда насмерть обидится давняя подруга Елизавета Григорьевна.

— Так ведь кому помогает, а кому и нет.

— Попыток не убыток, бабушка Марфа. Вреда же не будет, правда?

Старуха нахмурилась:

— Про вред думаешь — зачем ходить? Ничо не дам.

— Да я просто так.

— «Просто», «просто»,— старуха открыла подпол.— Сомневаешься — не ходи, проку не будет.

Она достала жестяную коробочку, отсыпала два наперстка беловатого мучнистого порошка.

— Значит, возьми бутылку водки, высыпь туда эту меру до крошечки, взболтай, дай отстояться. Потом перелей водку в другу посудину, в графин, к примеру, а осадок в бутылке пусть останется. Ну и угостишь мужа...

— А говорить что?

— Подожди, не суйся, дойду. Значит, угостишь — повременишь малость, чтобы в крови разошлось. И уж после как следует приластись, приникни к мужику. Чтоб в эту минуту никуда от тебя не делся. Когда ляжете, шепчи вот эти слова: «Сокол мой ясный, муженек единственный. Люби-не-забудь. В огне, в воде, в тюрьме — везде с тобой твоя жена. Одна кровь прольется, одна могилка откроется, один крест поставят — никто не разлучит. Люби-не-забудь». Это имя травы. Его повторишь девять раз.

— Самой-то пить? — Нина, волнуясь, краснея, рассматривала порошок.

— Нет, сама воздержись. Ну, беги. А я тут тоже поговорю, помолюсь за тебя.

Вечером, за ужином, Нина, пламенея, не поднимая глаз, достала графинчик. Наполнила объемистую зеленоватую стопку:

— Троша, кто старое помянет... Выпей за это. Не век же теперь?

— А ты?

— Ой, водку я не могу. Разве за компанию настоечки пригублю.— Она плеснула в стакан брусничного сока, потянулась чокнуться.— За что, Троша?

— За это. Вот давно бы так. Ведь ничего не было.

Нина улыбнулась виновато, вымученно.

Трофим еще выпил и опьянел.

— Ну, кажись, до кровати не дойду. Ту-то ночь промыкался, глаз не сомкнул.

— Да, пора, пора спать.— Нина потянулась к нему, через силу обняла, прошептала в ухо: — И я ведь не спала. Все дожидалась: придешь, помиримся.

...Люби-не-забудь, люби-не-забудь — волшебная, миротворная, господи, это надо же какая трава!

16

Маша вспоминала со странным, томительным ознобом вчерашний свой порыв, когда, спрятав лицо в Трофимовы ладони, ждала его поцелуя, а он ушел. До сих пор живет на щеках прикосновение его прохладных, пахнущих смолой ладоней.

В конторе, разбирая наряды, подписанные Трофимом, она нашла, что некоторые из них закрыты неправильно, и, не показывая их главбуху, отнесла Трофиму, прикрыв наряды запиской: «Трофим Макарыч. Не сердитесь. Но — очень, очень! — нужно поговорить. В последний раз — вчера я забыла. Правда, в последний. Согласитесь, прошу».

Трофим недовольно нахмурился, прочитав записку, но Маша стояла перед ним, худенькая, осунувшаяся, печальная,— никого он еще не жалел в своей жизни так, как сейчас Машу. Он кивнул ей и написал на листке: «Вечером. По дороге домой».

Из конторы они вышли вместе, но Трофим сразу же опередил Машу, а когда она пыталась поравняться, ускорил шаг, чтобы любопытному взгляду сразу было ясно, торопится к семейному очагу. Маша пожалела его: «Бедный. Как ему достается из-за меня».

В слабо освещенном переулке Трофим остановился:

— Что же такое важное ты забыла?

— Я не спала ночью и все представляла, как мы не будем видеться, разговаривать... Пожалуйста, Трофим Макарыч, поцелуйте меня — мне будет легче. Легче разлучиться с вами, забыть, уехать.

— Час от часу не легче! Что ты выдумываешь?!

— Ну что вам стоит, Трофим Макарыч?

— Ох, беда! Ну что еще тебе говорить, чтобы ты поняла?

— Я поняла, поняла! На прощанье, Трофим Макарыч. Знаете, как мне тяжело.— Маша придвинулась к нему, прошептала: — Ну пожалуйста.

Трофим склонился. Беспомощно — твердые, сухие,

прихваченные морозом губы его приникли к Машиным губам...

Он очнулся от резкого, сильного толчка — шапка слетела в снег,— не успел удивиться, оглянуться, как очутился в ледяной бездонной пропасти: перед ним стояла Нина.

— Греетесь, да? Может, теперь между вами ничего не было? — От ярости Нина не могла кричать. Она замахнулась на Трофима, он попятился, закрыв лицо, но Нина тут же забыла о нем.

— А ты что, скромница, здесь стоишь? Дорвалась, обрадовалась? — Она ударила Машу. Та покорно съежилась, даже руки не подняла, чтобы защититься. Ее виноватая беззащитность еще более разъярила Нину.

— Вот тебе, тихоня! Вот тебе! Вот!

17

Трофим не представлял, как он появится дома. Кружил и кружил по окраинным тропкам, пока совсем не замерз. «Пора и домой. Никуда не денешься».

Возвращался он медленно, часто останавливался, вздыхал, разглядывал небо, мечтая, как всякий приговоренный, о чуде, которое взялось бы откуда ни возьмись и спасло бы его. Но чудо не явилось, и Трофим обрадовался даже незначительной отсрочке: тропка вывела его к дизельной, и он решил зайти повидаться с Милым Зятем. «Хоть малость отойду, опомнюсь. Конечно, Петьке всего не расскажешь, да и не стоит, завтра сам все узнает. А так, потрусь, посижу, а потом — была не была».

Чисто, мягко работал движок, переливалась, сияла гирлянда разноцветных лампочек под потолком, со странной праздничностью освещая мазутные стены. Лампочки для гирлянды Милый Зять красил сам в любимые свои цвета: зеленый, ярко-желтый и оранжевый. Когда-то он необычайно гордился выдумкой и кого только не зазывал посмотреть на «галлюцинацию». При этом он вслух размышлял: «Смотри, как мало красоте нужно. Мазут, грязь, железка эта тарахтит. А я самую малость сделал: лампочки, как яички на пасху, покрасил, и скажи, как стало! Дворец прямо. Новый год в понедельник!»

Под этой гирляндой сидел на чурбаке Милый Зять и по обыкновению читал книгу.

— Здорово, Петя! На огонек пустишь?

— Проходи, проходи, Троша.— Милый Зять вскочил, обмахнул чурбак.— Садись, гость дорогой. А я как чувствовал: кто-то ко мне зайдет.— Милый Зять с надеждой оглядел Трофима: не оттопыривает ли карман бутылка — в дизельную часто приходили припозднившиеся с выпивкой мужики. Нет, незаметно. Милый Зять вздохнул.

— Читаешь все?

— Возле машины только и читать. Упирается за тебя как зверь. А ты хозяин-барин!

Трофим вспомнил, как в день свадьбы Милый Зять читал ему какую-то книгу и прослезился при этом. Душу бы сейчас отдал, чтобы вернуться в тот далекий сентябрьский день. Знать бы все наперед, обойти нынешнюю муку стороной...

— А помнишь, Петя, книжку ты мне читал? Давно, правда, два года назад. Помнишь?

— Ну, спросил! Я, парень, каждую строку любимую помню! — Милый Зять снова оживился, открыл сундучок, в котором хранил книги,— дома не мог, теща норовила «эту блажь» на растопку или на завертку пустить.

— Вон он, чертушка, вот Жан и Жак! Слушай, то или не то место. А потом скажешь, какая память у Петра Красноштанова. «Оставьте меня навсегда, не пишите мне, не усугубляйте мук моей совести, дайте мне возможность забыть, если возможно, чем мы были друг для друга. Пусть глаза мои никогда больше не увидят вас, пусть я не услышу более вашего имени, пусть воспоминание о вас не смущает моего сердца...» Ну как, Троша? То или не то?

— То! То! Спасибо, Петя. — У Трофима повлажнели глаза, он поднялся.— Побежал я, Петя. Дома ждут.— «Надо идти. Хватит тянуть. Уж одним разом. Да-а... «Я не услышу более вашего имени...»

— А ты чо заходил, Троша?

— Да так, на огонек.

Дома никто не спал. Нина, багровая, растрепанная, металась из кухни в комнату, отшвыривая с дороги пустые ведра, табуретки, что-то шепча, сжимала кулаки; Елизавета Григорьевна, не вытирая слез, пыталась утихомирить плачущую Лизку; Юрка, испуганный криком,

стоял в кровати, таращился на мать, на бабку, выбирая минутку, когда самому зареветь.

Трофим перешагнул порог.

— А! Явился! Что же она тебя на ночь не взяла?! Может, есть-пить попросишь? Не раздевайся, не раздевайся! Нет у тебя больше дома.— Нина схватила чемодан, стоявший у печки, и швырнула Трофиму.— Выметайся! И про них забудь! Юрик, Лизонька! Нет у вас больше отца! — Нина заголосила. Сердито, нехотя загудел Юрка. Тоненько, жалобно затянула Лизка.

Трофим ночевал в конторе, а утром собрался и ушел в тайгу с обходом дальних зимовий.

18

Лыжи утопали в сухом рассыпчатом снегу, поэтому Трофим шел медленно, без наката, и заранее досадовал, что к Дальнему озеру сегодня не добраться. Но за Синюшиной падью он наткнулся на свежую лыжню и обрадовался — теперь, посвистывая, катись и катись. Кто-то проторил ему дорожку ранним утром — след прихвачен морозцем, не мнется и не осыпается. «Кто бы это мог? — вспоминал Трофим охотников, бывавших в конторе в последние дни. — Вчера вроде никто не собирался. А! Хоть кто! Только позор обогнал меня, впереди бежит. Сегодня по всем зимовьям разнесется: «Трошку Пермяка баба вчера накрыла, с молоденькой спутался».

Бессонная ночь несколько притупила вчерашний скандал, усмирила усталостью его дикую, слепую силу. «Никогда не прощу ей. Разве так можно? Подкараулить, в волосы вцепиться, на потеху всему поселку мужа выставить. Ну ладно, виноват я, можешь ты сдержаться? А девчонка при чем? Ну, влюбилась, по молодости не смогла себя перебороть — неужто простить ей нельзя, что женатого выбрала? Песни про это поют. Что у нас за жизнь будет? Разве мужа так удерживают — криком да воем! Никуда же я не делся. Не умер, в тюрьму не попал — всего-то девчонку пожалел. Встала б на мое место. Да то же самое бы сделала!»

Он остановился перед спуском в неглубокий распадок, скорее даже лощину, светлую, неожиданную среди угрюмого, матерого ельника. Лощинка приютила реденький соснячок; самовольно порошил, соскальзывая с веток,

снег и, не достигая земли, серебрился, веял в сизых кустах малины — серебряная пыль возникала как бы из тишины, сгустившейся до синевы только здесь.

Трофим и в прошлые зимы проходил этой лощинкой, но отчего-то не замечал ни парящей серебряной пыли, ни тихих, одиноких кустов малины, ни голубовато-мягкого свечения, исходящего от белых полян между соснами, уловив, ощутив которое непостижимым образом добреет и успокаивается душа — до умильной, слезной дрожи. Трофим вытер рукавицей глаза: «Дожил! Вчера книжка слезу выбила, сегодня — соснячок этот. Ослаб на душу, как Милый Зять».

Он осторожно спустился, осторожно пересек лощину, боясь, что лыжный скрип или шевельнувшийся куст нарушит тишину. На перевале оглянулся: светлое пятно лощинки уже заглушалось сумрачной зеленью елей.

«Вчера неладно я поступил. Ох, неладно. Убежал, нехорошо, видишь, мне стало. Но только мне! Нина тоже с ума сходила — ей нехорошо было, только ей. А друг о дружке мы не подумали, нет! Где уж там! Может, подумали бы, так и скандала б не получилось. Маше-то хуже всех. А я ее бросил вчера. Господи, за что она меня так любит? Выдумала она по незнанию любовь эту и терпит. Кто я такой, чтоб любить меня?»

К обеду он вышел на Фирсов ключ — до зимовья оставалось полчаса ходу. Издали увидел дымок над крышей, обрадовался: «К готовому чаю поспеваю»,— но, узнав среди встречавших собак рыжего белогрудого кобеля, нахмурился: «Во-он кто здесь — Ванька Фарков. По его, значит, следу шел. Ну, с этим будет разговор. Теперь все одно к одному пойдет. Ругань к ругани липнет».

Конечно, Иван Фарков помнил, как Трофим швырнул в него графин с водой, и не простил обиду. Угрюмый, трезвый, черный, он поначалу и здороваться не хотел, но все же, помолчав, попив чаю, буркнул: «Здорово!» — в тайге, под общей крышей, нехорошо сразу ссориться. Но к столу не пригласил, да Трофим и не ждал приглашения. Достал из паняги припасы, палил чаю, устроился с кружкой на нарах, придвинул вместо стола сосновую чурку.

Отчаевничали молчком. Фарков свернул цигарку, вылез из-за стола, прошел мимо Трофима и брякнулся на нары, сильно толкнув его при этом.

— Как у тебя с соболями нынче?

Фарков не ответил, лежал с закрытыми глазами, прикидывался, будто дремлет.

— Ты что, оглох? Сколько, спрашиваю, у тебя соболей нынче?

Фарков еще помолчал — большую выдержку имел.

— Штук двадцать есть. Только не ори так, не в конторе сидишь.

— А что не сдаешь? Тянете резину, а я ответить толком не могу, будет план или нет.

— Походи, поспрашивай. А то вместо зада — мозоль сплошная.

— Может, погладишь?

Фарков к чертям отбросил выдержку — сел.

— Ты, Трошка, не заговаривайся. Осмелел! Видно, со свеженинки бабьей. Как она те вчера приглянулась?

«Ну все,— вздохнул Трофим.— Сил нет». Уже не Фарков сидел перед ним, а ненавистное черное мордатое чудище. У Трофима даже сердце набухло и глухо, редко затолкалось в грудь. Но Трофим уважал мужскую ссору и не хотел поддаваться безоглядному гневу, смирил сердце, посидел еще, помолчал. «Кулаки пусть остынут малость. Потяжелее будут. Да и не хватит, однако, кулаков — уж больно зла много. Синяки да разбитые губы — только охотку сбить. По пьяному пылу куда ни шло. А по трезвости надо на всю жизнь память оставить — в душу же, гад такой, наплевал. Не-ет, Ваня. Мы сейчас по старинке сделаем. Как деды умели за обиды рассчитываться».

— Вставай, Ваня,— ласково попросил Трофим.— Вставай, пришло время.

Фарков вскочил, деловито, тоже ласково, поинтересовался:

— На улицу выйдем или здесь места хватит?

— Нет, Ваня. Драки нам маловато будет. Ружье бери.

— Ах вон как! Ладно, Троша. Согласен.— Фарков надел полушубок, подпоясался, снял с крюка «тозовку».

— Пошли.

Они выбрали поляну, обнесенную старыми толстыми соснами. Фарков спросил:

— За которую ляжешь?

— Да могу за эту, если тебе идти не лень.

— Ничо. Недалеко. — Фарков перешел поляну и спрятался за противоположную сосну. Трофим достал из

паняги одеяло, бросил на снег, улегся, зарядил «тозовку» и крикнул:

— Готово!

— Добро! — глухо донесся голос Фаркова.

19

И началась старинная таежная забава, почти забытая, вспоминаемая разве что по пьяному делу да по такой же вот непереносимой ненависти. А когда-то охотник не считался за охотника, если не хлебнул этой молодецкой опасной игры. Часами скрадывали друг дружку, проверяя крепость нервов, готовность к риску,— от скуки, дикости, избытка удали пулей приучали когда-то охотника к звериной осторожности и ловкости. Зазеваешься, забудешься, вылезет у тебя из-за дерева плечо — получишь свинцовый толчок, в другой раз не станешь ворон ловить. Жуткая забава, но, верно, смертоубийством кончалась редко, а калечиться калечились, да еще как. В Преображенском многие старики носят метки: кому пол-уха оторвало, кто беспалым на всю жизнь остался, а кто колченогим.

Трофим высунул краешек рукавицы — звонко щелкнул выстрел, посыпались розовые крошки коры — пуля увязла в сосне. «Хорошо, гад, видит». Трофим показал рукавицу с другой стороны ствола — теперь ее пробило, и Трофим прилег, успокоился на время, соображая, как перехитрить Фаркова. Он запустил руку в снег, пошарил, нашел корень, загогулиной оттопырившийся над землей. Аккуратно отгреб от нее снег, опять полежал, отогревая занемевшую красную ладонь под мышкой, потом придвинулся к загогулине и продышал в середине изгиба дыру — теперь и он хорошо видел фарковскую сосну. Пристроив «тозовку», стал ждать. Вот по правому срезу сосны зачернелось: то ли шапка, то ли плечо. «Подожду, — решил Трофим. — Пусть побольше вылезет». Вылезло плечо. Трофим прицелился. «Сейчас я ему в мякоть на сросте врежу. Чтоб помнил, гад». Мушка зацепила угол плеча, по шву рукава. Трофим выстрелил — и тотчас же над поляной взорвался испуганно-визгливый мат. «Так-то, Ваня, — усмехнулся Трофим. — Глотку дери, да не забывай с кем». Он отвалился от снежного окошечка, прислонился к сосне — все, перекур. Пока Фарков отойдет, осмотрит рану, заткнет ее

чем-нибудь, не одна минута набежит. Трофим подождал, подождал и крикнул:

— Живой! Ваня!

— Сука ты, Трошка! Больше никто! — откликнулся Фарков. Голос уже обычный, густой, хриповатый.

«Скажи мне кто месяц назад, что из-за девки надрываться так буду, к чертям бы послал того, никогда бы не поверил.

Ну ладно. Полюбила она меня. Хотя я и не заслужил этого. Но почему же совестно-то из-за этого? Почему охота другим стать, чтоб не зря девчонка сердце расходовала? И никто тебе не скажет: сделай то-то и то-то — тогда тебя можно и полюбить. А сам разве догадаешься? Разве придумаешь? Вот беда-то где главная!»

Он замерз, остыла и злость — надо было Фаркову на рожон лезть! Трофим заглянул в снежное окошечко и не успел испугаться, отпрянуть — на другом конце поляны сухо хлестнул выстрел: обожгло правую кисть, вспухла красная полоса, наперерез от указательного пальца. Трофим, не слыша себя, вскрикнул. «Ну, дурак же я! Ну, разиня!» Пока он лежал, о жизни думал, снег под тяжестью «тозовки» вывалился из-за загогулины и открыл Фаркову Трофимов секрет.

— Получил, Троша? — крикнул Фарков.

Трофим не ответил, занятый рукой.

— Пермяк?! Живой, что ли?! — повыше, потревожнее стал голос.

— Отвяжись! — Руку свело — пальцем не шевельнешь.

Ругаться с Фарковым уже не было сил. «Замерзнем тут. Ванька же упрямый — до ночи пролежит. А я, однако, и курок не спущу. Пока-то отойдет». Трофим поежился: затолкал руку за пазуху, втянул шею в воротник, нос у него багрово посинел.

Но, видно, и Фарков замерз, потому что вскоре он опять закричал:

— Трошка! Ничьей хватит?

— Хватит!

— Встаем?

— Встаем!

Они поднялись, окоченевшие, синие, с затекшими ногами. В зимовье Трофим залил йодом рану на плече Фаркова — ничего рана, добрая, рубец памятный будет. Смазал йодом и свою опухшую кисть, потом дол-

го пили чай — до блаженного пота. К разговору не тянуло, слишком свежо ныли раны. В сумерках Трофим засобирался: не хотелось ночевать под одной крышей. Фарков не удерживал, только спросил:

— На Дальнее подашься?

— Ну.

Осторожно появились первые звезды, не мешая последнему дневному свету заползти в распадки, залечь в сугробах до утра. Ускользающий день грустно напомнил Трофиму: «Один ты остался. Что делать будешь? Как жить? Вот же беда какая!»

20

Напрасно Трофим думал, что Маша мучается происшедшим скандалом. Когда Нина ударила ее, она не почувствовала ни страха, ни ответной злости за причиненную боль. Боли этой Маша не противилась. «Раз она такая, значит, я должна была пройти через это». Соглашалась Маша даже с самой унизительной сценой, когда Нина при толпе любопытных вцепилась ей в волосы, — еле вытерпела Маша, чтобы не закричать, а вытерпев, поняла: никогда уже она не сможет пожалеть Нину, и любовь ее будет действительно безоглядно смелой.

Воротясь домой, не раздеваясь, она присела у зеркала и долго рассматривала себя: в сбившейся шали, всклокоченная, с синяком под глазом, с отчаянно-пустыми глазами.

«Теперь, когда я такое приняла, он от меня просто так не отвяжется». — Маша повеселела, пошла умываться, причесываться.

А утром впервые в жизни напудрилась, припрятала синяк. Впрочем, могла бы и не прятать, если бы знала, что в конторе Трофима нет.

Нина же в тот вечер собрала Трофимовы вещи в чемодан, выгнала мужа из дому. После, с похмельной, мрачной безжалостностью, осудила себя: «Как с ума сошла. Стыд какой: у всех на виду разошлась!» По дороге на службу, неохотно здороваясь со встречными, пыталась оправдаться: «Из-за ребятишек же. А так, пропади все пропадом, пусть бы целовались да миловались». Она снова представила склонившегося к Маше Трофима, ее красные варежки у него на плечах — и

снова погорячело в висках. «Все-таки как к человеку привыкаешь... Прямо по живому резануло. Тут про все забудешь...»

В библиотеке помощницы Нины с испуганным любопытством посмотрели на нее. «Знают, конечно. Видно, не ожидали, что я так могу». Нина с деланной бойкостью спросила у них:

— Что, девочки, поди, и не знали, какая семейная жизнь веселая? Вот запоминайте, вдруг да пригодится.

Вера и Таня покраснели, глаза опустили. «Стыдно им за меня. Правильно, стыдно. Да и мне хоть глаз не кажи. Если вернется Трофим, что я ему скажу? Как встречу? Себя, мол, не помнила, прости. Нет уж. Это он прощенья пусть просит. Я-то ни с кем не целуюсь. Ну жизнь, ну жизнь! Как теперь наладится? И наладится ли?»

С нервно-усталой растерянностью ждала она Трофима. Похудела, извелась, кричала на мать, на ребятишек, шлепала их, но, опомнившись, жалела, причитая: «Сиротки мои ненаглядные!»

Трофим пробыл в тайге месяц с лишком и, пока бегал от зимовья к зимовью, пока охотился, не думал, что будет делать, как вернется и куда. И в то же время поддавался детской наивной надежде: а как-нибудь утрясется, само по себе образуется.

Но вот, возвращаясь, поднялся он на последний перевал, увидел как на ладони Преображенское, его родные дымы и будто не был месяц в тайге: вчера целовал Машу, вчера была ссора, вчера он корил и не прощал Нину, а сегодня все это надо свести воедино, склеить, залатать, а вот как это сделать — не знал.

Он зашел в контору, к директору, отчитался, обрадовал, что план промхоз, должно быть, перевыполнит: по зимовьям добрые соболя сушатся. Директор отпустил Трофима домой, сказав на прощанье:

— Не мое, конечно, дело, Трофим Макарыч. Но советую: наведи порядок в личном хозяйстве. Неудобно, я уж и то устал от сплетен. Только без обиды, Трофим Макарыч. Простой мужской совет.

Трофим не ответил, да и нечего было отвечать.

Волновался он так сильно, что не сразу нашарил дверную ручку в темноте сеней. Переступил порог, сдавленно поздоровался. Елизавета Григорьевна молча поклонилась и сразу ушла из комнаты, а Нина, в не-

знакомой красной кофте, бледная, похудевшая, неверным, дрожащим голосом спросила:

— Есть будешь?

— Можно.

От волнения Трофим торопливо поцеловал ребятишек, сунул им по беличьему хвостику и сразу же отошел. Нина помрачнела, еще более побледнела: «Чужими дети стали. Раньше бы не оторвать от них».

Так перемолчали день, не найдя сил для решительного разговора. Возникла какая-то душевная скованность, невозможность начать его или хотя бы на время сделать вид, что случившееся забыто. Вечером Трофим отправился в баню, а когда вернулся, ему было постлано на диване.

21

На следующий день, в субботу, произошло событие, поднявшее с печек всех преображенских бабок. Из соседнего села Ельцова, где действовала церковь, утренним рейсом прилетел священник. Заказала его старуха Сафьянникова, внезапно и тяжело заболевшая. Священник, молодой, высокий и статный, добирался по нужному адресу в густой толпе поселковой ребятни и в сопровождении лаек. С аккуратно подстриженной норвежской бородкой, в черной котиковой шапке, в дубленке, с белоснежным воротником и белоснежными отворотами, он вполне бы мог сойти за студента, спортсмена, молодого специалиста, если бы не ряса, стекавшая из-под дубленки черным шелковистым потоком. Чуть приоткрывались на ходу тупые плоские носки теплых сапог, и, признаться, выглядели они в соседстве с рясой несколько странно. У батюшки смущенно щурились карие глаза и не сходила с губ ласково-неловкая улыбка, которую он обращал к шустрой, насмешливо-удивленной ребятне и к равнодушно-приветливым лайкам.

Старуха Сафьянникова попросила Машу оставить ее наедине со священником и никого в дом не пускать. Маша оделась и вышла на крыльцо. К их двору по белым ослепительным улицам и проулкам брели черные сгорбленные фигуры старух. Собирался народ и помоложе.

Заторопилась к выходу священника и Елизавета Григорьевна. Она надела свой парадный плисовый жакет, парадный черный платок в мелких красных цве-

точках, покрестилась со вздохами на складную иконку, стоявшую на комоде на манер зеркальца, каким-то затуманенным, тяжелым взглядом обвела Нину, ребятишек, подольше задержала его на Трофиме и вышла. Вскоре за ней вышла и Нина.

Во дворе появился священник. Старухи закрестились, в поклонах потянулись к нему, негромко, ладно забормотали:

— Батюшка, благослови! Батюшка, благослови!

— Господь благословит! — И он рассыпал воздушные кресты направо и налево.

Елизавета Григорьевна протиснулась к нему и упала на колени.

— Батюшка, помоги!

Он испуганно покраснел. Склонился над ней, попробовал поднять:

— Встаньте, прошу вас. Нельзя так!

Но Елизавета Григорьевна тяжело, прочно стояла на коленях.

— Помоги, батюшка! Христа ради! Дочку муж разлюбил, с двумя детьми бросает. Помоги! Словом божьим образумь их!

— Я помолюсь за них. Но встаньте, пожалуйста!

Священник очень торопился, потому что боялся пропустить самолет: дома ждала молодая попадья, месяца не прошло, как обвенчались. Он хотел обойти Елизавету Григорьевну, но та с неожиданным проворством поползла и опять загородила дорогу:

— Скажи слово, батюшка! Не бросай ты нас так!

— Не могу я, милая, не могу!

Подбежала Нина, тоже попробовала поднять мать, но Елизавета Григорьевна оттолкнула дочь, сердито зыркнула на нее из-под выбившихся желтовато-синих косм.

— Батюшка! Не уходи! Заступись перед богом!

Священник хмуро, расстроенно сказал:

— Хорошо, хорошо, милая. Но обещай больше так не делать. — Он вздохнул, перекрестился, прикрыл глаза. — Великое дело — любовь, и благо она великое: она одна из тяжкого творит легкое и всякую неровность ровно переносит. Ибо тягость носит она без тягости, и все горькое превращает в сладкое и приятное. Ничего нет слаще любви, ничего крепче, ничего выше, ничего шире, ничего приятнее, ничего полнее, ничего нет лучше ее ни на земле, ни на небе. Ибо любовь рождена от бога, и в

одном только боге может успокоиться превыше всего творения. Аминь.

Елизавета Григорьевна сунулась поцеловать у него руку, но он не дал, осенив всех еще раз размашистым крестом, прижал локти к бокам и спорым спортивным шагом устремился по улице, ведущей к аэропорту.

Заплакала Нина сдержанно, горько, как-то сухо прикашливая при этом. Старухи, ротозеи помоложе отворачивались, подавленно вздыхали.

Маша прижалась щекой к холодной гладкой балясине, зажмурилась, шептала: «Да, да! Ничего нет выше и ничего нет крепче! Да, да! Из тяжкого творит легкое — как просто и верно!» Она открыла глаза и увидела Трофима. Она не знала, что он вернулся. Улыбнулась растерянно и счастливо, помахала ему рукой. Но Трофим не заметил ее. «Ну что они со мной делают! — думал он о теще и жене. — И так места живого не осталось. Сердца уже нет, одна боль вместо него!» Он просунул руку под полушубок, расстегнул рубашку и с силой стал растирать, разгонять эту боль. Ушел за огороды, заметался по тропке, скрытой прибрежными кустами, — сейчас бы ни за что не заставили его остаться дома.

22

— Трофим Макарыч! Здравствуйте! — Маша прибежала, нашла его.

— Ох, Маша, Маша! Что же нам делать?

— Я вас так ждала, Трофим Макарыч! Так вам рада! — У нее перехватило голос, она прикрыла горло ладонью. — Давайте уедем отсюда, Трофим Макарыч!

Он посмотрел в ее черные огромные глаза — вот взять все бросить, отрубить — и в самом деле уехать! Как жутко и как просто!

— Вместе? — Он опять заглянул в ее глаза. «Да, просто — взять и уехать. И вот эти глаза все время будут рядом, и все время будешь так же в них тонуть». — Я подумаю, Маша.

— Хорошо. — Она еще постояла. — Только знайте, я очень серьезно это сказала.

— Я знаю.

Он представил, как они будут жить вдвоем, в каком-то городе, занятые с утра до вечера друг другом, и как

его будут терзать приступы острой тоски по ребятишкам. «Ладно, уедем, брошу семью, тайгу, городским стану. И поймет она: любить-то некого! Не за что. Ведь здесь она любит потому, что здесь у меня что-то есть: дом, работа, какое-то уважение. А все оставлю — буду пустым, бесполезным человеком. Другую жизнь прожить надо, чтоб девчонки в тебя влюблялись».

Он вернулся домой. В комнате стонала Елизавета Григорьевна — поползала по снегу и слегла. Нина, подпершись ладонью, сидела в кухне у окна, серая, безразличная, и даже не слышала, как плачет Лизка.

Юрка бросился к отцу, но Трофим, занятый собой, буркнул: «Отстань!» — и, неосторожно шагнув, сшиб сына. От Юркиного крика Трофим отрезвел и испугался: «Да как же это я! Мальчонка стосковался, а я — колода бессердечная!» Он схватил Юрку, обнял, поцеловал: «Сыночка, сыночка. Не сердись, прости». К черту все, к черту! Запутался, сына родного чуть не затоптал!

Трофим бросился к Нине:

— Нина, Нина! Боюсь я ее.

Она вздрогнула, не поверила, но он говорил и говорил. Оттаивали у нее, опять плакали глаза. Она прижалась к нему.

Ночью он думал: «Маше скажу: не могу. Не такого тебе любить. Ты молодая — скоро забудешь. Выправишься».

23

К понедельнику твердо задуманное прощальное объяснение с Машей уже не казалось Трофиму столь необходимым.

Он заглянул в бухгалтерию, Маши не увидел, спросил у главбуха Василия Игнатьевича, где она.

— По какому-то делу отпросилась. Скоро придет. Ты бы оставил девку в покое. Как лучиночка стала. Удивляюсь, что она в тебе путного видит? Воистину, любовь зла...

— Ну, разговорился! Плешь нажил, а правила не знаешь: не суйся, куда не просят! — Трофим хлопнул дверью, ушел к себе, по настоящей злости не испытал — не то что раньше, когда из-за пустяка разорялся целый день. «Однако он прав. Было бы из-за кого.

Только почему работника потеряем? Она же не уезжает. А может, собралась уже. Хотя у нее подписка на два года. Нет, не может все так просто кончиться. Да, прав Василий Игнатьевич: жалко девчонку... Что-то я теперь со всеми соглашаюсь. Все у меня правы. Кто хошь подомнет, а мне защищаться совестно стало».

Трофим не знал, что в воскресенье Нина бегала к Антонине Зуевой, и между ними произошел следующий разговор:

— Нет, нет, Тоня. За чай не сяду, по делу пришла.

— Садись, садись. Чай делу не помеха.

— Ты ведь у нас председатель женсовета?

— Вроде я. Как избрали, с тех пор никто не выгонял. Да ведь организация такая — про председательство забудешь. Совет весь по домам сидит, мужиков обхаживает. А тебе чего?

— Надо бы эту девчонку-то отправить отсюда. Ей срок — через два года уезжать, а если женсовет вмешается, хоть завтра подпишут.

— Чтоб, значит, ни глаза, ни душу не травила? Слушай, Нинка, вот мы с тобой счас одни: было у них что-нибудь с Трофимом?

— Не было. Точно знаю.

— Он, поди, уверял? Мужики так врут — не хочешь, поверишь...

— Ну дак как? Вызови ты ее на женсовет, внуши и с протоколом — к директору промхоза.

— И тебе ведь придется быть. Заявление-то твое будем разбирать. Ты давай-ка напиши его счас. — Антонина подала бумагу и ручку.

Позже Антонина обошла квартиры женсоветчиц, предупредила. Зашла и к Маше. Сказала, что есть заявление Нины, что завтра разбирательство прямо с утра в помещении загса.

24

На заседании Антонина сидела за столом, на привычном законном месте, осталось только встать и сказать: «Любовь вам да совет», — но нет молодоженов, заветная книга в сейфе. По одну сторону стола сидит Маша, по другую — Нина, а перед ними суровые лица домохозяек, входящих в поселковый женский совет.

— Дорогие товарищи женщины! — начала Антони-

на. — От нашей подруги, такой же матери и хозяйки, как и мы с вами, Нины Пермяковой, поступило заявление. Вы знаете, какая обстановка сложилась в семье Пермяковых. Давайте все обсудим. От себя скажу... — Антонина повернулась к Маше, положила руку на ее плечо. — Нехорошо, Мария, делаешь. В твои годы на молодых парней надо заглядываться, а ты повесилась на шею мужчины, тем более женатого. Прошу, товарищи, высказываться.

— Пусть сперва сама скажет: правда ли, нет в заявлении?

— Правда.

— Встань, Маша, встань, — прервала Антонина. — Все ж мы старше тебя.

— Правда, — повторила Маша. — Я люблю Трофима Макарыча.

— Ты бы, девка, про любовь-то молчала. Стыдно!

— Кого тут разговаривать! Смешно даже!

Маша села, стала греть замерзшие ладони, прикладывая их к щекам. Она невидяще смотрела на женщин и лихорадочно уговаривала себя: «Молчи, главное, молчи».

— Ох, девка. Не ведаешь, чего хочешь. На алиментную зарплату поживешь — никакой любви не захочешь!

— Выслать ее — и всех делов, у молодых блажь хуже заразы. Втемяшится — ни себе, ни другим покою.

— Мало ей Нинка поддала.

Нина покраснела, опустила голову. Только сейчас она начала понимать, что перед ней действительно девчонка, глупая, искренняя, беззащитная и никакая не соперница — с ней бы поговорить толком, а не натравливать баб. Как корь, прошла бы эта любовь, и делу конец. Напрасная затея с этим женсоветом, ох, напрасная.

Маша сказала:

— Никуда я не поеду. Никуда вы меня не вышлете. Не боюсь я вас.

Антонина вдовьим, слабым к чужому горю и счастью сердцем тоже пожалела Машу: «Нинку зря вчера не отговорила. Вон были — почка какая... А мы тут в десять глоток на нее навалились. Девчонка запуталась, из упрямства с этой любовью носится, сердце малость повзрослеет — найдет свою долю, свое счастье. Пусть в самом деле уедет — быстро душа-то направится...»

— Уезжай ты отсюда, девушка, — сказала Анто-

нина. — Зачем тебе беду искать. Когда надо, сама найдет.

— Нет! — Маша резко, непримиримо потрясла головой.

— Между прочим, женсовет не я придумала собрать. Это Трофим просил помочь ему. Боится он тебя и не знает, как отделаться. Я тоже не знаю — вот, может, женщины подскажут.

— Не может быть! Он просил?! Не может быть! — Маша посмотрела на Нину, на других женщин: одинаково бледные, строгие лица — ни одно не смягчилось сочувствием. «Если он так сказал, значит, никакой любви нет. Нет, нет, не может быть!»

— Спроси у него, если не веришь.

25

Маша бежала до конторы, не останавливаясь, не передыхая, ворвалась в комнату охотоведов — ну и что, что люди, пусть! — бросилась к Трофиму:

— Это правда? Скажите! Это правда, вы меня боитесь?!

«Опять Нинка вмешивается. Ведь сам бы сказал! И при людях — этого еще не хватало! Хоть провались!» Но, взглянув в ее огромные лилово-черные глаза, встал и, мучительно возненавидев внимательную, напряженно-любопытную тишину комнаты, заговорил:

— Маша, подожди. — Он взял ее под руку, вывел в коридор.

— Я утром тебя искал. Хотел сказать, что не могу, все. Никуда я не уеду, и больше не надо нам видеться.

— Вы... боитесь?

— Я, Маша, из-за тебя, может, от всей прежней жизни откажусь. Может, вовсе я не так жил. Разве не страшно об этом думать? А остальную половину как жить? Думаешь, себя ломать, переиначивать не трудно?

— Эх вы! Эх вы!..— Маша вырвала руку и побежала по коридору.

26

Вскоре она уезжала. Нина узнала от аэропортовской кассирши, на какое число взят билет, и во власти победно-снисходительного торжества, желая

утвердить его в глазах всего поселка, предложила Трофиму:

— Пойдем проводим Машу. Чтоб люди видели — зла не держим.

Трофим, слабо порозовев, согласился.

Они встали под сосенками, напротив самолета, — пять шагов до железной лесенки. Объявили посадку: неторопливо потянулись пассажиры. Тетка с грудным ребенком на руке, огромный узел — в другой; приезжие охотники со своими собаками, с громоздкой, тяжелой кладью; наконец Маша, отдельно от всех, одиноко, не оглядываясь на бревенчатую избу вокзала, — видимо, никто ее не провожал.

Нина заплакала: господи, какая маленькая, худенькая, только жить начала и уже с несчастья — ведь сама была девчонкой, вспыхнуло в памяти то доверчивое, чистое небо — сколько же еще этой Маше выпадет... Нина подбежала к ней:

— Ты прости меня... пойми... Не поминай лихом.

Маша безразлично, не видя, посмотрела на нее:

— До свидания.

Маша увидела и Трофима, но отвернулась, не подняла прощально руки.

Она устроилась на жесткой холодной скамеечке, покосилась в окно: сеялась, взблескивала меж сосен морозная пыль, розовела солнечная тропа в глубине сосняка — вон прошли по ней Нина и Трофим.

На колени к Маше положила голову рыжая испуганная лайка — самолет взлетал. Маша погладила собаку, и та, благодаря, осторожным горячим языком лизнула Маше руку.



ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ

1

Жену проводил утром, сына отвез дневным автобусом к теще в деревню и вернулся домой полным холостяком. Вернулся засветло — в тени еще не загустел холодок, еще черемуха не заполнила прокаленные улицы своим чистым вечерним дыханием.

Шагая к дому, он думал о долгом беззаботном одиночестве, предстоящем ему. Нынешняя беготня по вокзалам, душный автобус, тряский проселок — все это было как бы последним испытанием перед получением прав на этот вот празднично-жаркий вечер.

«Проводил, освободился, заслужил», — приноравливал он к шагу вдруг возникшие слова, то напевая их, то бормоча, и попутно прикидывал, как ловчее распорядиться собственными сборами, чтобы ни минуты не утекло из отпущенной воли.

Но вот словно споткнулся: «От кого освободился? Что заслужил? Семью сплавил и, значит, рад-радешенек? Ни отец, ни муж — так, вроде отпускника. Ловко, парень, устроился. — Он, забывшись, даже головой покивал, этак подтверждающе: слышу, мол, слышу все укоры и упреки. — Ну, ешкин корень! Что-то рано ви-

новатиться начал. Может, воля эта холостяцкая таким боком выйдет — в голос выть буду. Милые, хорошие, быстрей под одну крышу собирайтесь! Никого я не сплавил и никого не забыл. Передышка вышла в семейной жизни. Интересно побыть одному. Не в мужья да отцы запряженному, а самому по себе. Человек человеком. Погуляю, попытаю, а каяться, однако, никогда не поздно».

Дома побрился, переоделся, глянув в зеркало, завершающе прикоснулся к галстуку, нагрудному карману с заветной десяткой и наконец ступил на многообещающую вечернюю дорогу. Его приветствовал насторожившийся караул старух пенсионерок на лавочке у подъезда.

— Жена за порог, и сразу — фур, фур!

— Теперь как петух пойдет наскакивать.

— А что ему! Мужик не баба. Согрешить как умыться.

— Далеко наладился, Василий?

«Сидите, бабушки. Только и дела теперь — чужие грехи собирать. Свои-то отступились: были, да сплыли. Искренне сочувствую». Но вслух весело рассердился:

— Значит, так вы со мной?! Когда нужен — Васенька, сынок, а нужды нет — петух блудливый? Ладно, ладно. Баба Аня! Кто позавчера замок в твою дверь врезал? Тетя Тося! Кто на той неделе звонок тебе чинил? Васенька-сынок или мужик — не баба?

Старухи рассмеялись.

— Сынок, сынок! Иди, Васенька, гуляй. И греши с богом.

— То-то.

Василий было заспешил: мимо яблонь-дичков, вроде как для него расцветших именно сегодня; мимо молоденьких лиственниц, выбросивших первые метелки, тоже, должно быть, в его честь; вообще, мимо желанного, праздно текущего вечера. Но на березовом островке, уцелевшем среди асфальта и камня, под сенью влажно-зеленой, парной тишины, он удивился: «Куда это я? Никто нигде не ждет, а я зачастил. Перекур. Посидим, подумаем».

А подумав, выяснил: холостяцкая воля так просторна, что можно до утра просидеть на лавочке, перебирая возможные развлечения. Василий не привык без толку переводить время, поэтому раскроил необъятную волю на небольшие, вполне осуществимые желания.

«Подамся в центр, выпью пива на дебаркадере, загляну на танцы. А там видно будет». Он хриповато, ненатурально засмеялся, вспомнив напутственное ворчание старух у подъезда.

«Вот почему так? Только мужик один останется, сразу его в мартовские коты записывают. Хоть святым будь, а жены рядом нет, обязательно произведут тебя в грешники. За тебя тебя придумают. Вон и в цехе узнали — всю смену подначивали. Ошалел от анекдотов да советов. Ну что тут такого, что один? Все, как сговорились, в одну сторону подталкивают: дурака не валяй, а греши, раз возможность появилась. Природа, ешкин корень, грех первородный или как его там. Тьфу на тебя, Васька! Больше надумаешь, чем нагрешишь!» — Он посидел еще, покурил и, так и не выяснив, чего же в нем больше, праведного или грешного, махнул рукой, отправился дальше.

Василий пошел к центру не улицей, а прибрежной пустынной тропкой. Потемневшая, потяжелевшая к вечеру вода бесшумно, быстро обгоняла его, по пути унося, вымывая из души сколько-нибудь определенные желания, заменяя их бездумной созерцательностью. Василий согревал глаза на ярко-желтых россыпях одуванчиков по песчаным буграм, на нежно-зеленом разнотравье по замоинам — ясный, успокоенный подходил он к дебаркадеру и чуть не оглох от музыки, буйной разноголосицы, усиленной речным простором.

Пива не было, он огорченно потоптался у стойки, поклянчил у рыжей тощей злой буфетчицы: «Может, на донышке наскребешь, может, другу оставила, плесни кружечку», — но ошарашенный ее пронзительно-раздраженным: «Я тебе найду сейчас друга!» — совершенно расстроился и хватанул стакан какой-то красной, вязкой дребедени. Отказался от конфетки: «Сама ешь!» Выскочил на палубу и больно ударился коленом о чугунный кнехт.

Побегал, побегал, поругался, поплевался — боль отпустила, и сразу жарко заговорило вино. Сладко прилило в висках, грудь раздалась от легкого беспричинного воодушевления; ясное воспарившее сердце переполняла доброта.

Василий прислонился к бортовому столбу и вовсе размягчился от свежеласкового холодка, возникшего, казалось, вместе с дрожащими огнями бакенов. Реч-

ной трамвай причалил и отчалил, плеснул на дебаркадер, может быть, последней волной усталого смеха, говора, последним отголоском воскресного дня. Василий тоже как бы покрутился, поучаствовал в этой празднично-грустной толчее и со всеми вроде бы расстался в наилучших отношениях.

2

У причальных раздвижных перил осталась женщина, верно, не захотевшая идти в толпе. Она облокотилась на перила, слегка перегнулась к воде — черные, свободные распущенные волосы скользнули с плеч, стекли вдоль щек. «Что она там увидела? — удивился Василий. — Стоит и стоит. Плохо ей, что ли? Или ревет? Похоже. Вон плечи обхватила — в дрожь от слез кинуло».

— Эй! Гражданка! Тебе, случайно, не помочь? Эй, девушка? Может, проводить куда надо?

Из-под волос вынырнуло юное, курносое, толстогубое лицо, и девчонка спокойно спросила:

— Долго думал?

— Чего думал?!

— Как пристать?

— Я думал, ревешь. Больше, ей-богу, ничего не думал.

— Я?! Реву? Ой, держите меня! — Девчонка засмеялась — вспышка белых зубов осветила ее губастое, грубое лицо каким-то трогательным, беспомощным простодушием.

— А чего тогда стоишь? Деваться некуда?

— Хочу и стою.

— Хочешь на танцы? Или в парк пошли, а? На карусели-качели?

— Ой, умора! В парк! В комнату смеха, да?!

— Нет, без смеха. Серьезно приглашаю!

— Лимонадом будешь угощать?

— Можно и покрепче. Как захочешь.

— А дальше что?

— Погуляем. В кино можно.

— В кино не хочу. Все картины смотрела.

— Значит, погуляем, поговорим.

— А потом?

— Ну, не знаю... — смешался Василий, но тут же

нашелся: — Домой провожу. Чтоб хулиганы не приставали.

— Вот и ты, дядечка, не приставай. Хватит. Наговорились всласть. — Девчонка опять перевесилась через перила.

— Я же по-хорошему. Тебе скучно, мне скучно...

— Хватит! — закричала девчонка. — Караул! — гулко и тревожно прокатился крик по воде.

— Режут тебя, да? Грабят? Ну, привет, пока, только не ори.

На бугре, под тополями набережной, обернулся: девчонка смутно угадывалась под скудным кругом причального фонаря.

«Дядечка!» Крепко приложила, крепко. В двадцать семь — дядечка, лет в тридцать — папаша, а под сорок дедом обзовут. Так пойдет — быстро состарюсь. Сколько же ей? Шестнадцать, семнадцать? Черт их поймет!»

Василий вдруг устал, сонно отяжелел — еле ноги дотащил до автобусной остановки. Превозмогая желание немедленно прилечь на скамейку, он перечитал зажегшиеся вокруг вывески. Привычно, с бесцельной серьезностью перевернул слова: «игинк», «кабат», «онив»,— к игре этой его пристрастил Мишка, сын, узнавший буквы в пять лет и распорядившийся новым знанием шиворот-навыворот. Вообще со словами Мишка обращался так же запросто, как и с другими игрушками: разбирал, развинчивал, переиначивал и вскоре понял, что слова можно сочинять. Однажды в городе остановился зверинец, и Мишка, довольно рассеянно посмотрев на приезжих львов и слонов, прямо-таки прирос у беличьего домика. В нем кружилась, сновала, металась рыжая белка — видимо, ее стремительная жизнь и заворожила Мишку. Он притянул Василия за рукав и, удивленно дергая черными бровенками, сказал:

— Смотри, зырок?

— Какой зырок?

— Да вон. Зырк, зырк. Даже глаза заболели.

— Ты про белку, что ли?

— Ну да! Похожа на зырка?

— А какой зырок-то, покажи!

Мишка рассердился:

— Это я ее так назвал! Как же я тебе имя покажу?

— Ладно, понял.

— Похоже?
— Похоже.
Дома, предостерегающе таращась на отца, Мишка заторопился:
— Мама, зырок! Угадай!
Ольга негромко, шутливо ахнула и взялась за голову.
— Значит, мама теперь зырок? Что же мне делать, куда же бежать?
— Мама, мама, мама! — Мишка рассмеялся. — Угадай, кто такой зырок?
— Зверек?
— Да, это легко. А какой, какой?
Она сощурилась, потянула пальцы к виску, легонько наморщила лоб — задумалась всерьез, вовсе не подыгрывая Мишке.
— Или лисенок, или... — Ольга замедлилась, щеки заалели от азартного желания угадать. — Или бельчонок.
— Ура, молодец, правильно! — Мишка бросился к ней на шею.
Щеки ее вмиг ожили, потемнели от румянца, она облегченно вздохнула.
Василий удивился:
— А как это ты дошла?
— Не знаю.— Она улыбнулась растерянно.— Представила, вообразила и догадалась.
С тех пор и началось:
— Пап, угадай, что такое «курум»?
— Угадайте, угадайте! Мама, папа. Талаг?
Василий из ревнивого соперничества с Ольгой пробовал угадывать, но, по его словам, шарики не в ту сторону работали — измучившись, только пот вытирал. Ну как догадаешься, что «курум» значит гречневая каша, а «талаг» — дождевая лужа. Ладно, хоть осилил игру в перевертыши, а то перед Мишкой вовсе бы неудобно было.

Дожидаясь автобуса, разбитый бестолковым вечером, Василий подумал о Мишке, давно уж, конечно, спавшем на бабушкиной кровати. Десятый сон, наверно, покружился сейчас вокруг его стриженной под нуль головенки и опустился, сморил еще глубже, еще слаще — зачмокал Мишка от удовольствия, засвистел маленьким, каким-то пушистым носом. «А отца твоего черти носят, дурь дубовая. — Василий вновь перечитал, перевернул слова на

вывесках. — Дела мои, Мишка, кабат. На душе — кабат и в голове — кабат».

Перед сном, раздетый, посидел на диване, покурил, погрузившись в тяжелое оцепенелое безмыслие. Лег, закрыл глаза и увидел Ольгу, — вернее, сначала поезд, увезший ее. Оконная желтая мережка мчалась по густой таинственной траве откосов, на мгновение испуганно застывали ослепленные сосны и резко шарахались в темноту, и, вглядываясь в нее, стояла у окна Ольга в пустом коридоре — ночь все раздвигала пространство между ними, и Василий заворочался, закряхтел, ощутив его холодность и пустынность. «Ох и далеко же мы сейчас друг от дружки. Даже не по себе делается... Давай спи, «дядечка». Холостяк, ешкин корень».

3

Увидел день в далеком августе, Ольгу под стать дню, ясную и тихую. Она ходила по школьному двору, негромко, смущаясь своего командирства, говорила:

— Вот здесь, товарищи, нужно поправить забор, здесь вот, где колышки, нужно вырыть яму для прыжков в длину. — Она заглядывала в блокнотик, куда, видимо, подробно записала директорский наказ. — Еще надо покрасить забор, поставить турник и разровнять весь песок на волейбольной площадке...

— Во! Разошлись педагоги! — возмутился Саня Мокшин, которого начальник цеха назначил старшим над посланными в подшефную школу. — У меня артель всего ничего. Твоей работы, девка, до снега хватит. Причем без выходных и в три смены...

— Меня зовут Ольга Викторовна, — не поднимая глаз, краснея, сказала она.

— Давай так, Ольга Викторовна. Забор починим, яму выроем — и шабаш. С нас хватит. А то другим ничего не останется.

— Хорошо, пусть так. — Она взяла лопату, достала из сумочки маленькие лохматые варежки. — Остальное сама доделаю.

— Как это сама? — удивился Саня.

— У вас директор строгий?

— Завода, что ли? Кто его знает. Я его раз в пятилетку вижу.

— А я своего каждый день. Если сегодняшнее задание не выполнить, он дежурство мое не примет. Вообще стыдно и нехорошо выйдет. Мы и так не успеваем — до сентября неделя осталась.

— А он тогда где? Не успеваете, дяди тут за вас ломят, а он, поди, пиво пьет.

— Почему пиво? Он краску уехал доставать.

— Ну, порядки. Мне бы такую жизнь. Что в колхозе, что в школе — все на кого-то надеются.

— Кончай, Саня. — Василий уже жалел ее, хрупкую, беззащитную перед строгим директором, жалел и знал, что теперь не бросит ее, пока не выполнит этого задания. — Ты чего разоряешься? Нормировщик перед тобой? Воду мутишь и ничего не видишь.

— А ты не суйся! Вижу, что и ты видишь, да разглядывать некогда. Давай бери лопату!

Вскоре печально, чисто запахло теплой осенней землей; травяной, слабеющий, как бы поблеклый дух, не перебивая, нежно оттенял этот запах — тишина и прозрачность августовского дня были так совершенны, что счастливым холодком томило сердце.

Они работали рядом, и Василий, с удовольствием подлаживаясь под нее, тоже разговаривал негромко, неторопливо:

— А вы ничего с лопатой, споро управляетесь. Где это научились?

— Я же деревенская. Покопала, слава богу, — никогда не разучусь.

— Да?! В жизни бы не догадался. Вы — такая... — Он невольным жестом хотел обрисовать ее хрупкость и воздушность, но спохватился, занял руки лопатой. — Вовсе не деревенская.

Она поняла, засмеялась, как-то отдаленно, мягко, с нежным придыханием.

— Так я давно из деревни. Но мама меня утешает: подожди, еще ударит в кость матушка деревня, еще скажется.

В самом деле, потом, после родов, Ольгина стать покрепчала, попышнела от материнских преображающих соков.

Но в этот день Василий не поверил, поудивлялся, видя, что ей его удивление приятно.

— Не может быть, ни за что. Вы уж не верьте своей мамаше. Ошибается она — точно.

Саня Мокшин, конечно же, учел его явный интерес к учителке, его явную склонность к шефской работе:

— Васька! Хочешь почетным шефом стать? Песок один раскидаешь и забор тут докрасишь. Смотри, поударному трудись, чтоб Ольгу Викторовну директор не ругал! А мы пойдем. Тебе что, холостому да неженатому, — не мог Саня Мокшин не позавидовать. — У нас семеро по лавкам, а тебе стараться да стараться.

Доработали вдвоем, уже при длинных прохладных тенях, и Ольга повела его умываться. Ключом открыла парадную дверь, улыбнулась:

— Только для почетных шефов.

В высоком, широком коридоре пахло краской, необжитой новосельной чистотой. Василию показалось, что и коридор покрасили они, а теперь вот ходят, смотрят, согласно думают, как хорошо вступать в приветливо гулкое жилище. Он вздохнул:

— Жалко, что уже ученый, а то бы еще поучился. Придешь первого в школу, а вокруг все новое — парты, стены. Окна сияют. Вроде и голова новой становится. Любил учиться, хоть и несильно получалось.

— А сильно ученый-то?

— Ну! Семи пядей. Вечернюю десятилетку еле дотянул. Устал так, что ноги подкашивались.

— Так, что дальше думать неохота?

— Не в охоте дело. Надо, чтоб кто-то подталкивал, заставлял. Помогал то есть. Вот вы случайно не согласитесь? — ляпнул Василий и тотчас раскаялся: Ольга нахмурилась, замолчала и вроде бы с опаской отодвинулась от него.

Но потом, на улице, под влиянием прекрасного вечера и продолжающегося артельного сообщничества, они снова разговорились и до глухой темноты прогуляли, проплутали по дорожкам городского сада.

В пустынном, черном октябре, когда одиночество непереносимо, как ожидание первого снега, Василий сказал Ольге:

— Искал, искал сегодня сватов — не нашел. Сам скажу: выходи за меня замуж.

— Прямо сейчас?

— Чем скорее, тем лучше. Если изо всех сил ждать, до ноябрьских подожду.

— Подожди, пожалуйста.

Позже, много позже он понял: не надо было объясняться с этакой мимоходной шутливостью — что-то ведь сопротивлялось в нем, но он переломил себя, пересилил сопротивление. Ольга, должно, ждала иного признания, была торжественна, серьезна, а он заставил ее шутить — как, ей, наверное, было больно, неловко подыгрывать его незрячей, неуклюжей душе...

4

Проснулся от сухой яркой жары, вдруг легшей на лицо, — с вечера не занавесил окно, и теперь высокое сильное солнце придавливало Василия к подушке. «Вот это я по-стахановски! — Он взглянул на часы. — Полторы смены без роздыху!» — Затем отодвинулся, подождал, пока остынет лицо и пропадет из глаз радужная чернота. Комната прозрачно, весело дымилась. Солнечные лучи вгоняли в форточку запах нагретой, но еще не пыльной травы, он невидимыми редкими облачками налетал на Василия, и вместе с ним приходили уличные звуки: трель велосипедного звонка, плач ребенка, пароходный гудок, скрежет причальных кранов, водопадный грохот гравия, загружаемого на баржу, — звуки эти, празднично свежие, не соединились пока в раздражающий шум.

Василий полежал, покачался на душистых, сверкающих волнах, вновь задремал, убаюканный безмятежным расположением духа. Сквозь дрему вспомнил вчерашний поход на дебаркадер.

«Ведь «караул» кричала в полный голос! — Он очнулся. — Да. Резкая девушка. А я-то, я-то! Кавалер нашелся. Понесло меня, разговорился. Ладно хоть в милицию не попал. Что вот мне надо, что?!»

Он вскочил, принял душ, походил по квартире, выглядывая в окна. Увидел темно-зеленую манящую прохладу травы, ослепительно желтый берег в истомленных солнцем телах, дальние острова, источающие дрожащее, прозрачное марево, — Василий почувствовал в отдохнувшем теле такое обилие бодрости, силы, счастливого покоя, что бессовестно было бы жаловаться на жизнь, да и на себя тоже.

Утренним, не терпящим сомнений умом, он наконец определил, «что ему надо», оправдал все изгибы личной жизни на ближайшее будущее и облегченно вздохнул.

«Всем же снова охота в парнях побыть, в молодость, хоть на денек, вернуться. Той, ничем еще не разбавленной, воли хлебнуть. Так что Ольгу не задену, не обижу, если маленько в молодости побуду».

Сходил в кино, посидел в городском саду, вернувшись домой, еще поспал, а в одиннадцать вечера отправился на завод.

Табельщица Рита, изловчившись, просунулась в маленькое окошко:

— Вася! Вася! Подожди!

Он подошел, присел вровень с Ритиным лицом.

— Шею-то не боишься свернуть? Федька вернется: а ты окосевшая. Интересно ему будет?

— Вася! Скажи ему: завтра в двенадцать я жду. Он знает где.

— А сама что? Язык проглотила?

— Поссорились, Вася, насмерть. Ой, подожди. — Через секунду Рита выскочила из будки, высокая, полногрудая, в пышном облаке белых тонких волос.

— Да, Вася, ужас! Или, говорит, в загс, или я тебя не знаю. А ему, знаешь сам, в армию через неделю. Ну какой загс?! Людей смешить.

— Верит тебе, значит, — Василий неприязненно покосился на пышную Ритину грудь. — Серьезно расстается, какой тут смех.

— Ага, верит. Зинка вон ждала, ждала законного, а он как выпьет — с ножом к горлу: с кем гуляла, кого водила? Я уж лучше так подожду, в невестах.

— Дождешься?

— А я, Вася, не люблю загадывать. Посмотрю, как служить будет. А то вон Верка выскочила в солдатки, а он там шофером был, генерала возил. И вывозил — генеральскую дочь сосватал. Нет, Вася, в дурах еще успею, нахожусь.

— Да... — Василий представил, как зябнет, чернеет Федорова душа в эти дни, и разозлился. — Что же так-то? Завиляла... Феденька, Феденька! На шею аж при людях кидалась! Дороже не было. А теперь, значит, вы служите, а мы переждем?

— Люблю, Васенька. До смерти люблю. И сейчас бы кинулась. — Рита всхлипнула. — Страшно же, ужас один! Как скажет, на всю жизнь, так и страшно.

— Так не любят, — проворчал Василий. — Чего бояться, раз любишь?

— А как, как?! Вася! — Глаза ее ожидающе округлились, мелькнула вроде бы в них простодушная вера в чудеса. — У меня уж сил нету — ведь кто что говорит. А Федора во сне все время вижу. В гимнастерочке, стриженый и все «ура» шепотом кричит. Изревусь без него. Ну на что ему этот загс? Вася, научи!

— Наверно, с утра здесь стоишь? Советы собираешь? По радио еще выступи. Легче от этого, да?

— Представь себе. — Рита обиделась. — Ничего ему не передавай. Других попрошу.

— Ну, спасибо, освободила.— Василию надоел разговор, пора было принимать смену и дела у мастера Безбородько, уходившего в отпуск.— Пока, девушка.

У большого фрезерного Рита догнала его.

— Вася, я больше не буду. Советоваться не буду. Только помири нас. — Она убрала волосы под косынку, лицо как бы осунулось, опечалилось, а обнажившиеся нежно-округлые скулы необъяснимо усугубляли выражение этой печали. Но Василий не заметил обновленного Ритиного лица, из нагрудного кармана вытащил папиросу, закурил, наконец, понял Ритины слова, понял и удивился: господи, столько металла вокруг, работы, до пота упираться надо, чтобы справить ее, а тут малости какие-то, пузыри, а не горе — «честное слово, в самодеятельности этой Ритке выступать, любовь разыгрывать». Улетела ее просьба в чернеющую высь, запуталась в оконных переплетах цеховой крыши. А Василий, не запоминая, сказал:

— Ладно, помиритесь. Помирю, помирю! Раз, два и помирю.

5

Мастер Безбородько, тощий, долговязый, с хищно ссутуленной спиной, уже ждал его возле металлического стола, обнесенного металлической же оградой, и, как всегда, мрачновато пошутил:

— Не проходи, не проходи. Загляни на могилку.

— Здоров, Касьяныч. Давай отпевай, только быстро. Сменщик сбежит.

— Других, Ермолин, торопи. Меня не надо. У меня вещи в проходной. — Безбородько нехотя шевельнул гу-

бами, сизыми от недавнего бритья, улыбнулся. — Теперь тебе, Ермолин, крутиться, вертеться. Держи: вот наряды, вот сменный журнал, остальное перед глазами. — Он распрямил жгуты бровей, вроде бы отправлял в отпуск и обычную свою нахмуренность.

— Далеко собрался, Касьяныч?

— Рыбачить, — опять нехотя шевельнулись сизые губы.

— Ну, счастливо. Может, как в прошлом, пораньше выйдешь?

— Пока не надоело.

— На уху-то пригласишь?

— Давай, давай крутись. Заработай сначала.

Василий засмеялся и через огромный туманный пролет устремился к зеленой, влажно блестевшей глыбе станка. Переоделся, согнувшись, за низенькой дверкой железного шкафчика, а разогнувшись, увидел подручных — Федора и Юрика.

— Явились, значит... не запылились. Привет, привет!

— Здорово, — мрачно, простуженно прогудел Федор, детина гвардейского роста, с мрачным темным лицом, с каким-то плоско-объемистым носом, под которым на толстой губе торчала узенькая, нелепая полоска усов. Но были ясно зелены глаза, высок лоб, красивы густо-шелковистые брови — черты эти смягчали топорную выделку нижней части лица. «Видно, Ритка дождалась его в табельной. Напричиталась, наревелась, вот жених волком и смотрит».

— Привет, шеф, — бодро, с улыбочкой откликнулся Юрик и протянул руку. Василий нехотя, вяло сунул свою: не любил он Юрика, его прилизанную, с пробором голову не любил, застывшую улыбочку в сине-молочных глазах «Юрика» этого: все как в детсаду знакомится — обязательно назовется «Юриком».

— Какой я тебе шеф!

— Старшой то есть. Уважаемый, — приветливо заулыбался Юрик и хотел по плечу похлопать, этак по-дружески привлечь Василия, но тот не дался. — А теперь совсем начальник, мастерило, босс, командир. — Юрик все-таки сумел, дотянулся и поощрительно похлопал Василия сбоку, по предплечью.

— Ладно. Кончай хихикать. Федька, масленку в зубы, смажь направляющие. А ты дуй за стропалем. Вон

ту хреновину, у сборочного, забросите. — Василий махнул на огромную черную тушу — кожух волочильного стана. — Потихоньку настраивайтесь, а я побегу посмотрю, где что творится.

Василий вернулся, запрыгнул на мостик, свесился влево — на глаз прикинул, где же не «ловится вертикаль». Вершина детали заметно клонилась к станку — основание все было в литейных кочках.

— Не ловится! Два клина снизу — и вся вертикаль.

— Не лезут, Вася! Уж как бил. — Федор покачивал в ладони пудовую кувалду — белые щепки торчали вместо рукояти.

— Молодец, Федя! Хорошо бил. Думал плохо. — Василий включил верхний ход, расставил покрепче ноги — поплыл на мостике, наводя жерло главного вала на верхушку кожуха. Нацелившись, вручную упер вал в деталь, еще чуть поджал — кожух слегка приподнялся.

— Давай клинья! — Федор и Юрик быстро втолкнули их в щель. Василий укрепил на спине вала проволоку, заточенную на манер карандаша, острие совместил с линией разметки и поехал вниз. Только покрикивал:

— Подбей малость! Еще! Еще! Еще! Закрепляй!

— Теперь болты крутите, а я в инструменталку загляну.

6

С какою-то тяжелой яркостью освещали инструменталку желто-белые груши «пятисоток». Казенный холод этого света был бы непереносим, если бы ему не сопротивлялись серебристо-масленые бока и спины инструментов, дробя его, превращая в россыпи веселых, прямо-таки елочных бликов.

Василий зажмурился, головой потряс от их затейливо-переливчатой игры, со всегдашним удивлением замечая, что эти радужно искрившиеся прыгавшие вокруг зайцы быстро вытесняют из него сумрачный, сизый простор цеха. «Как сорока перед медной пуговицей. Шалею от блеска. Недаром Фаечку ни хмурь, ни дурь не берет».

— Эй! Кто парад принимает? — Василий сунулся за один стеллаж, за другой — Фаечку не увидел.— Фая! Ты куда потерялась? Фаечка! — Он звал повеселевшим,

враз очистившимся от заботной хрипотцы голосом. — Солнышко! — еще добавил дурашливо-игривого звона.

Фаечка, оказывается, вздремнула за открытой дверкой шкафа, спрятав лицо в изгиб локтя. Василий подул на белую, нежно обнажившуюся шею — Фаечка вздрогнула и резко, торопливо выпрямилась на стуле. Невидяще, пристально уставилась на Василия снизу вверх — через силу очнулась и медленно, сквозь сдерживаемый зевок улыбнулась.

— Ой, Вася. Сморило — не заметила. — Она поднялась, мгновенно замерла. — И во сне тебя видела. Не успела насмотреться, а ты тут как тут.

— Не к добру, Фаечка. Мужчину во сне видеть не к добру. Либо деньги потеряешь, либо замуж не выйдешь.

— Не боюсь! Ни капли. Денег нет, замуж не хочу, пусть снятся. Такие вы все добрые, симпатичные во сне-то, хоть не просыпайся! — Она поправила волосы, мимолетно оглаживала щеки и лоб, словно пыталась погасить темно-золотистый пыл веснушек, и вот в черно-медных пламенеющих ресницах засветились привычною, обволакивающей преданностью сизо-карие, как переспевшая жимолость, глаза. — Хочу, Вася, чтоб ты снился. Разрешаешь?

— Так и быть. По понедельникам. А то надоем скоро, Фаечка! Не смотри так. Я ругаться пришел, а ты меня гипнозом глушишь.

— Ругаться? Со мной? Брови-то, брови у него какие! Дай приглажу — взъерошились, миленькие. — Фаечка прищурила глаза, потянулась к его бровям и вдруг резко дернула за козырек, натянула кепку на глаза.— Здорово, да? Скажи, не умею? Раз, два и завлекла. Завлекла или нет?

— По уши. Теперь и не вырваться.— Василий качнулся к ней, распахивая руки, но Фаечка попятилась.

— Нет, нет. Сначала ругаться, а там видно будет.

— Раздумал ругаться.

— Тогда по-хорошему скажи. Ва-ся! Убери руки! Вот как тресну микрометром!

— Фаечка, понял. Делу время... У тебя какие фрезы? Глина, лапша. Одни жалобы, а не работа. Давай журнал — телегу напишу.

— Будь другом. Мне на-до-ело воевать с инструментальными. Начнешь отказываться, мол, барахло, а они:

не хочешь, не бери. Других не имеем. А я куда денусь? Вы же тут разнесете все.

Пока Василий писал требование-рекламацию, Фаечка стояла над ним, вслух повторяла написанное и нет-нет упруго и мягко задевала Васильево плечо.

— Фаечка, ты завтра, тьфу, то есть сегодня отсыпаться долго будешь?

— Пока не надоест.

— То есть никуда не собираешься, ничем не занята?

— Вообще-то не знаю. Может, в кино пойду.

— Слушай, пошли на остров. Дни вон какие, а мы их и не видим.

Она опять обволакивала его преданным взглядом.

— Чур, не дурить, Фаечка. Приглашаю серьезно.

— Договорились, Вася. Спасибо. — В глазах дрогнуло что-то, пояснело, и он догадался, что Фаечка хочет спросить про жену. Но удержалась, притушила любопытство. — Загорать так загорать! Что мы, рыжие, что ли?! — Она улыбнулась: облизав губы, неторопливо раздвинула их — влажно, бело, холодно блеснули зубы, — и была в этой улыбке какая-то виноватая, смущенная развязность...

Подручные Федор и Юрик сидели на мостике, отодвинувшись друг от друга: Юрик, свесив локти за поручни, закинув голову, хохотал, а Федор, набычившись, выпятив толстую усатую губу, гнул-ломал в кулачищах стальную кочергу, которой чистят пазы в пристаночном столе. Медленно взблескивая, крутился вал, лампочка-переноска устало свешивалась над расточенным отверстием и, казалось, светила тоже не торопясь, сонно щурилась на неутомимую стрелку резца. «Чистовую гонят, молодцы», — издали похвалил подручных Василий, а запрыгнув на мостик, пренебрежительно усмехнулся:

— А я уж думал, шабашите. Деталь сняли и стружку ковыряете.

— Да ты что, шеф? И так ударники! — У Юрика плеснулось в глазах снятое молоко и вроде бы пролилось на синеватые от бессонницы щеки.

Василий с маху, без подготовки вкатил ему щелчок — смазал, не больно вышло, только пробор Юриков сбил.

— Это за шефа! В другой раз — по шее.

— Размахался! — Юрик достал самодельную, из нержавейки расческу. — Большой стал, да? Начальничек!

— Подожди, — перебил его хриплый, застоявшийся бас Федора. — Скажи, Вася, может все по уму, по-человечески в этой жизни складываться? Чтоб не маяться зря?

— То есть?

— Жениться хочу. Перед армией. Отца с матерью боязно одних оставлять. Может, пацана сумеем сотворить. Вернусь, а у меня — семья, дом, пацан на колени лезет. Вообще, толковая жизнь. Сразу, без раскачки, и впрягусь в нее. Скажи, по уму соображаю?

— Ничего. Смысл есть.

— А Юрик вон живот надорвал: надо мной укатывается. Пацан, говорит, будет, не сомневайся. Но чей? Девку, говорит, раззадоришь, сам под ружье, а она куда? Говорит, допризывников много, с каждым весточку будет слать. Скажи, Вася, неужели по уму нельзя? Неужели никому толковой, чистой жизни не надо? — Такая густая, тяжелая обида похрапывала в Федоровом горле, что у Василия снова рука зачесалась — так бы и врезал Юрику.

— Ну, шпана же ты!

Юрик скривился.

— Уж ты-то, Вася, и без сказок мог бы. Человек утопиться хочет, а я его останавливаю. Умно, трезво, по-товарищески.

— Федя, наплюй и не верь. Все по уму будет! — Василий вдруг остро пожалел его детскую уязвимую душу. Чуть не сказал даже в утешение, что, вот, мол, я жену на курорт отпустил и все равно никакой дряни в голову не беру, потому что без веры жизни не проживешь. Но вспомнил уговор с Фаечкой, засовестился: «Какой из меня утешитель?!»

— Когда отправка-то?

— На той неделе. В субботу. Вася, обязательно приходи, провожаться будем.

— Приду. Обязательно.

7

Василий ждал Фаечку у дощатого мостика, перекинутого с серой, бетонной набережной на зелено-песчаный остров. Вода, зеленая и быстрая, не сладила с жарой, упрятала прохладу поглубже, разнеженно щурилась, млела, сладко потягиваясь гладким ленивым

телом. Василий изнемогал под взглядами яркой смуглой толпы, глухо топочущей босыми пятками по мосту.

— Ох, жара! Вот палит так палит! — вслух приговаривал Василий и с некоторою картинностью вытирался, обмахивался платком. — Чистое наказание.

Он покосился на толпу, стараясь выглядеть случайно замешкавшимся, уставшим от солнца человеком, хотя на самом деле взмок и измучился не столько от жары, сколько от стыда: казалось, мимо проходят одни знакомые и все осуждающе запоминают: «Ага! Васька Ермолин барышню ждет. Смело холостякует! На виду у всего города!»

«Ну, где она? Лучше бы уж вовсе не приходила!»

Но Фаечка пришла, робко выдвинулась из сверкающей веселой толпы. Беззащитно белая, высокая шея, тонкие белые руки в мелких веснушках, слабо зардевшихся под солнцем, на узко покатых плечах легкие крылышки бело-красного сарафана. Медно чернеющие волосы, длинные завитки пущены вдоль щек, глаза прикрыты тенью от соломенного козырька — некая печальная прелесть была в Фаечке, но Василий ее не заметил, а заметил лишь робкое, медленное приближение Фаечки и подумал, что она смущена ненатуральной белизной кожи, своей как бы нездоровой приметностью. Спеша сократить это принародное свидание, он с притворною веселостью возмутился:

— Мы с тобой как белые вороны! Прямо хоть грязью мажься. Давай махнем во-он на тот конец острова! Слегка поджаримся, а там и на люди не стыдно показаться.

— Хорошо, Вася, — тихо и покорно сказала Фаечка, но глаза вроде бы насмешливо дрогнули. — В тот так в тот.

И они пошли, торопливо, молча, отстраненно, точно недавно повздорили, точно ссора гнала их, слепила, не позволяя в то же время разлучаться. Через мостик, через ленту сыпуче-вязкого песка, через пыльные, вытоптанные поляны — почти бежали, все чаще и запаленней дыша, багровея потными лицами, спотыкаясь,— казалось, они опаздывают куда-то и очень боятся опоздать.

Кое-где на острове пробивались таволожник, низкий, коряжистый боярышник, шиповник, а на северном, самом дальнем от города мысу стоял черемуховый колок. Возле него, в пустующей зеленой ложбине, Василий ос-

тановился и пересохшим, воспаленным горлом не сказал, а тонко просипел:

— Все. Таборимся.

Фаечка не ответила, только кивнула, с деловитой торопливостью огляделась, бросила сумку под куст шиповника. Удерживая нервное, усталое дыхание, спросила:

— Окунемся, да?

Теперь Василий только кивнул. Они опять торопливо, все еще куда-то опаздывая, разделись, не глядя друг на друга, побежали к воде. Василий задохнулся от ледяного прозрачного ожога, но вытерпел, не заорал. Зато Фаечка, не успев ноги замочить, пронзительно, весело завизжала:

— У-ю-ю-й! Чур не я, чур не я! Вася, спасай! — Хотела выскочить на берег, мгновенно передумала, вбежала поглубже, упала, испуганно, беспамятно замолотила руками и ногами. Пенные, яростно-белые всплески вздымались вроде бы не от этой молотьбы, а от высокого, свистящего визга.

На этом же визге она быстрехонько перелетела на берег — бликом, синим облачком пронеслась по воде тишина. А Фаечка говорила ясным, промытым голосом:

— Интересно, куда это мы мчались? Как заведенные. Будто гнал нас кто. Вася, кто нас гнал?

— Да кто... Дурная голова...

Наконец-то он мог внимательно и успокоенно посмотреть на Фаечку. Ее незагорелое, излишне полноватое тело, еще недавно подернутое огорчительным налетом комнатной бледности, теперь порозовело и непостижимо переменилось: вытянулось, построжало, приобрело упругую, гибкую силу, волнующе усмиряемую черно-белым купальником. Его шелковисто-мягкий, влажный блеск, казалось, не мог возникнуть сам по себе, от того только, что вода пропитала материал, — нет, он перенял эту шелковистость от кожи, нежно-зрело округлившегося живота, сильных, тяжелых грудей, округло-крепких широких бедер.

— Вот я тебя счас снова окуну как следует! — Василий шагнул из воды, потянулся к Фаечке.

Она увернулась, отбежала, сморщив нос, подразнила языком:

— Обрадовался! Никак не остынешь, да?

Растопырив руки, он обежал ее, пригнулся, готовый метнуться и не упустить, медленно, на цыпочках, подступал, собравшись загнать ее в воду. Ближе, ближе — Василий прыгнул. Фаечка не шелохнулась, и он больно ткнулся носом в ее плечо. Тут же выпрямился, обнял — чужое, равнодушное тело, холодно подавшаяся грудь. «Чего-то уж я больно разлетелся», — поморщился Василий.

— Ну что? Ну что? А дальше что?

— Перекур. Загорать пора, отдыхать, а не обниматься.

— То-то же.

Они вернулись в зеленую ложбину, вспорхнул в Фаечкиных руках белый прозрачный платок, нехотя, едва касаясь, прилег на траву — выгнул легкую, прозрачную спину, попробовал взлететь — Фаечка удержала его пучком красно-фиолетовой редиски, орехово-глянцевой горбушкой, золотисто-сиреневой луковицей.

— Значит, освежимся? — Василий достал бутылку вина. — Освежимся, споем:

На зеленой траве мы сидели,
Целовала Фаина меня...

— Да уж, целовала...

— Не будешь? Наотрез?

— Посмотрим...

— Не будешь вина пить?

— Ой, да ну тебя!

Выпили, весело захрустели редиской, сочно, благоухающе вскипела под зубами зеленоватая пена на розоватых пластах лука — молодой, здоровый голод расшевелило простое темно-вишневое вино. Из куста шиповника вдруг вырвался сухой, жаркий сквознячок, тотчас осушил сверкающие капли на плечах — и сразу припекло их, позолотило.

— Ох, господи! Жить неохота — так хорошо! — Фаечка отодвинулась в тень шиповника, зажмурилась, устроила голову в закинутые руки, покачала ее, побаюкала, чтобы не очень-то кружилась от блаженных минут. Покачиваясь, не открывая глаз, спросила:

— Васенька, хочешь настроение испорчу?

— Не хочу. Совсем не хочу.

— Ну, пожалуйста, Васенька, разреши. — Она от-

крыла глаза, округлила обиженно. — Я тебе еще ни разу не портила! Стерпи уж.

— Кто бы спорил... Давай.

Фаечка значительно помолчала, погрызла травинку.

— А ведь тебе стыдно было ждать — я видела. Я не сразу подошла. Сперва постояла за деревом. Уж так ты маялся, места не находил! Вдруг да кто со мной увидит!

— Не выдумывай! Жара была, вот и маялся. Никакого спасу!

Фаечка рассмеялась.

— Вот за что я люблю женатиков, так за совестливость. И перед женой стыдно, и перед девицей — разрываетесь, бедняги! Любо-дорого! Ни за что женатика не променяю ни на каких парней! Тем бы только урвать, нагрубить, обидеть. Чувства мужского у них нет — один нахрап. Васенька, миленький! Когда я увидела, как ты топтался-боялся, — прямо душа запела. Ну, думаю, настоящий мужик. И жену ему жалко, не хочет ее позорить. И меня жалко — не уходит, ждет. Вот она, главная мужская сила: на душе хоть миллион кошек скребется, а виду не подавай, все равно имей уважение к женщине.

— Смотри-ка ты. Живешь и не знаешь, какой ты хороший. — Василию было неловко, он чуть папиросу не изжевал, слушая Фаечку.

Потом откинулся и затих. Тотчас же возникшие крылья подняли его, понесли. Редко взмахивая ими, он парил и парил над рекой, прибрежными полями, дымчато-зелеными падями. Пролетая над синевато-сизым хребтом, почувствовал, как в грудь уперся тугой, теплый поток, поднял его еще выше.

Это Фаечка гладила его маленькой, теплой ладонью. Он повернулся к ней: нижняя губа прикушена, смеженные ресницы подрагивают; лежит неподвижно, и только рука ищет Василия, как бы в темноте, и, найдя, жадно, сильно гладит.

Он оперся на локоть, приблизился к Фаечкиному лицу. Лоб в легкой испарине, щеки в пуховом нежном румянце, белая тонкая шея беззащитна и покорна. «Теперь целуй», — скомандовал себе Василий и очень удивился, что не целует, а принуждает себя к поцелую — даже после команды все еще мешкает. Отпрянув, он на миг увидел происходящее сторонним взглядом: себя, сомлевшего под ослепительным солнцем, чужую жен-

щину, молча ласкавшую его и, должно быть, ждавшую ответной ласки.

«Почему я должен ее целовать?! Ни с того ни с сего. Дикость какая-то. Да и не смогу. Вдруг не целовались, не целовались, а тут — на тебе — средь бела дня. Комедия, цирк».

Василий вскочил:

— Все, испекся, Фаечка, за мной!

Она медленно перекатила голову по траве влево, вправо и посмотрела недоумевающе-вспыхнувшими, потемневшими глазами. Он отвернулся, стыдясь своей внезапной трезвости, пробормотал:

— Ну, полежи, полежи, — и побежал к воде.

Потом долго играл со студентами в волейбол, на поляне, между черемухами, и не видел, что там поделывает Фаечка. Вернулся, она была уже одета, безучастно сидела, подобрав ноги под красно-белый подол.

— Давно сидишь? Чего же не позвала?

Фаечка не ответила.

Василий быстро оделся, протянул руку, но Фаечка поднялась, не заметив ее.

— На сердитых воду возят, забыла что ли? Фаечка, давай мириться. Ты на что сердишься-то? — разозлился Василий. — День без взаимности, да?

— Дурак.

— Ну, слава богу. Отмякла, Фаечка, солнышко, улыбнись.

Она поглубже надвинула соломенный козырек. Возле полотняных, колеблющихся стен ресторана Василий взял ее за руку, потянул:

— Зайдем. Это ты с голоду такая злая.

Руку Фаечка не отняла, позволила завести себя, устроить за стол. Уже пришли сонные, откормленные оркестранты, лениво снимали с инструментов чехлы, лениво рассаживались, долго читали записку, принесенную длинным тощим парнем в красной рубашке. Наконец встал ударник, повертел, покрутил розово-сосисочными пальцами микрофон и объявил звонким, чистым голосом:

— Гость Юра дарит эту песню Марине.

Фаечка фыркнула, но тут же спохватилась, уставилась невидяще в обеденную карточку. Василий обрадовался: «Кажется, совсем отошла».

— Во дают! Которая же из них Марина?

Нет, не отошла, потому что смерила его таким непонимающе-равнодушным взглядом, что ему оставалось только покуривать да барабанить пальцами по столу.

На берегу, когда пора уже было расставаться, Василий попросил:

— Подожди. — Перебежал дорогу к старухе цветочнице, торговавшей жарками. Вернулся с букетом:

— Гость Вася дарит эти цветы и так далее. Фаечка, мир, а?

Фаечка улыбнулась, но медлила, не поднимала руку за жарками.

«Неужели не возьмет? Сорвал девке день. У нее, может, в кавалерах вся радость, а я и порадоваться не дал».

Фаечка букет взяла.

— Спасибо. Как это ты догадался?

— Сам не знаю. Фаечка, все по-прежнему, да? Как брат и сестра, да? Или, хочешь, я буду дядя, а ты племянница?

— Ну тебя к черту.

«Правильно, к черту меня! — думал он позже. — И этот холостяцкий промысел к черту! Чего захотел: в молодость заглянуть. Нельзя, все двери закрыты. И в чужую жизнь нельзя заглядывать — не имею права. Не хочу. Воля поманила, да я не волен. Чужая Фаечка. И близкой не станет. Судьбу не переклеишь. Ольга все равно всегда рядом. Нет уж, снова в парнях не побывать — сильно густо да жирно для одного человека. Навыдумывали: сладкий грех, веселый грех. Какой уж веселый, если еще на краю пустотой такой обдает. Обойдусь! Пусть скучно живу, без приключений-похождений, пусть день на день походит, но по-другому не умею. Не знаю, как по-другому. И весь разговор».

8

Субботним солнечным вечером подходил Василий к дому Федора в тихом, пыльном проулке Рабочего предместья. Федор ждал гостей на лавочке возле ворот, основательно принаряженный: черный костюм, черная кепка-восьмиклинка, красно-желтая, шитая шелком рубаха-гуцулка, запыленно новые черные штиблеты.

На плече сиял коричнево-лаковый ремешок фотоаппарата. Федор без улыбки поднялся навстречу, протянул руку:

— Спасибо, Вася. Не обошел. Проходи пока к мужикам, разговейся малость. — Уважительно медленный бас его с долею торжественности, праздничным теплом отозвался в Василии: «Ну, будет дело. У ворот такие почести, а дальше вовсе адмиральский трап выкатят. Всерьез гулять собрались».

— А тебя что, сменить некому?

— Извини, Вася. По уму надо: самому встретить, самому проводить. Иди, иди, у мужиков, слышишь, звон? — Федор серьезно, как-то старательно улыбнулся и снова сел.

Во дворе, тесном от сараюшек, клетей, стаек, застланном толстыми крашеными досками, Василия остановила пегая лайка. Нехотя обнюхала, беззлобно щерясь, и махнула хвостом раз-другой: проходи, мол, разрешаю. Василий, подобравшись, застыв, подождал на всякий случай, пока собака не отойдет, и уже нацелился к крыльцу, когда услышал скрип колодезного ворота и негромкий, какой-то рассыпчато-теплый смех. Обернулся: у колодца, скользя ладонью по коричневому вспыхивающему глянцу ворота, стояла женщина в светло-сером открытом платье, украшенном спереди двумя рядами крупных кремовых пуговиц.

— Испугались старухи? Давай бог ноги, да? — Женщина снова рассмеялась. — Извините, уж больно смешно вы изогнулись. Будто стукнул кто.

— Какую старуху? — Василий, смущенно опомнившись, подошел к женщине. — Не вижу старух. Где они, где? — Василий козырьком прислонил ладонь ко лбу, огляделся: — Внучку вижу. Румяную, пригожую...

— На всех чертей похожую. Ладно, ладно. Смейтесь на здоровье. — Женщина чуть напряглась крупным, полным телом, вытягивая ведро. Милое скуластое лицо, белые зубы, легкая рябь вокруг смеющихся прозрачнокарих глаз, волосы собраны тугим пепельным узлом. — Найда моя совсем старуха. — Женщина кивнула на собаку. — Забыла уже, когда лаяла в последний раз.

— А меня бы тяпнула. Меня собаки с детства не любят. На всю улицу одна шавка и та обязательно прибежит, цапнет. Почему так?

— Злые вы, наверно, вот они и чуют.
— Я-то злой? Да из меня кто хочешь веревки вьет. Не верите?! Начинайте, вейте!
— Ага! Из одного вила, а он взял да завербовался. Нет уж, навилась.
— Я не сбегу. Я терпеливый.
— Ох, ох, ох. Попробовала бы, да жалко.
— Может, боязно?
— Ладно, ладно! Боятся девчонки, а мы все храбрые... языком молоть.
— Давайте помогу. — Василий подхватил ведра. — Вы кто же Федору? Сестра, кума, племянница?
— Седьмая вода на киселе. Соседка.
Поднимались на крыльцо, и она отобрала ведра.
— Нечего, нечего в нашу работу лезть. Дверь лучше откройте.
На веранде, вокруг ведра с желто-розовой пенной брагой, весело толпились в ожидании застолья мужики и парни. Они уже преодолели чинность первых минут в чужом доме и были легко, добросердечно возбуждены, шумно приветливы — всерьез подготовились к долгим проводам и лишним слезам в честь Федоровой, еще не начавшейся службы.
Поднесли и Василию. Брага шибанула в нос чистым колючим жжением, прокатилась, утолила, затуманила — нет, не хмелем пока, а хлебным сладким холодом улеглась, и зажглось ровное голодное пламя. Чашку наваристых щей бы в него, блюдо прозрачного холодца. Василий всунул папироску в зубы, удивился:
— Да! Берет без допусков. Хоть летай!
Василий решил покурить рядом с Федором на лавочке, но не успел спуститься с крыльца, как отворилась калитка и вплыла Рита, осторожно, неторопливо ступая, будто стекло несла — боялась лодочки лакированные запылить. В розовом, каком-то прозрачно-кружевном платье, с удивительною тщательностью очертившем ее полную, высокую грудь, с подвито-распушенной белой волной на плече, Рита источала сияние, возникшее, видимо, для того, чтобы еще резче оттенить мрачную, черную фигуру Федора с этим дурацким фотоаппаратом через плечо.
В согласии с розовым нарядом был и Ритин голос, воркующе-розоватый:
— Феденька, ну не будь таким злючим, ну, милень-

кий! Ни для кого я не вырядилась. Для тебя, Феденька! Специально к этому дню шила. Ждать буду, Феденька, до тебя больше не надену.

Тут Рита увидела Василия:

— Вот Вася пусть следит. Здравствуй, Вася. — Рита взяла Федора под руку, прижалась к нему. — Вторым свекром, Вася, будешь. При тебе говорю: больше это платье до Феденьки не надену.

Федор нетерпеливо, хмуро освободился.

— Помолчала бы лучше.

— А почему молчать, Феденька, почему? Может, я говорю, чтоб не реветь?! Знаешь, как разревусь сейчас?! Почему ты мне не веришь, почему мучаешь? Я для него свечусь вся, а он как хоронит. Вася, скажи, он тебя послушается.

— Не знаю, ребята, не знаю. Я в гости пришел, а с гостя какой спрос? — Он повернулся, быстро захлопнул за собой дверь, с громким звяком накинул крючок, сказал сквозь щель: — Малость остыньте, а то бесполезно, не впущу.

За стол садились, вроде не разбираясь, шумным базаром, а расселись — ну, будто места заказывали: дальняя родня подальше от красного угла, поближе — друзья, приятели Федоровы, а уж рука об руку с хозяевами — родная кровь и особо уважаемые гости. Василий оказался рядом с Ритой и, когда Федор ненадолго отвлекся от молчаливо-мучительного внимания к ней, спросил шепотом:

— Ну, помирились?

— Васенька, на волоске. Еле-еле все держится.

— Соглашалась бы уж с ним — и делу конец. А то: люблю, люблю, а успокоить не можешь.

— Его успокоишь! Как ненормальный. Переезжай завтра ко мне — и все тут. Не переедешь — хуже будет. А у меня даже мать ничего не знает. Вдруг зарежет — вот это любовь так любовь будет! Да, Васенька?! — И Рита прижалась к Федору, прикоснулась горячим, упругим боком, чуть не опалила парня в этой горячей тесноте — он задымился, затлел, вот-вот бы и вспыхнул, но помешал отец, костистый, высокий, изработанно-жилистый старик. Поднятой стопкой остановил застольное, предвкушающее оживление:

— Вот Федор Иванович, сын мой, уходит служить. А мы его провожаем. Тут все ясно. Братья его хорошие

солдаты были, да и отец по кустам не бегал. Справно служи, Федор Иваныч! Такое мое главное пожелание.— Старик чокнулся с Федором, но не выпил, не сел, а подождал, пока не чокнулись другие, не взорвалось над столом: «Давай, Федя, счастливо!» — но и после не выпил, а, чуть отодвинувшись, посторонившись, спросил жену, тоже жилистую, суровую старуху: — Может, скажешь что, мать?

Она медлительно потянулась к Федору, со спокойной хмурью на лбу постояла:

— Даст бог, воевать не придется. Братья за тебя навоевались, и не видел ты их. Так что не забывай, парень: крепко ждать тебя будем.

Федор молча поклонился матери, как до этого поклонился отцу, после них пригубил, после них сел. Еще бы мгновение, и значительное молчание за столом превратилось бы в неловкую, скованную тишину, но старуха опередила это мгновение:

— Ну-ка, ребята, еще по одной. Чтоб нехристь какой не родился. Угощайтесь, угощайтесь — будет лодырничать. Чем богаты, тем и рады!

Поправив горячо перехваченное дыхание запахом свежей, ржаной горбушки, Василий с голодною, но нетороплизою зоркостью окинул стол: пока выберет закуску, как раз и проснется, жадно запоет незаморенный червяк. А закусить было чем: сквозь снежно-кремовую белизну сметаны пробивалась зелень черемши и лука, лук топорщился кустиками и из студенисто-розовых ртов тяжелых черноспинных харнусов, окруженных серебристо-нежными ельцами, сочащихся свежим, розоватым рассолом; присыпанные крупно нарезанным укропом исходили усталым паром сахарные, рассыпчатые бока картошки. Золотистое копченое сало, обнесенное прозрачно-алыми помидорами, было объято чесночно-смородинным духом. В центре стола на огромном фаянсовом листе с голубыми прожилками возвышалась сумрачно-вишневая влажная гора прошлогодней брусники.

Василий примерился было к блюду с золотисто-поджаренными, хрупкими даже на вид ельчиками, приподнялся, чтоб ловчее тянуться, но чья-то полная, маленькая рука подвинула блюдо.

— Давайте-ка я за вами поухаживаю. — Напротив сидела женщина, так охотно шутившая у колодца. «Когда она успела? Ведь только что ее не было!»

— Спасибо, спасибо, сам! Как-то просмотрел — мне бы за вами надо. Серьезно. Давайте, что вам достать-положить?

— Все у меня есть. А за вашим братом не поухаживай — с голоду умрете. Или ошалеете раньше времени.

— А вообще, значит, шалеть можно?

— Ну, если по-хорошему. Весело и без скандала. Для чего тогда в гости ходим?

— Нет. Хочу шалеть вместе с вами. Или нельзя?

— Льзя. — Она погрозила ему, с игривой строгостью улыбаясь. — Ох какой быстрый.

— Если успеем, молчу. Я, кстати, Василий.

— А я — Груня.

— За знакомство положено? Положено. Ваше здоровье!

— Век бы не знала, да вот повезло. И — ваше!

Вскоре понесло их по извилистому, прихотливому руслу застольного разговора. Не заметили, как стали на «ты», как доверительность недавних знакомых перешла в некую душевную близость, в родственную участливость.

— Ведь я, Васенька, одним ожиданием жива. Мой-то вот после армии вернулся, поженились, пожили, и заскучал он. На Сахалин уехал, потом на Камчатку. И глаз не кажет. Жди, пишет, коли дождешься, заживем. А сколько ждать, Васенька? Свет велик, весь не объедешь. Да и я не каменная. Жить охота.

— Действительно. К нему надо ехать, Груня. Хоть на Камчатку, хоть куда. Все бросить и ехать — тут главное — решиться. Может, он как раз и проверяет: нужен, мол, так хоть куда приедет.

— Э-э. Золотой ты мой! Бросила бы, уехала, да не зовет. Только ждать велит. А самой навязываться — характер не тот. Что там у него, кто — значит, знать не положено. Подожду еще — жизнь длинная.

— Суровая жизнь, Груня, очень суровая. Тяжело же одной, грустно. Парнишка без отца растет — нет, надо тебе понастойчивей быть. Не могу, мол, больше. Давай приставать к какому-то берегу.

— Что ты, Вася! А вдруг скажет: вот и приставай к другому, к новому. Лучше уж подожду... Я вот еще как думаю: может, не тянет его ко мне, может, силы во мне какой-то нет, замана никакого? Тогда совсем плохо. Или уж странник он такой неудержимый?

— Конечно, странник, Грунечка! Вернется. Я бы на его месте без крыльев прилетел. Рядом с тобой жить — никакой Камчатки не надо. Честно!

— Ох, драгоценный ты мой! Твои бы слова... — Груня с хмельной дурашливостью чмокнула, поцеловала воздух, в котором еще не пропали, не растаяли лестные слова Василия. — Давай о чем-нибудь веселом, Васенька. Ну ее, эту жизнь!

Признания постепенно тяжелели, вообще, стали лишними, оставалось смотреть друг на друга со значительною признательностью.

Из этого обещающе-пламенного оцепенения вывел Василия дружный хор: «Штрафную ему! Будет знать!» — появился Юрик под руку с такой растерянно-трогательной черноглазой девчонкой, что Василий на минуту отрезвел: «Такому балбесу, такой шпане и такая школьница досталась! Вот не повезло девчонке! Обидно!»

— Вася, может, подышим на крылечке, — Груня встала. — Обкурили всю — сил нет.

— Груня! Прямо в точку угадала: конечно, на воздух надо! — Он тотчас возликовал, что стол не будет разъединять их. — Пошли, пошли. — Василия переполнило чувство этакой звонко-торжествующей уверенности: все, что он ни сделает, все будет хорошо. Он легко, пружинисто отодвинулся, встал, пошел вдоль спин, не сводя с Груни жадно-веселых глаз.

Юрик, только-только усвоивший штрафную, увидел Василия, извернулся бочком на лавке и ждал, когда тот поравняется с ним.

— Васек! Шеф! Здорово, милый! — Он готов был на шею кинуться. — Давай по маленькой за работу нашу, за тебя, Васек! Не горюй, шеф, справимся без Федьки. Ты же меня знаешь! Со мной!..

Василий сильно, зло взял его за плечи, усадил, нагнулся, собираясь сказать на ухо «пару ласковых», но встретился глазами с Юриковой девчонкой. Огромные, бархатисто-влажные, с какою-то сумеречной робостью они просили не трогать Юрика, не осаживать, простить все его ломанье — более того, Василию показалось, что девчонка чувствует всю Юрикову тьму, бездумь, мучается ею, но готова совеститься вместо него, готова принимать любую его вину. «Везет же подлецу!» — Василий ничего не сказал, улыбнулся девчонке и вышел.

Груня ждала на крыльце. Июньская луна чисто дрожала над тихими тополями, над темным неподвижным двором. Найда сладко, протяжно зевнула. Белела черемуха в огороде и, не дыша, молчала, не дразнила сонно прохладным дыханием.

Само собой, без слов, пошли от ярких окон крыльца, за огородным плетнем обнялись.

Груня прижалась к нему с нетерпеливой откровенностью:

— Золотой ты мой... Драгоценный...

9

Первым автобусом он поехал повидаться с сыном. Загородные поля еще потягивались под радужно-белым невысоким туманом, солнце свежо и неторопливо сквозило в незатопленных кронах берез и осин. Тяжело токала голова, дыхание опаляло набухшие, слипшиеся губы, глазные яблоки подпирала изнутри режущая усталая боль — нет, невозможно смотреть на этот утрений, чисто-белый свет. Но при закрытых глазах было еще тяжелее: он видел вчерашнюю свою молодечески-бессмысленную улыбку, с которой сидел за столом, свое торопливое, хищное возбуждение, с которым сочувствовал Груне, жалел ее, изо всех сил располагал к себе, свой петушино-победный шаг вслед за ней, дородной, скучающей по мужскому присмотру. И эта мокрая осока, какая-то бешеная, бесстыдная любовь, внезапное трезвое довольство женщины, которой он больше был не нужен. Да и она ему тоже.

Непоправимый стыд до того жег его и переворачивал, что потом, жаром и холодом — вперемежку — окатило голову и спину. «Добился, согрешил, хоть из автобуса выпрыгивай. Мишке как сейчас в глаза посмотрю? Ну, Груня одна, годы уходят, тело бесится — ей понятно, ей надо было. А я-то! Сколько себя уговаривал да стыдил! Чистый праведник. Пустынник, ешки. И надо же —вмиг скрутило, полетел. С холодного сердца да с пьяной-то башки!»

При свете этого раскаяния он, конечно же, увидел жену. Ольга явилась в тихом кротком сиянии, исходившем от золотисто-русых волос, нежно-полных плеч, густо-синих, ласково-близоруких глаз — сияние это, раз-

умеется, возникло лишь для того, чтобы вовсе добить замученную совесть Василия.

На миг приостыл стыд, и Василий усомнился: не слишком ли праведной видит жену? «Я-то пластаюсь тоже не для себя. Завод, завод и завод — скоро тридцать, а я нигде не бывал. То Мишка маленький, то квартиры не было, то техникум кончал — вообще, без зазора живу. А когда чуть полегчало, о себе я подумал? Как же! Ольгу Викторовну на юг послал. Пусть вздохнет, подышит, встрепенется малость от забот. Я — ладно, привык вкалывать как вечный двигатель. А ее ребятня замучила, какие нервы надо иметь: сорок человек уму-разуму учить. Другие вон получку домой не приносят, им согрешить, как на футбол сходить. И ничего — живут. И земля носит, и семья терпит. А я? Да господи! Святой угодник по сравнению с ними. И маяться нечего из-за пустяков».

Он опустил стекло, выставил тяжелую горящую голову. Обдало упругой мягкой прохладой, освежило, выдуло ненадолго серую, вязкую муть.

Туман пропал, автобус по тесной, каменистой дороге поднимался на Крестовый хребет, за которым скрывалась Крестовая падь и деревня Крестовка, где наверняка уже крутился у открытой калитки, высматривал автобус Мишка. У Василия нетерпеливо заныло сердце в лад с нетерпеливо воющим мотором — скорей бы, скорей подхватить Мишку, уткнуться в его заляпанную смолой рубашку, хлебнуть его молочно-лесного, родного духа — сразу полегчает, сразу отступит маетное это утро.

«Что-то уж больно я раздумался. Не с Ольгой ли что — тьфу, тьфу, тьфу! Типун мне на язык. Очень уж жалею ее, нервничаю. Вроде бы она все слышала, все знает, хоть на глаза не показывайся. Ох, ешки, чую, отольется, отзовется мне этот грех какой-нибудь бедой!

Ну, почему я до вчерашнего не думал о ней, как сегодня? Все знал и не остановился. Этим грехом, мать честная, вроде как перечеркнул все — всю прошлую жизнь. Оправдаться хотел! Нет их, оправданий-то, нет!»

Автобус бесшумно скатился в падь, весело взвыл в молоденьком, реденьком сосняке и вылетел на желто-зеленый луг перед Крестовкой. Василий издалека уви-

дел Мишку: сусликом замер он на бревнах, скинутых у крайнего дома, у лесничества.

Попросил шофера хрипло-неуверенным после молчания голосом:

— Притормози напротив пацана.

Мишка спрыгнул с бревен, напрямик продрался сквозь крапиву, шиповник, черные дудки прошлогоднего дикого укропа, выскочил на лужайку перед дорогой:

— Папа! Ура, папа-а! — тоненько, ликующе взвился его голосишко над маленькой, тихой Крестовкой.

Обнял, прижался, повис, больно зацепил крутым лбишком подбородок, потом нос.

— Здорово, парень, здорово!

— У-у, колешься как! — все еще восторженно звенело Мишкино горло. — Что привез?

— Спрос. А кто спросит... — Мишка захохотал, запрыгал вокруг, зажимая ладошками нос. — Держи. — Василий вытащил из сумки целлофановый пакет с мороженым, за дорогу сильно подтаявшим.

— Ого-го! Все мне? Зараз?

— Бабу-то, наверное, догадаешься угостить? Вон и Шарик в долю просится. — Василий нагнулся, потеребил за ушами Шарика, от радости стелившегося по земле.

— Баба, баба! — закричал, рванулся к дому Мишка. — Будем мороженое есть! И тебя угощу, и Шарика.

Теща, Евдокия Семеновна, стояла у калитки, под осыпавшейся, в коричневых завязях, черемухой. Руки засунуты за фартук, как в карманы, русо-седые, гладкие волосы собраны в жиденький узел, дряблое, доброе лицо, усталые, добрые, близоруко щурящиеся глаза — постаревшая Ольга стояла у калитки и негромко говорила:

— Здравствуй, Вася. С приездом. А мы уже третий раз чай разогреваем.

За столом, под сострадательно-пытливым взглядом тещи, Василий заерзал, признался:

— Подручного в армию провожал. Вчера подгуляли малость.

Теща резво вскочила, зашарила в углу, за сундуком.

— Ой, что же это я!

— Не надо, Евдокия Семеновна, спасибо, так обойдусь, чаем.

— Вижу, как обойдешься. — Она поставила перед ним четвертинку. — Поди, не закусывал вчера. Вы все теперь наспех норовите. И пьете наспех, без удовольствия.

— Нет, угощали здорово. Грех пожаловаться. — Василий вздохнул. — Ну, со свиданьицем, Евдокия Семеновна! Ух, зелена!

— На здоровье. Давай ешь, поправляйся. От Ольги-то ничего нету?

— Нет. Думал, вы что знаете.

— Дорога дальняя, пока доберется письмо-то.

Мишка сидел рядом, теребил:

— Пошли, ну пошли! Папа! Я тебе все покажу.

— Далеко идти-то?

— Рядышком, за забором. Потом в кустах, потом у речки...

Василий рассмеялся, встал.

— Ладно. Веди показывай. Спасибо, Евдокия Семеновна.

Во дворе Мишка шепотом позвал:

— Сюда, сюда, папа.

Они на цыпочках обогнули дом, остановились у высокой завалины, заросшей молодой лебедой и коноплянкой. Мишка вытянулся, осторожно раздвинул траву: Василий увидел гнездо с желтовато-голубыми яйцами, в редких, крупных крапинах.

— Угадай, — прошептал Мишка.

— Чье, да?

— Нет, как я придумал.

— Черт. Трудно, Мишка. Рябушки, что ли?

— Нет. Млеточки. Мои млеточки, мои милые, — ласково прошептал Мишка и подул на яйца потихоньку, тоже ласково.

Потом он показал отцу муравейник, выросший недавно под трухлявой, сухо сгнившей колодиной; собственную грядку в огороде, где выстрелил первыми листочками горох, беленькими, в зеленых разводьях; какие-то ямки, норки, нарытые по всему двору и забитые стеклышками, камешками, гайками, — Мишка называл их секретами.

— Это первый секрет, это второй, это...

— А что же в них секретного-то?

— Вообще секрет. Как ты не понимаешь? Интересно же: никто не знает, а у меня секрет.

— Вообще-то интересно.

Потом они пошли в лес. По ледянке, теперь высохшей, заросшей подорожником и пышной бесплодной земляникой, незаметно углубились в матерые, перемеженные кедром и березой сосняки. Солнечная, звенящая тень, перестук дятлов, живые, упругие прикосновения молодой листвы — Василий размягченно вздыхал, крутил головой, с наслаждением запоминая лесную жизнь.

Они находили по руслам недавних ручьев малахитно-зеленую, еще нежную черемшу, на буграх собирали красновато-сочный щавель, соскребали с жарких сосновых боков желто-белую рассыпчатую смолу и наконец устали.

Василий присел на подмытую, почти прилегшую лиственницу, закурил. Мишка на яркой наклонной поляне напротив играл с каким-то жуком, на коленях гнался за ним, прутиком останавливая, кричал: «Задний ход, муримура!» Слева поляну охватывали кусты жимолости. Ее тонкие, резные листочки вздрагивали вроде бы от Мишкиного крика; справа по солнечным буреломным отвалам темно зеленел малинник, подернутый блеклым, невзрачным цветом. Василий почувствовал, что будет помнить эту поляну всю жизнь — вошла в него, запечатлелась. Еще он подумал, что вот она, лучшая на свете картина: солнечный, летний лес и маленький человек, ребенок, освещенный ласковым доверием к каждой травинке, к каждому листу.

10

Замелькали денечки, торопясь к середине года, а в цехе изо всех сил старались притормозить их, чтобы наверстать, выжить, вытянуть полугодовой план. Было не до личных грехов — Василий и думать забыл, отпереживался, ну, разве изредка только что-то укалывало сердце, сжимало — может быть, выходили остатки стыда и раскания.

Так что Ольгу он встречал с чистым сердцем. Самолет пришел вовремя, но долго мешкали с трапом, и Василий заволновался. «Может, что случилось? Вдруг опоздала, отстала — да черт знает что могло произойти! Может, все волнения впереди, а им обязательно надо еще и сейчас помучить!»

Но Ольга прилетела, жива-здорова. Василий руки поднял, замахал, чтобы заметила его, но вдруг замер, застыл с поднятыми руками: она остригла волосы — голая шея, голые уши, невероятно переменившаяся, помолодевшая голова. Мальчишка, пионерочка, студенточка. «Совсем чужая. Да она что, с ума сошла?!»

Она увидела его, как-то нехотя, слабо улыбнулась и больше не поднимала глаз, пока спускалась. Заболела, что ли? Или самолет всю душу вытряс? Василий почувствовал, как его недавнее нетерпеливо-радостное волнение потемнело, стало отдавать тревожной растерянностью.

«Загорела, конечно, здорово. Но уж больно яркая, даже неудобно. Это глаза меня испугали. То ли больные, то ли чужие, то ли тоже напуганные. Большущие стали. Или загар их так выделил?»

Наспех поцеловались в напористо бегущей толпе. Василию показалось, что целовал только он, а Ольга скользнула щекой, обдала мятно-апельсинным запахом и сразу точно отгородилась им; пропустила ласковое «с приездом, Оленька», промолчала, обрадованно не заглянула в глаза — навалился теперь на Василия немощный, мелкий озноб, как при лихорадке, нутро занемело от дурных предчувствий.

Он не хотел поддаваться им, говорил с нервно-веселой дрожью в голосе:

— Обкорнали тебя по первому классу. Нет, ничего! Только непривычно.

— Жарко было. Надоели.

— Прямо не узнал тебя. Устала?

Она пожала плечами, помолчала, прежде чем ответить.

— Не знаю. Кажется, нет. Только гул сплошной в голове, вроде как еще лечу.

«Просто отвыкли друг от друга. — Ненадолго успокоился Василий. — Да на людях к тому же, в беготне этой. Не маленькие, с нежностями можно и до дома потерпеть. Дома уж обниму, прижму. Отойдет от путешествия, от юга этого. Наладится все, настроится. Завтра Мишка приедет. Заживем».

В такси спросила:

— Ты в какую смену?

— Во вторую.

Посмотрела на часы.

— Не торопясь успеешь.
— В Крестовку-то телеграмму посылала?
— Нет. Позвоню в лесничество, передадут.

Говорила равнодушно, отвернувшись к окну, и Василий снова сник, снова прихватило душу лихоманным, дурным ознобом. «Вот уж действительно как не родная. Давно не виделись, называется. Что, что случилось?!» — Он разозлился. Ждал тут, надрывался. Оля, Оленька, свет в окошке. А у нее слова человеческого нет!

— После юга-то тошно здесь, да, Оля?
— Почему? Все как всегда.
— Не слепой, вижу. Маешься, что приехала.
— Не выдумывай.
— Больше и сказать нечего, да? Рада, хоть вой? Со свиданьицем, Ольга Викторовна.

У нее сразу же заголубели, задрожали слезы.

«Ладно, помолчу. Скоро все узнаю. А то распалюсь, раскипячусь — машина взорвется, через потолок вылечу».

Дома, не заметив его праздничных стараний: сверкающих полов, цветов на столе, — не сняв босоножек, словно на минутку заглянула, в гости, забыв о чемоданах и коробках, Ольга быстро, отсутствующе прошлась по квартире, вернулась в комнату, где сидел на диване Василий, остановилась перед ним с нервно соединенными ладонями. Он ждал, окаменев, дав себе слово держаться, что бы ни услышал, что бы ни узнал.

— Вася. — Она вздохнула глубоко-глубоко. — Вася, я, кажется, полюбила одного человека.
— Кого? — Он закурил и почувствовал, как проваливается, падает в горячую, непереносимую пустоту.
— Его зовут Андрей. Он живет в Калуге. — У нее перехватывало горло, и в голосе была слезно-отчаянная звонкость.
— Как же ты его полюбила? — Пустота становилась все бездоннее, горячее, томительнее.
— Не знаю. Он очень хороший.

В пустоте появилась зацепка вроде кустика, обнажившегося корня, можно ухватиться и спросить: «Лучше меня? А я плохой?» Нет, лучше падать дальше.

— И что же ты хочешь делать?

— Он ждет письма, телеграммы. Вообще, меня ждет.

— Что у вас было?

— Все.

Все, и у пустоты есть дно. Ударился, чуть не взвыл, зашелся в беззвучной боли.

Она плакала, размазывала слезы ладонью — южная смуглота на щеках превращалась в багровую, нездоровую припухлость.

— Спасибо, Вася, что ты так слушаешь... Спокойно... Мне так было страшно.

Боль не то чтобы отпустила, а переменила режим, стала вихреобразной, ломотно-безжалостной — вихрь этот поднял Василия из пустоты с гулкой стремительностью — как только сердце вынесло все перепады давления?

— А Мишку куда денешь?

— Мишка со мной, только со мной.

— На калужские харчи, значит?

— Не надо так.

— Мишку ты не получишь! У хорошего Андрея ему делать нечего.

— Как же я буду? Я не смогу без Мишки.

— Сможешь! Все сможешь!

— Прошу тебя, не надо так! Это же очень серьезно — что же теперь кричать?

— А вот зачем! — Он испытывал безоглядное, какое-то пенно-яростное воодушевление. — Затем, что ты предала Мишку, меня, все эти семь лет предала за какие-то двадцать дней!

Она уже сидела на диване, беззвучно, с закрытыми глазами плакала, покусывая пальцы.

— Нет, нет, нет. Иначе бы я не сказала.

У него внезапно устало, ослабело сердце, точно окунули его в некий замораживающий раствор.

— Вообще, что ты ревешь? Я кричал — понятно, от неожиданности. Впору об стенку колотиться, а я только кричу. А ты-то что? Могла бы заранее нареветься. Уж слезами-то вовсе ничему не поможешь.

— Я не думала, что так тяжело будет. Так ужасно...

— Что же этот Андрей отпустил тебя? Ясно же было, не за сахаром едешь?

— Он хотел... вместе. Я не разрешила.

— Жалко, что не приехал. Поговорили бы всласть.

С тоскливым удивлением подумал, что еще час назад

жизнь виделась ясной и устроенной и вот пропала, развалилась; он уже может язвить и насмехаться над зловещим существованием какого-то Андрея. И тут Василий впервые увидел безжалостно и полно Ольгино соглашающееся тело, южную, пышную траву, на которой оно соглашалось.

— Как ты могла! — его передергивало, чуть ли не мутило от безысходно холостой ярости. — Разомлела: солнышко, море, до нас далеко. Как ты могла нас-то забыть?! Неужели так дешево все? Ну ладно бы только сомлела, ладно бы только минуте поддалась — как-то понять можно. Да и то нельзя! Ну как ты могла сердце вкладывать? Сердце-то неужели такое дешевое? Неужели не болело, а сразу подавай ему Калугу, Мишке — отчима, тебе — хорошего Андрея! Неужели я для тебя никто? Неужели ничего не дрогнуло, ничего путного не вспомнилось?

Он снова устал, снова придавило жаркою безнадежностью.

Она, согнувшись, закрыв ладонями лицо, долго молчала.

— Как ужасно ты говоришь... Все не так. Это ты хочешь, чтоб хуже меня никого не было. Думала я о вас, еще как думала! Но если так вышло! И вы рядом, и он, и еще что-то — сердце измучилось. Я думала, справлюсь, пересилю! Не смогла. Не хочу я оправдываться, объяснять, унижаться — все я сказала! Не мучь ты меня больше.

— Все так все. — «И объясняться действительно хватит. Яснее некуда. У нее-то, может, и будет другая жизнь, а у меня-то, у меня — откуда я другую возьму?» — Вообще, зачем ты мне все это рассказала? Знать ничего не знал, не спрашивал. Было и было! Сказка, другая жизнь — ну и хранила бы про себя. Пока не знал, меня не касалось. Развлеклась, с ума посходила, ну и все, точка. Мишка, семья, дом — жить надо, работать, положенные хомуты тащить. Господи, ну зачем ты все это рассказала!

Ее опухшее, несчастное лицо посерело, вытянулось, отвердело, и Василий понял, что эта спокойная и неожиданная серость от брезгливости, какого-то пренебрежения к его последним словам. За что-то осудила, хотя не ей бы осуждать. «Тут разберешься, как же! Может, и разобрался бы, да с непривычки трудно. — Он

усмехнулся невольно этой «непривычке». — Да, парень, ко всему привыкнешь, когда нужда припрет».

Она сказала непросохшим, тяжелым, медленным голосом:

— Как же жить, если и об этом молчать?

Он не перенес ее голоса, ее непонятного презрения, ее серого, остывшего к нему лица.

— Как я молчу! Если хочешь знать, у меня тоже была женщина! Но я никого не продавал, ни от кого не отказывался! И в голову бы не пришло! — Отомстить, ударить, поквитаться. — Очень хорошая женщина. И полюбила бы меня, и никогда никакого обмана бы не припасла. Но я ушел, мне, кроме вас, никого не надо. И не сравнивал, не выбирал — просто ее не стало для меня.

Вроде бы вздрогнула.

— Я не сравнивала. Разве в этом дело?

— А в чем?

— В том, что случилось. Хватит, иди, опоздаешь.

Слепо и тупо собрался, вышел на улицу, остановился среди чахлого глинистого пустыря, совершенно забыв, куда идет. Подумал, что надо разыскать дальнего приятеля Костю Ушканова — компаньона по таежным работам,— занять у него сотни две-три, хоть спрашивать не будет, зачем деньги, и уехать, улететь куда-нибудь на Курилы, исчезнуть, дав Ольге полную волю; тотчас же расхотелось пропадать ни за что ни про что, неотомщенным, рогатым, смешным — нет, он улетит в Калугу, найдет этого Андрея и вышибет из него охоту крутить мозги замужним женщинам, выпотрошит всю южную дурь из мерзавца; пошлет из Калуги телеграмму Ольге: «Ты ему больше не нужна. Твой бывший муж Василий».

А еще лучше махнуть сейчас в Крестовку, забрать Мишку и исчезнуть вместе с ним; поселиться в маленьком зеленом городке на Волге, устроиться бакенщиком и зажить тихо, уединенно; вырастить из него трудолюбивого, молчаливого, крепкого парня и вместе уж податься в Калугу — повидать мать, перед уходом в армию, к примеру. Сколько слез она прольет на вокзале, каяться-то как будет, провожая Мишку, и тогда он, Василий, скажет: «Не убивайся. Я-то на что. Я всегда тебе помогу». Не-ет. Он скажет: «Вот, Ольга Викторовна, как блудить-то при беззаветно преданном муже. Раз согрешишь, в жизнь не очистишься».

«А разговаривал я все-таки никудышно. Завелся, как на базаре. Вообще лучше бы помолчать. Но ведь как ножом по сердцу, попробуй вытерпи. Слова — тьфу, только душу травят. Надо было врезать — и делу конец. Цыкнуть, врезать, кончай, мол, блажь. — Но и мысленно он испугался, засовестился, не смог поднять руку на Ольгу. — Нет, вру, не врезал и не врежу. Тоже привычки нет. И отмолчаться не отмолчался бы. Так крутит, жжет, да и от чего отмалчиваться-то? От жизни? От Ольги? От проклятой этой новости?

Вот уж про грех свой я зря высказался, вот уж захлестнуло меня не ко времени! Поквитался, дурак. Квитый-битый называется. Только со зла ляпнул — ни к чему ей было знать. Пусть есть за мной вина, но ее-то вины она не касается. Моя вина — не вина, баловство, приключение, я же в Калугу не собрался. Да и нет тут никакой вины, можно даже сказать, что выдумал все, чтоб уязвить побольнее. А она еще говорит: «Как же жить, если и об этом молчать?» Прекрасно бы все было, если бы промолчала, дура. Тысячи, а может, миллионы мужей и жен черт-те как уже опоганились, и ничего — голубками воркуют, живут себе рядком да ладком. А тут надо сразу трагедию с комедией ломать — «кажется, я полюбила одного человека!»

Ну а если полюбила? Тогда тем более молчи, укрепись уж полностью и тогда — напролом! Ну, разве можно за какие-то три недели полюбить. Добро бы я пьяница был, тупой как валенок, вахлак вахлаком, тогда понятно: к любому встречному побежишь. Но ведь не так все, не так! Люблю же ее, любил, уважение всегда, мир. И на руках носил, и души не чаял.

Но зачем же тогда сказала? Значит, запал ей этот Андрей, значит, есть в нем что-то такое, чем я обделен. Да пошел он к чертовой матери! Еще о нем не хватало думать! «Как же жить, если и об этом молчать!» Ох уж и брезговала она мной, когда говорила это! Вроде мат от меня услышала. Выходит, противно бы ей промолчать было! Нехорошо, нечестно. Что, мол, если по-чистому да по-честному человек поступает, тогда всегда может во всем признаться. Мол, я не какая-то там согрешившая жена, а честный человек и не боюсь, мол, про себя правду говорить. А я, выходит, дешевка, прежде

всего о тишине да благодати подумал, а не о правде. Лишь бы не маяться, а правда подождет.

Какая же это правда? Хуже смерти. Позорная правда. Что это за правда, если с нее всю душу выворачивает? Может, вся правда между женой и мужем — щадить друг друга? И так жизнь не ромашки с солнышком. Пока заботы да нужды перехлебаешь, никакой правды не надо. Ладно, я пощады не прошу. Не надо щадить. Но если она уж такая честная и чистая, почему она человеческое-то во мне не увидела? Мол, Вася, ты не тот человек, скучно с тобой, карусель одна беспросветная, а я вот другого встретила, он жизнь мне приоткрывает, мы с ним мечтать будем, рассуждать о жизни, а не только жить. Ну, другое дело. Может быть, я бы и согласился, я действительно только жить умею. И умею, может, действительно скучно.

А она ведь мужчину другого нашла. У них ведь вс-е-е было. И он лучше меня. Он — хороший. В Калуге живет! Это что за правда?! Мать честная, да и есть ли она? Если за считанные дни жизнь вверх тормашками становится, то правда вообще как ванька-встанька. Качай в любую сторону — все правда!»

Было три часа пополудни, было безоблачно, жарко и ветрено. Василия, нелепо застывшего на полынном, крапивном пустыре, насквозь пропекло этим жарким ветром. Он был бы рад закричать, облегчить онемевшую, темную душу, но не находилось, не получалось крика, пусть бы и бессловесного.

11

На заводе, в толчее пересменка, он забылся, с причудливым старанием принялся примерять к своему настроению этих спешащих, шумных людей. «На вид у всех жизнь чин чинарем идет. Или научились нелады за проходной оставлять? Ну ни про кого не скажешь, что у него горе какое-то или беда. Усталые — да, смурные — да, я бы три смены подряд мог пластаться, на карачках выползти, лишь бы ничего, кроме усталости, не было. Неужели у всех верные жены и дома полный ажур? Нет, кто-то наверняка притворяется. Или не придает значения. Притерпелся, глаза закрывает, лишь бы не видеть. Что же, я особенный, на душу хлипкий — почему меня-то это с ума сводит, жить не дает? Как

граф какой-нибудь из себя выхожу. По книжкам все графья от ревности стрелялись. Граф не граф, а тоже впору стреляться! Сердце-то куда девать?!

Конечно, никому про это и под пыткой не расскажешь. И позор и жуть. Значит, ты с изъяном, значит, так себе человек, раз тебя можно обмануть, бросить, раз тебе можно за три недели замену найти.

А все-таки как же другие терпят? Ведь есть они, есть другие-то. Узнать бы, поучиться этому терпению. Или такое дело — никто не поможет? Твой крест, сам и неси».

Он увидел Риту. В черном свитерочке, в черном, с редкими багряными листьями платке она выглядела осунувшейся, печально похорошевшею. Встретила Василия усталой улыбкой — как показалось ему, рассчитанной на сочувственные, участливые расспросы. Эта улыбка, кокетливая траурность наряда отозвались в Василии мгновенным, неприязненным хмелем: «Ну, приставленная. Из всего спектакль устроит». И, подавляя его, долею ума понимая его вздорность и несправедливость, Василий заговорил с возбуждением:

— Невестке привет!

— Здравствуй, Вася.— Она потупилась, чуть втянула щеки — сирота казанская, да и только. — У тебя настроение — хоть взаймы проси.

— Пожалуйста! Даром отдам! А ты что это как монашка? Дай-ка, дай-ка поближе гляну: ты смотри, даже ресницы не красит! Федьке карточку пошли, а я, как запасной свекор, удостоверю: живет твоя Рита монашкой. Не забыла про свекра-то?

— Ничего я не забыла. Давно не виделись, Вася. А тебе бы почаще спрашивать-то.

— Есть, исправлюсь. Главный вопрос: как блюдешь себя, держишь?

— Ой, Вася. Уже пять писем пришло.

— На все ответила?

— Так пока некуда отвечать. С дороги прислал.

— Потому и киснешь?

— Почему кисну? Вообще. Теперь мое дело ждать. А будто вчера проводила.

— Руку жала — провожала... К старикам-то переехала?

— Нет. Так подожду. И у них пока так бываю.

— Решила, значит, всерьез присмотреться и всерьез подумать?

— Как-то ты шутишь, Вася... Хуже свекра.

— Какие шуточки! Попостишься, траур выдержишь, а потом твой «так» только и видели. Прощай, Федя, кажется, я полюбила другого.

— Что ты болтаешь! — У Риты возмущенно-влажно остыли глаза. — Как не стыдно!

— Ни в одном глазу. — Конечно, замутилось что-то в Василии, воспротивилось, но он отмахнулся. — Все я про вас знаю. Все и еще кое-что.

Рита сморгнула обиду, вся как-то уменьшилась. Он поморщился, встрепенулся, хотел догнать, но опять справился с ненужной теперь совестливостью. «Обойдется. Начни сочувствовать да вздыхать вместе с ней — живо-два от рук отобьется». Попробовал он оправдаться, не получилось, все еще видел Ритины поникшие плечи. «Самому тошно. Собралась ждать, так жди по-человечески. Если Федьку любишь, скрась старикам дни. Вообще, без нее не знаю, куда деться!»

Тут же вспомнил, как недавно еще говорил Рите с ворчливою самоуверенностью: «Так не любят. Чего бояться, если любишь?» Ее торопливое, детское любопытство: «А как, Вася, как?!» Смешно, очень смешно, когда человек пыжится, поучает, на самом деле ничегошеньки не зная. «А как действительно, как? Кто бы меня научил. У кого бы спросить? Ни за что ни про что девку обидел — сам-то валуп полированный. А туда же — судить, рядить. Как вот надо жить, как, чтобы тебя не продавали?»

С болезненным нетерпением ждал он цеховой, нервной суеты — некогда будет бередить свежую, незалатанную беду. Но, видно, многого захотел: смена выпала мирная, неспешная и не дала роздыха напряженно работавшей душе.

Саня Мокшин с подручным снимали детали, не разгибаясь, торопливо крутили гайки, потому что уже подогнали кран, и на куче деревянных кирпичей, которыми мостят пролеты, сидел стропаль Коля Арифметик, угрюмо-сонный мужик.

Василий постоял возле них, подождал — может, Саня из-за чего вскинется. «Ну, давай, Саня, покачай права, душу на кулак вымотай — все легче станет!» Но тот удивленно, быстро покосился: чего, мол, тебе надо, и

снова застучал, замелькал ключом — странно и одиноко взбухла, проступила правая лопатка, точно билось спрятанное под спецовкой крыло.

«С Колей, может, поговорить? Уж он-то наверняка повеселит. — Стропаль угрюмо, медленно курил, легонько прижевывал губами, словно говорил что-то шепотом сам себе. — Опять какую-нибудь ерунду подсчитывает. Поговорить, что ли? — Василий достал папиросу. — Сейчас подойду, прикурю. Но ведь и он ничего толкового не скажет. Собьет какой-нибудь мелкотой, еще хуже станет. Да как же тогда легче-то будет?» — совсем растерялся он.

Арифметиком Колю прозвали за пристрастие к странным подсчетам. К примеру, он вычислил, что за двадцать лет мог бы трижды обогнуть земной шар на трамвае. При этом Коля поднимал палец и говорил: «На трамвае! Подумаешь, на спутнике облететь. Попробуй на трамвае объехать. Я почище космонавтов буду. Им, понимаешь, значки за это, деньги, а мне что?»

В другой раз Коля сообщал, что за год он выпивает в цехе пять кубометров газированной воды. «Без натуги выпиваю, можно сказать, шутя. А если бы приналег? Чемпионом бы стал. Любого бы перепил. Знаешь, сколько в кубометре воды водки?»

Или однажды с мрачной торжественностью объявил: «Восьмой год подряд работаю в третью смену. Если в целом считать. Восемь лет баба без меня спала. Конечно, Ленька не мой. Это я прямо скажу. Разве ж можно восемь лет за здорово живешь во вдовах ходить?»

Василий, вспомнив, как потешался и хохотал над Колиными подсчетами, неожиданно возмутился: «Ну его к черту! Дурью мается, а мы рады, палец нам показали, животы вот-вот надорвем».

Он бросился к своему станку, к зеленому, долгожданному, спасительному. Грубо отстранил, почти оттолкнул Юрика от штурвала, вцепился в него, прохладно-привычный, с отполированной сварочной мозолью на стыке. Работать, работать, работать! Уж работа-то не предаст, не посмеется, не обманет! Только она, только она. Смягчит, утешит, освободит.

Настроившись, поостыл, включил механическую подачу, но не присел, устало привалился к поручню, устало, без охоты, закурил.

— Ну, ты меня и напугал! — Юрик поправлял ногтем пробор и, не зная настроения Василия, неопределенно, бесцветно улыбался. — Что за паника, думаю? Министр приехал, Безбородько из отпуска вернулся? Или, думаю, Вася на рекорд пошел?

— Надо же, он думает. Часто ты думаешь?

— Вопрос неясен, но отвечу. Каждую минуту, Вася. То о тебе, то о себе.

— И что ты обо мне думаешь?

— Ты мой учитель, мой лучший шеф то есть. Старший друг и брат. А?

— Ясно. Слушай, Юрик. Что это за девчонка с тобой была на проводинах?

— А что? Глаз поимел?

— Хорошая девчонка. Только дурака любит. Все у нее в глазах как на ладони.

— Плохих не держим. Понимать надо.

— Ну а в армию, Юрик, уйдешь? Она останется, допризывники останутся. Тогда как?

Молочно-голубые глаза Юрика загустели на миг, посинели в мгновенном испуге.

— Обыкновенно, шеф. Жена найдет себе другого...

— Теперь слушай, что я о тебе думаю. Гад ты, сопляк зеленый, пошел вон стружку чистить! — Василий закричал и даже, наверное, ударил бы Юрика, если бы того этим криком не сдуло с мостика.

«Все мы хороши, все. Смелые, веселые, охочие, пока нас не коснется. Все знаем, все видели, все пробовали — хахали высшего разряда. Ничего не дорого, все обхохочем. А вон как глаза-то заметались. Даже подумать ему страшно, что его девчонку дегтем вымазать можно. А все равно гонор скотский верх берет. Хороши, лучше некуда.

Я тоже разошелся — удержу никакого. Кавалер, любую за минуту уговорю. Фаечку — на остров, Аграфену — под черемуху, гад хуже Юрика. Фаечка тоже придумала: люблю женатиков, они такие совестливые. Где она, совесть-то, в каком глазу?

Может, весь этот ужас, позор в отместку мне? Может, Ольга в тот же самый вечер? Может, донеслось как-то до нее, долетело, почуяла как-нибудь. Что пора со мной рассчитываться, пора поквитаться. Вполне могло быть такое совпадение. Да не совпадение, а на-

казание. Мне, мне наказание за все мое козлиное нутро!»

Он не успокоился, не примирился, но мелькнула тень какого-то причудливого облегчения, какого-то объяснения случившемуся, и Василий готов бы ловить эту тень до скончания века. «Надо узнать, обязательно узнать, так ли это? Но как я узнаю? Легче язык проглотить, чем спросить о таком. Ну, не знаю как, все равно как, но надо, надо обязательно!»

Со смены бежал, твердя это «надо», мимо мягкой, теплой ночи, мимо такого обнадеживающего запаха отдохнувшей тополиной листвы.

12

Дома, только ступив на порог, он увидел стоптанные Мишкины сандалии, заглянул на кухню — за пустым столом сидели Ольга и Евдокия Семеновна, обе зареванные, красные, с мокрыми платками в кулаках.

— С приездом, Евдокия Семеновна. — «Быстро собралась, с последним автобусом прикатила. Как же: выручать надо дочь, любую беду от гнезда отведу. — Впрочем, Василий не осуждал тещу, просто подосадовал, что приехала не ко времени, — при ней и говорить и мучиться придется с оглядкой не в полную боль и силу. — Ей-то зачем Ольга рассказала? Легче от этого, что ли? Чем-нибудь да все кончится. Можно было на троих и не разбрасывать».

Теща засуетилась, загремела крышками.

— Что же мы расселись-то! Человек с работы, а у нас не у шубы рукав. Сейчас, Васенька, сейчас. Покормлю.

— Ладно, мама. Иди отдыхай. — Ольга тяжело, через силу встала. — Я сама. Сама тут разберусь.

Теща сразу сникла, снова заплакала, по-старушечьи, немощно сгорбилась, подрагивая головой, ушла к Мишке в комнату, заскрипела, зазвякала под ней раскладушка — легла не раздеваясь.

— Что же ты, промолчать не могла? — Василий налил молока, жадно выпил: тошнотная, сухая пустота подкатывалась к горлу, как с большого похмелья. — Есть не буду, не разогревай. Мать-то при чем? Или и ее не жалко?

— Я молчала. Она сама догадалась.

— И что говорит?

— Что я дура. Что бить меня некому и стыда не оберешься.

— Совершенно верно. Лучше и не скажешь.

— Теперь что об этом. Хватит. Мишка тебя все дожидался. Еле уговорила лечь.— Она потянулась за платком, прижала к припухшим, больным, уже бесслезным глазам. — Ой, как его жалко! Худенький, ласковый, теплый.

— Ну-ну, пожалей, пожалей. — Василий вспыхнул. «Разжалелась. Сочувствия требует. Может, мне еще и утешать?» — О Мишке помалкивай. Знаешь закон: дети за наши грехи не ответчики.

— Потому и жалко, Вася, что будет... Теперь не отмолчишься. Ты говорил днем, что тоже мог бы уйти, тоже кто-то был... Нет, нет, я не спрашиваю: кого, к кому. Но я вот думала... Неужели только в отместку сказал? Я тебе больно, ты — мне... Значит, и без меня уже трещина появилась, значит, все равно распалась бы жизнь. Ты бы ведь тоже не захотел скрывать. Что-то сломалось, исчезло, что ж теперь Мишку в судьи выбирать. Давай уж сами судить. Больше некому. — Она говорила робко, пробиралась от слова к слову как бы на ощупь. Брови у нее приподнялись удивленно-грустно, точно она не знала, откуда эти слова берутся.

— Во-он ты как. Забываешься, Ольга Викторовна, ох, забываешься. Обман обманом хочешь вышибить. Конечно, я бы тебе никогда не сказал: мой грех не имеет к тебе никакого отношения. Никакого. Я уже говорил и говорю: кроме вас, мне никого не надо. Неужели не ясно? А ты забыла, предала. Ни за что ни про что. Всем, всем виновата! И тем, что было, и тем, что есть! Я судить буду, я, и твоя помощь не требуется. Какая трещина? Что сломалось? Все по уму было — это ты сломалась, от добра добра искать стала!

— Пусть я. Пусть кругом виновата. Но ведь случилось, случилось. Почему ты об этом не думаешь? Почему ты меня только в дрянь превращаешь? Неужели сердца в тебе нет: посмотреть по-другому? Ты все твердишь: грех, грех. Только этот грех и видишь. Дальше взглянуть или боишься, или не хочешь. Правым себя чувствовать очень удобно, и, главное, думать не надо.

Кричи знай. Обвиняй. Уничтожай. Ой, как легко это, Вася.

— Это мне-то легко? Ну молодец, рассудила. Со всех сторон, я, Ольга Викторовна, рассмотрел это дело. И вблизи, и издали. Разлюбила ты меня — вот что исчезло. И грех больше перекатывать не надо. Именно ты разлюбила, не я, и, может, правду говоришь: не вина это, а беда. Одно только горько — могла бы подождать грешить-то. Расстались бы — и вольной воля. Или бы уж молчала. Не собиралась жить, зачем же напоследок-то еще топтать? Ну, что же, насильно мил не будешь.

— Быстро как все. Решаем. Приговариваем. — Она вздохнула спокойно и устало, с привычной, давней сосредоточенностью пощурилась на букет саранок, словно перебрала их глазами, погладила нежно-алую сквозную резьбу. — Раз — и разлюбила. Раз — и жить не собиралась. Просто и понятно, а я вовсе об этом не думала. Думала, что скажу, знала, что скажу, — маленькой, даже секундной мысли не было утаить, промолчать. Потому что не по-человечески было бы, нечестно... Не знаю, путано все... А когда совсем уже подлетали, на посадку пошли, вместе вот с этим, ну, с новостью, что ли, было и нетерпение Мишку увидеть, домой попасть. И тебя. Я даже испугалась — такая мешанина во мне ворочалась. Дура я — мама права. Тебя на перроне увидела — так страшно стало, я прямо тут же, в ту же секунду поняла, как я соскучилась по вас. Не знаю, Вася, ничего не знаю. И мне ведь плохо!

— Знаешь что. Не могу я, когда ты так говоришь. Спокойно все перебираешь, будто из кино пришла. Не могу! Тьма сразу в глазах — ну, не знаю, что с тобой бы сделал! Орать сейчас буду! Иди лучше спи.

Она ушла.

«Не про то говорили, на одном месте толклись. Опять зашелся, обиду попридержать не смог. Вдруг наказание? Наказание — совпадение? Или в чистом виде? Сразу бы надо, с порога и спросить. Бестолково, конечно, и неловко, ну а если в этом все дело? Донеслось, долетело... Да нет. Она бы сейчас сказала: сердце, мол, болело, предчувствия были, потому, мол, все и ускорилось, потому и не выдержала. Опять не так думаю. Не хочет она оправдываться, не может. А предчувствия вспоминать — значит оправдываться. Может, и были, может, и ныло.

Она главное сказала и больше мельтешить не будет. Характер не тот — за криком да за нервами забыл про него. Вообще, хорошо, что не спросил. Стыдно. Сейчас уже стыдно, а если бы начал... К черту, хватит! Какое мне еще наказание надо?! Наказан вот так — вывернуло, прополоскало, и на кол сушиться повесили. За что только? Да ни за что, на роду написано. Но за здорово живешь ни судьба, ни люди не наказывают. За какую вину? Что я натворил? Или мы? Вообще, с какого теперь бока жизнь ласкать?! Чтобы понятнее стало?»

В комнате Ольга сидела возле расправленной постели. Она сидела на игрушечном Мишкином стуле — нелепо и неестественно поднимались колени, упавшие руки касались пола, и была на лице отчаянная потерянность и усталость. Видимо, она совсем собралась лечь — даже халат расстегнула,— но, наткнувшись на белизну широкой супружеской кровати, только теперь по-настоящему увидела будничную, неумолимую сущность случившегося. Теперь все порознь, теперь не соединит их и это белое, рассеченное синею тенью пространство.

Он увидел смуглые, сильные, высоко заголенные колени, ореховую позолоту налитых, помолодевших плеч и груди, розовый, бесстыдный теперь лифчик, который сам когда-то дарил к женскому дню, увидел забытую родную наготу, теперь не его, невыносимо не его, и зажмурился, и если бы был один, наверняка бы застонал. Нестерпимо, неизъяснимо больно — Василий сорвал со стола скатерку, швырнул Ольге:

— Закройся хоть! Не на пляже ведь!

Она вздрогнула, вскочила, запахнула халат.

— Тише. Мама не спит. Пожалуйста, тише.

Подстегнутый, возмущенный ее наготой, он яростно, сипло зашептал:

— Слушай, а вдруг у тебя ребенок? От него? Вот и будет у Мишки брат. Как он называется-то? Сводный, сродный?

— Не надо. Нет. Какой же ты!— В шепоте ее была какая-то шелестящая торопливость, наверное, поэтому ему показалось, что она вскрикивает.

— Немазаный-сухой! А я сводный отец?! Мне что, я могу! Шея крепкая. Хочешь, его выкормлю, вынянчу? Все грехи одним махом искуплю. Хочешь?

Она заплакала. Он отрезвел и с посторонней, усталою ясностью удивился: «Неужели это меня корежит

и крутит сейчас, неужели это Ольга наплакаться не может? Зачем? Кому это надо? Уж больно не скупимся на боль. Не враги же мы, люди. Муж и жена. Малость попорченные, ну, не вешаться же теперь?»

Он принес из кладовки тюфяк, расстелил на полу. Ольга уже лежала, отвернувшись к стене. Осторожно взял свою подушку, выключил свет. Устроился, растянулся на кочковатом тюфяке, пахнувшем пыльной, старой полынью, пучки которой висели по углам кладовки. Лунные зайцы медленно, сонно гонялись друг за другом по стенам. Тишина зыбкая, светлая ночь совсем отделили, отодвинули от Василия недавнее, разрушительное беспамятство. Лишь в теле оно еще отзывалось ломотным гудом.

Заговорила Ольга:

— Не знаю. Не знаю, Вася. Так я тоже не думала... Он очень удивлялся мне. Какие у меня волосы, какие глаза, какие руки. Нет, нет, не комплимент, я бы сразу почувствовала. В самом деле удивлялся. Искренне. Прямо радовался, когда меня видел. Вместо «здравствуйте» все строчку есенинскую повторял: «Я красивых таких не видел...» Мне неловко было, стыдно даже — ну какая красавица? Но вот он что-то высмотрел. Не знаю, как объяснить, но видно было, что не льстит, а верит в это, удивляется... Никто мне еще так не радовался, как он...

Опять стеснилось, жарко заболело сердце. «Молчи, молчи. Ничего тебе не надо знать. Ничего бы лучше не знать!»

13

То ли спал, то ли нет, скорее нет — голова не очистилась от сухой, давящей рези. Рано, до солнца, поднялась теща, с тяжелым старанием не шуметь ходила так, что гнулись половицы, уронила на кухне кастрюлю — Василий, не открывая глаз, слышал все это.

Ольга вышла к ней, глухо, неразборчиво пошептались, вроде бы завсхлипывали. «Ну, принялись, на день-то не хватит». Он окунулся в секундное, легкое забытье, которым начинаются утренние сны, но, дернувшись, испугавшись неизвестно чего, вынырнул, услышал Ольгин голос:

— Вася, пожалуйста, проводи маму.

Неторопливо сел, протер глаза, покашлял — неловко все же просыпаться под тещиным взглядом на полу — уж она-то, наверное, как надеялась! Ночь сведет, помирит, все грехи покроет. Да вот не та ночь выпала.

— Что так быстро, Евдокия Семеновна? И не погостили толком.

— До гостей ли, Васенька? Дом бросила — соседке не успела наказать. Я бы и одна дошла, да ведь на вокзале не пробьешься. С утра пораньше куда-то всех несет.

Позавидовал, что через пару часов она войдет в старый тихий дом под черемухами. Почти от его крыльца поднимается к сосняку на увале мягкая зеленая луговина и синё втекает в приветливый, неглубокий распадочек. Кедровки покрикивают, дятлы стучат, сойки бесшумно просверкивают радужно-голубым пером.

— Встаю, встаю, Евдокия Семеновна. О чем речь.

Туманно-влажное утро, омыв голову, несколько утешило, смирило ее. «Что за трещину она вчера разглядела? Нормальная жизнь, как у людей, а может, и получше. Была нормальная. Гладкая и круглая, как яичко. Но где, в каком месте лопнуло-то? Убей, зарежь меня — не вижу. Видно, по-другому как-то надо думать. То ли сзади, то ли спереди на нее смотреть? То ли сверху? Трещина пока одна, да не трещина — разлом целый: семьи не стало. Ну ладно. Предположим, ничего не было, ничего не случилось и не сломалось. Ольга вернулась, все у нас как прежде. Но трещина эта проклятая где-то есть. Мать честная, заумь какая-то! Подожди, не дергайся. Ведь если бы она не созналась, если бы промолчала, все равно это неладное-то было бы, было — вот в чем беда!

Совершенно верно, было бы. А теперь давай ищи трещину, шарь как следует, не торопясь. Живем, Мишку растим, дома мир да лад, на охоту езжу, Ольга в школе своей с ребятишками — чем не жизнь? Микронного зазора не нахожу, не то что трещины. Сбила меня Ольга Викторовна с панталыку — что исчезло, что сломалось? Душу за нее и за Мишку выложу! А куда ты ее выложишь? Кому она нужна? Ольге Викторовне, к примеру, не нужна. То ли колер не тот, то ли размер неподходящ. Тесная, жмет, так сказать. Чуть бы посвободнее

да повместительнее. Ну уж какая есть! Другую не нажил. Раньше, значит, подходила, а теперь другую подавай. Безразмерную — тяни, не рвется. Нету у меня такой! И трещины нету. Не вижу, не нахожу. Пропади все пропадом! Почему же искать-то охота?! Прямо зуд какой-то! Где она? Хоть бы стык нащупать».

— Вася, Васенька! — Он так начал мерить, забыв, что теща, хватая ртом, нездорово, сыро раскрасневшаяся, не поспевала за ним. — Не могу! Постоим, ух. Так бежать, в Крестовке вперед автобуса будешь.

— Извините, Евдокия Семеновна. Это я спросонья шустрю. Давайте вон на лавочку. Что ж вы сразу-то меня не осадили? У-у, да с вас ручьями. Давайте, давайте посидим.

Потом потихоньку довел до трамвая, потихоньку довез до автостанции, открыл ей окно, достал из сумки алюминиевый пенальчик с валидолом. Стоял рядом, морщился, ругая себя, и виновато смотрел сверху на седую тещину голову.

На станции она отошла, пока он стоял за билетами, купила в раннем буфете шоколадку Мишке, сходила умылась, погнала Василия домой — сама теперь доедет, не в Киев собралась. Но он подождал, усадил в автобус и пошел было — теща опустила стекло:

— Вася! — слезно, умоляюще посмотрела. — Ты уж будь мужиком. Держись. Поучи ее, что ли. Прибей малость, дуру такую. Господи, хоть бы не ездила она вовсе! Прости ты ее! Ради Мишки прости! По дурости, Вася, все по дурости — за дурость спроси, строго спроси. До последнего только не доводи...

— Ну, я побежал, Евдокия Семеновна. Счастливо доехать.

Утро переходило в день, поднимался ветерок, смягчаемый пока низовой росяной прохладцей. А через час-другой усилится, станет тоскливой, хлещущей жарой.

Василий возвращался пешком — некуда, незачем было торопиться. «Никогда, — говорит, — никто мне так не радовался, как он. Неправда же! Зачем же зря оговаривать? Будто я не радовался — прямо душа млела, деться не знал куда. Сказать только не мог. Как собака. Неужели не видела?

Конечно, тот гад калужский наловчился, насобачился слова говорить. Вот откуда такие берутся? Приехал, при-

стал, что же, не знал, что чужая жена? Скотина! «Я красивых таких не видел...» Делать нечего, дай с чужой жизнью поиграю.

А вдруг не видел? Вдруг всерьез? Приехал и ахнул: боже мой, где она жила-была? Почему я раньше-то ее не встретил?!»

Василий увидал Ольгу так, как никогда не видел. На срезе какого-то белого песчаного берега, одиноко, задумчиво идущую по зеленовато-прозрачной, тихо накатистой воде. Волосы, плечи, золотистые руки, которые он знал наизусть, под теперешним его небывало пристальным взглядом превращались в недосягаемые, мучительно волнующие черты. «Что же, пес этот калужский в меня переселяется? — Василий крепко, с силой отер лицо. — Знал же, знает, что лучше ее нет, не может быть. Как же я забыл? Как теперь вспомню? Как, как теперь буду?!»

Дома, по комнатам, уже бродил сонный, сладко припухший Мишка. Василий поднял его, зарыл лицо в Мишкину рубаху.

— Вчера ждал, ждал — нету. Сегодня нарочно проснулся — опять нету. Тебя почему дома никогда не бывает? — весело, сердито спрашивал Мишка, и пробивались в его голосе бабкины ноты.

— Ты недоспишь, как же. Вчера пятки щекотал — не проснулся, собаку знакомую позвал. Лаяла, лаяла — ты хоть бы хны.

— А куда она делась?

— Полаяла да ушла. Что, у нее дел, что ли, мало?

Рядом медленно, приостанавливаясь, вздохнула Ольга. Василий и не видя понял, что она удерживает слезы.

— Давай, Мишка, бриться, мыться, умываться...

— Лицо или вообще?

— Вообще. Чтоб как чугунок начищенный звенел.

Они молчали, пока Мишка мылся: Ольга — на кухне, Василий — в комнате.

Мишка что-то учуял, догадался, ластился, в глаза заглядывал то матери, то отцу, звенел и звенел над их молчанием. Когда сошлись за завтраком, Мишка, сидевший между ними, сказал:

— Отгадайте, что такое «мапа»? — И тут же с каким-то взрослым пренебрежением к себе добавил: — Нет, плохо. Сразу ясно, что мама и папа.

Опять, приостанавливаясь, вздохнула Ольга.

Когда Мишка убежал на улицу, сказала Василию, дрожаще, покорно, с налитыми глазами:

— Вася, не могу. Пусть будет все как было, Вася.

— Не может, нельзя, не выйдет уже так. Слышишь?! Нельзя уже так!

Выскочил на балкон.

Невозможно простить, невозможно жить без нее, невозможно стоять под этим жарким, ослепительным ветром.

РАССКАЗЫ



ВОРОБЬИНАЯ ГРУДЬ

У сельмага, напротив бревенчатого аэровокзала, толклись пассажиры, прилетевшие часа полтора назад. Автобуса или попутки и в помине не было — все уже устали злиться, пялиться на сельмаговские товары и, отделившись друг от друга, теперь прохаживались, скучно, без охоты покуривали. Но закапал редкий, тяжелый дождь и собрал их на крыльцо, под желтой, прозрачной крышей из пластикового шифера, вроде как на пригорке, под неярким, притуманенным солнцем. Не спрятался лишь тощенький остроносенький молодой человек в красном плаще. Он словно не заметил дождя, ходил и ходил по лужайке перед крыльцом.

Когда, переждав дождь, пассажиры, кособочась влево-вправо от баулов, чемоданов, авосек, гуськом потянулись к дороге, молодой человек сел на завалинку магазина, сонно закинув худое маленькое лицо.

Наконец со стороны деревни загудела машина — он вскочил, длиннопалой ладонью пригладил волосы и, подхватив рюкзак, пошел к выкатившей из-за угла молоковозке.

Через некоторое время в толчее управленческого

барака, не разгороженного еще на комнаты, отделы, службы, молодой человек разглядел бровастого, одутловатого, темнощекого мужчину, должно быть, начальника. Он сидел в углу, за отдельным столом, откинувшись спиной на свежебеленую стену — тихонько сеялась на пол голубоватая известковая пыль.

— Если хочешь, садись. — Мужчина кивнул на подоконник.

Молодой человек не сел, а, уперевшись костяшками кулаков в стол и принагнувшись, спросил:

— Вам что? Машину было трудно прислать?

— Какую машину? — Мужчина прищурился.

— Автобус, естественно.

— А тебе, в сущности, что надо?

— Работу.

— Ну а какую работу?

— Кое-что я умею. — Молодой человек достал толстенький целлофановый пакетик и положил его на середину стола.

Мужчина отвалился от стены, опустил голову на кулак — толстая щека выперла черно-бурым ежом, — свободной рукой вытряхнул из пакетика с полдюжины квалификационных удостоверений.

— Вот это набор! Это профиль! — Восторженный голос не соответствовал его ленивой, расслабленной позе, однако он не менял ее, сидел подпершись и одной рукой перекладывал удостоверения. — И крановщик, и слесарь, и сварщик — дай я тебя обниму. Только чуть позже. Да-а. Дядю просить не надо.

— Какого дядю?

— Того самого. Которого мы всегда просим за нас поработать. Значит, профиль у тебя широкий, справедливость любишь... Как считаешь, сработаемся?

— А почему вы мне «тыкаете»?

— Так, так. Владимир Тимофеевич Кучумов. Спокойно, товарищ Кучумов. Откуда ты прибыл-то?

— Я все-таки попрошу...

— Стоп, стоп! — Мужчина ожил, повеселел. — Тебя, товарищ Кучумов, буду звать на «вы». В виде исключения и на всякий случай. Как же так, товарищ Кучумов? Не успели появиться, а уже правду ищете, права качаете. Нарушаете последовательность. Сначала работают, Владимир Тимофеевич, уж потом обличают.

— Нет. Правда есть правда, и она не зависит от трудового стажа. — Володя горделиво выпрямился и опять костяшками в стол уперся.

— Сильно заблуждаетесь, Владимир Тимофеевич. Правду-то собственным плечом подпирать надо. Подкреплять, поддерживать.

Володя медленно, с чувством собственного достоинства пригладил рассыпавшиеся волосы.

— Неужели никому не нужны правдолюбцы в чистом виде? Да будь моя воля, я бы везде ввел должность правдолюбца. Чтобы ходил он по стройке и всем всегда говорил правду.

— Наверняка здесь такой должности нет. И не рассчитывайте, Владимир Тимофеевич. Впрочем, поспрашивайте, авось подберут что-нибудь подходящее.

— Вот вы и подберите. Как вас звать, товарищ?

— Я, Владимир Тимофеевич, тоже нанимаюсь на работу. Вот сижу, начальство жду.

— Это невозможное хамство, — почти простонал Володя. — Как вам не стыдно!

— Не будем развивать тему, товарищ Кучумов. — Мужчина снова привалился к стене и закрыл глаза.

К вечеру Володю оформили учетчиком в карьер — видимо, его щуплость, вся его явная физическая неосновательность произвели на начальника отдела кадров большее впечатление, чем толстая пачка удостоверений.

У въезда в карьер стояла избушка со шлагбаумом — место работы Володи. Он покрутил ворот, поднял, опустил шлагбаум, усмехнулся, вспомнив: «Или в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид», — и подумал, что на следующую смену надо захватить книжку.

Сходил к экскаватору, принес масла, смазал скрипевший ворот и уселся у окошка.

Ельник на том берегу вдруг затуманился. Володя удивился, плотнее прижался к окну — оказывается, сеял меленький, почти невидимый вблизи дождь. Вскоре он разошелся, сразу стемнело. Володя включил маленький прожектор, прикрепленный над стрехой, — желтое одинокое око на темном, мокром лице избушки.

Чуть позже поплыли к избушке огоньки. Володя

высунулся из двери. Потом выскочил, быстро опустил шлагбаум. Назад бежал под оглушительно недовольный гудок.

«Как бы не так. Сам по дождю пробегись».

Шофер погудел, погудел, но делать нечего — хлопнул дверцей и, надвинув кожаную курточку на голову, побежал к избушке. Черный, злой, изо рта искры — папиросой задел косяк, — с порога закричал:

— Отворяй! Мало нам ГАИ, так тут еще палок наставили!

— Иди номер протри. И ори поменьше.

— А ты что, спросить не мог?! Надо, так иди и протри. Мне за рейсы платят, не за беготню! Пиши! — Шофер прокричал номер самосвала.

— Со слов ни-че-го писать не буду. Иди протри. — Володя уже еле сдерживался. — Учет и контроль — понял? Я сейчас осуществляю.

— Ах ты гнида! Сморчок! Плевал я на твой учет. — Шофер выскочил, Володя за ним.

— Извинись немедленно! Ты по какому праву!

Шофер поднимал шлагбаум.

— Извинись. — Володя схватил шофера за полу куртки. Тот локтем оттолкнул и побежал к машине.

Володя кинулся к вороту, дернул ручку туда, сюда —заело. Шофер захлопнул дверцу, мотор взвыл.

Тогда Володя выскочил на дорогу и лег поперек ее в вязкую красную жижу.

Опять хлопнула дверца, шофер, испуганно матерясь, скользя, подбежал к Володе, подхватил его под мышки:

— Парень, вставай. Ты что?!

— А то! — Володя вырвался из его рук. — Извинись немедленно.

— Ладно. Извини. Ты как надумал такое-то? — Шофер шел за ним и все пытался приобнять его, попадал ладонью в жижу, стекавшую по Володиной спине, отдергивал руку, вытирал о штаны и снова, забываясь, обнимал.

В избушке шофер помог ему стянуть рубашку и с ней в руках вдруг сел.

— А если бы прозевал я?! Или тормоза отказали?! — Он опустил голову. Потом устало добавил: — Этой бы рубашкой да по морде тебя.

— Опять! — вырвал у него рубашку Володя.

— Все, все. Нет, ты можешь представить? Вдруг бы тормоза отказали?

— Надолго бы перестал хамить.

Шофер больше ничего не сказал. Встал и, качая головой, вышел.

Видимо, шофер самосвала постарался изобразить Володю «парнем с приветом», потому что везде теперь встречали его с подчеркнутым вниманием. Продавщицы, пряча улыбки, прямо-таки источали вежливость. «Что вам, молодой человек, пожалуйста, молодой человек»; раздатчицы в столовой, пожилые женщины, напротив, скрывали жалостливые вздохи и говорили: «Кушай на здоровье, сынок», — и масла в кашу и сметаны в борщ не жалели. А шоферы в его смену притормаживали у избушки и коротко, как казалось Володе, насмешливо гудели: записывай, мол, и под колеса не бросайся.

Володя догадывался о разговорах за спиной и понимал, что теперь любое его слово в защиту справедливости вызовет смех или жалостливые улыбки. Не по себе ему стало, томила длительная безгласность — оказывается, привык он уже к возбуждающему действию перепалок, обличений, как курильщик к никотину.

Приходил с работы и отрешенно валился на кровать, не желая участвовать в общежитском гомоне, хохоте, внезапных компаниях и спорах. Пытался читать, а если не удавалось, ходил взад-вперед по длинному коридору общежития. Постепенно настроение выправлялось, и он шел в пустующий красный уголок почитать газеты.

Одним поздним вечером застал там Светку, шестилетнюю девочку, жившую с матерью в соседней комнате. Светка, подперевшись кулачком, свободной рукой листала желтую, замызганную подшивку «Крокодила».

— Светка, ты почему не спишь?

— Мамку жду.— Она коротко зевнула, и вроде бы розовое сладкое облачко вырвалось из ее маленького рта.

— А почему не в комнате? Зябко же здесь.

— Попасть не могу. Я вышла, а она захлопнулась.

— Ну-ка пошли.

Вот уж когда пригодился Володе слесарный навык: отверткой и молотком он аккуратно отжал язычок зам-

ка и впустил Светку в комнату. Зашел и сам, присел на табуретку у стола, взглянул на Светку — худенькое ее, бледное личико было в пыльно-блестящих подтеках.

— Ревела, что ли?

— Было немного. — Светка неожиданно прижалась к его колену. — Ты побудь немного, ладно? Спать совсем неохота.

— А где же мать у тебя ходит? Во вторую, что ли, ушла?

— Не-ет, она всегда в первую. — Светка взбиралась на колени к Володе: встала сначала на перекладинку табуретки, взялась за Володины плечи, чуть подтянулась и уселась, довольно и громко пыхтя. — Домов-то много, маляры нарасхват. С утра еще прибегают, зовут.

— И ты одна тут каждый вечер?

— Когда как. Когда с Мишкой играем. Сегодня они что-то рано спать легли.

— Есть хочешь?

— Ой! Еще как хочу! У меня же вон котлеты на сковородке лежат. Давай вместе есть?

— Давай. Только сначала умоемся.

Она соскользнула, подбежала к умывальнику — раз-два руки, раз-два мордашку, — Володя остановил ее.

— Так, Светка, не годится. Вместе так вместе. — Намылил ей руки, щеки, потом стал смывать — Светкин холодный, острый носишко щекотал ему ладонь.

Разогрели котлеты, поели, попили чаю. Светка предложила:

— Давай что-нибудь делать?

— А что? — Володя огляделся. — Хочешь, корабли будем строить?

— Ой! Еще как! — Светка опять прижалась к Володиному колену.

Володя разрезал газеты на квадраты и принялся сворачивать из них кораблики.

— Смотри, Светка, вот этот сделаем с одной трубой... Этот... с двумя... Эти маленькие — лодочки будут. Вот, пожалуйста, целый караван.

— А еще? — осипшим голоском спросила Светка.

— Еще? — Володя посмотрел на часы. — Спать пора, Светка. И где твоя мать ходит?

Тут они услышали, как стукнула входная дверь, по коридору кто-то тяжело затопал, заполнил его низковатым певуче-веселым голосом, привыкшим к воле:

— Где там моя домовница? Светик-семицветик, краса ненаглядная? Вот я ее сейчас съем!

Светка присела, собирая кораблики.

— Мамка идет. Наугощалась где-то. — Володя встал. — Да ты не бойся. Она конфеты несет.

Светка бросилась к матери, ткнулась ей лбом в живот.

— Видишь, видишь? У меня кораблики!

— Ой, Володя у нас! Гости в доме, а хозяйки нет.

— Здравствуй, Евгения. — Володя сплел на груди руки, вскинул голову. — Могла бы и спросить, почему я здесь так поздно. Ребенок до сих пор мог бы слоняться по коридору, голодный и холодный. Развлекаешься где-то и думать обо всем забыла.

— Вот ведь как рассердился-то! — Женя сняла черную сатиновую тужурку, бросила ее на кровать, осталась в пестренькой блузке-безрукавке и тут же засмущалась, не зная, куда деть полные розовые сильные руки. — Ой, да чего ты, Володя! — Притянула к себе Светку, загородилась ею, оглаживала ее, волосы ерошила; виновато, добро поглядывала на Володю.

— При чем тут рассердился?! Я возмущен. Ты вот выпила, тебе все хорошо и замечательно. А что Светка видит? Ты бы лучше на реку ее сводила, на берегу посидели.

Женя присела на кровать, старательно слушала его, часто облизывая запекшиеся губы.

— Спасибо тебе. — Она опустила голову с примятым за день, сбившимся узлом кос.

— Неужели ты, Евгения, не понимаешь: у ребенка радостей нет, и у тебя их не будет. У меня вот отец тоже пил — прятались мы от него с матерью, а по ночам к соседям убегали. И вспомнить нечего, кроме страха.

— Ну уж, Володя... Да разве я пью? — смущенно пробормотала Женя, не поднимая головы.

— Пойми, Евгения, у Светки должно быть детство. Ты же мать и, естественно, должна думать о дочери.

Светка сонно таращилась на него с табуретки, а Женя вдруг заплакала.

Утерлась косынкой, вскочила, кинулась к умывальнику, долго звенькала жестяным носиком и потом с влажно пламенеющим лицом опять присела на кровать. Заговорила без всхлипов, разве только горло еще чуть-чуть перехватывало.

— Я ведь не от обиды ревела. Хорошо ты меня расчихвостил, так мне и надо. Сочувствия, Володя, я много видела. И девчонки по общежитиям всегда нянчились со Светкой, и парни всегда с уважением к моей доле: кто шоколадку, кто куклу, кто санки — смотря по возможности. А уж про местком я и не говорю. Никогда нас не забывали — ни к Новому году, ни к женскому дню, ни к ноябрьским.

Легче, конечно, легче, Володенька, с сочувствием жить. Без него бы не знаю, что я и делала. Но и с ним, знаешь, иногда невмоготу. Охота куда-нибудь от него спрятаться. Может, и нехорошо говорю, да уж как есть. Сочувствие-то все время не дает забыть, что не все у тебя ладно. И рада бы когда уклониться от этого «неладно», а тебе не дают, тут как тут с сочувствиями.

Ты вот отчитал меня сегодня, отругал как следует и правильно сделал. Вот я и заревела, что все, все ты правильно говорил. Уж и не помню, когда меня так ругали! Разве что бригадир когда цыкнет. А так вот, за жизнь мою тарарамистую, хоть бы кто словечко сказал. Сочувствовать сочувствуют, а жить никто не учит. Спасибо тебе, Володя.

Назавтра, вскоре после смены, Светка заглянула в Володину комнату:

— Дядя Володя, выйди сюда. — Она была с громадным алым бантом на макушке, в песочном платьице с кружавчиками.

Володя вышел.

— Пошли к нам в гости. Мамка зовет.

Пришли. Женя в светло-зеленом, с серебряной нитью костюме, в туфлях на каблуке, коса не в узел скручена, а вольно опущена — склонялась над накрытым столом, передвигала, поправляла тарелки, стаканы, вилки-ложки.

— Спрашиваю у Светки: праздник какой? Нет, говорит, просто в гости. — Володя за руку поздоровался с Женей. Она смутилась: румянец как-то вмиг перешел в темно-пунцовую бархатистость. Женя была одно-

го роста с Володей, но высокая, крепкая грудь, вся ее матерая стать превращала Володю в совершенного подростка. Он смутился этим невольным, не в его пользу, сопоставлением и попятился к печке, в уголок, сел на табуретку.

— Какие гости, эта Светка вечно навыдумывает. Просто послала узнать, вдруг ты не ужинал еще. Ну и как-никак надомовничался ты вчера. Можно или нет благодарность-то тебе вынести? — с некоторым напряжением пошутила она.

— Раз просто, то и я просто. — Володя подвинулся к столу.

Женя поставила бутылку, села напротив. Он нахмурился:

— Нет, нет. Я не буду. И тебе не советую. Я принципиально против.

— Ой, ну что ты! Мне прямо неудобно. Будто я пьяница какая. Ведь красненькое. Ну, Володенька! Одну рюмочку. Вот за Светку, за домовничанье ваше. И чтоб на меня не сердился.

— Хорошо. Одну выпью. — Володя строго смотрел на рюмку, когда Женя наливала. — Давай действительно, Евгения, выпьем за Светку. Пусть у нее все получится. Пусть все как следует выйдет.

— Пусть, — торопливо глотнув, сказала Светка и подняла стакан с газировкой.

Вскоре она убежала, и Володя пересел на ее место, по правую руку от Жени.

— Совсем размяк у печки-то. Рюмку выпил, а развезло-о! — На его впалых маленьких щеках проступило уже по яблоку, а серо-голубые глаза заблестели, стали вроде бы больше и выпуклее. — Сам удивляюсь. Так и подмывает какую-нибудь чепуху говорить. Жалко петь не умею.

— Если охота, говори на здоровье. Я с удовольствием послушаю. Тебе чепухой кажется, а может, это никакая не чепуха, а самое интересное. Ой, и у меня зашумело-закружило.

— По-за-рас-тали стежки травою... — тоненьким голоском запел Володя, но сразу закашлялся. — Нет, не умею. И пробовать нечего. А знаешь, хорошо, наверно, певцом быть. Сразу тебя слушают и сразу тебе верят. Однажды я мальчишкой в парке на концерт попал. Объявили артиста. Вышел здоровый мордастый дядя.

И вдруг запел «Вдоль по улице метелица метет» высоконьким, каким-то заливистым голосом — бабьим, как мне сначала показалось. Тенором, значит. Мне так смешно стало, что такой здоровый и так пищит. Я прыснул, кулаком зажался, тетка какая-то меня в бок толкает: «Молчи, дурак». Я глаза закрыл, чтоб его не видеть. И знаешь, незаметно заслушался. Пропяло меня так, что все вижу. И метель такую вот, как на масленицу бывает — с завитушками на сугробах, с посвистом веселым, и как по дороге ее тянет, и дорога потом еще больше блестит. Вообще все увидел. Нет, замечательно быть певцом. Даже такого шкета, каким я тогда был, и то проняло. Заставил слушать.

— Ой, Вова! Какие у тебя красивые волосы! — невпопад воскликнула Женя и тут же сообразила, что невпопад, увидев, как вскинулись в удивлении Володины брови. Заторопилась: — Нет, нет, я поняла тебя! Очень даже хорошо. И тебя хорошо слышу и понимаю, и свое враз вижу. Мне маленькой дядька, отцов брат, куклу привез из отпуска. Большущую, румяную, с такими вот глазищами. Катей я ее назвала. Но лучше всего у нее были волосы. Они блестели, переливались будто золотые. Вот как у тебя. Ну, у меня и сорвалось.

— Спасибо тебе на добром слове. Значит, кукла Катя — я. Уважила.

— Да ну тебя, Вова. А можно их потрогать? — Женя нерешительно приподняла руку.

Володя пожал плечами, как хочешь, мол.

Она осторожно, чуть-чуть пошевеливая пальцами, запустила в волосы горячую, большую руку.

— Ой, какие мягкие-то! Пушистые, легкие!

Володя прижался лбом к ее запястью.

— Володенька, оставайся у нас жить, — закрыв глаза, сказала вдруг Женя.

— Совсем?

— Совсем.

Вскоре они расписались в поселковом Совете, а чуть позже он удочерил Светку.

За многие одинокие дни и ночи Женя, видно, хорошо высмотрела, как жить, если все у нее наладится, если с кем-то соединится.

— Все, все будем вместе, да, Володенька? — Она шила что-то и коротко взглядывала на него преданно блестевшими глазами, а он стоял рядом, по обыкнове-

нию сплетя руки на груди. — И по дому что, и куда пойти. Все, все вместе, да?

— Ты мне только говори, что я должен делать. Ведь я все по общежитиям. Не приучен к дому-то. Вот что я как пень стою! Давай отправляй меня куда-нибудь. Заставляй что-нибудь.

— Постой, Володенька, ничего. Или вот присядь рядом. — Она перекусила нитку, отодвинула шитье. — Лучше напротив сядь. Вот сюда. — Показала на кровать. Потянулась, погладила, перебрала быстро его волосы, вздохнула, снова взялась за шитье. — Ой, Володенька! Никуда мне тебя отпускать неохота.

— У тебя руки воп все время заняты, а я, значит, сиди. Неудобно.

— А что делать-то? Когда квартиру получим, тогда... — Поерошила ему волосы, смущенно отдернула руку. — Прямо тянет, удержу нет. О-хо-хо! Миленький ты мой. — Опять преданно заблестели глаза. — И давай все, все вспоминать. Кто как жил, что думал. Ты вот о чем сейчас раздумался? Вижу, вижу. И на лбу пасмурь, глаза куда-то провалились. Расскажи, Володенька. Вот и будем оба при деле.

Поговорить он мог. Верно, постороннему уху его рассказы показались бы скучноваты: то история, как он вывел на чистую воду прораба, жульничавшего с нарядами; то история кратковременного его пребывания народным контролером в крановом хозяйстве, когда он взялся за дело с такой страстью и дотошностью, что, конечно, нашлись враги, лодыри и прогульщики, по Володиному разумению, потребовавшие отобрать у него права народного контролера: мол, сам не работает и другим мешает, — истории эти так походили одна на другую, что только Жене и не надоедали.

Она откликалась и на жуликоватого прораба: «Ну, деятель, будь он неладен»; и на неудачное Володино контролерство: «Разве ж можно такую нагрузку да с твоим характером! Конечно, съедят»; и на остальные истории не жалела поощрительно ласковых слов: «Молодец, Володенька! Не поддался! Хоть и не по-твоему вышло, а все равно ведь видно: у кого сердце совестливое, у кого — нет», — а сама в это время шила, варила, стирала, сновала по комнате, не упуская мимолетно прикоснуться, прислониться к Володе, чей ясный голос как бы осенял все Женины хлопоты.

Здешними порядками Володя тоже был не вполне доволен. Говорил и о них ясным горячим голосом: и то не так, и это, и строить бы можно поумнее, и бытовать получше, — но на эти очень близкие ей неурядицы Женя отзывалась односложнее, не с безоглядным сочувствием: «Ничего, Володенька, направится», — и однажды он даже обиделся:

— Ты не слушаешь меня, что ли? Направится, направится. Долго что-то направляется.

— Что ты, что ты! Как не слушаю! До словечка все слушала. — Женя чуть нахмурилась, придумывая, как сгладить свое невнимание. — Бог с тобой, Володенька. Не слушала. Я о бригадире нашем, дяде Коле, вспомнила. Тоже вот управы на него нет. Чуть поперек скажешь — наорет, отправит в какой-нибудь дальний дом, как в ссылку. По грязи пешком и топаешь туда. А он еще хохочет потом: «Так-то, девка. Возражения свои для кавалеров побереги».

— И на тебя орал? — негромко спросил Володя и вскинул голову.

— А куда от него денешься?

— Я не позволю, чтоб на мою жену орали. Где он живет, знаешь?

— Прямо счас и пойдешь? — испугалась Женя. — Брось, Володенька. Подумаешь. Убыло, что ли, от меня?

— Нет, я этого так не оставлю. Так знаешь, где он живет или нет?

— Не знаю, Володенька. Вообще-то он мужик отходчивый. Ну ладно, ладно. Завтра спрошу.

Женя, конечно, знала, где живет дядя Коля, но понадеялась, что Володя забудет ее жалобу. «Черт меня дернул подыгрывать!» — обругала себя Женя.

Володя не забыл и через день спросил, не узнала ли она адрес бригадира. «Ты вот не чувствуешь оскорбления, а меня как помоями окатили», — звонко сказал Володя.

Женя поняла, что он пойдет и устроит дяде Коле скандал, а тот слова тоже искать не будет, да и на руку скор. Конечно, дядя Коля не святой, но и без строгости нельзя, особенно если одно бабье вокруг. Невелика барыня, если даже и цыкнули на нее, приструнили. И ведь — по правде-то — никакой обиды на дядю Колю нет, а выйдет и смех и грех, будто теперь уже, замужем, она и огрызаться разучилась. Да и Володень-

ку жалко. Что он там будет руками размахивать да головкой своей потряхивать.

Женя отпросилась среди смены и прилетела к Володе в карьер, в его избушку.

— Ой, Володенька. Прибежала, чтоб ты зря не ходил. Мир у нас с дядей Колей. Полный.

— Как это? — строго и недоверчиво нахмурился Володя.

— Пришел сегодня. Тихий-тихий. Какая-то добрая шлея попала. Не сердись, говорит, девка, на меня. Ни в прошедшем, ни в будущем. Раскаиваюсь, говорит, и не буду больше себе душу травить и вам.

— Хм, интересно. Нарвался, видимо, на кого-нибудь. Ну и зубы-то поломал.

— Не знаю, Володенька.

— Ух ты, запалилась-то как! Зачем же бегом-то было! Вот садись на этот самосвал, до сворота доедешь.

Она чмокнула его в худую костистую скулу и побежала к машине.

По воскресеньям они гуляли. Сборы на прогулку Женя превращала в какое-то тревожное, суетливо-паническое действо. «Ой, Володенька, не этот, не этот шарф. Тот, что я тебе к Новому году дарила. Светик, сейчас же встань, я тебе для чего брючки гладила!» — металась она между ними, что-то искала в сундуке, в чемодане, доставала, встряхивала, поправляла воротнички, обдергивала, потом так же суматошно собиралась сама.

Но по улице шла чинно, только щеки не могли остыть после сборов. Светка бежала, припрыгивая впереди, а они шли за ней — рука об руку, неспешно переговариваясь. Женя иногда говорила:

— Жалко, что ты не куришь. Закурил бы сейчас...

— Еще чего не хватало!

— Да нет, я так просто.

Летом ходили на берег реки или в лес. Однажды в августе пошли за грибами. По тропам, по заросшим дорогам ходили целый день, под конец уже не замирая над россыпями тугих коричневых лиственничных маслят — так их было много.

Возвращались домой. Вдруг Володя остановился, вывернул плечи из-под лямок горбовика и свалил его у горелого пня.

— Ну их к черту! Эти грибы, эти маринады, эти жарехи. Не могу. — И сел рядом с пнем.

— Я тоже никуда не пойду. — Светка уселась прямо на тропу. — Устала. — Она захныкала.

Женя, запаленная, красная, стояла между ними, не зная, что делать.

— Володенька, передохнем да пойдем потихоньку.

— Ну его к черту! Не понесу. Не смогу.

Светка тихонько хныкала.

— Ах чтоб вас! — Женя вроде ногой даже топнула. Подошла, взяла Володин горбовик, забросила за плечо, подхватила Светку и так — в охапке — понесла.

Дома впервые долго и тяжело молчала. Володя не поднимал глаз, и Светка задумалась рядом, подперев щеку кулачком. Но вот Женя умылась, напилась чаю, повздыхала и подошла к ним. Присела, обняла их за головы, прижала к груди.

— О-е-ей! Миленькие вы мои. Как жить-то будем?

Володя сказал своим непреклонно ясным голосом, не вырываясь, однако, из Жениной руки:

— Ну, зачем вот так...

Женя крепче прижала его голову:

— Молчи, Володенька... Ничего, ребята. Направимся. Проживем. Где наша не пропадала...



НА ПАСЕКЕ

Отпуск Микулину выпал в июле. Сослуживцы, тянувшие жребий перед ним, чуть ли не хором ахнули:

— Ай да Микула! Вездехва-ат!

В курилке подсел Кустов, рябой, бледный, тощий, с умильным блеском в глазах.

— Только вы, Микулин, можете меня спасти. — Войдя в должность главного инженера проекта, Кустов «завыкал» даже с бывшими однокурсниками. — Нынче дочь девятый кончает. Последнее лето. Я поклялся, Микулин, куда-нибудь свозить ее. Потом уж все! Экзамены, стройотряды, колхозы. В сущности, последняя отцовская дань ее детству. Вы понимаете, Микулин? — Кустов говорил тихо, почти в ухо, и Микулину показалось, что оно горячо, неприятно отпотело. С раздражением мотнул головой.

— Вот уж странно, Юрий Семеныч. И отказывать вроде нельзя — начальство просит, и все равно откажу. — Вышло звонко, весело, без возмущенного напряжения. Микулин удовлетворенно передохнул. — Не обессудьте, Юрий Семеныч. Власть вижу незамутненной,

родниковой. Спачала других напоит, потом сама может. Или что не так, Юрий Семеныч? — «Не так, не так, — одернул себя Микулин. — Как всегда, понесло тебя, любезный. Сказал бы: не могу, личные планы, извините, в другой раз. Нет же! Язык как шило в мешке».

У Кустова резче обозначились оспины, натянулись пепельно-голубым. Он снова говорил, дышал в ухо:

— Ну, зачем вы так, Микулин? Я же доверительно, сугубо по-товарищески — нет так нет.

— Правильно, Юрий Семеныч. И суда нет. И не будет, надеюсь? — Микулин и клял свою вздорность, и сладить уже с ней не мог. Кустов быстрой тенью пролетел через курилку.

Более никто не покушался на микулинский отпуск, убедившись в его неприступности. И Микулин с некоторым удивлением отметил, что предстоящий ослепительный для окружающих июль для него самого потускнел; желанные, буйные краски повыцвели сразу же, как только из защитника июля он превратился в его владельца. «Жребий — дурак, правду говорят. Ладно бы еще добрый дурак, а то вовсе бессердечный. Ни к кому никакой приязни. Этот июль праздником мог бы стать, когда бы добиваться. А так — повезло да повезло, и что теперь с этим «повезло» делать? Куда его девать?»

Порою, верно, воодушевление возвращалось к Микулину. В компании летнеотпускных счастливцев и он млеющим голосом поговаривал:

— Можете представить: утро, белый песок, в таком чуть-чутошном дымке, солнце далеко-далеко встает, и вроде как на меня волны гонит. Зеленовато-розовые. А я в это время ступаю. С холодного песка в теплую воду. И падаю, и брызги! И весь я как дельфин — хорошо мне, да высказать не умею.

Но в некую минуту, остыв взглядом и слухом, понял эту компанию как бы со стороны. Сутулые, прокуренные мужики — щеки в легкой прожелти, — с каким-то вялым упрямством грудились у окна и с затверженной смачностью, словно костяшками домино, хлестали, выкладывали одни и те же слова: улово, леска, горбовичок, утречко, песочек, — Микулин подумал, что всех их, в сущности, одолела пустая страсть. «Что в этом отпуске, кроме двадцати четырех нерабочих дней? Какое улово, какие ягоды — неужели мы это всерьез? Куда это мы рвемся, от чего устали?.. Это мы душу в отпуск спрова-

живаем. Чтоб душа бездельничала. На службе худо-бедно ноет она, хлопочет, туда-сюда мечется. А после службы мы в нее что ни попало заталкиваем: хоккеи-футболы, спичечные этикетки, отпуска — пустота больше томит, чем живая боль и работа. А для боли да заботы вроде места жалко — ворочаться будут, спать не дадут... То ли дело улово!»

Совсем скис и неожиданно решил, что никуда, ни на какой песочек не поедет. «Хватит! Не хочу мчаться и глаза таращить. Под сосной хочу полежать, сосредоточиться хочу. В одну точку буду смотреть. Буду лежать и думать, думать. О жизни буду думать. Хочу о ней думать». Он смущенно и даже растерянно улыбнулся своему новому желанию, его наивной внезапности.

Поселился в сторожке, под сенью старого соснового бора, стоявшего раскидисто, весело и жарко на приречном песчаном косогоре.

В первое же утро, роса еще толком не сошла, выгреб из высокой травы сосновые шишки — сморщенных старых ежей — бросил одеяло; в изголовье, на толсто выперший корень — телогрейку и с забавной поспешностью улегся, словно больной торопился истово исполнить все предписания врача. Справа положил курево, слева поставил котелок с холодным чаем, банку сгущенного молока, вытянулся, закрыл глаза и затих. «Вот. Ничего больше не надо. — Неторопливо втянул холодновато-хвойный, приправленный речной сырью воздух. — Уж подумаю так подумаю. Обо всем, обо всех, о себе. Ох и подумаю!» — с тою азартной радостью предвкушал он самосозерцание, с какой иной человек готовится колоть дрова или сено косить.

Полежал, покурил, попил чаю — ничего путного в голову не приходило. С тягучим, усыпляющим шорохом выстраивались перед ним давние, виденные-перевиденные, ничем не примечательные дни. Он — у чертежной доски, в понедельник утром, бодр и весел, весь как бы поскрипывающий, похрустывающий после воскресенья, после лыжной прогулки и березового, опаляющего дыхания парной. Он — у той же доски, без пиджака, в мятой прокуренной рубашке, на висках и под мышками пот — их конструкторское бюро взялось сверхурочно, то есть на тройной, купеческой заварке чаю и бессчетных

сигаретах, выдать рабочие чертежи драги для Алданской флотилии. Он — в майские, зеленоватые сумерки провожает домой чертежницу Танечку Рупасову, держит ее острый, прохладный, хрупкий локоток, время от времени целует ее прохладную, розовую щечку — их вежливый, невинный роман быстро отцвел, осыпался, вроде бы подчинившись стремительному бегу весны.

Микулин заглянул и за доску — пылились там игрушечные, вовсе уж потускневшие годы. Он видел свои улыбки, гримасы, жесты — безгласные, скачущие картины, ничем не соединенные, поврозь возникающие в памяти. Как ни старался, не мог услышать слов, сопровождавших ту или иную картину, даже слов, которые говорил Танечке Рупасовой в майский, с черемуховым морозцем вечер. «Странно. Куда же пропали все эти слова? Ведь жизнь же была, не немое кино! Эй, где вы! Все испарились, выветрились. Одна конструкция жизни. Так сказать, детство, отрочество, юность. И конструкция вот-вот рассыплется — проржавела. Лень да бездумье. Ну, что же я такое говорил Танечке Рупасовой?!

Наверное, «люблю тебя, Танечка» или «неужели был день, когда мы не знали друг друга»... Нет, не помню. Ничего, выходит, не говорил и не думал. Ничего и не запомнил».

Открыл глаза и долго смотрел на небо, сквозящее в зелено-желтых проемах ветвей. На крупных, граненых иглах вспыхивали и гасли блики от бегущей рядом реки. Оседали, делились в глазах Микулина солнечные искры — он не заметил, как уснул.

Проснулся, вскочил, с диким лицом огляделся и, вспомнив все, весело застыдился: «Поразмышлял так поразмышлял! Всласть. Жить стало ясно и просто. Как и положено полному балбесу».

Больше под сосной не лежал, бродил по песчаному косогору, утешался незатейливой шуткой: «Ладно, хоть не в трех соснах блужу. Целый бор — понять надо». Застревал где-нибудь у обрыва, привалившись к теплому чешуйчатому боку сосны, глядел на быструю, густую от тяжелого ила воду и принуждал себя: «Посмотри вон на ту излучину в краснотале. Видишь, как млеет воздух позади него. И ельник как черно синеет, и валуны серебристо-теплы. Неужели никакого отклика в тебе? Простенькой мыслишки о жизни, хотя бы в связи с этим видом? О родной стороне, так сказать. Только, пожалуй-

ста, без чужих слов. Не возникает? Странно. Гляди еще, хоть до самого прогляда».

На третий день не выдержал, отправился в ближнюю деревню по тропе, долго бежавшей у подножия округлой, кротко зеленеющей сопки. В сопку врезалась плавным, неглубоким клинышком ложбина. В истоке ее темнел резной листвой боярышник да редко топорщились молоденькие сосны, а в устье белел новенький балаган-вагончик на колесах и выглядывали из травы серые пеньки ульев.

Микулин остановился, в один взгляд, в один вздох вобрал эту клеверную ложбину, до краев загруженную рабочим, миротворным гудом пчел. Разглядел на двери вагончика надпись: «Владения бортника Вагина», сделанную наспех, углем, пока, видимо, не остыло шутливое настроение этого Вагина или его гостя. Разглядел и сразу же позавидовал, что не он хозяин самодеятельной насеки, не он вспомнил старинное слово «бортник», не он догадался поселиться в этой ложбине.

Оглянулся, облепило лицо горячим тяжеловато-сладким ветром — от сопки к реке склонялось поле цветущей гречихи. Глубоко, с причмоком вздохнул, решил постучать в дверь бортника Вагина и увидел, что от балагана к ульям шел старик в белой рубахе, в ичигах, тусклая седина кольцами наползала на воротник, кудрявая же борода была темно-русой, как бы помладше волос на голове.

— Здорово, дедок! — с неожиданной, зычной свойскостью гаркнул Микулин. — Бог в помощь!

— Добрый день, молодой человек. — Старик выговаривал слова негромко, с этакою интеллигентною мягкостью и щурил голубые, без старческой белесости глаза. Вроде бы усмехнулся расхожей бойкости Микулина.

— Медок не продаете? — Микулин смешался: вообще этот бортник. Вагин никакой не дедок: и лоб упруго, почти молодо, блестит, и глаза ясные, пристальные — постарше его, конечно, но только не дедок.

— А про бога-то как это вы вспомнили? — Пасечник, улыбаясь, возвращался к балагану. — Торговать не торгую, но угощу с удовольствием.

— Спасибо. — Неловкость отпустила, Микулин тоже улыбнулся. — Да как. Вижу старинное дело, читаю старинные слова, вот и всплыла поговорка.

— Милости прошу, — пасечник пропустил его в вагончик. — Хорошо, что всплыла. Признаюсь, я бы и не взглянул в вашу сторону, если бы не поговорка. Не люблю напористых прохожих. А вы догадались добра пожелать. — Пасечник засмеялся, как-то мило и по-детски приклоня в это время голову к плечу. — У поговорочки, правда, изъянец есть. Все всевышнего норовим в помощники послать, а сами предпочитаем в сторонке держаться. Однако же не в этом суть. Спасибо на добром слове.

— А я и помочь могу. Хотите? Могу, могу угощение отработать.

— Присаживайтесь сначала. Вот вам ложка, вот чашка, — пасечник зачерпнул воды из деревянной кадушки. — А это чтоб язык не приклеился. А помощь мне, — пасечник с изучающим прищуром посмотрел на Микулина, — и помощники, добрый прохожий, не нужны. Управляюсь в свое удовольствие. Пчелы у меня — работники.

Микулин хватанул две-три полнехонькие ложки прозрачного, тяжелого, тягучего меда — нутро занялось медленным жаром, и он поспешно залил его ледяной водой.

— А вы... не имею чести знать вашего...

Пасечник остерегающе поднял темную, твердую ладонь, легонько загородился ею: мол, вовсе ни к чему представляться при этой необязательной и случайной встрече.

— Понял, настаивать не смею. Можно, я вас буду звать «добрый пасечник»?

Тот совсем закрыл один глаз — прицелился оценивающе и как-то бесовато.

— Так, так. В моем доме, за моим медом и еще смеете, говоря языком шпаны, заедаться? Что же, приветствую, валяйте «доброго пасечника».

— Добрый пасечник, никак не могу осилить вашего разделения живущих на прохожих и пасечников. Или я что-то не так понял?

— Замечательно. Если бы каждый, глотнув меда, любопытствовал таким образом, я бы весь мед пустил на угощение. Именно так, добрый человек! Только прохожие и только пасечники. Вот вы — совершенный прохожий. Пригласят — зайдете, не пригласят — пройдете. Взгляд налево, взгляд направо и снова вперед. А может,

все не так? Может, я ошибаюсь? Уж вы простите гостеприимного хозяина.

— Мрачновато, туманно... — Микулин потянулся к чашке с медом. — И чересчур многозначительно. Я — не прохожий, я — отпускник. Прошу учесть это обстоятельство. Можно, я еще... м-м... вкушу? Да-а. Существенное дело — пасека. Развлекаетесь на досуге?

Пасечник опять приклонил голову к плечу, засмеялся.

— Славно, замечательно. Отпускник, значит, ни о чем не хочу думать. Значит, положено не думать.

Микулин чуть не поперхнулся.

— Откуда вы знаете?! Ну, добрый пасечник! Вы, видно, подслушивали. Я три дня хочу о чем-нибудь подумать — извелся весь — и не могу. Выяснил, что не о чем мне думать. Голова не приспособлена. Может, выручите?

— Прохожий! Настоящий милый прохожий! — Пасечник во все глаза — и вроде не прикидывался — рассматривал Микулина. — Очень вам сочувствую. Хотите, меду с собой дам? Вдруг поможет?

— Да нет уж, спасибо. Пока хватит. А то по усам потечет. Эк вы тут устроились! Кто ни пройдет — все прохожий. — Микулин встал. — Скажите, добрый пасечник, а вы-то умеете о жизни думать?

— Так себе, не очень. — Пасечник обхватил бороду ладонью и с непритворным туманом в глазах вздохнул. — Вот угадайте лучше на прощание. Угадаете, я вам пасеку подарю. Не хмыкайте и не улыбайтесь. Рискнете? Тогда угадайте, кто написал эти слова: «Он не змиею сердце жалит, но, как пчела, его сосет»?

Микулин открыл дверь:

— Если ночью угадаю — приходить?

— В любое время дня и ночи.

«Во затейник. Леший с пчельника. — Микулин забыл, что собирался в деревню, и повернул в сторожку. — Должно быть, придуривает. Со скуки или с меду этого. Прикинул однажды: какие бывают пасечники? Мудрые, странные, забавные — ну и тешится, наиграться не может». Микулин трезво и даже насмешливо судил пасечника, тем не менее загадка не отставала, занимала всерьез. «Пасеку он подарит — конечно, дурака валяет. А все-таки, чьи это строчки? И кто

этот «он»? «Он не змиею сердце жалит»... Догадаться, кто этот умелец, и тогда можно дальше гадать. Да ну тебя к черту, добрый пасечник! Вот ведь забил голову! Ухмыляется, поди, сейчас. Ну, мол, раззадорил я прохожего, ночь спать не будет. А я знать ничего не знаю и знать не хочу. Все. Немедленно забываю».

Вволю отоспавшись за эти дни, ночью в самом деле глаз не сомкнул, так и этак подступал к загадке пасечника, наконец признал, что «слаб в коленах», «извилины не те». Эта причудливая пчела, сосущая сердце, так неотвязно вилась над ним, что утром Микулин, наскоро искупавшись и не почаевничав, побежал на пасеку.

Постучал в стенку вагончика:

— Добрый пасечник, сдаваться пришел.

— Что за стук, что за шум? — звонко, легко вспорхнул сзади женский голос. — Смотрите-ка! А драки нет!

От кустов боярышника бежала, этак играючи оскальзываясь на мокрой траве, женщина — Микулин смотрел против солнца, и над плечами ее, над белыми, выгоревшими волосами дрожал золотисто-черный обвод. Она была в стареньком, когда-то голубом халатике. Полные, высоко открытые колени, остуженные росой, сизо розовели, листики клевера облепляли влажные, тугие икры. Подошла ближе, увидел свежее, прелестно-простодушное лицо: белобровое, румяное; глаза — синие, веселые пуговки, беленький носик, забавно приплюснутый в ноздрях, добрые, толстые губы с мило припухшим шрамиком над верхней.

— Погостить или проездом? Здрасьте. — Она засмеялась — синева в сощуренных глазах стала какой-то отчаянной, бесшабашной и разве чуть-чуть отдавала тревожным смущением.

Микулин промолчал. Пожалуй что впервые с такою увеличительной ясностью он понял: утро это не повторится. Все еще темнел в клевере, не затягивался ее след, не затих еще легкий, быстрый смех. Божья коровка нерешительно вскрыливала на подоле ее халатика — вот-вот все исчезнет, улетучится и никогда не вернется.

— Ну, чего уставился? Смотри, не съешь. — Засмеялась, но уже принужденно, тяжеловато.

Опомнился, сглотнул колкую сухоту.

— А где же пасечник? Наобещал с три короба, а сам?

— Был, да весь вышел. Сегодня уже не будет.

— Ну вот! Куда я эту пчелу дену? Не спал, не ел — прилетел с утра пораньше. Может, ты знаешь?

— Постой, постой. Ты почему такой быстрый? И разговорчивый? Вообще, ты кто такой?!

— Прохожий.

— А-а. Слышала. Вчера здесь был, да? Велел медом угостить.

— И все?!

— Смотрите-ка. Его привечают, потчуют, а ему все мало. Где пчела-то? Принес, что ли?

— Да нет... Ясно... ясно... Оговорился. А кто привечает-то?

— Да хоть бы я. Будешь заходить, так заходи. — Женщина открыла дверь, откинула марлевый полог. — Давай быстро. А то целое утро мух гоняла.

В вагончике было тесно от солнца: клубилось над белой овчиной лежанки, прозрачно, дрожаще растекалось по смолистому желтому потолку, слепящим колобком катилось по клеенке стола. Женщина задернула плотные холщовые шторки — установились праздничные, желтые сумерки. Подвинула мед в глубоком блюдце, подала ломоть хлеба.

— Налегай. Приятного аппетита.

Присела и сама, спиной к окну, ноги убрала под табуретку — открытые колени напряглись выпукло и сильно, подернулись смуглым глянцем. Руки заняла цветами, сорванными недавно: ворох их, нежно-желтых и бледно-сиреневых, прикрыл полстола. Отламывала корни, отщипывала листья, откладывала прибранные стебли в сторонку. При этих коротких, отрывистых движениях ее полные, белые предплечья задевали грудь и, туго выявленная халатиком, она тяжело, волнующе вздрагивала. Микулин опустил глаза и с излишнею сосредоточенностью принялся вымакивать оставшийся мед.

— Смотрите-ка. За уши не оторвешь. Язык проглотил, что ли? Молчишь и молчишь.

— Тебя как зовут-то? — Глаз Микулин не поднимал и так все видел.

— Катя. Еще добавить?

— Бог с тобой. Совсем не встану. Спасибо. Пасечнику-то ты кто?

Она бросила цветы, засмеялась, чуть откинулась, ладошками помахала на вспыхнувшее лицо.

— Ой, умора! Все ждала, когда спросишь. — Синие пуговки ее опять сузились горячо и отчаянно. — Угадай.

— Раз «угадай», то делать нечего. — Он не видел пламени, охватившего ее. — Дочка.

— Ой, ой, дочка! Уж лучше внучка! — легкий вроде был смех, уместный, но все же уловил Микулин едва слышимое, ненатуральное пристанывание и поднял глаза. Догадался и не удержал догадку:

— Неужели жена?!

— Сразу — неужели! — Катя будто и не смеялась, зажмурилась, потрясла головой, стряхивая мгновенные слезы. — И вовсе он не старый!

— Да я... К черту меня! Извини, пожалуйста! При чем тут старый, не старый... Захмелел, не обращай внимания.

Быстро управилась с пламенем, со слезами, опять глядела синё, кругло, весело:

— И вообще! Твое-то какое дело?!

— Никакое. Ничего не говорил, ничего не слышал. С прохожего какой спрос?

— Правда что. На всех чертей похожий. Ну, все, что ли? Сыт, пьян?

— Золотые слова. Только про табак забыла. Знаешь, Катя, неохота уходить, да и некуда. Можно, еще посижу?

— Сиди. — Она придвинула цветы, вздохнула с каким-то сладким, детским присвистом. — Мне ведь тоже эта пасека даром не нужна. И пчел боюсь до смерти. Сиди. Веселей не веселей, но все не так скучно.

Натянуло запахом смолы и зноя. Микулин увидел, что на потолке, на стеклянно-медовой доске вызрели — вот-вот прольются — янтарные капли: раскалялся вагончик, таял ближе к полудню.

— И часто ты здесь сидишь?

— Охранницей-то? Не-ет. Он редко уезжает. Утром пробегусь, пока пчел мало, цветов вот нарву. А потом уж кукую... Как в песне: я по горенке хожу да в окошечко гляжу...

Под солнечным напором начали слабо потрескивать, поскрипывать доски — ссыхались, отдавая влагу и смолу. Микулин наконец решился, с дремной, сию минуту придуманной улыбочкой погладил ее колени.

— А так мы не договаривались, — не отвлекаясь от цветов, равнодушно сказала она.

Он погладил еще, сильнее и требовательнее.

— Ты почему такой быстрый, а? И — хулиган. — Не смогла оторвать какой-то корешок, нагнулась, перекусывая, и тут Микулин привстал, поцеловал в соленую, жаркую, выгнутую шею.

— Это что за мода?! Откуда только берутся такие! — Так и замерла над цветами, позволяя целовать и целовать. — Ну, хватит, хватит! Зябко уж!

Он приподнял, обнял.

— Катя. Катя. Катя.

Уже на овчине, слабея, захлестнув лицо белой, безвольной рукой, зашептала горячо смеженными губами:

— Дверь-то, дверь! Господи. Крючок накинь!

Из зыбкой, золотистой, обморочной мглы Микулина вернул грубоватый, шершавый холодок холщового полотенца. Катя прижимала его ко лбу, груди, плечам Микулина, и он сквозь холодок чувствовал, как теплы, сильны и ласковы ее пальцы. От полотенца пахло воском и сырым песком.

Она уже накинула халатик, но забыла застегнуться, и свежая, какая-то сумеречно-прохладная белизна ее незапахнутой груди и живота заставила Микулина вновь повторять:

— Катя. Катя. Катя...

— Будет тебе, будет. — У нее изменился голос, был уже не утренний, легкий и звонкий, а певучий, медлительный, усмешливо-ласковый. — Налетел, как коршун какой. — Неожиданно резко припала, больно обняла, солено и больно поцеловала. — Ох ты лобастик! Ох ты курносик! Смотрите-ка на него.

Микулин рассмеялся:

— Где это ты видела курносого коршуна?

— Я все видела. Ой, что-то голова кругом. Подвинься-ка. Вон что места занял.

Умостилась, прижалась к плечу, сладко, счастливо зевнула.

— Катя, ты в этой деревне живешь? — Он намеренно обособлял ее, разъединяя с пасечником, подумав, что ей неприятно сейчас будет напоминание о нем.

— Нет, мы из города. В Песчаной слободе дом у нас свой. Сюда только на лето, из-за пчел. А в деревне

у старухи одной зимовьюшку снимаем. В балагане-то ночью холодно.

— В каком балагане?

— Ну, в вагончике этом.

— Тоже, значит, отпускница.

— Да уж. — Он почувствовал плечом, как шевельнулись улыбкой ее губы. — У меня круглый год отпуск. — Опять охотно и просто объяснила: — У него же пенсия северная. Да и так кой-что скопил. Хватает. Ну и меня при себе держит. О работе теперь не заикаюсь. Слышать не хочет.

То ли сонливость пропала, то ли неловко лежать стало, но она отодвинулась, приподняв голову, тряхнула, поправила сбившиеся волосы. Снова улеглась. И засмеялась утренним, порхающим смехом:

— Сам видишь, за мной глаз да глаз нужен. — Покосилась на него. — Ты-то женат? Не врешь? Смотрите-ка на него. — Захохотала, опять запламенев лицом, с пристанывающими отголосками. — То-то, думаю, уверенный какой. Женатики-то как зайцы. — И опять нежданные, мгновенные слезы. — Не к добру смеюсь. Ох, не к добру.

Обняла, прижалась.

— Нагнала тоску, лобастик? Дуростей наговорила. За душой-то всего ничего. Грехи да дурость одна...

Он заглянул в ее синие, незамутненные, готовые к смеху и слезам глаза.

— Ни в одном глазу ни грешинки. Охота на себя наговаривать? А, Катя-Катерина?

Она счастливо, по-ребячьи загыгыкав, уткнулась ему в шею.

— Ах ты бес прохожий, ах врун-говорун! Добрый, да? Хороший, да? Ласковый, да? Молчи, молчи. А-ах, лобастик ты мой!

...Снова холодок холщового полотенца, запах воска, влажного песка, ее ладони, горячо, сильно проступающие сквозь холодок...

— Откуда у тебя такие полотенца?

— Сама шила.

— Нет, почему такие прохладные?

— А-а. Погребок есть. Под полом-то песок. Я както покопала и чую — холодно руке. То ли мерзлота, то ли ключ близко. Мед туда ставлю, а поверх полотенца держу. В жару-то как славно.

— Катя, а ты тоже на Севере жила?

Вздохнула.

— Жила-а... Да по правде-то не жила, а была. За проволочкой, за колючей. Чего вздрогнул? Ничего, мол, девушка, развитая, да?

Микулин возмутился:

— Кто вздрогнул?! Перестань, в самом деле! Что, я людей не видел? Не знаю, что без сумы да без тюрьмы...

— Видел, видел. Знаешь. Не буду больше. Только лучше без тюрьмы. Да и без сумы тоже. Но сразу скажу: получила за дело. — Она сказала это строгим, каким-то даже старательно строгим голосом. — Молодая была, дура, но все равно за дело. Уж больно веселиться любила... И его там встретила. Вольнонаемным был, учителем. Я со скуки хорошо училась, легко. Он смешной был. Всегда придет с каким-нибудь стишком. Ни «здравствуйте», ни «добрый вечер», а обязательно стишок прочтет. Сядет за стол, посмотрит, посмотрит на нас, бороду помнет. «Что ж, — скажет, — сегодня, пожалуй, вы заслуживаете следующих строк...» И начнет что-нибудь такое: «Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса...» Мы хохочем — это мы-то чудеса.

Ну, приметил он меня. Говорю, хорошо училась, отвечала толково. Однажды оставил в классе, спрашивает: «Катюша, хочешь, я тебя подожду? Все равно у меня ни кола ни двора...» То есть когда я на волю выйду. Я удивилась: зачем? Душа, говорит, пустая, а так — подожду, спасу, человек, говорит, вон в тебе какой таится. Ну, думаю, опять чудит. Будто стишки читает. Мне-то, говорю, что. Ждите.

А он взял и дождался. Вот тебе и сердце верит в чудеса.

Микулин давно уже сидел. Спросил смятенно и жалобно, когда она прервалась:

— Как же так, Катя... Невозможные вещи... За что же ты его сегодня... Вот так... Катя?

— Эх, лобастик! Мало, выходит, ты людей видел. И смотрел на них мало, если с ходу судить берешься. — Она погладила, поерошила его волосы, сразу же удалившись, возвысившись то ли до сестринской, то ли до материнской роли.

— Ты его не любишь?

— Не знаю... Я ведь бегала от него. Два раза. Уж больно ровный он. Ничему не удивится, ничему не рассердится. Все «Катюша да Катюша». В первый раз быстро нашел, да я и неподалеку была, в Братске, у подруги. Письма ее остались, где звала. Тут понятно. А вот в другой раз я через весь Союз махнула, в Мелитополь. Тоже к подружке — у меня их много после Севера стало. И следов не оставила. И там как мышь жила. Считала, полностью затерялась. Как он нашел — до сих пор не пойму! Ни розыска не объявлял, ничего. Видение, говорит, было, видение. А сам улыбается и бороду мнет. Судьба, наверно.

— А что еще говорил? Зачем искал-то, зачем? — со странным нетерпением спрашивал Микулин — оно как бы заслонило этот день, Катю, сосновый зной вагончика и оставило лишь желание узнать, во что бы то ни стало узнать, что говорил пасечник.

— Его разве поймешь? Чудил, опять вроде стишков приговаривал: «Ты — крест мой избранный, доля моя единственная...» И опять все — «Катюша, Катюша», улыбается, бороду гладит. Пристали вот друг к другу. Так мне его иногда жалко. Ни-чего не понимаю, а жалею... — говорила тихо, склонив и отвернув голову к стене. Казалось, вот-вот заплачет, но она вздохнула и ровно, устало сказала:

— Что, лобастик? Всю жизнь как на подоконнике тебе разложила. А ты как в рот воды. Что молчишь?

— А мне ведь, Катя, и рассказывать нечего. Вот не поверишь, а нечего.

— Ну да. Конечно, не поверю. Да вот слушать теперь некогда. В деревню надо бежать. Старуха наша заболела. Гляну хоть на нее.

— А... он где?

— Товарищ его, по Северу еще, пролетает нынче. Телеграмму дал, чтоб встретил.

— Катя, я приду вечером?

— Ой, ой, смотрите-ка на него. — Она устало, бесцветно посмеялась. — Мне-то что, приходи.

— Ну вот... Катя, не надо так, а?

— Ладно, ладно. Лобастик, курносик, — прижалась, засмеялась давешним, легким. — Приходи. Чего уж там.

У себя в сторожке и потом, на берегу, на песчаном обрыве, дожидаясь вечера, Микулин все спрашивал себя: «А где мой крест? Где моя доля?.. Ждут, должно, где-то.

Вдруг в каком-нибудь Мелитополе? А может, и здесь, под боком, только до поры до времени голоса не подают. Ждут, а я от них, может, все в сторону и в сторону забираю. А надо якоря потяжелее бросить — и ни с места. Дыхание затаить, терпения побольше в грудь набрать и не выныривать. Доля сама и отыщет, и крест преподнесет... А может, все же искать, перемещаться? Зигзагами, от города к городу, от речки к речке. Вот он же искал. И где нашел! Догадался, высмотрел... И она говорит: «Судьба, наверно...» Столкнулись две жизни, соединились неисповедимым путем — конечно, в чудеса поверишь. У меня — никакой судьбы. Годы катятся и катятся, бесшумно, как во сне. Какая это судьба? Времяпрепровождение. Жил и будто бы не жил. Крест, доля, судьба, вера в чудеса — неужто все это не для меня?!»

Микулин вовсе распалился и всерьез, с холодеющим, ухающим сердцем вдруг подумал, что, может, прошедший день и обладал той тайной силой, непостижимой властью, соединяющей сердца, влекущей из далеких далей разных людей и бросающей их друг к другу в каком-то тесном, жарком вагончике, в июле, у подножия зеленой сопки. Катин смех, этот ее «лобастик» и есть голос той самой судьбы, которой у Микулина не было. И пасечник, может, вовсе уж и не муж ей, а некий распорядитель этой судьбы, и крест нести поручает теперь Микулину. И Катю, наверное, ничего уже не связывает с пасечником, их судьба уже изжила себя, изболела или просто была частью, отрезком другой, окончательной и подлинной судьбы, соединяющей Катю с Микулиным. «Да, правильно. Только так. После всего нынешнего... Никто меня так не звал. Никогда я так не беспамятел. Вот тебе знак, вот тебе голос! Не проморгай».

Очень спешил, очень радовался, что выпал ему столь решительный и бесповоротный день.

Катя уже ждала, сидела на порожке, смотрела на микулинскую тропу. Он с уверенной радостью подумал: «Тоже уж до всего догадалась. Вон как высматривает».

Длинные, грустные тени, легшие от кустов и вагончика, зеленая сопка, нежно омываемая закатом, отозвались в душе согласным, счастливым звоном.

— Катя! Ты поймешь. Да ты, наверное, уже поняла.

Катя! Мы будем вместе, всегда. Иначе нельзя! — Неостывающим, рвущимся голосом он проговорил ей все-все свои дневные, прихотливые сны, не заметив ее первоначального, испуганного недоумения и последующей ласковой грустной снисходительности, материнского умиления в повлажневших глазах.

Она сидела повыше, обхватила его голову, прижала к груди.

— Куда же ты торопишься, миленький? Ну, почему ты такой быстрый, а? — Чуть касаясь, остужая, целовала его воспаленный лоб, а сама смотрела поверх головы на речку, на медленную, розовую воду.

— Правда что лобастик. Как все ладно и быстро удумал. Ох, ты-ы... — Теперь она потихоньку дула ему на лоб. — Еле дождалась тебя. Мне ведь бежать надо, миленький. Старуха совсем расхворалась. Корову надо встретить, подоить... Утром, утром, лобастик, увидимся. Правда, правда, утром.

Он быстро и опять с радостью согласился: да, конечно, утром. Все уже ясно. Правильно, пусть поможет этой бабушке...

Быстро и жадно заснул — во сне, во сне преодолеть этот пролет, этот темный прогон до утра.

...Издалека увидел, что ложбина опустела. Ни вагончика, ни ульев. Остановился. «Да, правильно. Так, — подумал с каким-то ледяным, гулким спокойствием, словно возникло оно не в нем, не внутри, а подступило и окружило извне. — Не под силу крест. Не доверили. Долго собирался. Куда мне теперь? В какой Мелитополь?»

Все же подошел к ложбинке. Прямоугольник сухо-зеленой травы обозначал место, где стоял вагончик. А вот и бывший погребок — мелкая яма, обсохшая по краям. Микулин нагнулся, потрогал песок — он был сырой и теплый.



МИЛАЯ ТАНЯ

На Севере он жил давно, по его словам, совершил здесь, среди фиолетовых, каменных гор, три жизненных витка. Первый, беспечальный и стремительный, пронес его по Битимским гольцам, по якутским болотам и марям. Рубили базовые склады, пробивали зимники и к чуть теплившейся тогда стройке, тянули линии электропередачи — сладковатый привкус спирта по утрам, ведро ледяной воды на смуглые, двужильные плечи, дребезжащий, лязгающий вездеход с прорванным, прожженным брезентовым верхом. И как бы в созвучии с размашистой просторной жизнью тогда его звали все Арсюхой. Даже начальник стройки, подчеркнуто-чопорный Тышлер, как-то на «летучке», забывшись, сказал: «Придется поднажать, Арсюха...»

Второй виток начинался в свежей, чистой до гулкости комнате Нины Афанасьевны и обещал движение медленное, по самой длинной орбите: семья, дети, их отрочество и юность, тихий и ясный закат в окружении внуков. Нина Афанасьевна, пухленькая, резвая, румяная женщина, с певучим голоском, говорила в то апрельское, мглисто-серое утро: «Только не уходи надолго,

Арсений. Тебя не было, я ни-чего не знала. А теперь я не смогу-у без тебя. Арсе-ений, не пропадай», — и, захватив розовыми маленькими ладошками его чугунные скулы, наклонялась над ним и целовала маленькими оттопыренными губами — он потом шутил: «Клюй, клюй свои зерна». Но скорый на встречи и разлуки Север не захотел, чтобы она возвратилась из отпуска, о чем сама Нина Афанасьевна написала так: «Не мо-гу. И без тебя не могу, и там жить не могу. Приезжай. Милый, милый. Ар-се-е-ний. Слышишь, как я грустно пою твое имя?» Он не поехал, сходил лишь в отдел кадров, взял ее трудовую книжку, отправил. Вдогонку перевел немного денег на новоселье Нине Афанасьевне.

Пришло зрелое одиночество, с горечью житейских неудобств, но и с самовластною завораживающей размеренностью — на этом, как он называл его, витке торможения, он надеялся осмотреться, прикинуть хотя бы начерно будущие дни и кого-то или чего-то дождаться. Завел собак, двух рыженьких карело-финских лаек. Они, деликатно повизгивая, не торопясь бросаться на грудь, не узнав настроения хозяина, встречали его по вечерам в двух полупустых комнатах сборно-передвижного дома.

Весенняя охота со снеговой, синё взбрызгивающей под ногами жижей, с теплыми внезапными туманами по вечерам, настоянными на зеленой горечи тальников; осенняя охота в золотых, прозрачных распадках, с серебряным лосиным ревом над утренним, легким куржаком — и столько чистой, невыразимой тоски вплеталось в летящее, зовущее серебро, что спина леденела от восторга. И как бы вырытый между охотами, между другими досужими днями — котлован, котлован, котлован! Некое, по представлениям Арсения Петровича, вместилище случайностей, зримо обозначенная закономерность, набитая этими случайностями. Заморозили бетон, кран сошел с рельсов, затопило насосную — котлован был неутомим. Подчиняясь ему, ненадолго одолевая его, занятый только им, Арсений Петрович тем не менее все чего-то ждал.

Он усмехнулся, когда слышал: «Власть Севера, северный плен, северное притяжение», — и скуластое его, большелобое, с широким, крупным носом лицо кривилось, морщилось: экие, мол, глупости сочиняют да еще проговаривают их вслух. Он был убежден, что, помимо дурной привычки не считать деньги, Север, как и лю-

бое другое место России, проявляет в человеке естественные желания: покрепче привязаться к работе, к дому, к окрестностям, и без нужды от добра добра не искать. Верно, в отпуске, где-нибудь на южном берегу, сквозь сморенные солнцем веки начинал проступать зеленоватый закат над сумрачно фиолетовыми горами, и пробивались сквозь сонное дыхание моря звон, переливы безымянного ручья под тяжелыми, почти черными листьями моховки — дикой смородины. Вот тогда и подмывало перенестись каким-нибудь чудом к этому ручью. Впрочем, думал Арсений Петрович, если бы он прирос, допустим, к калужской земле, то вот так же бы подмывало перенестись под какой-нибудь старый дуб среди поля ржи.

И все же Арсений Петрович не мог устоять, когда слышал: «Ну, это же северянин!» — не мог не откликнуться враз помолодевшей, доступной любому бесшабашию душой на этот восхищенно-почтительный возглас, подразумевающий в нем мощь и ширь натуры, и, конечно же, денежную мощь. Хотя после был отвратителен себе до какого-то серого мелкого озноба, но в том же отпуске, к примеру, откупал рестораны, устраивал тысячные пикники, сам богатырствовал в застолье, уверял разную шушеру, что может пить водку только пивными кружками — иначе «не берет».

Вот таким купцом-молодцом пронесся он однажды по Гагре, в сущности никого не удивив и даже не всколыхнув банной духоты этого городишки, переплыл на каком-то кораблике в Феодосию, круглосуточно держа в ресторане открытый стол для пассажиров и для команды. В Феодосии показалось скучно, переехал в подмосковный санаторий, где ранним августовским утром был разбужен перепуганной, невыспавшейся дежурной:

— Товарищ, там три машины за вами! Вы что, уезжаете? Предупреждать же надо!

С трудом вспомнил, что вчера долго и скучно гулял с какими-то девицами по московским ресторанам, потом, возвращаясь, дал таксисту задаток, просил приехать на трех машинах — «компанией в Ясную Поляну поедем». Спустился к таксистам, двоих отпустил, одного оставил, пошел в купальню. Окунулся в теплую, розово курящуюся воду, поплавал, сел на берегу в тяжелых, черных, холодно-мокрых трусах. И хоть отдыхал третий месяц, был белый, оплывший, весь какой-то сту-

денистый. «Противно, ох как противно!» — вздохнул Арсений Петрович, поддел горстью серой, глинистой грязи, потерся ею и снова полез в пруд. Над ним влажно зашелестела береза, только-только с верхушки прихваченная дымно-желтым солнцем, вспыхнули кресты и звезды на лазурной маковке церквушки, стоявшей на бугре, на той стороне пруда. Тихо, ясно, как бы оберегая и приветствуя эту рань, зазвонили колокола.

Не вытираясь, брезгливо морщась, будто наглотался тины, Арсений Петрович пошел к машине. И пока шел, решил: «Переменюсь. К черту все. На кого я похож? Какое-то скотство, грязь, эти девицы вчерашние — переменюсь, или не знаю, что с собой сделаю». Сел в машину, уехал в аэропорт и через сутки входил в свои полупустые комнаты в сборно-передвижном доме.

Переменился. Бросил пить, за два месяца выходился по гольцам так, что тело стало тугим и звонким, как крепкая, сухая лиственница. Отпустил бороду — выросла светло-каштановая лопаточка, скравшая его тяжелые скулы и широкий, крупный нос, приглушившая густочайный, несколько сумрачный блеск его глаз. Выписал целую охапку газет и журналов, набрал в постройкомовской библиотеке книг — библиотекарша записывать устала. Нашел в старом карьере маленький, с ноготь, гранатовый огурчик, заказал для чего-то перстень — то ли в честь своей новой жизни, то ли чтоб не сглазить ее — сам толком не знал. Появилась новая привычка: покручивать перстень на пальце, поглаживать — вроде сосредоточеннее думалось при этом. Потирая шершавую, неотшлифованную спинку гранатика, Арсений Петрович часто усмехался: «Гулял истово, истово бросил — добра не жди. Можно сказать, на четвертый виток пошел. В полете и разберемся».

По вечерам, накормив собак, читал. Или писал письма. Он неожиданно пристрастился к этому писанию: разыскал по чемоданам старые записные книжки, выбрал из них адреса полузабытых приятелей, каких-то двоюродных братьев и сестер, кому раньше отправлял только открытки к праздникам, да и то через раз. А тут вдруг потянуло подробно описывать здешнюю жизнь, с пейзажами и характерными фигурами на их фоне, здешние нравы с перечислением свадеб, юбилеев и кушаний. Письма выходили длинными и вроде бы остроумными, не без доли праведнического пыла, который возникал

как бы самовольно из теперешней его трезвости и безгрешности.

Скопив несколько отгульных дней, каждый месяц летал в областной город — в поселке понимающе говорили: «Правильно. Душу отведет — и назад. Что же на глазах-то куролесить?» Арсений Петрович знал об этих разговорах и снисходительно удивлялся недостатку вообразжения у своих подчиненных и товарищей: «Насчет души все верно, дорогие мои. Душу отведу — и назад. Да на свой лад. Мне этот лад дорог, а вам — и знать не обязательно».

Сидел в гостиничном ресторане, обедал. Поглядывал за окно, где свистела в коричнево-сизых сучьях февральская метель — свист, должно быть, исходил из серой, мыльной мглы на востоке, откуда мчались острые, низовые всхлесты, а уж потом их догонял рваный, обвальный свист.

— У вас свободно? — спрашивала женщина в черном кружевном шарфе под собольей, чуть надвинутой на лоб кубанке.

Пока садилась, Арсений Петрович заметил, что она тонка, гибка и, видимо, подчеркивает это: черный, отливающий серебром свитерок заправлен под широкий замшевый, туго стянутый пояс.

Подвинул ей карту, пепельницу — не взглянув, кивнула, сразу же открыла карту. Большие, овально сглаженные прямоугольнички очков были в странном, неуловимом соответствии с нежно-впалыми, смуглыми щеками — без очков, подумал Арсений Петрович, лицо не было бы таким законченным, таким... он не нашелся каким. «А ведь она где-то неподалеку работает. Или живет. Метелица — с ног сшибает, а на ней ни следа нет. Даже не разрумянилась».

— Вы из редких металлов? — напротив гостиницы стоял институт редких металлов.

— Из редчайших. — За стеклами холодно, черно, округло посмотрели на него.

— Извините. — Арсений Петрович взялся за перстень, повертел, погладил его.

Она ела, чересчур отставляя, оберегая губы, точно беспокоилась за помаду, хотя они были естественно темны и вишневы.

Видимо, она была голодно раздражена, но вот отошла, смягчилась, за стеклами прищурились черные, без зрачков глаза, живо и влажно заблестели. Спросила, кивнув на перстень:

— А вы, значит, специалист по редким камням?

— Увы, я в них ничего не понимаю.

— Как же так? С бородой и не геолог. Вы, наверное, где-нибудь дрейфуете, что-нибудь покоряете?

— Сегодня же сбрею бороду. Это никуда не годится: вводит в заблуждение такую... — Арсений Петрович замялся.

— Подумайте, подумайте. Хоть уж комплимент будет редким.

— Ох! Извините меня, сиволапого. Такую прелестную женщину.

— Стыдно. Надеюсь, только борода мешает разглядеть ваш стыд.

— Для того и отрастил.

— А все-таки скажите, хочу угадать, вы занимаетесь чем-то близким к земле?

— Угадали. Я потопы устраиваю. Была земля — и нету. Вместо нее — водная гладь. Гидростроитель я.

— Зачем же вы так? Вы же не бог.

— Не бог, не царь, но — человек.

— Ах! Ах! Ах!

Он рассчитался, но не вставал.

— Можно, я еще с вами посижу?

— Посидите. Время ваше, не мое.

— А можно узнать уж заодно, как вас зовут?

— Таней.

— Татьяна... А дальше?

— И вам и мне хватит Тани.

— Таня, только не обижайтесь. Можно, я приглашу вас куда-нибудь?

— Вы что здесь делаете, гидростроитель?

— Да ничего. Ну, можно сказать, в командировке.

— Тогда понятно. Командировочные утехи. Тоска, пустой вечер, жажда развлечений, предпочтительно в женском обществе. Вот уж действительно тоска. Нет, не хочу.

— Таня, правда? Пусть тоска, пусть пустой вечер, но отчего же не увидеться? Никогда не виделись и вдруг посидим, поговорим. Или пойдем куда-нибудь. Я же вас не съем.

— Попробуйте. — За стеклами остывающая, какая-то отдаленно мерцающая чернота. — Вы мне позвоните. Вот телефон. Если ничего более интересного не случится, пойду с вами.

— И на том спасибо.

Позвонил.

— И куда же мы пойдем, Арсентий Петрович?

— Можно в театр, можно в концерт. Вот тут прочитаю сейчас на афише. Можно в ресторан.

— В такую холодрыгу, в такую пургу. Конечно, в ресторан.

Удивилась, что он не пьет.

— У вас что, больное сердце?

— Зарок, Таня. До лучших времен.

— А я с удовольствием выпью. Закажите, пожалуйста, водки. В нашей богадельне холод, как на улице.

— Таня, а почему вы по телефону назвали меня Арсентием? Вы забыли, что я Арсений?

Смутилась, прикусила губу, вспыхнула.

— Не забыла. Но почему-то в ту минуту захотелось сделать вид, что забыла. Извините.

Сняла очки, открыв неожиданно густые с рыжинкой брови. И без очков глаза были больше, с грустною, переливчатой, вовсе не близорукой чернотой.

Он чуть плеснул себе водки в бокал с минеральной водой.

— Неловко совсем дистиллированным быть. Таня, на Севере есть довольно грубый, но не бессмысленный тост. Будем! То есть будем знакомы, будем друзьями, будем сердечно близки.

— Ни-че-го себе! Этак за один тост вы чуть ли не в родственники выбьетесь. Нет. Северяне очень торопятся. Давайте спокойнее: за знакомства, в которых потом не раскаешься.

— Можно и так.

Через минуту, глядя с неким отстраненно-щемящим чувством на ее заалевшие, чудесно ожившие щеки:

— Вот уж не думал не гадал, что такой вечер мне выпадет. Таня, можно узнать, как вы живете?

— Во-первых, не радуйтесь. Я не подарок. Во-вторых, если не о чем спрашивать, помолчите.

— Я же вам не на улице кричу: как живете? Можно же всерьез отвечать.

— Я не замужем. Живу на квартире. Приближаюсь к тридцати. А вы, конечно, холостяк?

— Я как-то не поспеваю за вами. Почему «конечно»?

— Бросьте эти командировочные хитрости. Все вы — холостяки, и у всех у вас разбитая жизнь.

— Бог с вами, Таня! Откуда вы это взяли?

— Знаю. А может, чушь говорю. Захотелось — сказала. — Она надула губы, резко почиркала вилкой по салфетке.

— Вот это мне понятно. Захотелось — и весь спрос. Ну наконец-то и крупу принесли.

— Какую крупу?

— Ну, вы же как мышь на крупу надулись. И я подумал...

Улыбнулась, вздохнула, достала из сумочки сигареты.

Он рассмешил ее, рассказав, как однажды на охоте спросонья принял свою же собаку за медведя и как быстро, ловко убегал на четвереньках в кромешной тьме и ни разу ни обо что не ударился.

— Вы молодец. Я боялась, вы начнете какие-нибудь героические северные истории. Про спирт, про молчаливое мужество, как волосы по утрам к тюфяку примерзают. А вы — смешное и очень милое.

Разговорилась и она. В вычислительной группе их института одни женщины, «один романы и увлечения, — сказала Таня и улыбнулась. — Если бы все слезы, которые пролились в нашей группе, собрать вместе, их вполне бы хватило на ваши турбины, или как они там называются? Целая бы гидростанция на слезах работала. Представляете, от слез влюбленных женщин весь ваш Север бы осветился».

Арсений Петрович ждал, что сейчас перед ним развернется полотно, этакий свиток причудливых и печальных связей, каких-нибудь персональных дел и личных драм — о них так любят поговорить счастливые до самодовольства женщины или, напротив, круглые неудачницы. Но ошибся — она вдруг принялась рассказывать о многочисленных ухаживаниях за нею. Мужчины из этих ухаживаний все, как один, были посрамлены, ею осмеяны, сражены ее неприступностью, остроумием, язвительностью. «Нет, это был просто невозможный тип!» — смеялась Таня, и голос ее сиял каким-то счаст-

ливым, льющимся полногласием. А глаза — очки она так и не надела — победительно, напряженно щурились, в них плескалась влажная, засеребрившаяся чернь. Со смеющихся губ на маленький, смугловато-блестящий подбородок как бы перебегали, перескакивали легкие морщинки, скорее даже дрожащие легкие тени.

И Арсений Петрович улыбался: «Господи! Какие глупости болтает. А ведь была умной и насмешливой. — Но улыбался все равно с охотою. — Ну и черт с ними, с глупостями. Ведь слушаешь же. И не возмущают они тебя. И будешь слушать. Милая удивительно. И руки смуглые, сухие, узкие — печальные, что ли? Грустные? Нет. Вроде сами по себе, а все что-то перебирают, передвигают. Тревожные — вот какие! Ну и ты на глупости-то, надо сказать, горазд».

Он растрогался, взял Танину руку, хотел поцеловать.

— Нет, нет! Я не люблю. Еще чего. — Он, видимо, перебил ее, и она опять надула губы, резко отодвинула рюмку.

У ее дома, черного, просевшего пятистенника, Арсений Петрович спросил:

— Таня, а можно, я хотя бы в щеку вас поцелую?

— В другой раз. Если удастся.

Назавтра он улетал. Позвонил перед самолетом.

— Таня, а можно, я о вас думать буду?

— Что, вам там делать больше нечего? Ох и чувствительный народ эти северяне. Ну, привет северному сиянию.

В самом деле думал о ней, улыбаясь в бороду, потирая грудь, непостижимо соединяя в воспоминаниях нежную смуглоту ее щек со счастливо звенящим голосом: «Это был просто невозможный тип!» — «милая, какая она все-таки милая.

Прилетел в марте, позвонил:

— Таня, добрый день. Если помните, это Арсений Петрович.

— Здравствуй.— Помолчав, добавила:— Те.

— Пустое «вы» сердечным «ты» она случайно заменила... Напрасно переправили, Таня.

— Неужели стихи начали сочинять? До чего вы до-

жили. — Он гмыкнул, смущенный ее невежеством и чрезмерной трезвостью шутки. Впрочем, смущение быстро вытеснилось — он очень хотел ее видеть.

Встретились в сумерках — сверху, до крыш, прозрачных и синевато-льдистых; внизу — дымно-серых, теплых, согретых, видимо, сухим уже, пыльным асфальтом и весенним возбуждением толпы. Он привез с собой красной рыбы, котелок черной икры, вяленой сохатины — хотел угостить Таню.

— Пойдемте ко мне. Обещаю ужин в северном исполнении.

— Вы с ума сошли! Чтобы я! Пошла в гостиницу к какому-то бородатому мужику. Ни за что.

— Тогда выходите за меня замуж.

— Ага. Белых медведей поеду смешить. Какая из меня северянка! Весна, а я зябну. Что мы там делать будем? В жестокие морозы и в жесткие сроки возводить ГЭС?

— Таня, а можно вас попросить...

— Можно, можно! Что вы все время такой разрешительный? Говорите прямо и ясно, кто я вам такая, чтобы разрешать?

— Таня, только не говорите потом, в кругу своих женщин, своих сослуживцев... Что вот, мол, сваталось ко мне одно бородатое пугало, а я его наповал отшила. Будьте добры.

Она остановилась.

— Ну что ты! — сказала вдруг поникше и дрогнувше. Взяла под руку. — Пойдемте, Арсений Петрович, на остров.

На острове было светлее, чем в городе, ноги задевали о вытаявшую черную полынь, и ее слабый, сухопыльный дух провожал их, пока они ходили. Таня молчала, все шла чуть впереди, как бы по золотистым, оплывшим дымной радугой уличным огням, из-за темноты опустившимся ниже острова. Свернула к скамейке, присела, потянула его за рукав:

— Хотя бы в щеку... Вот, помню. — Щека была тепла, упруга и тоже отдавала полынным веем.

Снова отчужденно пошла чуть впереди, легко, тонко наклоняясь на ходу, кутаясь в воротник, хотя ветра не было. «Озябла совсем. Одна, все одна, привыкла зябнуть. Бежит-то как, господи!» — Арсению Петровичу так стало тревожно за нее: куда вот клонится, зачем так

кутается, прячется, что с ней будет? — что он догнал, обнял за плечи, что-то утешающее, горячее, хорошее хотел сказать ей, но сказал лишь:

— Ох, Таня, Таня.

Стояли на ее крыльце, вышла хозяйка закрывать ставни. Таня познакомила их.

— Марья Дмитриевна, — поклонилась маленькая беленькая старушка. Арсений Петрович успел рассмотреть ее. — Что же вы не проходите? Самовар горячий. Угощай, Татьяна, кавалера-то.

— Не приглашают, вот и не проходит, — сказала Таня.— У товарища ужин в гостинице стынет. Пока, Арсений Петрович. Не выпрыгните на ходу из самолета.

— Ох, Таня, Таня.

В апреле, прилетев, не стал сразу звонить. Зашел на базар, купил у печального, с перевязанной щекой кавказца бело-розовые махровые пионы. Окунул нос в прохладно-влажные лепестки:

— Что-то пахнут слабо?

— С дороги, дорогой. Устали, отдыхают. Отдохнут — голова будет кружиться.

Думал оставить цветы у Марьи Дмитриевны, а уж потом идти к Тане. Но она сама открыла дверь. В брюках, в белой пушистой кофточке, тесной в груди, на плечах платок с лазоревыми разводами по черному полю. Хмуро посмотрела на пионы:

— Шикуете? Князь северный. Вот теперь попробуй не впусти вас.

— Вы хвораете, Таня?

— Ремонт в нашем институте. Ну и чтоб не мешались, негласно распустили.

— А я-то думал уговорить Марью Дмитриевну не выдавать меня и оставить открытку в цветах: «От неизвестного со всею его любовью».

— Так уж и со всею...

В ее комнате, оклеенной обоями в мелких розовых бутончиках, была открыта форточка, и апрельский, пахнущий нагретыми мокрыми крышами ветерок вкусно перемешивался со свежим сигаретным дымом. Старое настенное зеркало в вишневой резной раме, комод этого же дерева и этой же работы, круглый стол под белой

льняной скатертью у большого, простеженного тонкими ремешками дивана.

— Садитесь на диван, складывайте руки на коленях и готовьтесь к ужасному наказанию: будем коротать время.

Заглянула Марья Дмитриевна, поклонилась-поздоровалась, увидела пионы:

— Ох ты! Богатство какое! Да перед самой пасхой — вот уж правда, Татьяна, светлое воскресенье у нас будет.

Убежала на кухню, загремела ведрами, зазвенела банками, чуть зарумянившись сухоньким, сморщенным личиком, расставила цветы в воду. Потом у себя в комнате громко скрипела дверцами шкафа, хлопала крышкой сундука со звонкими пружинами — собралась и куда-то ушла.

Таня молча ходила от букета к букету, наклонялась к ним, касаясь лепестков губами, растягивая, раскрыливая при этом концы лазоревого платка.

Вздохнула:

— Да, все-таки замечательно! — Села к нему на диван. — Ты, должно быть, думаешь, у меня кто-то есть? Никого, никого. Да и ты то ли есть, то ли нет.

— Таня, а ведь можно выйти за меня замуж.

— Глупости какие! — Придвинулась, обняла, с неожиданной силой и страстью поцеловала — пахнуло прохладными пионами. Ладони Арсения Петровича почувствовали, какая у нее гибкая, непокорно-молодая спина. — Нет, нет. Я сама...

— Ну вот. Доигрались, — говорила после, стоя у открытой форточки и куря. — Теперь что же? В самом деле за тебя замуж? Только у тебя противная пыльная борода.

Он, подойдя сзади, поцеловал склоненную, охолодавшую уже под ветерком шею.

Майским воскресным полднем, выйдя из самолета, Арсений Петрович разыскал в вокзале парикмахерскую, сел в кресло, обмахнул рукой вокруг бороды:

— Долой, — заранее смущаясь голого лица и посмеиваясь над этим смущением.

Оттопыривались в зеркале губы, тяжелел нос — «хоть не смотри, честное слово», — вздыхал Арсений Петрович.

Побритый, с цветами — жених женихом — взошел он на Танино крыльцо.

Открыла Марья Дмитриевна, долго вглядывалась, не узнавая, а узнав, заплакала, потянула передник к глазам.

— Я вам телеграмму хотела дать, да не знала куда. Адреса-то не нашла.

Он молчал, напряженно выставив цветы, точно загораживался ими.

— Нету Тани-то, нету-у... — Марья Дмитриевна спрятала мокрое личико в передник. — Сердце-то слабое было... А тут простыла. В три дня, в три дня-а, батюшка...

Он положил цветы на перила, приклонился к крылечному столбу.

— Прямо сгорела...

Он почувствовал, как неприятно вспотели голые щеки и губы.

— Где ее... положили...

— На городском, вон на той горе.

Думал, никогда не поднимется на эту гору — так было жарко и так тяжело подчинялись ноги. Ходил и ходил по красным глинистым дорожкам, под свежей листвой тополей и рябин — Тани нигде не было, затерялась на этом печальном, ярко зеленеющем пространстве. И у Марьи Дмитриевны не спросил, в какие ворота, в каком углу. Негромко ударил барабан, и негромко устало вступил оркестр — Арсений Петрович испуганно оглянулся: померещилось. Но в удалении на еще не засаженном пустыре стояла черная машина, стояли, опустив головы, люди — «да, и по воскресеньям тоже», — отвернулся Арсений Петрович.

Он понял, что сегодня Таню не найдет. Сел на лавку под высокий куст боярышника. «Таня, милая Таня...» Закинул голову.

В вечереющем, но все еще жарком, бесцветном небе где-то летел самолет. Его не было видно, и молочно-белый, чуть розовеющий след будто бы сам по себе совершал виток. А рядом с ним проступал уже голубоватый, нагой, прозрачно-веселый месяц.



СИТЦЕВЫЕ ЗАНАВЕСКИ

— О-хо-хо да о-ха-ха, далеко ли до греха,— приговаривал Коля давние бабушкины слова, потягивался, позевывал, но вполголоса — боялся разбудить хозяйку за стеной.— Возьму вот и снова завалюсь. Еще минут на триста — пропадай эти экзамены и стипендия вместе с ними! Спать хочу, есть хочу, больше ничего не хочу!— Так вроде бы безвольно расслабляясь, он тем не менее трезво уже посматривал на развалы учебников и тетрадей, ждавших его на столе, на подоконнике и табуретке, на гимнастическую резину, клубочком свернувшуюся у порога, на черные, холодные лбы гантелей, высунувшихся из-за печки. Надо было начинать день, и Коля встал, распахнул окно, раздвинул пестренькие занавески, чтобы не замедляли хода утренних свежих волн. Передвигаясь потом по комнате, выжимая гантели, растягивая резину, приседая, он продолжал ворчливо насмешничать:

— Сдался мне этот режим, плевал я на всякие распорядки и беспорядки, я вольно жить хочу, отдыхать и веселиться. Лениться хочу, дурака валять, наследство хочу получить.

Эта Колина склонность оговаривать себя, переиначивать на словах каждый свой вдох и выдох проявлялась не только в дремотно-брезжущие утра, но, пожалуй, более всего в прочие, ничем не замутненные минуты.

К примеру, какой-нибудь институтский приятель, напуганный накануне сессии собственной ленью и праздностью, приставал к Коле:

— Колька, вывернемся, нет? Нет, ты почему такой спокойный?! С профессурой домами дружишь? О, о! Весело ему. Выгонят же, в стройбат забреют.

Коля похохатывал, приобнимал приятеля за плечи:

— Не дергайся. И будешь долгожителем. У меня вон дед к сотне подкрадывается. А почему? За жизнь ни одной нервной клетки не потерял. Вот как-то пошли с ним за черникой. Ходили, ходили — я уж язык высунул, на плечо положил, норовил присесть на обочинку. А дед меня учит: не думай, не думай, паря, что устал. На ходу и отдохнешь....

— Колька! Пошлю ведь. И очень далеко.

— Я, знаешь, как делаю? Учебники под подушку, конспекты под зад — и сплю. Обучение во сне. С утра умны-ый, аж голова трещит.

Приятель, ругаясь, отмахивался, убегал, а Коля весело кричал вслед:

— Не дергайся, па-ря! Отметок на всех хватит! Не обойду-ут! — И круто поворачивал, торопился домой: конспектировал, чертил, читал, запоминал, а где туго давалось, зазубривал — беспечность беспечностью, а прилежание прилежанием.

Когда другой приятель попробовал однажды занять у Коли после стипендии, тот виновато, но и с долею гусарской гордости вздохнул:

— Прокутил. До копеечки, до ниточки. Загулял вчера, парень, как с цепи сорвался. Ну, да и не жалко. Зато смеху, дури — покуролесили всласть.

На самом деле Коля не выпивал и по красным дням, табаком не баловался, а всегда на что-нибудь копил: на зимние сапоги, на свитер, на плащ.

Вот и в нынешнее утро, размявшись, умывшись, он вспомнил, что собирает на летний костюм и всю стипендию отнес в сберкассу. В тумбочке у него шаром покати — ни крошки хлеба, ни щепотки чая, ни кусочка сахара. Зимой, однако ж, копить-откладывать куда

легче: старушки, населявшие нагорное предместье, прямо-таки охотились за Колей — одной дров наколоть, другой снег со двора вывезти, третьей уголь разгрузить. За Колей в очередь вставали с понедельника, нарасхват был Коля, зато и кормился бесперебойно, даже капризничал: от картошки отказывался и каши пренебрежительно отодвигал. Летом же — зубы на полку. Пока огороды садили, в Коле была еще нужда, в пахаре и сеятеле, а уж полоть старушки сами готовы, в охотку поползают меж грядок, да и польют сами при летних-то водопроводах.

Коля натощак полистал учебник, но в голову ничего не шло. Замер бездумно, но вдруг встрепенулся, прижал ухо к стене: вроде бы завздыхала, закашляла хозяйка. «Нет, глухо. Показалось. И пусть, родимая, поспит на здоровье. Никаких завтраков квартиранту не надо. Все он уже вылизал в доме, все гвозди заколотил, все щепки собрал — может и не евши теперь жить. На старости-то только и отоспаться. Пусть отдыхает. Пусть хлеб в буфете черствеет, пусть из яиц птенцы вылупляются — нам торопиться некуда».

Он вышел в прихожую, приложил ухо к соседней двери, за которой жили девушки-квартирантки, работницы слюдяной фабрики. «Надежда на смене, а Евдокия, конечно, спит. И пусть спит. В молодости тоже поспать невредно. Сил надо перед сменой набраться. А сыр ее в чулане пусть заплесневеет. Пусть его мыши съедят. Завтракать всем охота. А мне этого костюма и даром не надо. Эка невидаль: бежевый, с шоколадной полосочкой. Пусть пижоны носят. А мне и так хорошо».

Осторожно, не постучал — поскребся в хозяйскую дверь:

— Милитина Фоминишна-а... Спите, нет? Милитина...

Хозяйка гулко, с надрывом закашляла, зазвякала стаканом, причмокивая, попила, забренчала спичками, закурила. Наконец пробасила:

— Здорово, Кольча. — Она родом была из Колиных мест и звала его по-тамошнему. — Спасибо, разбудил. Черт знает что за сны повадились!

— Ничего, Милитина Фоминишна. Все равно утро доброе. — Коля уже говорил погромче, понапористее, но дверь не открывал: шибануло бы сейчас прокуренно-кислым духом.

— Ну, доброе. Понятно. Еще что за новости?

— Да вот на утреннюю разнарядку пришел. Может, сделать что, сбегать куда?

Хозяйка долго не откликалась.

— Колька. Такой пока план. Возьми тележку и двигай на лесозавод. Нагреби там опилы и посыпь лед в погребе. Что-то сильно таять начал. Ну уж а магарыч, когда встану.

Привез опилки, перетаскал деревянной бадейкой в погреб, просеял сквозь пальцы, облепил желтой, влажно-теплой крупой оплывшие бока ледяных валунов — смолистой свежестью сразу же забило погреб и вроде бы потеплело. От этого соснового летнего вея дрожью в лопатках проступил скопившийся в Коле холод. И нос каменно, как-то отдельно от лица затвердел, и руки опалило ломотой. Он выскочил из погреба — густое, прошитое воробьиным чириканьем тепло крепко обняло его. Зажмурился, постоял, не вырываясь из объятий, посопел блаженно в полынную, просторную, мерно вздымающуюся грудь июньского дня. Потом открыл глаза и снова зажмурился: на веранде сиял медными боками самовар.

Милитина Фоминишна, согнутая, сухонькая, остролицая, с тяжелой кружевной шалью на плечах, не выпуская папироски изо рта, сновала вокруг самовара, выставляла «магарыч»: сметану, вчерашнюю холодную рыбу, яйца, светло-зеленый пучок ботуна, масло, хлеб. Освободились наконец руки — вытянула папироску, затянулась еще напоследок и отошла, оглядывая стол:

— Н-да, дела на полтинник, а магарыча на целый рубль. Садись, Кольча. Налегай. — От ее хриплого баса, видимо с годами так высушившего Милитину Фоминишну, вытянувшего из нее все силы, легонько задребезжали ложки в стаканах.

Коля хотел промолчать, хотел лишь согласно кивнуть головой, но затянувшийся утренний голод да недавний погребной холод вновь живо столкнулись в нем. Он разозлился:

— Жалко, что ли? Тогда и не буду. А то подавлюсь еще.

Хозяйка подумала, глядя на стол, вытащила откуда-то из-под свисающего конца шали папироску, закурила.

— Вообще-то нет. Не жалко. Одной все одно не съесть. Пропадет. По привычке, Кольча, считаю. За

жизнь насчиталась — остановиться не могу. Да садись ты, садись! На голодное брюхо все мы обидчивые.

Коля сел.

— Я тоже, Милитина Фоминишна, считать умею. Хоть и не люблю.

— А кто любит? Нужды не было бы, разве считали? А по правде-то, так, замечаю, отвыкают считать. Не от богатства, от безалаберности... Давай подвигай стакан-то.

Пока пили чай, встала Дуся — слышно было, как бренчит она на кухне умывальником. Вскоре вышла, розовенькая, гладенькая, в тесном, коротком халатике. Еще и ладони ухитрилась затолкать в маленькие, узкие кармашки — халатик сшит был без запаха и теперь расходился у пуговиц, приотрывая белое, сытое тело.

— Лучше бы нагишом вышла! — плюнула Милитина Фоминишна. — Дуська! Марш отсюда! Добро бы одна была. Парень же в доме! — Коля прикрыл глаза, вроде бы задремав от чаепития.

— Ну уж и парень. — Дуся прошла, села бочком к столу, не вынимая рук из карманов. — Какой это парень, Фоминишна! Хилый студент, а никакой не парень. Правда, Коленька? — Сладенький, веселый голосок был у Дуси.

— Угу, — не открывая глаз, кивнул Коля.

— Вот, пожалуйста. А ты, Фоминишна, прямо напугала меня. Парень да парень. Где, думаю, дай посмотрю. — Дуся встала, прошлась перед столом. — А одета я очень прилично. Правда, Коленька?

— Еще как, — опять, не открывая глаз, кивнул Коля.

— Садись, чаю попей. — Милитина Фоминишна зябко куталась в шаль. — Ох, Дуська, скорей бы ты замуж вышла. От греха подальше.

— Ой, не смеши, Фоминишна. Тебе-то какой грех?

— Вьешься уж больно сильно. И присмотреть за тобой некому. А мне жалко будет, если что случится.

— Ничего не случится. Я — девушка смелая и ничего не боюсь. Правда, Коленька?

Он, уже не отвечая, опять кивнул: «Заманивай, заманивай, я — юноша влюбчивый, мечтаю пеленки стирать, на молочную кухню бегать. Очень хочу грузчиком стать и на заочном поучиться. Всегда готов, как пионер».

Коля ушел к себе и почти до сумерек просидел над

учебниками, а потом опять постучал в хозяйскую дверь:

— На вечернюю разнарядку пришел, Милитина Фоминишна...

По субботам и воскресеньям Коля отдыхал. Милитина Фоминишна поила чаем без отработки.

— Грех, Кольча, всю неделю горб набивать.

Днем его зазывали к самовару Дуся с Надей, чтоб не скучать, а к вечеру они дружно уговаривали Милитину Фоминишну:

— Давайте вместе посидим, почаевничаем. По-людски, за одним столом, — и снова приглашали к столу Колю.

Сидели долго, до холодного самовара, до синей мглы в дверном проеме веранды. Света не зажигали. И тогда Милитина Фоминишна просила:

— Давайте мою, девки. И ты, Кольча, поддерживай. Запевали.

Ах, да со вечера
Делать нечего,
Идти некуда,
Любить некого...

Милитина Фоминишна сморкалась, всхлипывала, уходила в комнату, говоря тихим басом:

— Приберусь малость...

После Коля все хотел включить свет, но Дуся с Надей хватали его за руки, усаживали, давясь смехом, колотили по гулкой, костлявой спине.

— Как это любить некого?! А?

Коля вырывался, отталкивал их, наконец сдавался:

— Понял. Есть кого. Есть.

Ветреная синяя жара перетекла из воскресенья в понедельник, Коля глаз еще не открыл, а уже понял: проспал! Солнце горячо, нетерпеливо лизало ухо, влетев наконец в комнату, вырвавшись из тесной листвы черемухи под окном.

Вскочил, дорожа временем, слегка только, для полноты режима, помахал руками, ногами, натянул трико, решительно вышел в прихожую. На двери Милитины Фоминишны блестел маленький, с монетку замочек — значит, ушла надолго, не в огород и не к соседке, иначе бы не навесила. С пятерней в затылке поплелся к умываль-

нику, потом медленно, со вздохами выпил ковш воды, вернулся в прихожую. Увидел: дверь в комнату Нади и Дуси распахнута. «Евдокия летела. Как же это Фоминишна шла, не заметила? А-а... Еще и окно настежь. Ух ты, как тянет!»

С трепещущим присвистом реяли, летели в комнату ситцевые занавески, дрожала, перекатывалась упругая рябь по их розовым цветкам. По стене, по потолку бесшумно бежала, переливалась тенисто-солнечная волна, и ее бегущие отсветы-блики, сталкиваясь, казалось, тоже посвистывают, позванивают, тоненько шепотят — так слагался волнующе-свежий, счастливый голос июньского дня.

Под его вольный чистый трезвон Надя спала крепко и сладко. Сбилось розовое пикейное одеяло — смуглые плечи чуть пристыли, засветились матовым у ключиц; нежно, сонно розовели отяжелевшие груди,— может быть, так отсвечивало скомканное на животе покрывало, и чуть призябла тугая, белая кожа выше колен, не хватившая солнца.

Все это Коля вобрал в один миг, замер, покраснел, быстро захлопнул дверь и метнулся к себе. «Ну, Евдокия! Ну, мать честная! Ходи тут за ней, закрывай. Прямо в стыд ввела. — Почти вслух бормоча, Коля тыкался из угла в угол, не замечая ни раскрытых учебников, ни конспектов.— И окно так бросила. Сдует еще чего, разобьет. Да мало ли что может быть. — Коля еще пометался, покружился по комнате.— А что там случится? Да ничего. Не выдумывай, Коленька... И все ж таки нехорошо с распахнутым-то».

Он на цыпочках подошел к Наде.

— Надежда-а,— позвал прогорклым шепотом.— Надя. Окно-то закрыть? Ну и спишь ты. Слышишь? -- Голос сел и перешел в хрип.— Закрыть, нет, окно-то?— Коля присел на железный краешек кровати, выставившийся из-под матраца.

Надя, не просыпаясь, вздохнула с какими-то смутными словами, повернулась к нему, с сонной доверчивостью выпростала, протянула руку вроде бы как к Коле.

Он отвернулся, поглядел в окно.

— Надя! Хватит спать-то!

Очнулась, с резким, еще немым испугом отпрянула к стене, судорожно потянула, не расправляя, ком покрывала на себя.

— Ты что, Колька? Ты чего? — на просящей, жалобной нотке прорезался голос, но тут же окреп, набрал возмущенную зычность.— Ну-ка уматывай сейчас же! Подкрался! Кот ободранный! — Она толкнула его, но Коля удержался, пересел поглубже, перехватил Надины злые руки.

— Кого бьешь? Кого гонишь? Пожалей некурящего,— попробовал поцеловать в плечо, в шею, в щеку — куда удастся. Надя вырвала руки, опять уперла кулаки в Колину грудь.

— Уйди, паразит! Я кому сказала! Колька, выйди вон!

Надя наконец изловчилась и так двинула, что Коля слетел с кровати и почти сел на пол, но успел выставить назад руки.

— Надежда, ты не знаешь Колю Щепкина! Война, теперь война. Мир кончился.— Коля поднырнул под ее молотящие кулаки и обнял.— Ты не знаешь, как он к тебе относится. Ты снишься ему по ночам. На лекциях снишься.— Удалось, поцеловал в щеку, сквозь пахнущую хвоей прядь.

— Колька! Кричать буду. Лучше отстань. Укушу ведь... Глаза выцарапаю.— Но не закричала и не укусила, а только яростно и неутомимо сопротивлялась, все норовя поддеть его побольней и побезжалостней.

Взмывали над ними легкие облачка горячих, неровных дыханий, но ненадолго — свистящий, упругий ветерок, срывающийся с ситцевых занавесок, разбивал, развеивал эти облачка.

— Ох и паразит же ты. Ох и паразит...

Но и после Надя не подобрела. Молча полежав, она локтем опять так двинула Колю, что он, обидевшись, встал и перешел на табуретку.

— Теперь-то зачем дерешься?

— Затем...

Полежала, помолчала, опять сказала недовольно и зло:

— Ну, чего расселся? Обрадовался тут... Отвернись! Собираться буду...

Коля уставился в угол, поникше, устало сгорбился.

— Надежда, можно вот что придумать... — Голос его был печален и тих. — Давай в субботу в парк пойдем. Сначала на пароходике покатаемся. — Он подумал, поду-

мал, несколько дрогнувше добавил: — В ресторане посидим. Приглашаю. Потом, если захочешь, в кино можно или на танцы...

Она ходила мимо, уже причесанная, в пестром сарафане — и молчала. Взяла с подоконника зеленое колечко, пудреницу.

— Если на Дуську хоть раз еще посмотришь, берегись. Уж тогда точно глаза выцарапаю. Учти!

— При чем тут глаза? Я приглашаю тебя в субботу...

— Слышала. Посмотрим.

Собрала сумку, остановилась за спиной.

— Как молния время-то. Вот уж и на смену пора. Ты, если хочешь, у нас тут занимайся. Просторнее будет, а может, и веселей. — На прощанье стукнула несильно по спине. Пожалуй, даже ласково.— Вечером выйди к причалу, проветрись. Я с последним приплываю.

Посидел еще один, придвинувшись к окну. Поймал в кулак занавески — они забились, запарусили. Неожиданно прикоснулся к ним щекой — чистым солнышком и черемуховой горчинкой отдавал их мягкий холодок.

Ушел на кухню, в чугуне, прикрытом фанеркой, нашел картошку в мундире. Не присаживаясь, придвинув только солонку, склонился над чугуном. Задумчиво чистил, задумчиво жевал, и странно было, но чувствовал, что у него легонько, тоже задумчиво, шевелятся уши. «Ешь, Коленька, ешь. Набирайся сил, бодрости. Не мешало бы и ума немного набраться. Ну, да и без него хорошо». Вспомнил все, головой крутнул, засмеялся. «Ох и прыткий ты, Коленька. Хоть плачь. Теперь давай в парк ходить, на качелях качаться, в комнату смеха хоть каждый день, само собой — к причалу, очень полезна тебе ночная прохлада — вот тебе, Коленька, новая жизнь. Куда ты денешься? То-то и оно».

Вернулся в Надину комнату, закрыл окно, расправил увядшие занавески — иначе бы все думал, как они тут полощутся и летают, и уж больше бы ни о чем не думал.

А потом ушел к себе.



ОДНОКУРСНИЦА

— Сюда баул свой ставь, вот тебе стол, вот лежанка. Живи на здоровье.— Высокая, плоская старуха с широким коричневым лицом подошла к окну, раздернула занавески.— Кормиться-то здесь будешь или в штоловой? — Она по-чалдонски путала свистящие с шипящими. — До тебя доктора жили, дак все у меня кормились. В столовой-то молодые девки поварят. Им все быштрей, быштрей надо — набухают чо попало, а ты и есть не станешь.

— В столовой не буду, встаю на довольствие к вам,— он был полон еще новосельной бодрости и покладистости.

— Зовут меня Елена Ивановна, а тебя, жначит, как?

— Константин Николаич. — Он чуть не сказал «Коншгантин» — так заразителен был чалдонский выговор. Засмеялся. — А у вас хорошо. Чисто, солнечно. Мне нравится.— Он решительно раскрыл баул: немедленно обжиться, расставить книги, повесить платье, купить настольную лампу, и вот он — свой угол, где так сладко, наверное, погрузиться в деятельное, серьезное одиночество.

— Вечером, Елена Ивановна, прошу на новоселье.

— Ну, поживи, поживи.

Присел у окна, смотревшего на реку. Голубые торосы; санный след, бежавший вдоль правого берега, искристо, желто выблескивал на раскатах, и вдалеке, у розоватых береговых сугробов сворачивал в синюю мглу ельника. «Обязательно узнаю, куда это ездят. На лошадях век не катался. И даль какая, даль! В серебре, в дымках легоньких. Охотничьи избушки, наверное? Эвенкийские чумы». Константин Николаевич снова засмеялся: так солнечно, морозно, полозья где-то скрипят, от лучины на печке — густой смолевой дух. А еще пять часов назад он был в пыльном, ветреном октябре, солнце, красное от ветра, уже не грело, и съежившаяся жестяная листва на асфальте шуршала пусто и горько. «Но что это я расселся? Ничего не достал, не разложил, полку не сделал — ах, Конштантин, Конштантин!»

Пошел представляться главному врачу. На улице, в желтовато-синих, рассыпчатых сугробах у каждого дома лежали лайки. Не вынимая носов из теплых пазух, они провожали Константина Николаевича умными, настороженно-сизыми взглядами: кто, мол, тут еще появился? Черняленький и рот до ушей?

Больничный пригорок топорщился корявыми, низкими соснами с ярко-желтой чешуйчатой корой и засахарившимися потеками смолы — такие обычно растут на песчаных, продуваемых косогорах.

— Привет, привет,— сказал главный врач, почти ровесник Константину Николаевичу, розово и благодушно располневший. — Алексей,— сунул распаренную, вялую руку. — Устроился? Не торопись — о деле успеем! Приходи в гости. Молодость вспомним под грибочки. У меня жена тоже медик, в аптеке провизором. Ну, осматривайся. Я — в райтоп ругаться. С дровами, черти, тянут и тянут. О-о, на подъем тут тяжелы, поживешь — увидишь.

Через месяц он знал в лицо всех жителей райцентра, а их собак, пожалуй, и поближе — собачья жизнь, с драками, ссорами, мгновенными примирениями и откровенными любовными хороводами невольно занимала свежий взгляд. Он спрашивал у Елены Ивановны:

— А чей это рыжий вислоухий кобель? Ласкается, ласкается, а только отвернешься, так и норовит то за спину, то за штанину?

— Фарковский. Весь в хозяев. Сколько помню, все собаки у них такие. Лыбятся, лыбятся, а потом где-нибудь оконфузят. Ты вот замечай, Константин Николаевич: какой пес, такой и хозяин.

— Н-да,— улыбался он. — С собачьей меркой, Елена Ивановна, я еще как-то к людям не подступался.

— Все ишшо впереди. Не горюй...

В больнице у него был один только больной — эвенк Монго, лежавший с радикулитом. По утрам в окнах его палаты маячили плоские, ветвистые ухваты оленьих рогов — кто-то из многочисленной родни приезжал навестить. По вечерам он, перевязав поясницу собачьим чулком, сидел у печки, курил; бегущие от пламени тени делали загадочно-тревожным его бесстрастное, одутловато-желтое лицо. При очередном осмотре Монго сказал ему:

— На два дня отпускай меня, доктор.

— Как?! — не понял Константин Николаевич. — Ты и половину положенного не пролежал.

— Брат женится, поеду. Через два дня вернусь.

— И не выдумывай. Запрещаю. — Не мог же при всем при том объяснить Константин Николаевич, что больница лишится единственного больного — анекдот чистой воды, что ему тогда здесь делать?

— Надо ехать, доктор. Брат обидится.

— И я обижусь.

— Ты не брат, маленько меньше обидишься...

Вот так разрушались в этом богатом на здоровых людей районе все мечты Константина Николаевича о деятельной, серьезной жизни. Он взял ночные дежурства на «скорой помощи», но вызовы были так редки, что, ошалев от теплой, дремотной тишины дежурки, выскакивал на больничный двор и долго ходил под низкими крупными звездами. Слушал, как на реке с тихими стонами и резкими гулкими вскриками ломался лед — при этих стонах и криках рождались голубоватые, нежноискрящиеся торосы. С шелестящим, далеким вздохом срывался снег какой-нибудь ели; лениво, как и подобает ночным сторожам, перекликались собаки; быстро и тревожно скрипели его шаги — невероятно, что у него была другая жизнь, наполненная, как казалось ему теперь, ежедневной праздничной суматохой.

Он записался в драмкружок и сам себя ненавидел, когда деревянным, неумеренным голосом говорил: «Не об-

разумлюсь, виноват...» — но из кружка решил не уходить, пока не выгонят, все-таки два вечера в неделю заняты. Но руководительница кружка, учительница литературы Галина Алексеевна и не думала прогонять его: страдая и бледнея от его бездарности, она тем не менее ухитрялась говорить ему какие-то туманно-доброжелательные слова. Константин Николаевич не обольщался: какая же старая дева прогонит молодого холостяка?

В комнате Елены Ивановны на стене, на белой атласной тесемочке, висела мандолина, темно-вишневая, с перламутровой инкрустацией.

— Елена Ивановна, дайте поучусь. Всю жизнь мечтал на мандолине играть.

— Не дам. Испортишь, разобьешь, а мне — о штарике память.

— И правильно сделаете. Слуху у меня все равно ни-ка-кого.

— Томишься, Константин Николаевич. Дурью маешься. Взял бы да женился. Вон сколько девок понаехало. И в школу, и на метеостанцию.

— Разве со скуки женятся, Елена Ивановна?

— Почему со шкуки. Присмотрись, выбери — не на три года, на всю жизнь. Так и быть, на квартиру пущу.

— Нет, несерьезно, Елена Ивановна. Вся жизнь — слишком сурово. Ну! Путешествие без возврата. Я пока с духом не собрался. — Константин Николаевич свободу свою собирался ревностно беречь: впереди могли быть аспирантура и длительное, подвижническое служение медицине.

Его нашел пилот Красноштанов, золотозубый, плотный, быстрый, в облезлых, стоптанных унтах.

— Ну, ты тихий, тихий, а девушки из-за тебя под самолет бросаются. Держи. — Протянул записку. — Теперь лечи вне очереди. Пока.

«Село Каженка. Больница. Веронике Смирновой». «Интересно!» — прочитал Константин Николаевич обратный адрес и распечатал записку.

«Роднуля, здравствуй! — Он несколько отвык от институтского жаргона и теперь поежился от этого «роднули», тем более никакой Вероники Смирновой он не припоминал. — Что же ты не навестишь всеми брошенную и богом забытую свою однокурсницу. Костенька, как услышала, что ты рядом, честное слово, легче жить

стало. Прилетай, родной мой. Хоть наговоримся, нахохочемся — душу отведем. По пятницам я свободна, и в первую же пятницу, Костенька, жду. Уж, пожалуйста, соберись. Вероника».

Курс у них был людный, и лицо некой Вероники Смирновой сразу же слилось с другими девичьими лицами, которые попытался сейчас разглядеть Константин Николаевич. Он вспомнил ее ночью, на дежурстве, когда воспаленно-сосредоточенный мозг, измучившись мгновенными находками и мгновенными же их потерями, вдруг вырвался в большое светлое помещение — нашел наконец. Да, Константин Николаевич увидел себя в институтской раздевалке, услышал вскрик: «Костенька, держи!» — на него с разбегу летела, то ли запнувшись, то ли поскользнувшись, чернокосая, с испуганно-радостными глазищами Вероника. Да, да, это была Вероника Смирнова. Он подхватил ее тогда и хорошо сейчас вспомнил, как с невольною силой и мягкостью прижалась она грудью в тонкой, кажется, шелковой блузке.

В пятницу, отпросившись, он полетел с пилотом Красноштановым в Каженку. Перед посадкой, уже над Каженкой, Константин Николаевич нетерпеливо припал к окну, точно мог кого-то разглядеть среди редких, одинаково черных фигур встречающих у рубленой избушки аэровокзала. На саму же Каженку и смотреть нечего было: те же темные, крепкие избы, как и в его райцентре, своры собак на улицах, в окрестностях — те же старые ельники, покойно заснеженные озерца-калтусы меж ними, редкие заплаты пропарин на белой спине реки.

Встретила его курносая, не закрывавшая веселого набитого зубами рта, женщина, в белом полушубке, в расшитых бисером оленьих камусах, в белом пуховом платке, туго стянувшем крепкие румяные щеки. Встретила, подхватила под руку:

— Родной мой, ты просто чудо, что собрался!

Такую Веронику он все же не знал, но теперь было совестно признаваться, и Константин Николаевич с излишне твердою веселостью выговаривал:

— А долго ли нам собраться? Голому собраться — только подпоясаться... Рад тебе, очень. Сельская жизнь тебя не сломила. Ты все так же весела и открыта.— Про себя между тем растерянно соображал: «Лицо, несомненно, знакомое. Но нигде и ничто нас не сводило.

Девчонок же добрая сотня на курсе была. Теперь что ж, буду выкручиваться. Поменьше прошлого, побольше настоящего».

Занимала прируб к больничному пятистеннику — комнатка, кухня, сени с чуланом. И без полушубка оказалась крепка и широка статью, выскакивала простоволосой, с голыми руками в чулан за пельменями, за мороженой брусникой, за дровами к поленнице под окном, не давая ему встать на помощь:

— Ради бога, сиди, родной мой. У меня вообще-то все готово, только вот занесу. Сиди рассказывай. Я так соскучилась по городу, по всем нашим.

Но рассказывать ему ничего не пришлось. Хлопая дверьми, подтапливая печку, перетирая тарелки, Вероника только спрашивала, не дожидаясь ответа.

— Помнишь, как мы хохотали до упаду, когда профессор Зуев читал о простудных заболеваниях? Только сказал: «Простуда любит вялых и ленивых»,— и сам так расчихался, что мы прямо попадали все. Ты в третьем ряду сидел, и так уж тебе смешно было, что ты хлопал соседа по плечу — я думала, оно у него отвалится... А последний колхоз наш помнишь? Так весело жили, по-особому дружно — прощально, что ли... у тебя тогда был красный шарф, длинный-длинный... Ребята еще шутили: «Костя, тебе бы быков дразнить, а не турнепс дергать».

Константину Николаевичу было неловко: «Ну надо же. В самом деле, был у меня такой шарф. Все помнит, а как же я-то ее не видел? Где глаза-то были?» — Неловкость вытеснялась виноватой растроганностью: «Вот был человек, который видел, где я сижу, какой шарф ношу. Влюблена, наверное, была. А я даже не помню, в какой группе училась. Вот так-так. А вроде только тем и занимался, что по сторонам глазел».

Когда сели за стол, Константин Николаевич сказал, приближая, неся рюмку к Веронике:

— Спасибо тебе за хлопоты душевные, за воспоминания твои — от самого, самого спасибо. — Чокнулись.— И позволь уж по старинному обычаю.— Наклонился, поцеловал в плечо. Губы пришлись на срез блузки, и он одновременно почувствовал тепло и бархатистость ткани, и прохладу, упругость кожи.

— По-моему, ты была в такой же кофточке? Помнишь,

когда ты чуть не упала в раздевалке? И я тебя подхватил?

— Родной мой. Ты все перепутал. Это была Алка Семенова.

— Какая Алка Семенова? Совершенно ее не помню. Ты просто забыла. Неужели не помнишь? Ты еще крикнула тогда: «Костенька, держи!»

— Нет, Костенька, это ты забыл. Мы с Алкой немного походили друг на друга. И немного дружили. Я тогда впереди тебя стояла и все помню.

— Странно, очень странно.— Константин Николаевич опять потянулся с рюмкой.— Давай за наши лучшие воспоминания.

Отпила, закрыв глаза, отвернулась, встала, ушла на кухню.

— Ой, что-то печка моя еле дышит. Сейчас, Костенька, сейчас. Вот я ей задам.

Побренчала рукомойником, вернулась, и с какою-то обновленною напористостью из нее посыпалось: «А помнишь, а ты не забыл?» Константин Николаевич ничего не помнил. но утвердительно кивал, с грустной рассеянностью говорил: «Да, да. А как же! У тебя удивительная память».

— Вероника, у тебя что это, патефон из-за печки выглядывает? Откуда?

— Наследственный. Вернее, постоянный житель этой квартиры. Переходит от хозяина к хозяину. Да, и работает.

Достала патефон, завела пружинно сопротивляющейся ручкой, выбрала из стопки на тумбочке пластинку. Чуть дребезжащий, как бы спрятанный в ящике голос запел:

Помнишь годы юные —
Встречали ночи лунные
Мы в нашем парке старом...

— Ух ты! Как по заказу! — Константин Николаевич встал, склонил голову. — Вероника, позволь. Уж тогда не подхватил, позволь сейчас. Подхвачу, закручу.— Он чувствовал, что говорит неладно, пошло, хмель подталкивал его к этим словам, хотел извиниться, переправить, но Вероника уже поднималась, тянула руки к его плечам.

— Конечно, родной мой.

Она преданно, с обещающей покорностью прижалась к нему. Не останавливая шага, он длительно поцеловал ее, придерживая ладонью ее крепкий, горячий, коротко стриженный затылок.

За окном проскрипели шаги, и вроде бы кто-то тихонько поскребся-постучал.

— Кажется, постучали,— замедлился он, не выпуская, однако, ее плеч.

— Послышалось.— Лицо ее темно пылало, и было непривычно серьезно.— Нет, нет, родной мой.— Она чуть надвинулась грудью, слабо подтолкнула — они снова танцевали.

Но вот постучали уже явственно, твердо.

— Да ну его к черту! — Вероника вырвалась, будто бы — послышалось Константину Николаевичу — зло всхлипнув или всхрапнув, и пошла к двери.

— Подожди, кого к черту?!

— Да фельдшер наш! Опять притащился. Просила я его!

Услышал, как в сенях что-то раздраженно и резко говорила Вероника, голос ее натыкался на бубнящий упрашивающе-ласковый басок и вяз в нем.

Тяжело протиснулся в дверь большой, высокий человек в черной собачьей дохе, с широким ясным лицом, большегубый, с голубыми туманно-добрыми глазами.

— Здрасьте. Вот Вероника Александровна ругается, гонит меня, незваного, а вы знаете... Давайте знакомиться,— протянул теплую широкую ладонь. — Петро. А вы знаете, Константин Николаевич, такая звериная тоска одолела, думаю, загляну на огонек.— Он кивнул на окна, плотно закрытые тяжелыми шторами.

— Это я понимаю.— Константин Николаевич приглашающе показал на стол. — Проходите. Я хоть и не хозяин, но, думаю, и ты, Вероника, сжалишься над тоскующим человеком.

Она молча первой прошла и села, немного боком, к столу, обняв себя за плечи.

Петро быстро пьянел.

— Хоть Вероника Александровна и ругала меня, а вообще-то она очень добрая. Поверите, добрее женщины уж, наверное, и не бывает. Уж такая добрая...

— Помолчал бы ты, Петр Григорьевич. А лучше всего восвояси тебе отправиться.— Она побледнела, осунулась и тяжело, пристально смотрела на Петра.

— Все, все, больше не буду.— Но молчал недолго и уже звал Веронику Никушкой.

— Никушка, ну зачем же так-то. Ты же знаешь, как я к тебе... Ну, Никушка, я же со всей душой...— И обиженно топырил большие свои телячьи губы и смотрел на нее неотрывно голубыми, полными бессмысленной, телячьей доброты глазами. Она уже ничего не говорила, только дергала головой, как замученная паутами лошадь.

Потом принялся долго, ласково, заплетающимся языком рассказывать, как шел он однажды в эвенкийский чум принимать роды и встретил медведя. Объяснял, почему пешим отправился — сломалась моторка; объяснял, какой инструмент с собой взял и что до этого роды он никогда не принимал и потому взял еще с собой учебник... До медведя он добраться никак не мог. И Константин Николаевич, уже не слушая его, засыпал; сквозь красноватый туман с удовольствием видел, как удаляется, удаляется от него Петро и вот-вот растворится, исчезнет.

Константин Николаевич встряхнулся, извинился и решительно пошел к кровати. Скинув ботинки, прилег поверх покрывала.

Вероника сразу же погнала Петра.

— Уходи, хватит! Видишь, замучил человека. Я со стыда не знаю, куда деться. Распустил тут свои... Уходи! Быстро.

Петро с пьяным простодушием отвечал:

— Да, я уйду, а вы тут без меня начнете что-нибудь.

— Пошел вон! Дурак! Не смей мне больше на глаза показываться!

Константин Николаевич уже не слышал, как она притащила из чулана раскладушку, как приготовляла постель и как долго сидела на раскладушке и плакала, не чувствуя босыми ногами настывшего к утру пола...

Утром по дороге к самолету опять спросила, видимо, не в силах выбраться из вчерашней колеи:

— А ты помнишь майскую вечеринку? На четвертом курсе? Ну, еще мы за город поехали, на дачу? Как раз к Алке Семеновой. Еще Дашенька Кравцова пела тогда, а у гитары струны порвались. Ты тогда все плоскогубцы искал поправить? Неужели не помнишь?

— Нет, не помню,— ответил Константин Николаевич.

Он увидел, как из-за угла аэропортовской избушки выглянул Петро и снова спрятался. Константин Николаевич покричал его. Петро, виновато, ласково косясь на Веронику, подошел.

— Счастливо, Константин Николаевич. Как самочувствие, нормальное?

— Вероника, я тебя очень прошу не сердиться на Петра. А то и я вроде виноват перед ним.

— Да ну его.

Петро сдвинул шапку на затылок, подмигнул Константину Николаевичу.

— Помиримся. Не сердись, Вероника Александровна. Так сказать, перед лицом отлетающего товарища.

Константин Николаевич помахал им еще в окно, отвернулся, нахохлился, поднял воротник.

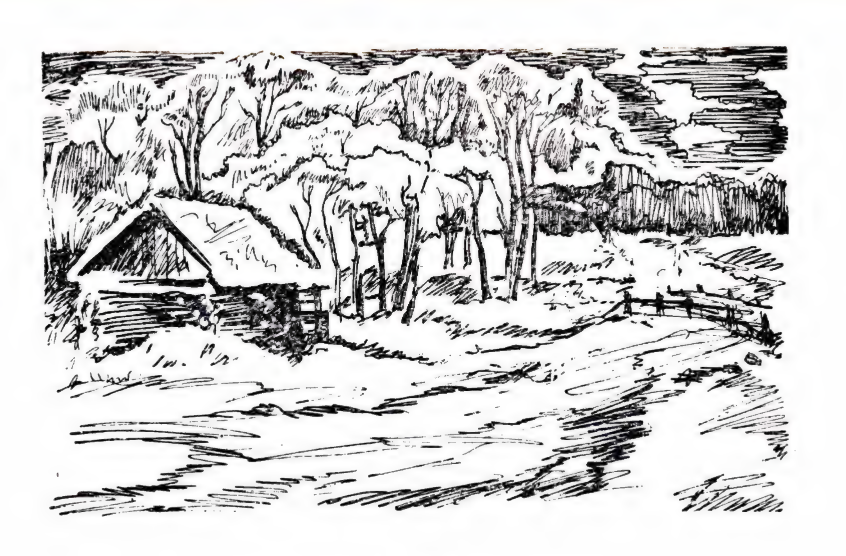
Конечно, он помнил эту майскую вечеринку. Он провожал тогда Дашеньку Кравцову. Шли по утренним, розовеющим улицам, Дашенька несла на плече огромную яблоневую ветку, которую он обломил в каком-то саду, и разодрал, залезая на забор, новый пиджак. Смотрела на него сквозь белые, диковато вздрагивающие цветы своими серыми, горячо-серыми глазами и спрашивала:

— Что же ты молчишь, Костик? Хочешь, я тебе счастливый найду? — и перебирала цветы тонкими длинными пальцами, а он отворачивался, чуть не до слез мучаясь нежностью к этим пальцам. Он все пересиливал горькую сухоту в горле, наконец, смог, сказал Дашеньке, что любит ее и что только этим и жив. Дашенька промолчала, перекинула ветку на другое плечо, взяла его за руку, значительно, крепко сжала.

А на крыльце, уже позвонив, не отводя горячих, счастливых глаз, простилась:

— Нет, Костик. Пусть сразу будет больно, но нет. Нет, нет.

Он так старательно забывал ее. А теперь опять, наверное, будет сниться и махать яблоневой веткой из темного, сонного проема окна.



ПОМОЛВКА В БОГОТОЛЕ

1

Звонил старый товарищ:

— Григорий Савелич? Привет, Гриня-а! Голос у тебя — медь, бронза. Потяжелел, потяжелел!

— У, Дима! С приездом. Это от волнения — тебя узнал. Ты куда пропал?

— А! Долго рассказывать. Пластаюсь и света белого не вижу. Ты-то как?

— Служу, Дима, служу. Дом, работа, в смысле бумаги, дом. Тихие бюрократические радости. Ты ведь что-нибудь клянчить приехал? Ну вот. А прежде чем клянчить, угостить надо канцелярскую крысу, ублажить подьячего зеленым вином.

— Гриня! Верь не верь — затем и звоню. Приходи, посидим. Я хоть душу отведу — поподхалимничаю. Я в «Центральной» остановился.

— Смотри-ка ты. В «Центральной». Как это тебе удалось?

— Ну, Гриня. Много будешь знать, скоро состаришься. У каждого свои связи.

— Не хочу стариться. На совещании завтра будешь?

— А куда я денусь. Ты хоть представляешь, что я собираюсь: клянчить? Что нужно для нашего Аргутина?

— Не представляю. Но это не помешает мне навестить гостиницу «Центральная».

— Гриня! Штопор уже в руках.

Григорий Савельич Кузаков, инспектор облздравотдела, глянув на часы, недовольно поморщился: до конца рабочего дня еще далеко, придется врать или, утешительно выражаясь, прикидываться.

Зашел в приемную, подождал, пока Сонечка, секретарша, не оторвется от телефона.

— Занят благодетель-то?— Он кивнул, нет, неприязненно дернул головой в сторону черной огромной двери.

Сонечка утвердительно прикрыла огромные веселые глаза.

— Тогда, будь добра, в случае чего, передай, я — в центральном райздраве.— Григорию Савельичу стало тошно от этого мелкого, какого-то рассыпчатого вранья.— Впрочем, скажи, что я неважно себя чувствую.

Он пошел, но Сонечка выглянула из приемной, окликнула:

— Григорий Савельич! Все-таки что же передать? В райздраве вы или неважно чувствуете?

— Как язык повернется, так и скажи.

Вечер был сентябрьский, ясный, чуть тронутый морозно-сиреневой дымкой. «Ну ладно. С глаз долой... Ушел и ушел». Григорий Савельич нарочно зашагал по краю тротуара, по ворохам желтой, упругой листвы — холодно-горчащий, печальный дух вытеснял из Григория Савельича все раздражение, весь дневной нагар.

Зашел в магазин и вскоре стучал в номер Дмитрия Михайловича.

Обнялись, бестолково потоптались, отчего-то смутились, растерянно загмыкали — видимо, годы, густо уже затенившее студенчество, как бы замедляли, притормаживали былую юношескую искренность, каждой встречей все более подчеркивая ее неловкость и неуместность.

Поэтому с излишней поспешностью чокнулись. «Со свиданьицем».— «Давай».

У Дмитрия Михайловича припотел лоб, и вскоре все его белобровое, конопатое, курносое лицо подернулось румяным, благостным лоском. На Григория Савельича

первый хмель произвел, напротив, некое дисциплинирующее действие: смуглые его, слегка брыластые щеки сухо и горячо поупружели, лоб побледнел, очистился от морщин и словно прибавился на одну-другую пядь.

— Ну что, Гринь? — Дмитрий Михайлович вольно и счастливо размяк в кресле.— Еще по одной? У меня и тост запасен. В последние месяцы я по уши в разных хлопотах был. То одно, то другое, и дергался как заведенный. Однажды до того замотался, что сел на чурбак посреди больничного двора и вслух спросил себя: неужели есть на свете человек, у которого все хорошо и ладно?.. Внимание, Гриня! Сосредоточься. Предлагаю выпить за то, чтобы нам было хорошо, а им плохо!

— Кому — им?

— Всем, кто нам мешает жить и спокойно работать. Всякой чуди, всякой небыли, неживи. У нее одна забота. Чтобы волчком мы вертелись и подумать не успевали, в какую сторону вертимся.

— Уж не я ли эта неживь? А? Смотри. Ладно, ладно, годится. Пусть им будет плохо! — Григорий Савельич шумно понюхал корочку.— Замечательный тост. Мне уже почти хорошо. И все-таки, Дима, хочу попечалиться. Могу?

— Даже обязан. Без разрешения ты теперь ни шагу? Бюрократический рефлекс?

— Наверное. Я же теперь наподобие чиновника для особых поручений. Поручают — делаю, не поручают — сижу бумажки листаю. Благодетель-то мой очень неторопливый человек. Помнишь, какими коврижками он меня из факультетской клиники сманил? «Наплюйте вы на эту ассистентскую возню. Поработайте со мной пару лет, понюхайте административного пороху, и я больницу вам дам, хорошую, большую, трудную. Там диссертации по коридорам ходят». Понимаешь, Дима, я ему верил, как себе. Учитель, ученый, уважаемый... Три «у», как я его звал... Так вот. Администраторские учения мои очень и очень затянулись. Благодетель забыл все обещания, а я по робости не напоминаю. Сочиняю бумажки, проверяю больницы, разбираю жалобы. Стал этаким бюрократическим недорослем.

— Может, просто всерьез натаскивает?

— Непохоже, Дима. Просто ему удобно иметь под рукой верного и, как он считает, обязанного ему человека. Честное слово, кляну тот день, когда согла-

сился. Надо было как ты. Махнуть в район. Сейчас бы вкалывал в каком-нибудь райлечобъединении и был бы счастлив. Сам бы садик садил, сам бы поливал.

— Гриня! Ты меня взял и на небеса закинул. Надо же! Позавидовал моей круговерти. Давай-ка примем по этому поводу.

— Правда что. Хватит душу на кулак мотать. Теперь слушай такой тост: за перемены, за проклятую терпеливость, которая нас погубит.

В дверь постучали с негромкой твердостью.

2

Дмитрий Михайлович подхватился:

— Ох ты, совсем забыл. Со мной же еще завфизиотерапией.— Кинулся к двери: — Заходи, заходи, Ирина Алексеевна. Гостьей будь, знакомься.

Правильное, строгое лицо, тонкий нервный нос, зеленовато-прозрачные глаза под темно-шелковыми бровями — это почти совершенное лицо не позволяло поначалу разглядеть ее крупноватую, плотную фигуру. Она молча протянула узкую ладонь, с внимательной холодностью встретила взгляд Григория Савельича, внимательно же, с ощутимой крепостью ответила на рукопожатие, как бы уберегая Григория Савельича от вспышки избыточного радушия.

— Вот, Григорий Савельич, прошу любить и жаловать. Мой боевой товарищ, очаровательнейшее создание... Извини, Ирина Алексеевна, он ведь может не разглядеть. Бюрократ, чинуша.

Она прошла, села в кресло у окна и оттуда спокойно посматривала на них, словно удивлялась: откуда взялись эти суетящиеся мужчины? Григорий Савельич улыбнулся через силу — аж щеки свело неловкостью,— отчего-то задело, уязвило его беззлобное «бюрократ» —не к месту ввернул его Дмитрий Михайлович, какою-то унизительной горечью отдалось это слово в Григории Савельиче. Чтобы скрыть эту внезапную, сиюминутную уязвленность, он заулыбался еще шире, радушнее, вдруг в пояс поклонился Ирине Алексеевне.

— Да, да, да! Давайте любить и жаловать друг друга. Чем вы меня пожалуете? Крысу канцелярскую? А, Ирина Алексеевна? Позвольте ручку!— Григорий

Савельич быстренько просеменил к креслу, ткнулся, чмокнул белую руку, замершую на подлокотнике.

Отскочив, захохотал:

— Все, все! Куражусь, Ирина Алексеевна. Но над собой! Не сердитесь. Все очень просто. Да, да, да! Просто был рад познакомиться с вами. Дима! Приглашай боевого товарища к столу.

Она и бровью не повела в его сторону — не слышала, не видела, не знакомилась минуту назад. Чуть подавшись в кресле, обернулась к Дмитрию Михайловичу, выговорила:

— Так-то вы теперь доклад мой посмотрите, Дмитрий Михайлович. Знала бы, в театр пошла. Запомним, учтем. Вечер теперь за вами. Отпустите в город по первому требованию.— И улыбнулась яркими, безупречно вырезанными губами, при этом белый лоб Ирины Алексеевны отметила легкая, недоуменная морщинка.

У Григория Савельича неожиданно дрогнуло, погорячело сердце — показалось ему: никогда и никто не улыбался с такой прелестной смущенностью.

— Бог с ним, с докладом, Ирочка. Перед началом заглянем, пробежим. В самом деле, подвигайся. Хотя подожди.— Дмитрий Михайлович ухватил ее кресло за подлокотники и подтянул к себе.— Вот так. Емелю вместе с печкой. Про вечер, Ирочка, забудь. Вечерами надо встречаться с товарищами.

— С товарищами по работе, да? Пить водку и говорить о той же работе?

— Ничего подобного! Пить водку во славу товарищества. Душой пылать, чтоб оно не кончалось. — Дмитрий Михайлович запел:— Старый товарищ бежать пособил... Ну, Ирочка, поддержи.

— Дайте передохнуть, Дмитрий Михайлович. С порога — и петь. Может, и сплясать заодно? Как говорят в нашей деревне, легче на поворотах.

Григорию Савельичу уже непереносимо было видеть ее чеканное, чужое лицо — хоть бы тень приязни, внимания и любопытства к их случайной и мимолетной встрече. Одолело странное, какое-то призрачно-вязкое желание хоть на миг, на секунду проникнуть в ее судьбу, участливо приблизиться к ее жизни, — неожиданная, парящая прихоть эта изумила Григория Савельича, влажным холодом прошлась по вискам.

— Завидую, Дима. Смотрят на тебя совсем не по-

товарищески. — Сам оторопел от этого грубого вздора, поспешил замять, исправить, но вышло еще хуже. — Прямо ест начальство глазами.

Ирина Алексеевна наконец заметила его.

— Понимаю, помешала. Очень некстати пришла. Вы это хотели сказать?

— Нет, нет! Из-за вас решительно поглупел. Просто-напросто обидно мне стало. Будто не со мной вы познакомились, а с Димой. Говорите и говорите — давно не виделись. — Григорий Савельич перевел дух. — Кстати вы, Ирина Алексеевна. Даже не представляете, как кстати. Мы тут головы друг другу морочили, угрюмство такое развели — спасу нет. А вы рассеяли, осветили, смысл появился в нашем застолье. Вот! За великий смысл, таящийся в женщинах! За вас, Ирина Алексеевна!

Она улыбнулась ему, но бегло, не как давеча Дмитрию Михайловичу, ну, да и такой улыбки хватило, чтобы не ежиться от неловкости.

— Спасибо. Значит, вы обидчивый? И часто вы обижаетесь?

— Я — необидчивый. Я — искренний. А искренним тяжело быть. И потому тяжело, что смешно. Да, да, да! Искренний человек всю неловкость душевную выставит, все неровности сердечные, а это смешно, предосудительно по теперешним временам. Сейчас сдержанность в ходу, ирония, умолчания всевозможные. К чему я это? Извините, христа ради, заговорился. Молчу, не буду. Буду лучше на вас смотреть!

Он уже стыдился своего «яканья», неуместной горячности, но, успокоившись, все же ждал с неожиданной слабой дрожью в горле, как же отзовется Ирина Алексеевна, и заранее мучился, что она сведет его откровенность, пусть ненужную и глупую, к шутке, к какому-нибудь ничтожному застольному междометию.

— Не надо извиняться. — Она с серьезным, несколько задумчивым доброжелательством смотрела на него. — Напрасно вы так. Верите в искренность и стесняетесь ее. Ведь правда верите? Или к слову пришлось?

— Верю. Еще как! — счастливо севшим голосом сказал Григорий Савельич. И тут же рассмеялся: — Беда с этой искренностью. Сейчас так ею проникся, горло перехватило. Верю, Ирина Алексеевна, верю. Всякому зверю, а себе, ежу, малость погожу.

Она рассмеялась, тоже коротко и негромко.

Дмитрий Михайлович поднялся, навис над столом, распахнул, распростер руки и, эдак легонько, убаюкивающе дирижируя ими, зашептал заклинающе, с придыхом на каждом слове:

— Вот и хо-ро-шо! Свер-ши-лось чу-до: жен-щи-на по-ня-ла муж-чи-ну. Бе-гу в бу-фет. Приветствую вас.— На пороге .Дмитрий Михайлович обернулся и пропел:

Не верь, не верь поэту, дева.
Страшись поэтовой любви...

Ирочка, не говори после, что я тебя не предупреждал. Как человек и как начальник.

— Не скажу. Ни за что!

— То-то же.

Посидели, помолчали, точно дожидались, когда стихнут шаги Дмитрия Михайловича. У Григория Савельича в лад им тукало сердце, точно перед каким-то волнующим, серьезным испытанием.

— Вот вы говорите, — вдруг нарушила она молчание, — искренность смешна сейчас. Не знаю. По-моему, быть искренним очень страшно. И говорить, что думаешь, и не скрывать, что чувствуешь,— очень смелым надо быть. Видно, потому так и тянет к ней. Прямо как к огню ночному. Кому погреться охота, кому — потушить, чтоб пожара не вышло.

— Еще и потому тянет, что она редка. Искренни дети и старики. А между детством и старостью — целая жизнь, забитая до отказа словами, чинами, обязанностями, правами — некогда быть искренним или невыгодно. Или невозможно. Конечно, тянешься к ней. Исключительное явление. Хотите быть искренним человеком? Соглашайтесь! Немедленно зачислю, произведу, присвою это звание.

— Боюсь. Недостойна. Нет, нет, нет. Пощадите! — Теперь и ему досталась улыбка, сопровожденная очаровательно-горькой, недоуменной морщинкой на лбу. Григорий Савельич подумал, что жизнь Ирины Алексеевны, еще неизвестная и далекая, все же сейчас придвинулась к нему, и, выходит, недаром томился он внезапным желанием угадать в Ирине Алексеевне близкого человека. Угадал, нашел, допущен к соучастию хотя бы в одном ее вечере, и вроде никакой карой соучастие это не грозит.

3

Поначалу его смутил голос Ирины Алексеевны, беспокояще-высокий, чуть надламывающийся, точно она только что нервничала, волновалась, не могла остыть после ссоры или иной неприятности. В разговоре особенность эта примелькалась, забылась, но вот остались одни, она улыбнулась, попросила: «Расскажите что-нибудь. Или искреннее, или интересное», — голос волнующе надламывался на этих «или» — вновь почудилось Григорию Савельичу, что неспокойно, неровно на душе Ирины Алексеевны. Может быть, почудившееся каким-то краем заденет его, окрылит, мало ли какую неожиданность сулит этот голос, и вовсе нелишне приготовить, смягчить сердце, снять с него будничные, утомительно-прочные узы или хотя бы ослабить их.

Но вернулся Дмитрий Михайлович с охапкой свертков, кулечков, пакетов, шампанское чуть не отрывало полы пиджака, нацеленно сияя из карманов. С прибаутками, с новым приливом компанейского воодушевления принялся благоустраивать стол. Ирина Алексеевна помогала ему. Вдруг оцепенев, Григорий Савельич следил, как они бесшумно, с этакой лунатической замедленностью двигались. Встряхнулся, очутился в гостиничном номере, рядом со старым, с институтских времен, товарищем и незнакомой женщиной, обладавшей странным, не слышанным прежде голосом. И понял Григорий Савельич: ни к чему угнетать сердце пустыми причудами, поддаваться минутному празднику — ни к чему, будни продолжаются, продолжаются и торжествуют. На душе стало скучно, нехорошо, сухо.

Не мог он, не хотел согласиться с этой скукой и сухотой.

Поднял стакан:

— Еще немного об искренности. Мы, Дима, все о ней без тебя рассуждали... Я без ума от вас, Ирина Алексеевна, уж позвольте признаться! И голос ваш! И лик!.. Как когда-то говаривали — порфироносный.— Григорий Савельич выпил до дна, справился с колким холодом в горле.— Можно, я вас полюблю, Ирина Алексеевна? Для души, для высшего смысла? Впрочем, не соглашайтесь. Я буду любить вас немо, поклоняться издалека и даже приветов, вот с Димой, передавать не буду.

Дмитрий Михайлович глаза выпучил, жевать перестал, но, опомнившись, с подчеркнутым добродушием похвалил:

— Молодец. Ошалел знатно. Извини, Гриня, я уж отвык от таких театров. Живем просто, без стрессов. Окружающая среда нас не отравляет. Что, Ирочка, притихла? Все нормально. По науке. Акселерация чувств. Раньше, прежде чем перед дамой на коленки бухнуться, знаешь какие страсти надо было пережить. Сейчас все спрессовывается, сейчас густо все идет.

Она холодно, негодующе покраснев, вновь не видела Григория Савельича, не было его раньше в этой комнате.

— Что-то уж слишком густо. Так густо... Хотя ладно. Пора мне, Дмитрий Михайлович.

А Григорий Савельич торопился сжечь побольше слов, темнея сердцем от их невероятного, только что пришедшего жара.

— Обиделась... Ирина Алексеевна обиделась. И правильно! Прокляните меня, возненавидьте! А я стерплю, спасибо скажу, душой распластаюсь. Хоть кому-то до меня дело будет. Хоть кто-то отметит, меня отметит. Ирина Алексеевна! Вы неравнодушны, и это замечательно! Ведь я вспоминаться вам буду. Болью, оторопью, злом отзовусь. Но отзовусь!

Она уже собралась, никак не могла справиться с тугой пуговицей на плаще: та выскальзывала, не поддавалась белым, вздрагивающим пальцам. Дмитрий Михайлович дружески, останавливающе взял за плечи Григория Савельича:

— Ох, ты нынче и словоохотливый, Гриня! Кончай. Пошли, проводим Ирину Алексеевну.

— Не нужно,— надломился, угас ее голос.

— Ирочка, не вздумай одна уходить. На улице легче станет. Пройдемся, остынем. И так далее.

На улице, в сентябрьском шуршаще-ночном просторе, Григорий Савельич долго, упрямо сопя, молчал, с непонятным упорством вглядывался в проходящие машины, потом кинулся за одной:

— Вот видите! Видите, Ирина Алексеевна! Даже на машинах ваше имя!— Машина приостановилась на перекрестке, и действительно при красных вспышках можно было разглядеть номер: ИРА-39-60.

Григорий Савельич восторженно раскинул руки, за-

гораживая дорогу Ирине Алексеевне и Дмитрию Михайловичу.

— Везде, все о ней напоминает! Люблю вас, Ирина Алексеевна!

Она угловато, неловко обошла его, прибавила шагу. Дмитрий Михайлович, крутя головой, покряхтывая, смущенно похохатывал:

— Ну орел, ну кречет. Не миновать нам сегодня милиции. Ирочка, не беги ты так. Ну что теперь делать? Зато повеселились.

Дом, в котором она остановилась, был обращен подъездом к набережной. Григорий Савельич никак не хотел уходить от подъезда, задирал голову, кричал:

— Спокойной ночи, Ирина Алексеевна! Не забудьте: я вас люблю! — Крики его далеко раскатывались над невидимой пустынной рекой.

4

Утро пришло темное и нехорошее. Аня, жена, не хотела его видеть и знать. Напряженным, повышенно ласковым голосом говорила с Колькой, собирая его в детский сад. Он, сонный, надутый, сидел на обувном ящике, не видя, совал ноги в ботинки и обиженно бурчал:

— Хоть бы раз дома оставили. Никогда в жизни досыта не спал. Так разве вы разрешите...

— Что ж ты спишь, мужичок? — Аня присела перед ним, поймала его ногу. — Ты не спи, с ноготок. Не ворчи, старичок. — Обула, чмокнула в пушистую сонную щеку. — Готово! И прошу тебя, не дразни больше Лену Сергееву. Какая она бочка?

— Она толстая. И обжора. И сама первая меня обозвала.

— Интересно! — бодро вклинился в разговор Григорий Савельевич. — Как же она тебя припечатала?

— Колька-свистун. Какой я ей свистун?

— Вот те раз! — рассмеялся Григорий Савельич. — Почему свистун? Врешь, поди, много?

— Почему, почему! — опять обиженно забурчал Колька. — Ничего не помните! — Он быстро, по-заячьи вздернул верхнюю губу, смешно наморщив нос. Передние зубы давно выпали, но новые почему-то даже не про-

бивались. — Я говорю, а в дыру-то свистит! Я виноват, да?

Теперь рассмеялась Аня:

— Талала беззубая. Бедненький свистунчик мой. Плохо ты у мышки просил. Давно бы выросли, и никто бы не дразнил. Все равно, Колюха, больше Лену не задевай. Вообще никогда не обижай девочек. А то привыкнешь обижать, что из тебя получится? Грубое, бессердечное существо. Договорились?

— Что такое существо?

— Ладно, Колюха, пошли чай пить. Папа тебе по дороге объяснит.

Григорий Савельич отошел к окну. «Так, так, так. Начинается. Прямой наводкой по бессердечному существу. По грубияну и полуночнику. Оч-чень хорошо. Прощенья нет и не предвидится».

Подоконник был завален конфетными коробками, шоколадной фольгой, расправленными конфетными обертками — Аня работала детским врачом, и каждый вызов непременно заканчивался этакой вот, по ее словам, «кондитерской взяткой» — данью перепуганного и утешенного родительского сердца. Аня говорила:

— Им кажется, я жую шоколад с утра до вечера. И отказаться невозможно. Насильно всунут. А не берешь, значит, к чаду их равнодушна. Умора! Сегодня мальчишечка один, славненький, остренький такой, увидел, как шоколадку мне дают, позаботился: «Ох, сладкоежка! Язык приклеится, и зубы заболят».

Колька ревниво спрашивал:

— А ты что сказала?

— А я ему — укол.

— А он?

— Спасибо, тетя, приходите чаще.

— Ну уж.

— Не веришь? Матери родной не веришь?! Снимай штаны. И тебе будет укол!

— Верю, верю! — кричал Колька и прятался за отца. Выглядывал осторожно.— А сейчас опять не верю!

Аня наступала, пыталась выудить Кольку из-за отцовской спины, а Григорий Савельич, легонько обнимая ее счастливо сопротивляющееся тело, грозно басил:

— Не дадим в обиду Колю! Он достоин лучшей доли!

«Надо бы помириться,— решил Григорий Савельич. — Худо-бедно, надо». Он чуть отвернулся от окна,

вскользь глянул, чем занята Аня. Она переодевалась за дверкой шкафа. Выставлялись, округло двигались нежные полные локти. Ане стало тесно за дверкой, она попятилась, и Григория Савельича обдало этаким домашним безгрешным теплом, веявшим от ее розово-белых полных плеч. Он неслышно скользнул к ней, поцеловал в плечо — упругая, прохладная после недавнего умывания кожа была освежающе шелковиста.

Аня резко отстранилась, отгородилась от него кофтой.

— Перестань! Противно. — Натягивая кофту, она запуталась, не сразу нашла рукава, еще более раздражилась, но так же шепотом, чтобы не слышал Колька, добавила: — Шляешься где-то! Весь опухший, нечистый какой-то, смотреть не могу. — От шепота этого зеленая пушистая ость кофты вроде как наэлектризовалась, нацелилась на Григория Савельича тоненькими иголками.

— Сразу — шлялся... Не сердись уж, ладно? Что уж теперь...

Аня, отодвинув его, пошла к зеркалу, он попробовал остановить, обнять, она не позволила.

— Приехал Димка. Проговорили — оглянуться не успел. Ну, чего ты, в самом деле.

Аня не отвечала и, видимо, не собиралась отвечать, хоть краем входить в его объяснения.

Григорий Савельич огорчился: не оценен его порыв, и весь день пройдет под гнетом этого Аниного неудовольствия. Он будет думать о примирении, омрачаясь всякий раз, как подумает о нем, примется звонить, насильно шутить — она, отвечая из людной и шумной регистраторской, будет держаться просто и весело, он утешится, что помилован — и напрасно, дома его встретит непереносимое молчание. Аня не терпела неуравновешенности в семейной жизни и воевала с нею как могла: выговаривала, беззаветно ссорилась, надолго отлучала от себя. Григорий Савельич тоже не терпел этой неуравновешенности, хотя всегда бывал причиною ее, но всегда считал, что Аня преувеличивает его провинности, чересчур яро и непримиримо восстает против них.

Григорий Савельич вернулся к окну, раздраженно, громко поворошил шоколадную фольгу, коробки, обертки, Колькины «фантики» — они посыпались, зашуршали по полу.

— Передай, пожалуйста, своим дарителям, что твой муж ненавидит сладкое. Он обожает «Столичную» и жигулевское пиво. Могли бы, если уж так им нравится, вместо шоколадки подносить пару пива. — Подождал, не откликнется ли Аня. Нет, не захотела. — Как ты относишься к этой мысли, Анна-мучительница? Анна Ивановна, отвечай. Слышишь, Анечка-Ванечка.

Вроде вздохнула, вроде сказала тихонько: «Отвяжись ты ради бога» — или послышалось? Что ж, действительно пора отвязаться.

— Колька, готов? Помаршировали.

5

Было уже ясно, просторно и весело. Перед рассветом погуливал морозец, посвистывал, перекликался с далеким, тонким месяцем, а теперь отступил, затих чистым и легким инеем на зеленой, хрусткой траве, на желтых березовых листьях. Далеко, то ли у пристани, то ли в прибрежных огородах, жгли костер — его вольный дух распространялся по сентябрьскому утру, с какою-то неизъяснимой грустью подчеркивая и выявляя его ясный простор.

И в такое утро Григория Савельича томила какая-то душевная неопределенность, какая-то безотчетная боязнь, неожиданное одиночество, точно утро это вытолкнуло его, выдвинуло своей прозрачной силой на некую пустынную вершину: кричи, зови — никто не отзовется; беги, иди — никто не ждет. Рядом люди, птицы, крики, новый, стремительный день, над головой — живой повлажневший багрянец, и в то же время все далеко, все сторонится его и проносится мимо. Как освободиться от этой странной, непроглядной тревоги?

— Колька, вас на прогулку в рощу водят?

— Дождя нет, так водят.

— В рощу?

— В рощу.

— Слушай, Колян! — Григорий Савельич удержал его за руку, присел, чтобы Колька видел, как он серьезен.— Там же обрыв — я помню! Там до дна метров двадцать будет. Колян! Я тебя очень прошу — не лезь к обрыву, близко не подходи. Вывернется глина или камень бросать будешь. Размахнешься и не удержишь-

ся. Что тогда будет? — Григорий Савельич зажмурился и больно сжал Колькину руку.

Тот вырвался, подул на слипшиеся пальцы.

— Вниз полечу. Вверх тормашками. Ну, чего вот сдавил? Даже зло взяло.

— Хоть домой поворачивай. Ты представляешь, что ты говоришь?! Сейчас же попрошу Аллу Семеновну, чтоб тебя в рощу не брали!

— А куда меня денут?

— В ограде будешь сидеть.

— Меня же трусом задразнят.

— Не тебя, а меня. А я как-нибудь переживу.

— Да мы в другом углу играем. Никто нас и не пускает к обрыву.

— Серьезно, Колян. Не лезь ты туда. Страшно мне, можешь ты это понять?

— Могу, могу! Ку-ку! — Колька запрыгал нетерпеливо, потянул Григория Савельича. — Вот опоздаем, тогда узнаешь. Бояка-собака.

— Ладно. Ты прав, а я, как всегда, нет. — Григорий Савельич вздохнул — ему бы сейчас безоблачную Колькину душу.

Долго ждал автобуса, но, увидев медленный, разбухший, как бы ощутив жару и тесноту в нем, отступил, отправился пешком. По-прежнему мешало несогласие этого тихого, славного утра с тревожною, темной мутью в душе.

Попробовал вытеснить ее раздражением против Ани, против женской вздорности. «Обязательно надо сцену устроить! Ведь и себе душу травит, не только мне. Ну, где здравый смысл? Больше сама изведется. Будто первый год живем! Пока хорош — любит, нехорош — не любит. Но любовь-то, елки, все равно остается! Пора бы уж и поумней быть. Великодушней пора быть — вот что! А то никакой милости, сразу казнь. Великодушие-то, может, больше бы меня мучило. Как не совестно, в самом деле».

Но раздражение не разрасталось, то и дело проглядывала сквозь него трезвая, простенькая мысль, что, в сущности, если бы не Аня, не ее неутомимые старания видеть в нем порядочного и добросовестного человека, то еще неизвестно, в кого бы он превратился со своею склонностью к застольям, пирушкам, пикникам и прочим праздным забавам. «Не обрывала бы на каждом

шагу, не восставала бы против каждого пустяка, так я уж давно бы самим собой стал. Плохим, хорошим ли, но самим собой». Так уж жалобно получалось, что Григорий Савельич побыстрее отвлекся.

Навстречу шла женщина, должно быть недавно смеявшаяся чему-то или чем-то обрадованная. На ее румяном веснушчатом лице жили еще отблески улыбки: подрагивали губы, чуть удивленно открылись, разлетелись брови, в черных глазах сохранялась веселая, ласковая влага. Григорий Савельич неожиданно подумал, что женщина с таким открытым лицом никогда, наверное, не мучает мужа подозрениями, не угнетает бесцельными ссорами. Вот если бы судьба могла сдавать назад, шла бы при нужде на попятный, то он мог оказаться сегодня мужем этой женщины. И уж, конечно, она не стала бы омрачать такое утро раздором.

«Да, забавно, если бы что-нибудь такое выдумали. Раз — и пожалуйста: другая жизнь, другая жена, другие страсти... Вчера я все-таки отвратительно себя вел. Эти объяснения, эти крики ночные — ну надо же таким идиотом быть!»

Он чуть не бегом припустил к Дому медицины, чтобы успеть повидать Дмитрия Михайловича и Ирину Алексеевну. Дмитрия Михайловича нашел в курилке.

— Дима, доброе утро. Если оно, конечно, доброе. Слушай, я головой готов биться — стыд, Дима, жуткий.

— Зато повеселились. Да ты уж не убивайся так-то. Почудили, покутили — обойдется, Гриня.

— Да, да, да, утешай. Ирина Алексеевна-то где? Как я ей в глаза посмотрю?

— В зале. А мне, Гриня, даже понравилось вчера. Совсем уж закостенели. А тут живая жизнь. Нет, ты молодец.

— Брось ты!

Когда окликнул Ирину Алексеевну, она вздрогнула, испуганно отпрянула. С какою-то горячей отчужденностью зазеленели глаза.

— Здравствуйте.

— Ирина Алексеевна, об одном прошу: не думайте обо мне дурно.

— Я никак не думаю.

— Мне так стыдно, хоть плачь! Извинить не прошу — все ужасно. Если можете, взгляните на вчераш-

нее как на забавное приключение. Я не хотел вас обидеть, правда, правда. Могу на колени встать. От глубокого раскаяния.

— Нет, нет! — Она приподнялась в кресле. — С вас станется. Хорошо, Григорий Савельич. Пусть забава. Пусть приключение. Не будем вспоминать, бог с вами.

— Спасибо, Ирина Алексеевна, на добром слове. Вернее, за доброту спасибо. Странно все же человек устроен. Минуту назад мне достаточно было вашего прощения. А вот вы сказали: не будем вспоминать — и стало грустно. Встретились два человека и не будут вспоминать друг друга. Вам не грустно?

— Перестаньте, Григорий Савельич. Что же вы? Снова?..

— Сам не знаю. Может, вчера я говорил правду. А сегодня ее боюсь. Ладно. Извините.

— Будьте здоровы.

6

Через два дня он увидел ее на автобусной остановке. Ирина Алексеевна стояла под желтым сквозящим тополем, несколько в стороне от толпы. Задумалась, потупилась; не слышала скользнувшего по рассыпанным волосам листка — очень одинокой была сейчас Ирина Алексеевна. Он увидел ее, объятую прощальными, желтыми листьями, и за ней — далекое, прозрачно-зеленоватое небо, полого замыкающее улицу. В душе Григория Савельича захолодело что-то, стеснилось. «Потом все рухнет — листва станет жесткой и ломкой, дымом загорчит, истает. А сейчас ничего не разымешь, сейчас смотреть бы да смотреть — морок какой-то, даль недостижимая. Надо же! Как чисто очерчивает ее небо!»

Подошел, поклонился, хотел сказать что-либо приветливо-простое, но вышло с натужной веселостью:

— Батюшки, Ирина Алексеевна! Я уж и не чаял вас увидеть. Да, да, да! Рад я очень. А вы, поди, и смотреть на меня не можете?

Ее холодное, тонкое лицо медленно порозовело. С пристальным раздумьем посмотрела на Григория Савельича, вроде бы не сразу узнавая.

— Почему не могу? Что вы, Григорий Савельич! — Опять этот странный, взволнованно-надламывающийся

голос.— Вовсе нет. Я не ждала. Но теперь вот вижу, и, представьте, никаких отрицательных эмоций.

— Может быть, снова поговорим об искренности? Как вы? Расположены? Давайте будем искренними. Предупреждаю: мне не понравится, если вот сейчас мы постоим, потолчем воду в светской ступе и разойдемся. Не хочу расставаться с вами.

— Как ни странно, вы тогда были правы. — Ирина Алексеевна опять порозовела. — Я действительно вспоминала вас...

— Тихим, мирным словом?

— Не знаю. Скорее без слов. Во всяком случае, без зла. Я думала... наверное, вам стыдно потом было? Наверное, вы раскаивались? Что так... бурно... знакомились. А вообще, если вы действительно были искренни, стыдиться не стоило. Бог знает что я говорю, совсем не так, как думала. Но я не осуждала. Удивлялась...

— Я боялся, Ирина Алексеевна. Вы могли подумать, будто я паясничаю, дикостью своей хвалюсь. Когда думал так — верно, не по себе было. Стыдно. Но я не раскаивался. Сказал и сказал. Значит, подкатило сказать... Вот что, Ирина Алексеевна. Хотите, мороженым угощу? — Григорий Савельич, несколько помявшись, засмеялся. — В ресторан не приглашаю, денег не хватит. Кстати, вы замечали? Все искренние люди, как правило, безденежны и неудачливы.

— Ну-у, как вы мрачно. А вы не замечали, что в толковых руках искренность — целый капитал. Только успевай разворачиваться.

— Не замечал и, наверное, не замечу. Вдобавок ко всему еще и бестолков.

— Вот и хорошо. Не замечайте подольше. Хорошо, хорошо, вовсе не замечайте. Только не хмурьтесь. И не оговаривайте себя. Где же ваше мороженое?

В стеклянном полупустом зальчике она сняла плащ, бросила его на соседний стул — была в темно-синем костюме, в вырезе пылала алая кружевная блузка. В отсветах ее переменчиво жило лицо: вроде бы осунулось, волнующе затеплилось какою-то растерянной покорностью.

— Садитесь напротив, Григорий Савельич, — опять надламывался ее голос — показалось, тихо и тревожно. — Буду вас слушать, буду на вас смотреть. Хорошо?

— Между прочим, я тоже люблю слушать. Да, да,

да! Вижу, вы обескуражены, хотите возмутиться. Напрасно. Не умею я, Ирина Алексеевна, развлекать, ухаживать, ублажать. Прямо деревенею весь.

— Стихи наизусть помните?

— Полностью только одно: «Вот моя деревня»... Могу прочесть.

— Пока не надо. Анекдоты, загадки знаете?

— Нет.

— С Ильфом и Петровым как? Не потягивает за столом цитировать?

— Упаси боже!

— Вальс-чечетку умеете?

— Не-ет, нет! Помилуйте, Ирина Алексеевна!

— Наконец-то встретила нормального человека. Хотя... подождите. Раз вы ничего не умеете, значит, вас хлебом не корми, дай про работу поговорить. Ужель, ужель?

— Грешен, но сегодня не буду. Давайте про жизнь говорить. Милое дело. Кого и как она крутит-вертит. Кому — пироги с маком, кому — лепешки из гнилой картошки.

— Вот как! Вам не терпится посплетничать?

— Чтобы сплетничать, Ирина Алексеевна, надо по меньшей мере двух-трех общих знакомых иметь. А мы кого имеем? Несравненного и многострадального Дмитрия Михайловича. Как про него сплетничать? Мне он — друг, вам — начальник.

— Да уж. Дмитрий Михайлович — начальник, приятный во всех отношениях. Неуязвимый со всех сторон. Стоп, стоп! Молчу. Сплетни всегда начинаются похвальным словом.

— Так что давайте про жизнь. Расскажите, как она к вам относится и как вы к ней. Чья вы родом, откуда вы? Про себя всегда интересно рассказывать.

— Интересно, да нечего. Не жизнь, а анкетные данные. Я воронежская, там родилась, росла, училась. Мать-отец живы, на пенсии. Пенсии маленькие, посему я — бесприданница. Вот что при такой жизни расскажешь? Могу, правда, детство вспомнить, синие ночи, костры, первый бал, первый поцелуй — трогательно, но все как у всех.

— Так вы не сибирячка? Можете здесь жить, а можете — там. Почему-то думаю — там. Так?

— Непременно. Не потому, что здесь плохо, а по-

тому, что там хорошо. Во сне вижу... Ваша очередь, Григорий Савельич.

— Очень уж вы торопитесь. Все-таки жизнь не анкета. Душа-то чем жива? Болит, нет ли? Может, страсть ее тайная гложет?

— Нет, наверное, у меня души, не чувствую ее. Разве что тоскливо иногда — не знаешь, куда деться. На «Скорую» вот пошла, на полставки, чтоб ночь занимать. Тоска-то в душе помещается или где?

— В душе, Ирина Алексеевна, в душе. Все в порядке, душа на месте. Только почему тоскует? Чего ей надо? Не спрашивали?

— Живешь, живешь день за днем — и все хорошо, все ладно. Работа, забот полон рот. Сыта, обута-одета. И ум вроде занят: книжками, музыкой. Могу за кандидатскую взяться или заочно еще поучиться. Прямо-таки гармония, сама не нарадуюсь. И вдруг ни с того ни с сего неясно становится. Не ясно, как жить, что впереди, кто ждет, куда тороплюсь. Неясно, туманно — ничего мне тогда не надо. Тоска.

— Скорее усталость. И тело устало, и душа — не мне вам объяснять, Ирина Алексеевна.

— Нет, не усталость. Что-то другое. Я плохо объяснила, но что-то другое. Даль туманная, одним словом. Неужели с вами такого не было?

— Такого — нет. Тоска у меня всегда предметная. По ком-нибудь, по чему-нибудь. Может, просто психика по-иному устроена. Впрочем, я не могу смотреть без какого-то острого, болезненного сознания недостижимости на речные излучины в ивняке, на закаты, на одинокое дерево где-нибудь посреди поля — так сильно желание соединиться с ними, а ты только можешь смотреть. Не могу смотреть на прекрасные женские лица. К примеру, на ваше...

— Ну, ну, Григорий Савельич. Это уже не про жизнь и, самое главное, ни к чему. Уж больно резкий перепад. Вы лучше скажите: в прошлый раз Дмитрий Михайлович поязвил насчет чиновничества — я заметила, вас задело. Почему? Совершенно невинная шутка. Пора, Григорий Савельич, про себя поговорить.

— Это уже не про себя, а про работу. А мы договорились. Потом, я и в самом деле чиновник, но не хочу им быть. И Дима по простодушию жмет на больные мозоли. Ладно, что теперь... Это скучно.

Тем не менее вскоре он рассказывал историю своей службы. Ничего не забыл: ни коварства благодетеля, наобещавшего золотые горы, а вместо них — скудные, скучные будни мальчика на побегушках; ни своих честолюбивых надежд соединить администраторскую долю с высокою долею научного подвижника; ни решимости своей порвать с облздравом, с благодетелем, если он не сдержит слова. Григорий Савельич хотел добавить здесь, что завтра же порвет, завтра же потребует удовлетворения, но сдержался, вовремя отрезвел: легко быть запальчивым перед женщиной, но трудно — перед начальством. Рассказ получился пылкий, но несколько отдавал плаксивостью, слишком явно рассчитывал на сочувствие — Григорию Савельичу стало неловко, и тогда он сказал, что все это пустяки, причуды биографии, важно, что ни на секунду он не забывал дело, руки не теряли квалификацию. Он показал ей коробочку с чехословацкими сверлышками, наждачками, пилочками, оставленными ему одним уехавшим стоматологом.

— Не расстаюсь с ней. В командировке, здесь ли — обязательно выкрою час, вырвусь к креслу. Каждый день. Только руки и утешают. Ничего не забыли.— Он, конечно, привирал, говоря «каждый день», реже, значительно реже он вырывался и утешался, но невозможно было не приврать перед зеленой глубью ее взгляда.

— Я не знала, что вы стоматолог. Странно. — Она легонько потерла пальцами лоб.

— Вот те раз! Почему? — обиженно-весело вскинулся он.

— Да так. Непохоже. Я думала, терапевт или рентгенолог... Ой, глупости какие я говорю. Не обращайте внимания.

— Обманул, выходит? Разочаровал? Ясно. — Он повернулся к официантке — та, позевывая, сидела за соседним столом.

— Давно сижу. Закрываемся мы.

На улице было морозно, ветрено и так пустынно, казалось, невозможно дойти до тепла, до яркого, домашнего света. Погромыхивали жестяные тарелки на фонарях, качались желтые круги на сером, сухом асфальте, а за кругами чернела, свистела ночь. Ирина Алексеевна крепко и тесно взяла его под руку, он долго не мог приноровиться к ее какому-то прочно-неторопл-

ливому шагу — неловко получалось, не он ведет, а его ведут. Григорий Савельич остановился.

— Лучше я вас возьму.

Она засмеялась.

— Хорошо, хорошо. Ведите. Куда глаза глядят.

Возле ее дома, на набережной, темень уже свистела во всю силу ледяных необъятных легких. Григорий Савельич, смущенный, что она угадала его раздражение, чересчур громко и весело сказал:

— Вот моя деревня, вот мой дом родной... Кстати, Ирина Алексеевна, что это за дом? Общежитие, ведомственная гостиница?

— Нет. Я лечила одну бабушку в нашей больнице и вроде вылечила. В этом доме квартира ее дочери, а дочь на три года уехала на Север. Вот бабушка и предложила останавливаться здесь. Даже даром предлагала — вот какая благородная старушка.

— Удивительный, редчайший по нашим временам случай. Даром вы не захотели?

— Конечно. Была бы постоялицей, а теперь полноправная хозяйка. И на правах таковой спрашиваю: хотите чаю? Вы меня мороженым, я вас — чаем. Так сказать, лед вытесним пламенем. Поквитаемся, Григорий Савельич?

Он подумал, что опять попадет домой черт знает когда, опять виновато заухает сердце, когда откроет дверь Аня, убитая ожиданием, опять он понесет какой-нибудь отвратительный оправдательный вздор. И невозможно отказаться, сам же, сам, подлец, подошел, сам ужом вился, искренность, видите ли, мороженым охлаждал.

— Конечно. С удовольствием. — Поднимаясь в квартиру, он клялся, что посидит минуту-другую и откажется, уйдет без чая, но в то же время заглушенно, с обреченностью чувствовал: минуты вполне могут обернуться часами.

Во время медленного устало-молчаливого чаепития Григорий Савельич, чтобы не мучиться и не колебаться больше, придвинулся к Ирине Алексеевне, крепко обнял, крепко, длительно поцеловал ее влажные, горячие губы.

Отодвинулся, не поднимая глаз, ждал, вновь поддаваясь томительной неопределенности: «Может, выгонит наконец? Туда мне и дорога. А может быть...»

Он поднял глаза — Ирина Алексеевна побледнела, излишне выпрямилась, беспамятной рукой приглаживала и приглаживала волосы. Сидела, закрыв глаза, — чуть подрагивали плечи, немели щеки от этого напряженно-легкого, должно быть, заранее увиденного согласия. Потом молча встала, решительно, быстро прошла в другую комнату.

Григорий Савельич попробовал возмутиться ее решительностью, какой-то врачебной, досадно профессиональной откровенностью и прямотой. «Ну что ей стоило меня выгнать? Не понимает, что ли, что домой надо, что дурак я, круглый и законченный. Ей до этого дела нет, и правильно, что нет. Милость, благо мне дарят, а я, а я — невозможно!»

Подавленный, растерянный, он пришел к ней.

Обнимал прохладное, сильное, ждущее тело и леденел от невыносимого стыда.

— Прости, пожалуйста... — И уткнулся, зарылся потным, холодным лбом в подушку.

Она наклонилась над ним, приподняла, повернула голову, тихо подула на лоб, погладила. Шепотом, неожиданно ласковым, мягким, понимающим, сказала:

— Господи. Так я и знала. Удивительно, но я это знала. Упрямый, нервный дуралей... Хороший мой, хороший...

Постепенно освобождалось от тревог сердце; стихал свист за окном, все яснее приближалось ее лицо.

7

Она приезжала, звонила:

— Здравствуй, здравствуй, друг зубастый. — Голос надламывался. — Ты придешь?

— Да, да, да. Здравствуй, рад тебе, приветствую и прочая и прочая.— Положив трубку, со съежившимся сердцем смотрел на телефон: что на этот раз сказать Ане? Какую выдумать пригородную командировку, очередное заседание или защиту очередной диссертации давнего приятеля?

Проще было бы сказать сейчас Ирине Алексеевне: «Не приду. Ни сегодня, никогда не приду. Все кончено», — и она бы даже не допытывалась, не укоряла, не умоляла, бросила бы трубку, и в самом деле все было бы кончено. Но не мог он так сказать, сердца не

хватало: тоже ждет, он сам дал ей право ждать, как же отнять это право? Невозможно.

По дороге он пытался рассудить все наново, утихомирить душу, разложить все по полочкам — и грехи и муки свои. Вот он идет к любовнице, хождение такое было до него и будет после — неужели у всех оно было отравлено и зачернено страхом, оглядкой, ложью? Вздор, что этот искус сладок лишь под запретом, под зыбкой, зловещею тенью наказания. «Да что я плету. Если бы я Аню с Колькой не любил, не был бы привязан к ним, вот тогда было бы просто. Вот тогда не оглядывался бы. И совестно, так совестно перед Ирой! Никакого ведь чувства у меня, но милая, милая! Ее убьет, если я все так, как есть, скажу. Для нее-то все непросто, она-то любит, и невыносимо обидеть ее. Увяз, увяз. Какой я любовник! Каторжник. Впору на галеры отправить. Там мое место, только там».

Ирина Алексеевна встречала в прихожей, снимала шапку, легонько прижималась:

— Озяб? Устал? — гладила лоб его, щеки, как бы расправляла, счищала дневную хмурь, путала, ерошила волосы. — Расстроен чем-то? Угнетен? — Кружила и кружила, льнула — легонько хмелела голова от нежного, неизъяснимо-печального ветерка.

— Ну что ты, право? Что ты? — терялся он. — Подожди! Ты где-то веешь, паришь — не надо так.

— Нет, надо, надо! И не где-то, а над тобой. Вею, замираю. Не знаю ничего. Не знаю. Хочешь, к сердцу прижму, к черту пошлю. Дай поцелую. Вот сюда и сюда.

Иногда любовное вдохновение оставляло ее, она мрачнела, забивалась в угол тахты, куталась в черное, с причудливыми белыми цветами покрывало — холодно розовели плечи и округлялись, горяще светлели зеленые глаза. Она спрашивала с какою-то гневливой пристальностью:

— Ты меня любишь?

— Ну, Ира. Честное слово, неуместный вопрос. Из школьных прогулок. Даже забавно.

— Нет, ты не увиливай. Отвечай: ты любишь меня?

— Я очень хорошо к тебе отношусь. Очень.

— А жену любишь?

— Да, — как можно тверже и четче отвечал он.

— Зачем тогда ко мне ходишь?

— Потому что дурак набитый.

— Что тебе надо от меня?

— Ничего.

— Познакомь меня с женой. Может, мы станем подругами. Ты не против?

— Ужас какой-то! Прекрати! Если это шутка, то очень дурная, если серьезно — ты с ума сошла.

— Почему, Гришенька? Прятаться мне надоело, подпольщицей быть устала. Все жду и жду тебя. Зачем жду?

Ирина Алексеевна то ли спохватывалась, то ли проходил приступ этого мрачного любопытства, но снова тянулась к нему:

— Люблю тебя, Гришенька, и злым.

— Давно хочу спросить, почему ты не замужем? Нет, почему не выходишь?

— Тебя ждала. А теперь некогда.

— Я серьезно.

— Не знаю, Гриша. Не думала. Да и не хотела. Успею... Хотя могла бы. Помнишь, я удивилась, что ты стоматолог. Сказала еще, что непохож? В институте училась с одним парнем, считали нас женихом и невестой, но я не хотела замуж и отказала ему. До сих пор письма пишет, два раза в месяц, и в каждом спрашивает: когда же я передумаю. Я, говорит, терпеливый и буду ждать. Так вот, он тоже стоматолог. Потому и сказала тогда, что непохож ты.

— Два раза в месяц? Большой педант, даже завидно. Почему бы тебе в самом деле не передумать?

— Хватит, Гриша. Не надо. Никак почему-то не передумывается.

Сходило порой на нее бурное умиление, превращавшее ласки ее в столь порывистый и беспорядочный натиск, что Григорий Савельич пугался и осторожно отстранялся от них. Тогда Ирина Алексеевна сжимала в ладонях его лицо и, видимо все еще не опомнившись, приговаривала непривычно тонким, плачущим голосом:

— Капелька моя! Чутелька! — Сюсюканье это так не вязалось с ее крупным, сильным телом, что Григорий Савельич недовольно морщился.

Но чаще всего лицо ее было бледным, отрешенно-тревожным. Закрыв глаза, запутав пальцы в его волосах, тихо и грустно вздыхала:

— Ах, боже мой, все равно я тебя люблю.

Он допытывался:
— Почему «все равно»? Почему?
— Ах, боже мой...
Завяз Григорий Савельич, окончательно заврался, смотреть на него тошно стало, и однажды утром, когда он вновь бубнил жалкие, неверные слова, Аня так и сказала:
— Смотреть на тебя тошно. Что ты все юлишь, мельтешишь, в глаза не смотришь? Мелко, гадко живешь. Взял бы, если так уж тебя тянет, закатился бы куда-нибудь на неделю, погулял, попировал. Да не один, с любовницей. Как раньше говорили, душу бы под бубенцы отвел. Так хоть размах бы какой-то чувствовался, лихость. А то серо, по-мышиному. Хвать крошку — и в норку, нету меня.
— Что за глупости, Аня? Какая любовница, — вяло пробормотал Григорий Савельич и показал глазами на Кольку. Тот сидел смирно, старательно ковырял кашу и будто не слушал, но кто же не знает, какие у Кольки длинные и хваткие уши.
— Пусть слышит. Я устала уже объяснять, где папа. Может, никакого папы и не надо. Хуже теперешнего жить не будем. Ты понимаешь, что ты уже не нужен становишься?
— Аня, пожалуйста, не преувеличивай.
— Эх, Гриша, Гриша. Какой же ты замызганный стал. И слова откапываешь какие-то замызганные: не пре-у-ве-ли-чи-вай! Все отговориться хочешь. Нет уж, не выйдет. Выбирай, Гриша: или мы, или теперешняя твоя жизнь...
— Ладно, хватит! — Он вскочил. — Сыну морали читай. Больше пользы будет. И тактичнее. — Схватил шапку, пальто — убежал. Хлесткий утренник вышибал слезы. Григорий Савельич бежал и только головой крутил: права, совершенно права, нарочно вспыхнул, чтоб со стыда не провалиться. «Все, все! Кончено, к черту. Освободиться, вздохнуть. Аня, Аня, как ты права!»
На службе, отдышавшись, сразу же отправился к благодетелю.
— Лев Андреич, здравствуйте. Я пришел сказать...
Кашеваров приложил палец к губам: «Тс-с».
— Два слова осталось. Присядьте, Григорий Савельич. Потом, как говорят студенты, и общнемся.
Григорий Савельич напряженно присел на краешек,

чтобы не сбиться, не остыть, глаз не сводил с Кашеварова. Тот, подняв очки на лоб, сочинял какую-то бумагу. Морщинистый, бледно-бронзовый от сплошных веснушек Кашеваров пожевал губами, видимо на вкус пробуя недописанные слова. Постучал рыжими пальцами по столу, поднял дымчато-голубые, чуть осоловевшие глаза:

— Нет, сбили, Григорий Савельич. Итак, вы пришли сказать, что едет ревизор.

— Я хочу уволиться, Лев Андреич.

— Да?! — Кашеваров передвинул очки на глаза. — Подыскали что-то интересное?

— Подыскивать собирались вы, Лев Андреич. Простите за напоминание. Я же просто хочу уволиться и податься в рядовые.

— Но я все понимаю, Григорий Савельич. Если вы таким образом хотите ускорить дело, то я очень огорчен.

— Что вы, Лев Андреич. Никакого нажима, никаких обид. Хочу живого и ясного дела. Бумаг больше видеть не могу — аллергический зуд вызывают.

— К сожалению, бумаги будут везде.

— Их можно терпеть, когда занят еще чем-то.

— Уверяю вас, вы нигде больше не научитесь деловой выдержке, терпению, если хотите, тонкостям бюрократической дипломатии. Может быть, для постижения этой науки я и держу вас так долго в черном теле.

— Пока я ее постигну, я побелею. Тогда я буду занимать место, а сейчас я буду работать. Это так очевидно, что только руками разводишь, как очевидностью этой пренебрегают.

— Хорошо, Григорий Савельич. Я вижу, вы все хорошо продумали. Давайте сделаем так: поезжайте по своей епархии, проверьте, так сказать, насколько видимость соответствует действительности, подготовьте место к сдаче и по пути проветритесь. Думаю, месяца вам хватит. А я по-прежнему буду думать о вас.

«Черт с ним, с месяцем и с Кашеваровым. Перебьюсь. В любом случае здесь меня не будет. И на том спасибо. А завтра в Аргутино. Скажу. Не знаю как, но все скажу и Ирине».

8

Уже прохватывало прощальным ветром. Григорий Савельич перед автобусом зашел на базар, купил белых, с едва уловимой печальной желтцой хризантем. Спрятал за пазуху от жгучих ноябрьских сумерек, а когда попал в автобусное тепло, выпростал цветы, расправил примятые лепестки. Расправлял осторожно и долго — время проходило бездумно и быстро. Но все-таки до Аргутина занятия этого не хватило. Пришлось опять подумать: как скажет, с чего начнет, как она поникнет и отзовется. Григорий Савельич посмотрел в окно, заросшее льдистым куржаком, и с удовольствием отвлекся: подышал на лед, поскреб пальцем, пробился к стеклу, припал — одна темень летела мимо.

В Аргутине автобус остановился у почты. Под ее радужно-сизыми фонарями поплясывали, попрыгивали встречающие — мороз перегнал автобус, уже и здесь поджидал Григория Савельича. Он не хотел встречаться с Дмитрием Михайловичем и спросил у женщин на почтовом крыльце, где искать Ирину Алексеевну. Оживились, объяснили, показали — Григорий Савельич усмехнулся, представив, как сейчас же за его спиной вырастет молва: к докторше жених приехал.

Стекленели, скользили подошвы — чуть не упал у крыльца, поскользнувшись. Выпали и рассыпались цветы, он не сразу заметил, а заметив, бросился на коленях собирать, чертыхался, судорожно пуговицы рвал, заталкивая цветы под мышку, чтоб быстрее согрелись.

Ирина Алексеевна ахнула, увидев его, отступила, присела на табуретку.

— Молодец, какой ты молодец! — Посидела еще, все не веря, и уж потом только закружилась, заластилась.

Когда он, отвернувшись, собрал цветы за пазухой в букет и, выхватив, преподнес, она вмиг густо покраснела, влажно заблестели глаза.

— Спасибо, Гриша. — Сбегала в комнату за кувшином.— Ой, почему они чернеют?

Григорий Савельич, виновато улыбаясь, объяснил.

— Так, так, Григорий Савельич. Черные цветы в черную ночь от черной души. За-пом-ним. Ну, ну, ладно. Все равно радость безмерная. И причина есть. Вообще

первый букет за здешнюю жизнь, и от тебя — первый. Зимой. Замечательно!.. Как это ты вырвался?

Рассказывая, наконец снял пальто, разулся — закололо, защипало, защекотало прихваченные морозом пальцы. Он сел на порог, обхватил их ладонями и не видел, что у Ирины Алексеевны на мгновение остыли понимающе и устало глаза.

— Обморозил?! Сейчас мы тебе спиртиком...

— Нет, чуть-чуть... Мадам держит спирт? На дому? Ограбят.

— Не успеют. Пир пойдет горой, и ничего не останется. Согласись, пир необходим. Все-таки ты редкий гость. Если не сказать редчайший. И неповторимый. — Она опять посмотрела на него, отвернувшегося к приемнику, пристально, понимающе и устало.

— Надеюсь, ты не собираешься звать Дмитрия Михайловича?

— Только хотела спросить, не сбегать ли...

— Успею, завтра увидимся. Причем ближе к вечеру. Знаешь, почему? Как мороз отпустит, давай побродим, пошатаемся по вашим окрестностям. Сможешь освободиться?

— Хорошо. С утра схожу, договорюсь — ты еще спать будешь. Побродим, конечно, побродим.

«Лучше на воле скажу. На воле легче. Сегодня и без отравы можно обойтись. Завтра, завтра, не сегодня... Да уж лентяй черта с два в такую историю влипнет».

Потеплело, снег уминался мягко, без скрипа и хруста. Чуть отзывался только лошадиным хрумканьем. Зеленело небо, тихо желтело невысокое солнце, розовел сосняк на дальнем гольце. «Кому все-таки надо превращать такой день в дым, в пепел, в головешку? Как ни странно, мне надо. Полить бензином и поджечь». Григорий Савельич остановился у колодца под тесовым навесом, вырытым почему-то на отшибе, в доброй версте от села. Подождал отставшую Ирину Алексеевну.

— Везучие все же мы! Смотри, какой день. Может, в его честь хлебнем по глоточку ключевой-глубинной? — Он поднял колодезную цепь — веселый старинный звяк покатился по снегу.

— Спасибо, я этот день и так запомню. И тебе не

советую. Береги горло, посадишь. Как слово заветное скажешь? Как сердце свое обнажишь?

— Какое заветное? — растерянно хватанул ртом Григорий Савельич.— Н-не понимаю.

— Да чьи-то строчки вдруг подвернулись. Ой, какой ты смешной — глаза вытаращил, как филин. Ты чему удивляешься?

— Тебе. Как всегда тебе.— Бросил ведро в узкое горло наледи — завизжал, дробно застучал ворот.— Я все же хлебну.

Он не хотел пить, но тянул время, не мог совладать с нерешительностью, вязко объявшей его. Глотнул раз, другой — поперхнулся, облил шарф, отвороты, разозлился: «Так тебе, дураку, и надо!»

Полез за платком, наткнулся на коробочку со сверлами и пилками и замедлился с платком, унесся жаждущей покоя душой в маленький белый кабинет Дмитрия Михайловича, пропахший камфорой, эфиром, к колодистому, старого образца, зубоврачебному креслу, услышал, как произносит свою любимую шутку: «Откройте рот. Батюшки! А где же зубы?!» И ведь до кабинетика-то рукой подать!

Шли и шли вдоль брошенной лесовозной дороги, остановились на бесснежной, в хвойных наметах излучине, под тяжелыми еловыми лапами разложили костерок — все молча, со странным неторопливым согласием в движениях, словно заранее договорились: там остановимся, а там — костерок запалим. Постояли над ним, с дремной сосредоточенностью уставясь на желтый, веселый огонь. Неожиданно потянулись через него друг к другу, поцеловались и почему-то бурно, сильно смутились: отпрянули, точно опахнуло их робкой, юной влюбленностью...

Григорий Савельич отошел за хворостом в глубь полянки и оттуда вновь увидел Ирину Алексеевну так, как видел в сентябре, когда вечернее небо оттеняло, высвечивало ее склоненную голову. Он подумал, что так и должно быть: первая встреча стремилась к последней, и, значит, все участники этой встречи: деревья, небо, желтое солнце — шли следом или вместе с ним и Ириной Алексеевной, тоже стремились к разлуке, замыкали сейчас круг, напоследок показывали начальную картину, и как же она печальна! Ирина Алексеевна задумчиво склонила голову, за ней, в зеленоватом голом осин-

нике сквозило вечернее небо, — и вновь попросилось и вошло в сердце смущение, что никогда не постичь пронзительную ясность этого видения. Оно существует само по себе, отдельно от женщины, вроде полдневного марева, чей зыбкий и недостижимый жар опаляет душу, и мучится она, мечется потом всю жизнь.

Григорий Савельич вспомнил, что и Аню когда-то видел так. Отстраненно, тоже объятую небом и загадочностью. Вспомнил, и как же больно ему стало! Соединялась она сейчас с Ириной Алексеевной, и сияла над ними тайна, которую никогда не узнать.

Потом они остановились в пастушьей сторожке, на краю лесной луговины. Как и в зимовье, были тут припасены растопка, дрова, на подвесной доске-полке лежали сахар, заварка. Вскипятили чай на железной печке — маленькой бочке, неровно примятой сверху молотком или камнем. Запотело окошко, влажно зарумянились лица. Запахло анисом, полынью — отогрелась, задышала трава, покрывавшая жердевый лежак. Григорий Савельич, разнеженный чаем и этим травяным настоем, подумал, что лучше всего сказать обо всем перед отъездом, перед самым автобусом — грубо, конечно, выйдет и безжалостно, как зуб без наркоза рвануть, ну да, может, боль перекричать, перемаять легче в одиночку — не перед кем потом стыдиться за свой крик и плач.

Григорий Савельич взял ее руки, спрятал в них лицо, подышал возбуждающе чистой горечью полыни, уже омывшей ее ладони, а потом целовал и целовал: запястья, нежные припухлости вен, округлые, смугловатые ядрышки на сгибах пальцев — Ирина Алексеевна не откликалась. Обнял ее, потянулся к губам — она плавно отклонилась.

— Не надо, Гриша. Сядь как следует. Все утро собиралась. И вот, пока шли... В общем, я выхожу замуж.

— Да как же так?! — Его недавние сомнения, страхи немедленно вытеснились ревнивой обидой, чуть остужаемой сквознячком облегчения — так после изнурительной жаркой дороги чувствует путник дыхание реки.

— Я ведь говорила тебе... Он пишет мне, в одном институте учились. Вот я ответила, что согласна, что приеду. — На самом деле она еще не ответила, еще не согласилась, но, отгадав прощальное настроение Григория

Савельича, решила согласиться. Без него ей все равно: можно и замуж. Все равно надо будет уехать. А опередила Григория Савельича она потому, что невыносимо было смотреть, как он мается, места не находит. Жалко его. И спасибо ему, что тоже жалеет ее, оттягивает боль, заранее боится этой боли.

— Где он живет?

— В Боготоле.

— Ира, Ира...— У него налились глаза.— Все так дико, необъяснимо, тяжело. Ведь я тоже хотел...

— Ну, что ты, Гриша!.. Хороший мой. Дай лучше я тебя поцелую.

9

За два часа до Боготола Ирина Алексеевна сдала постель, уложила сумку и вышла в коридор. Возились на половике ребятишки, плакали, кричали, дружно басили мужчины у окон; проносились буфетчики, ухитряясь никого не задевать огромными корзинами; свободные от смены проводницы навязывали лотерейные билеты — эта суетня, бестолковщина освежили ее после тесных, душных — под стать купе — дум.

«Пора уж и о женихе подумать. — Ирина Алексеевна прижала к стеклу тяжело горевший от бессонницы лоб.— Поди, уж на вокзале. Ждет. Хотя... вряд ли. Подъедет или подойдет к самому поезду. Может, правда, изменился теперь, подыспортился, наплевал на свои режимы, распорядки, графики. Телеграмму получил, наверное, до потолка подпрыгнул. Победил, добился, свое взял. Молодец, конечно. Если бы не то да не другое... Впрочем, не имеет значения. Главное: своего часа дождался. Как это он говаривал? Любое дело, даже тягомотное и противное, надо доводить до конца. Во что бы то ни стало. Хороший он и правильный парень, да вот невеста-то не ахти какая достается. Порченая, крученая, верченая».

Давно, в конце институтской жизни, узнала она Андрея Романова. Он подошел однажды в раздевалке, после лекций:

— Здравствуй. Мы ведь мельком знакомы. И это неправильно.

— Мне кажется, вообще незнакомы. Ты кто? Из комитета, из профкома, из хора?

— Нет, я — Андрей Романов со стоматологического. Нас знакомила Роза Семенова в прошлом году, когда ехали на картошку.

— Что-то не припомню. Роза только тем и занимается, что кого-нибудь с кем-нибудь знакомит. А в чем дело? — Она врала, конечно, потому что Андрей Романов был этаким спортивно-статным студентом и легко запоминался.

— Хочу познакомиться поближе. Я понял, что ты самая красивая девушка в институте, и решил добиться твоего расположения.

— Ой, ой. Как же это ты выяснил? Сравнивал, сопоставлял, проводил опросы?

— И сравнивал и сопоставлял. Лучше тебя нет. Думаю, мы подружимся.

— А вдруг у меня характер отвратительный? Советую тебе, Андрей Романов со стоматологического, крепко об этом подумать.

— У женщины не может быть хорошего или плохого характера. Может быть только женский. Если это понять, с женским характером легко мириться.

— Все ты знаешь. А как же это мы начнем дружить?

— У меня есть два билета в театр.

Она сказала: «Вот это да!» — и в театр пошла: все-таки не каждый день встречается человек, считающий тебя первой красавицей, даже в таком многолюдном институте, как медицинский.

Андрей Романов пытался быть разносторонним человеком: занимался спортом, читал книжки, слыл заядлым театралом, ходил в активистах научно-студенческого общества.

Ирина Алексеевна, следя за его времяпрепровождением, иногда спрашивала:

— Скажи, Романов, ты многого добьешься?

— Думаю, да. Только одно уточнение: многое успею.

— А зачем, зачем тебе все это?

— Во-первых, интересно. Во-вторых, чем больше человек занят, тем меньше он поддается отрицательным эмоциям. Вот ты киснешь, жалуешься на скуку, валяешься на диване целыми днями. Это потому так бывает, что у тебя бездна незанятого времени. Когда человек говорит мне: «Что-то настроения нет», он для меня погибает. Он просто бездельник, у него есть время копаться в каком-то настроении.

— Значит, я для тебя давным-давно погибла. У меня вот совершенно нет настроения выслушивать твою скукотищу.

— Вот, пожалуйста. Ты очень легко поддаешься отрицательным эмоциям и, следовательно, много душевных сил тратишь впустую.

— А знаешь, как приятно иногда поскучать. За окном дождь, деревья затихли, серо все, безысходно... Даже всплакнуть хочется.

— Понимаю и не понимаю. Понимаю, что так может быть. И не понимаю, потому что и в дождь легко найти занятие.

— Ну и черт с тобой, не понимай!

Он никогда не обижался, он только недоумевал:

— Зачем ты раздражаешься? Время, потраченное на раздражение, ты могла бы потратить на что-либо полезное и приятное.

— Хочу, хочу раздражаться! Мне нравится раздражаться! Я люблю раздражаться!

— Раздражайся на здоровье.

Месяца за два до распределения он пришел свататься:

— Ирка, пора регистрироваться. А то упекут в разные стороны. Распределимся, я поеду вперед, все там подготовлю — и живи не тужи.

— Романов, я не хочу замуж. Я понимаю, что теряю лучшего жениха, но не хо-чу. Хочу одна пожить, без папы, без мамы и тем более без мужа. Вот поскитаюсь, помыкаюсь — тогда посмотрим.

Он помолчал, недоуменно поднял брови:

— Почему теряешь? Я подожду. Мыкайся, скитайся — я подожду. Только ты уж, пожалуйста, больше ни за кого не выходи.

— Может, вообще не выйду. Так что не волнуйся раньше времени.

«И ведь дождался, никуда не денешься!» — Ирина Алексеевна отодвинулась от окна. Она устала, не знала, куда деться, и надеялась отвлечься, глядя на вагонную жизнь, но коридор почти опустел: ни ребятишек, ни проводниц, ни буфетчиков — лишь через окно от нее курили двое бородатых парней в выгоревших, блекло-зеленых энцефалитках. Вчера, когда Ирина Алексеевна только освоилась в вагоне, они пытались разговорить ее.

— Девушка, хотите скрасить свои будни? А заодно

и наши? Познакомьтесь с нами, пожалуйста. Мы едем четвертые сутки и до смерти надоели друг другу. То ли сезон тяжелый был, нервы до предела дошли, то ли душа соскучилась по простору, среди камней-то, но увидишь деревеньку на бугре и, прямо как школьник восторженный, смахнешь, понимаете, набежавшую. С вами не бывает такого? Ведь все это по сто раз видено — не прошибало. А тут удержу нет. Давайте поговорим об этом...

Вмешался второй парень:

— Подожди, Саня. В каждом человеке ограничитель стоит, вроде как в машине. Ходит, ходит по родной земле, ничего не понимает и не видит — ограничитель на сердце стоит. А когда сапог пар этак пять собьет, ограничитель — долой. И напрямик все эти перелески в сердце влетают.

— Витя, я хочу объяснить девушке главное. Невозможно полюбить другую землю. Сердце-то у меня занято! Оно не безразмерное. Одна родина, одна мать, одна женщина, которую выберу. Понимаете, не могу я их теснить и кого-то еще туда пускать... Девушка, пойдемте с нами в ресторан? И поднимем бокалы за занятые сердца?

Она ответила дрожаще-сдавленным голосом:

— Прекрасный тост предлагаете, мальчики. Спасибо. Но настроение у меня... И вам испорчу.

Они увидели слезы, торопливо, испуганно извинились, поклонились; даже после ресторана, расположенные петь, плясать, навязываться в собеседники, прошли мимо чуть ли не на цыпочках.

«Сейчас бы с ними поговорить, да ведь сама не подойдешь». Ирина Алексеевна прислушалась к их разговору, излишне оживленному и сбивчивому.

Она слабо улыбнулась: «Философы. Намолчались, поди, в своих маршрутах — головы распухли от всяких соображений и идей. Век не переслушать. Ну да ладно. Сейчас другого философа увижу». Она прошла в купе за сумкой, поезд подходил к боготольскому перрону.

10

Андрей Романов уже ждал, точно рассчитав, где остановится ее вагон. Ирина Алексеевна тихонько двигалась за толпой к тамбуру и смотрела в окно

на Андрея. Он не изменился: подобран, плечи развернуты, спокойно-правильное, солидное лицо, доброжелательны и прямодушны большие воловьи глаза. Почему-то пришел без шапки, и густой каштановый бобрик странным образом согласовывался с шалевым воротником дубленки, придавал некую завершенность его спортивной фигуре.

— Ирка, с приездом! — Он подхватил ее с подножки, осторожно покружил и осторожно поставил. — Поцелуемся? — Она отвела платок со щеки.

— А без спросу не мог?

— Учту, учту. Исправлюсь... Как ехала?

— Романов, раз я перед тобой, значит, ехала прекрасно.

— Язвишь, а я несколько не в себе. Все-таки не каждый день видимся.

— Уж это точно. Ты на вокзале, что ли, живешь?

— Почему?

— Стоим и стоим. Вот я и подумала, что где-то близко. Случайно, не в зале ожидания?

— Сейчас багаж возьмем — и в карету.

— Какой багаж? — Ирина Алексеевна приподняла сумку. — Я же бесприданница, Романов.

Он чуть округлил воловьи глаза — дружелюбие в них осталось, но примешивалась к нему доля холодной пристальности — что-то раньше Ирина Алексеевна ее не замечала.

— Подожди, Ирка. Ты всерьез приехала? Или, так сказать, на пикник к старому товарищу?

— Романов! Какие ужасные слова! Разве тебе мало, что приехала я? Между прочим, я и не уволилась — ведь мы давно не виделись. Вдруг ты спился, стал картежником? Зачем мне такой жених?

— Увольняться вместе поедем. — Андрей взял ее под руку. — Учти, Ирка. Я тебя отсюда не отпущу. Как пес буду сторожить, чтоб не передумала и не сбежала. На тридцать три засова и запора буду закрывать.

— Не успела приехать и уже должна сбежать. Господи, дай хоть передохнуть.

Он покрепче сжал ее локоть, замедлил шаг.

— Чтоб все было ясно, Ирка. Я тебя ждал по-настоящему. Больше мне никто не нужен. То есть чувство мое ясное и надежное, не умею я об этом говорить.

— Романов, может, не чувство, а упрямство? Дово-

дишь начатое дело до конца? Во что бы то ни стало. Может, я тебе нужна в качестве некоего диплома, подтверждающего очередное твое достижение?

— Не упрямство, Ирка, а постоянство. Мне никто не нужен, кроме тебя.

— Ну хорошо. Вот она я. И, пожалуй, хватит об этом.

Андрей жил в казенном пятистеннике, выкрашенном темной охрой, — занимал в нем половину. Ирину Алексеевну неприятно удивило сходство этого дома с ее жильем в Аргутине. «Ехала, ехала и вроде никуда не приехала».

И крыльцо в три ступенечки, и щелястые сени тоже напоминали ей Аргутино.

Потом он показывал ей квартиру, чистую, аккуратную, несколько темноватую из-за узких, с частыми переплетами окон. Было много мебели, старой, прочной, хорошо ухоженной: диваны, диванчики, дубовые стулья, обтянутые свежим темно-синим вельветом; дубовый буфет, дубовый платяной шкаф, недавно покрытые лаком и холодно мерцающие. Но, странное дело, мебель эта не заполняла, не подавляла, в сущности, малое пространство комнат, а лишь усугубляла их пустоту, своим громоздким присутствием нагоняла какое-то уныние. Ирина Алексеевна сначала не могла понять, почему ей так неуютно и уныло, но, осмотревшись, поняла: все эти дубовые старые вещи стояли строго возле стен, никак не соединяясь и не сообщаясь друг с другом, — сказывалась и здесь геометрически ясная натура Андрея. И он, довольно посмеиваясь, рассказывал:

— Больница новую добыла, рижскую, а эту стали списывать. Насколько я понимаю, в старой мебели сейчас главный шик и главный смысл. Нравится?

— Молодец. — Ирина Алексеевна вздохнула. — Ну, расскажи что-нибудь. Как жил, что поделывал?

Рядом с дверью в кухню была еще дверь — Ирина Алексеевна думала, что за ней какой-нибудь чулан, но, оказалось, там полностью оборудованный зубоврачебный кабинет. Тесный, крохотный, занявший действительно бывшую кладовку.

— Тоже из списанного, из разных развалин собрал. По вечерам, в выходные делать нечего — я охотно практикую. Не могу не похвалиться, Ирка: местные жители души во мне не чают. Я же безотказно прини-

маю: ночью, утром, в праздник. Друг и спаситель. Конечно, теперь, с тобой, я все это не то чтобы прикрою, но ограничу.

— Интересно. А как же трешки, пятерки суют? В руку или в карман?

— Да что ты! Я же Миклухо-Маклай, подвижник, ради лишней практики, а не ради лишнего рубля. Правда, здесь у многих натуральное хозяйство, и вот когда узнали, что я бессребреник, стали забывать в сенях то сало, то яички, то банку сметаны.

— Берешь натурой, значит. Сметана, кусочек курочки — скажи, на положительные эмоции они влияют?

— Вас понял. Морю долгожданную голодом с первого дня. Сейчас, сейчас что-нибудь соберу.

— Нет, нет, Романов. Завтракала, сыта. Не хочу. Не будем думать о плоти, будем думать о духе. Хочу все про тебя знать. Неужели ты только ел сметану и лечил местных жителей? Ничего не слышу о твоем движении вперед. О твоей жажде все знать и все успевать.

— Ирка, не издевайся. Все-таки я отвык от такой манеры вести беседу.

— Мы не беседу ведем, а наговориться не можем никак. Так что — жажда?

— Ладно, смейся. Я иностранным тут занимался. Заочно курсы кончил. Если куда потом переберемся, в аспирантуру можно пойти. С иностранным у меня всегда плоховато было.

— Все. Теперь душа моя спокойна. Узнаю и приветствую. Теперь я устала, хочу отдохнуть. Ты никуда не пойдешь?

— Ненадолго надо показаться. Потом подкупить коечто хочу.

— Как подкупить?

— Приезд же надо отметить. Так сказать, помолвка, смотрины — неужели ты против?

— Подожди, подожди! Какие смотрины? Ты кого-то пригласил?

— Понимаешь, неловко было. Техника своего с женой. Они, знаешь, очень переживали за меня. И за тебя. Милые, скромные люди.

— Да-а... Я-то думала, мы побудем вдвоем. Хотя... Раз милые и скромные и за меня переживали... Давай, Романов, веди. Ой, как я устала! — Ирина Алексеевна вдруг озябла, подумала было, что простыла в поезде, но

нет, зябкость не походила на простудную, ломотную, а охватывала медленно и ровно, погружала тело в безразлично-холодное ожидание: «А, как будет, так и будет».

Вечером пришел техник Миша с женой Валей. Оба черные, плотные, гладкие, видимо, были очень дружной и давно возникшей парой. Андрей, конечно, ошибался, от скромности они не умирали: охотно и много говорили о себе, о своих детях, о жизни, которую хорошо можно устроить и в Боготоле, о радости, которую им принес ее приезд, о замечательном Андрее Исаевиче («Он так, бедняжка, вас ждал»), но говорливость их была особого толка. Ирина Алексеевна тотчас же забывала их слова, и ей все время хотелось переспрашивать: «Сколько, сколько у вас детей? Как вы сказали, когда вы приехали?» — то есть они говорили и говорили, а казались молчаливыми, с удовольствием «якали» и в то же время прослыли скромниками — некая неуловимость их существования, видимо, и ввела в заблуждение Андрея, когда он говорил про них «милые и скромные».

Он лучился добросердечием, радушием, с победительной щедростью рассуждал о будущем: «Мы с Ирочкой сделаем так-то...» Ирину Алексеевну не оставляла давешняя зябкость; улыбаясь, разговаривая, согласно и со своевременной нежностью поглаживая Андрееву руку на столе, она никак не могла отделаться от наваждения, что кто-то шепчет ей на ухо: «А, как будет, так и будет».

Наконец Миша и Валя встали. Валя, промокнув салфеткой вспотевшую усатую губку, произнесла прощальный тост:

— Это был незабываемый вечер. Мы с Мишей от всей души желаем вам крепкого сибирского здоровья и солнечного кавказского долголетия.

Ирина Алексеевна прикрыла глаза, спрятала неприязненную усмешку.

11

Они остались одни. Ирина Алексеевна неожиданно спросила:

— Что, она всегда такая противная?

— Не нахожу. Ты ее плохо знаешь и потому неправильно судишь.

— Нет! Противная, пошлая баба. А ты еще головой киваешь, улыбаешься — поощряешь эту пошлость! Ведь этому тосту сто лет. Он же весь потный, жирный, захватанный!

— Ирка, не кипятись. Во-первых, не стоит так пылать из-за пустяков. Во-вторых, ты не хочешь задумываться над истинной сущностью слов. Разве плохо, когда тебе желают здоровья и долгих лет? Стоит трезво воспринять сказанное, и оно будет обозначать только то, что обозначает.

— Ужасно, что ты и в пошлости находишь положительные эмоции. Из-за чего же тогда пылать, Романов? Скажи, есть что-нибудь на свете такое, из-за чего можно забыть о трезвости, плюнуть на все объяснения, а только пылать, изводиться, сердце тратить?

— Трезвым быть значительно труднее, чем пылать и изводиться. Если хочешь, на трезвость, на сохранение так называемого здравого смысла сердечных сил уходит не меньше, чем на слепую искренность, на так называемые слепые страсти. Ум, да и сердце тоже надо занимать ясным представлением, чего ты хочешь от жизни. Все почему-то думают, что ясность, трезвость, готовность к делу даются легко, пренебрежительно уравниваются с черствостью. И никто не думает, что это так же трудно, как сходить с ума, неистовствовать, пыль в глаза пускать. Еще как трудно. Вернее, неизвестно, кому легче. Или, не отводя глаз, на жизнь смотреть, или прятаться за раздражение, за нервы, за скуку.

Ей стало жаль его.

— Никто так не думает. Я не думаю. Сочувствую, Романов, понимаю. Все одну жизнь живут, и жить всем трудно. Согласна и никуда не прячусь. Буду тоже, не отводя глаз, смотреть. Ты смешно... хорошо сказал: трудно с ума сходить...

— Я сказал: это так же трудно, как сходить с ума.

— Ну, хорошо, хорошо. — Ирина Алексеевна снова зябла, снова кто-то шептал на ухо: «А, как будет, так и будет». Пересела на диван, подобрала ноги, укуталась в шаль.

Андрей, не приглашая, неторопливо выпил еще рюмку, задумчиво почмокал, подпершись, посидел за столом: то ли горевал, то ли пытался проникнуть в будущие дни. Потом пересел к Ирине Алексеевне, обнял, крепко и неловко; пуговицей куртки оцарапал ей щеку.

— Все-таки, Ирка, мне больше никто не нужен. Никто. — Поцеловал. — Слышишь? — Еще раз поцеловал. Обнимал уже с такой силой и старательностью, что Ирина Алексеевна задохнулась.

— Не надо, Романов. Я очень устала. Нет, нет! Слышишь?! Успокойся. Все-таки помолвка не свадьба. Рассуди-ка. И успокойся.

12

Она долго не спала. «Надо же было превратиться в такую дуру! Замуж собралась. Господи! Думала, будет все равно. Но не бывает, врут — никогда не бывает все равно. Больно, тошно, пусто, но не все равно! Вот именно — пусто. Рядом с Романовым будет пусто. Пус-то. То есть ничего, неживь какая-то, «солнечное кавказское долголетие». Наверно, к боли можно привыкнуть, к тоске, а как привыкнуть к пустоте? К «ничему» как привыкнешь? Да и привыкать-то неохота. Не хочу делить эту безоглядную занятость, это упоение ею. Не хочу даже присутствовать при этом постоянном, аптекарском взвешивании жизни: столько-то чувств сюда, а туда — столько-то рассудка. Никогда не научусь. Не смогу, Андрей Романов. Заранее извини, что приехала. Никто, никто мне не нужен!»

Вспомнила Григория Савельича. Ведь видела и понимала быстротечность, печальную зыбкость их связи — видела, но не отказалась, не смогла отказаться. И теперь удивлялась этому и думала с открытыми, влажно-горячими глазами, что ничего у нее не осталось, кроме этого удивления, и парит оно сейчас над ней облаком, дрожит золотистой, вечереющей синью.

Улыбнулась, вновь переживая его слова, капризы, вспышки бурной, горячечной искренности. «Ах ты ненормальный! — шептала Ирина Алексеевна. — Какой же ты ненормальный!» Она угадывала каждый его шаг, каждый вздох. Его смятение и подавленность, когда однажды шли в кино и он боялся встретить знакомых; его смешные, мучительные попытки примирить ее появление с семьей, с его Аней, жизни которой Ирина Алексеевна сочувствовала и завидовала; его томление в прощальный день, когда он с такой ребячьей наивностью откладывал и откладывал подальше горечь, что смотреть было невозможно, — иногда ей казалось,

что он совсем маленький мальчишка, который, играя в прятки, сунул голову за занавеску и кричит: «Нету меня! Спрятался».

«Дуралей, какой дуралей! — шептала Ирина Алексеевна. — И этот шрамик у него на плече. И посапывал смешно, с присвистом. Господи, какой же родной! Правильно эти геологи в поезде говорили: сердце не безразмерное, по одному человеку в него вмещается, по одной родине. Родной, родной. Да не мой. И на память ничего не осталось, и сюда, дуру, принесло. Ну что ж теперь, что одна. Пусть... Хоть бы какую-то память о нем. Господи, как я сразу-то не поняла, что никто мне не нужен, кроме него. Никто. Нет, не может же все уйти. Должно что-то остаться. Обязательно. Да, да...»

...Утром дождаться не могла, когда уйдет Андрей. Он громко вздыхал, громко топтался, громко пил чай — очень хотел, чтоб она проснулась, но Ирина Алексеевна, отвернувшись к стене, упорно рассматривала обои сквозь смеженные веки.

Андрей наконец ушел, звонко, протяжно щелкнул замок. «Он с ума сошел! — Ирина Алексеевна вскочила, бросилась к двери. — Действительно, закрыл. Нет, он что думает?! Действительно, взаперти, под замком? Рассчитал, пошутил, слово сдержал. Ну Романов!»

Оделась, взяла сумку, подошла к окну. Оно было заклеено на зиму. Достала маникюрную пилку, распорола бумагу на стыках, с силой, но осторожно рванула раму, распахнула — делала все четко, быстро, уверенно, будто всю жизнь открывала запечатанные окна.

Вылезла во двор, к поленницам, — никто не видел, не слышал. «Ничего себе невеста, славно поворачивается». Тщательно закрыла окно, отряхнулась, неторопливо обогнула дом, неторопливо вышла на улицу. И тут же прибавила ходу. До вокзала вытерпела, не оглянулась. Вздохнула посвободнее и поглубже, раскрыла сумку и направилась к кассе.

13

Григорий Савельич порывисто снял трубку, услышал:

— Я вернулась. — Голос надламывался как-то дро-

жаще, переливчато. — Ты можешь прийти? Пожалуйста, хоть на минуту.

— Ира? Нет, узнал, но не поверил. Не ждал. Ну, почему не думал? И сейчас вот раздумался изо всех сил. Хорошо, приду.

«Еще спрашивает: неужели даже не думал. Почему, кстати, «даже»? Думал, еще бы не думать! Думал — все, освободился; покой, мир, нет к прошлому возврата. Да мало ли что я думал! И все — снова да ладом. Сейчас начнется: милый, хороший мой... А хороший твой только-только оклемался, худо-бедно семью удержал. Что же это она? Раз все, то все».

Холодно, негромко он сказал чуть ли не с порога:

— Здравствуй, Ира. С приездом. В самом деле, я на минуту.

Ирина Алексеевна кивнула, соглашаясь:

— Пройди, присядь. — К облегчению Григория Савельича, не кружила, как прежде, не ластилась, вообще даже не прикоснулась.

Бледная, в том памятном темно-синем костюме, в алой блузке, присела напротив, руки нервно собрала на груди. На Григория Савельича не смотрела.

— Гриша, я напрасно ездила. Там все пусто и ненужно. Я все понимаю. Боюсь, ты думаешь, что я навязываюсь. Попрошайничать буду. Нет, нет, Гриша. Ты живи как живешь. Как было, не будет. Я уеду домой, и никогда больше... — Ирина Алексеевна отвернулась к окну, напрягся и чуть подрагивал подбородок. — Но, Гриша. Не могу, не хочу я беспамятной быть... Я хочу от тебя ребенка...

Он не то чмокнул воздух, не то всхлипнул — так занемели, зашлись у него губы. Не сразу и справился, чтобы ответить.

— Ну, что ты говоришь! Ужас, вздор, опомнись!

— Я уеду. Мне больше никого не надо. Ты и знать ничего не будешь. Мы с ним вдвоем будем жить и жить... Гриша...

— Нет, очень здорово получается! Где-то будет жить мой ребенок, а я ничего не буду знать. Колькин брат, понимаешь. И я, такой негодяй, ничего не захочу знать. Ира, бог с тобой! Нет, ни за что.

— Ты, наверное, думаешь, я ловчу. Хочу привязать тебя. Ты пойми, Гриша. Тебя же нет, не будет для меня.

— А вдруг ты замуж соберешься? Кому он тогда нужен будет? Ничего хорошего о себе я сказать не могу, но все-таки... Нет, нет, Ира!

— Замуж я отсобиралась, Гриша. Повыходила — и хватит. Ах, боже мой, неужели ты не понимаешь, Гриша! Мне никого, никого не надо.

Ирина Алексеевна еще больше отвернулась к окну — он видел только побелевшую щеку и мочку уха, как-то одиноко и жалко выглядывавшую из-под волос.

— Не могу я, Ира. Потом, когда все пройдет, ты спасибо скажешь...

— Да не пройдет, не пройдет — в том-то и дело! — Она плакала, но он не видел ее слез. — Уходи, Гриша.

Он замялся: и рад был, что отпускала, и совестился, что оставляет в слезах.

— Иди к черту, к черту, к черту! Видеть тебя не хочу!

— Ира, ну что же ты так. — Постоял, поглядел на вздрагивающую спину, потянулся было успокаивающей ладонью, но пересилил себя: резко повернулся и выбежал.



ДОЖДЬ НА РАДУНИЦУ

1

Он служил в Забайкалье, на пыльном и ветреном полигоне. Ветры так надоели ему, что он поклялся: «Отслужу — и на юг. Только на юг. На солнышко, на песочек, под вечную зелень».

Отслужил весной: в зеленовато-прозрачном воздухе отдаленно и нежно сквозили сопки, и дрожал над ними, веял малиновый багуловый дым. Прощаясь с позеленевшим, повеселевшим полигоном, признался: «Помучил ты меня, а все-таки жалко. Пока. Прощай, до свидания».

Уехал на Каспий, нанялся слесарем на нефтепромысел и беспечно, весело, трудолюбиво прожил там год. С людьми сходился легко: был не жаден, смешлив, простодушен, ничего не таил за душой, да и таить-то нечего было.

В пышном, утомительно пышном, апреле вновь собрался в дорогу: «Нет, ребята, поеду. Не знаю куда, но поеду. Я теперь вечный дембиль».

Попал на Северный Урал, к геологам, и охотно согласился с кочевым житьем-бытьем. Копал канавы, уставал и сам себе объяснял, как бы заговаривал усталость: «Ничо, ничо. На то и работа, чтоб уставать».

Геологи квартировали в таежной деревеньке у бабки Веры, и она как-то сказала ему:

— Унoровный ты, Ваня. Шутя жизнь проживешь. Никому в тягость не будешь.

Он засмеялся:

— Себе вот только малость надоел. Деться бы куда. Не знаешь?

2

Отведя сезон, при свете догорающей осени он обнаружил: опять заныла, запросилась куда-то душа и даже слушать не захотела о близких холодах, метелях и прочих зимних страстях.

У вокзальной карты Иван вспотел, измучился, ища город, в котором стоило бы пожить. «И там можно... И там... А там вообще малина, да вот нас нет. Тьфу на эту географию!» Он подскочил к справочному автомату, ткнул в беловато-желтую клавишу — судьба злорадно защелкала, захлопала металлическими ладонями: сейчас упеку этого Ивана Митюшкина в распоследнюю дыру! Но где-то она просчиталась и выбрала ему Братск — место на земле заметное.

Вагонного новоселья справить не пришлось: в его купе ехали две старушки и молчаливо-испуганная девчонка, видно впервые разлучившаяся с домом. Не сыскалось компаньона и в других купе: все мужики, как назло, путешествовали с семьями и были погружены в беспросветные хлопоты. Верно, один от Иванова приглашения прямо-таки затрепетал и уже потянулся повеселевшим лицом к выходу, но тут на него обрушился тяжелый, горящий гипнотический взгляд жены, и мужик сник, вяло плюхнулся на лавку. Безжизненным, тусклым голосом отказался:

— Нет, парень, спасибо. Что-то неохота, настроения нет.

Иван погоревал, погоревал, но вскоре утешился, вспомнив веселых девчонок-проводниц, удививших при посадке бойкой шоферской прибауткой:

— Милости просим! Куда надо подбросим!

Из корзины проходившего буфетчика Иван взял конфеты, яблоки и немедля объявился у проводниц.

— Привет, девчата. Прибыл по вашей просьбе.

Они грызли семечки, сосредоточенно и отсутствующе уставившись друг на друга. У одной волосы были не-

стерпимо белые, у другой — нестерпимо рыжие; щедро чернели ресницы и веки; губы отливали перламутром; щеки плотно облепляла пудра — ни дать ни взять родные сестры, вышедшие из утробы одной парикмахерской.

Иван положил угощение на столик:

— Будем знакомы. Угощайтесь, девчата.

Девчонки вздрогнули, очнулись, вынырнули из дремотной пустоты.

— Спасибо, мальчата.

Они неожиданно дружно всхохотнули — теперь вздрогнул Иван. Рыжая спросила:

— Тебя как понимать? Конфеты, яблоки... Смотри, проугощаешься.

— В женихи набиваюсь, не видно, что ли? Без пряников ни шагу.

— Ах, жених! Насмотрелись на таких. В три места алименты платишь — и опять жених!

— Ну, ты меня приговори-и-ила! Сразу жаром пробило! — Иван нахмурился, губы строго подобрал. — Нет уж! Холостой я и неженатый! Хоть по паспорту, хоть по совести.

Знакомясь с девушками, он непременно сообщал эту биографическую подробность, причем с совершенной серьезностью. «Мало ли, — рассуждал он, — вдруг из знакомства что-нибудь другое получится — заранее не угадаешь. Тут без тумана надо, чтоб человек в случае чего рассчитывал. Ведь когда без тумана, сердце вольней определяется. И в знакомстве интерес появляется. Наверняка любой парень, любая девушка так думают: а вдруг? Нет уж. Тут не до смеха».

— Правда что жених. Садись. — Рыжая качнулась на лавке, но не подвинулась. — Зойк, может, все-таки глянем в паспорт?

— Обойдемся. Поверим. Раз с конфетами, значит, жених. Алиментщики так норовят — без конфет.

— Ну, садись, садись, жених. — Теперь рыжая подвинулась. — Скорей угощай да невесту выбирай. Ох ты! Как складно заговорила! К чему бы это?

— Не могу, девчата. Глаза разбегаются. — Вздохнув протяжно и громко, Иван присел.

— Зойк, поможем доброму человеку? Ты его хвали, а я ругать буду. Перехвалишь — твой, я переругаю — мой. Как понимаешь?

— Давай.

Рыжая прищурилась, этак прицепилась к Ивапу — с одного бока, с другого, откинулась и прежним прищуром охватила Иванову внешность.

— Да-а, хорошего мало. Нос кочерыжкой, глаз какой-то мутный: то ли зеленый, то ли голубой, бровь жидкая — поросячья, ресница — телячья, волос — как у чучела соломенного, уши — торчком. И вообще жердь тощая — вон слышно, как кости гремят.

— Не скажи, товарка. Женишок что надо и даже чуть получше. Лицом белый, губки алы, брови шелковы — не парень, а девица красная! Нос размерный да прямой, ноздри чуткие — дом всегда учует, не заблудится. Волосы орехом светятся. Сам статный да ладный, обнимет — сладко будет!

— Вот девки! Ну девки! — восхищался Иван. — Ну братва!

Вскоре он щепал лучину для титана, шуровал уголь в топке новенькой аккуратной кочергой, сделанной им из случайного стального прута на память девчонкам, потом чинил задвижку в тамбурной двери, ходил по вагону и менял перегоревшие лампочки, чинил, верно, на скорую руку репродуктор в коридоре — тягучее дорожное время вдруг подобралось, часы замелькали как шпалы. Разохотившись, Иван сбегал за обедом для старушек из своего купе, покатал на спине зареванного мальчонку, пока его родители тушили какую-то внезапную свару, и, не в силах успокоиться, унять приступ привычного добросердечия, Иван попробовал разговорить испуганно-молчаливую девчонку, впервые расставшуюся с папой и мамой. Она ревела в тамбуре у ночного, черного, тревожного окна.

— Далеко едешь? — спросил Иван. — Да не реви, не реви ты. Сейчас разберемся.

— В Та-а-йшет.

— Работать, в гости? Подожди, подожди, успеешь нареветься. Как тебя — Нина, Галя?

— Та-а-амара. Педучилище кончила.

— Ну-у! Здорово! Учителка — большая специальность. Страшно, что ли, ревешь-то?

— Да! Одна же буду. Никого не знаю, папу с мамой жалко.

— Слезы-то у тебя из-за ночи. Ночью всегда реветь охота. Утром сама удивляться будешь и смеяться. Был

я в Тайшете, жил — замечательный городишко. — Иван остановился, придумывая, как бы дальше соврать позавлекательней и пободрей. — Учителей там не хватает, приедешь — на руках будут носить. В школу — на руках и из школы — на руках. Кормить с ложечки будут.

Девчонка улыбнулась — тусклая тамбурная лампочка дрогнула, прыгнула во влажных глазах и рассыпалась мелкими блестящими брызгами.

— Устроишься, Тамара, пиши. Повеселеешь, карточку пришли. Или давай сначала я напишу: до востребования, Тамаре-плаксе. Ладно?

— Да, да. — Она торопливо вытирала глаза худенькими, острыми кулачками.

3

Красноватую усталую землю Братска освежил первый снежок, сухой и легкий. Припорошенные, похорошевшие руины начатых котлованов, фундаментов, этажей, белые наметы-мыски на кабинах тракторов и бульдозеров, враз позвучневший, налившийся какою-то веселой силой воздух — все это утверждало власть снега над людьми. Они как бы смутились белизны, безжалостно явившей их грубость, некую душевную резкость, суету, и люди присмирели, замедлили голоса и шаги, поутишили расторопность рук и поглядывали друг на друга с неловкими улыбками: как же это мы? Столько покоя в природе, а мы как с цепи сорвались — рвем и мечем! Давайте хоть на время пыл-то поубавим!

Иван тоже поддался влиянию снега: снял шапку, расстегнул пальто, шел потихоньку берегом и прислушивался к странному желанию, созревавшему в нем. Наконец оно определилось, остановило его под тонким молодым кедром, зеленое буйное пламя которого никак не могли заглушить пенные, белые, беззвучные потоки. Иван несильно, дружески похлопал темно-матовый гладкий ствол — хлынуло, зашуршало, осыпало, овеяв благодатным морозно-пахучим дыханием. И ведь не жарко было, вовсе не жарко, а вот поди же!

Он забыл, что идет в самый главный котлован, которого еще не видел, что в кармане — бумага из отдела кадров, что предстоит знакомство с бригадой, и неизвестно, как она его примет, — все это Иван забыл, стоя перед кедром и дожидаясь, когда совсем растает по-

павший за шиворот снег и тоненькими, прохладно-щекотными язычками лизнет спину.

В котловане первого снега не заметили, да он, верно, и не достиг земли — затерло его, не пустило бесконечное движение: с грохотом вращалась карусель самосвалов, тракторов, бульдозеров; там и тут всплывали ковши экскаваторов, точно люльки колеса обозрения; краны размахивали руками: пожалуйте налево, пожалуйте направо — этакие ярмарочные зазывалы, и перекликались-то они с ярмарочной бойкостью, не жалея глоток. Человеческий голос, конечно, пропадал, но тем не менее казалось, что люди все же орут, свистят, хохочут, посильно участвуя в этой празднично-рабочей неразберихе.

«Ничего себе, весело у них», — несколько потерянно подумал Иван, но тут же нашелся, отскочил, отбежал от тысячеустого, тысячерукого котлована в сторону, взобрался по узкой деревянной лестнице на скалу и присмотрелся: «Так... спокойно, спокойно. Сейчас все сообразим и поймем. Ага, там подземный ход пробивают, там, видно, дно чистят, там, за щитами, бетонируют — так, та-ак... Как говорят буряты, совершенно очевидно. А там у них, должно быть, столовая — народ больно квелый выходит. Все, пойдем бригадира искать».

Когда ему показали: «Вон твой Таборов», — Иван опять не поспешил со знакомством, а прежде рассмотрел бригадира издали и попробовал мысленно перекинуться с ним двумя-тремя словами, чтобы хоть немного привыкнуть к человеку, а там, глядишь, и знакомство легче пойдет. «Говоришь, лет тридцать тебе, не больше? Хорошо. Молодой молодого лучше понимает. Горластый, поди? Все же начальник? Нет? Хорошо-о! Вроде бы и правда, не должен горло драть. Комплектный, тяжелый, здоровый — вон плечи-то разнесло, хоть в цирк иди. Такие вроде не крикуны. Зачем тебе кричать, когда сила есть? Вот и я так думаю».

Бригадир в самом деле был крепок, широк, невысок, с крутой, просторной грудью: стукни в такую — и кулак отшибешь, а в ней лишь отзовется на удар рокочущее гулкое здоровье. Большая голова на широкой необхватной шее, которая пустила два мощных плечевых корня, румяные, тяжелые щеки, еще тяжелее скулы — в несоответствии с ними аккуратненький, девически нежный носик; глаза густо-серые, даже несколько в

чернь ударяют. Грудь бригадира обтянута порыжевшим флотским бушлатом, в вырезе бледнеет треугольник вылинявшего тельника — то ли в память о действительной не меняет на спецовку, то ли с умыслом, угождая особой своей должности: «Я ведь из флотских. Могу и резко. Так что давай, прораб, не жмись. И наряды от души закрой, и новый фронт чтоб по уму был, с размахом. Морская душа простор любит».

Бригадир сунул Ивану коротконалую, широкую, жесткую ладонь:

— Таборов, Афанасий. — Взял пегнущимися, черно-задубелыми пальцами бумагу из отдела кадров, не читая, сунул в карман. — Где бывал, что видал?

Иван ответил: там-то и там-то, работал тем-то и тем-то.

— Кантуешься, значит?

— Нет, работаю.

— Плотничал?

— Было.

— Арматуру хоть раз видел?

— Приходилось.

— Так что же ты! Что стоишь? Лясы точишь. Иди и работай. Время-то, время — ни секунды не вернешь! — тихо прокричал Таборов с болью в голосе.

— С тобою что? Ушибло? Ты чего со мной, как в кино? Артист, что ли?

— Со мной — в норме. Но ты меня с первого раза должен запомнить. Удивляйся и иди. Вон к тем ребятам на опалубку колонн.

— Ясно. Пошел. Значит, у тебя прием такой? Человеку мозги спутать, и чтобы он потом разбирался: кто же такой Афанасий Таборов? Странный, однако, мужик, надо с ним поосторожнее. Так, что ли?

— Примерно.

— Тогда учти: я работать приехал, а не о тебе думать.

Далеко уйти Таборов не дал.

— Эй, Митюшкин. Забывчивый я стал, стерпи еще пару слов.

Иван вернулся.

— Про время я тебе как сказал? А-а! Уже и не помнишь? Ни одной секунды не вернуть — вот как! Время! Какое время мимо летит! Со свистом, быстрее звука! —

Таборов опять прокричал это тихо, чуть не пристанывая, и быстро развел, распахнул руки, точно хотел в охапку сграбастать время, обнять его, к груди прижать. Затем спокойным, обыкновенным голосом заметил: — А мы по свисту только и догадываемся, что оно пронеслось. У меня дед был, так он за целую жизнь не научился время узнавать. Ему братан с войны часы швейцарские привез, носить их дед носил, но без завода. Чтоб только глаз тешить. Спросишь его: «Дед, который час?» — он «швейцарию» эту достает, пощурится на нее, спрячет, откашляется и изречет: «Идет времечко-то, идет...» Что скажешь, Митюшкин? Чувствовать время надо, чувствовать! — снова вскрикнул Таборов.

Иван молча отмахнулся, повернулся и пошел, решив больше ни за что не останавливаться. «Может, он меня на треп проверяет? Сколько он, мол, байки может слушать и не работать? Однако нет. Видно, любит, чтоб последнее слово за ним оставалось. Да на здоровье! Ну и на психику для первого дня давил. Дело хозяйское — мне деваться некуда. Всякие, конечно, новички бывают. И по-всякому пытать их можно. Совершенно очевидно. Ну, ничего. Недельку-другую поработаю — увидят. И бригадир, и кому еще охота увидеть. Тогда и разговор другой!»

А работать Иван любил, и ему, в сущности, было неважно, какой инструмент вкладывает в руки жизнь: кирку ли, плотницкий ли топор или слесарные тисы, — он любил разную работу, причем не из-за куска хлеба, пусть даже с маслом, с красной икрой. Он любил загвоздки, «спотычки», как он их называл, непременно украшающие любое, самое простое дело. Вроде куда как просто землю копать: ломай знай спину — и вся работа! Но вот камень, к примеру, пошел — спотычка для рук: ни ломом, ни киркой не возьмешь. Тут и соображай: то ли костры жги, накаляй камень и водой потом рви, то ли сцепление природное ищи да по шву по этому и примеряйся, выковыривай булыги, то ли вбок подкапывайся, ломы заводи под каменное пузо да через самодельные блоки вытаскивай — одолеешь такую спотычку, и не столько руки хвалишь, сколько голову: «Догадалась же, а?! Сочинила, родимая, не подвела!» И таким умным себе покажешься, таким непобедимым, что только и остается сесть на земляной отвал, из дрожащих, испугавшихся было рук получить папироску, хлебнуть слад-

кого дыма и еще раз счастливо, будто не себе, удивиться: «Чисто сделано, ах ты...»

Бригада вскоре перестала замечать Ивана, увидев, что человек работает на совесть, присмотра не требует, ученические слюни не распускает, знает свое дело и свое место. И Таборов однажды сказал нормальным голосом, без прежнего куража:

— Чуешь, Митюшкин, время! Чуешь! Уважаешь скорость и совесть. Одобряю. — В его широкой жесткой горсти сразу же занемела Иванова рука. — Дело, Митюшкин, дело к тебе есть. Дело-просьба. Так говорил Сашка Павлов. Бригадиром до меня был. Сашка в позапрошлом году разбился — со скалы упал. Точнее, сорвался. Жена с пацаном осталась. Мы ей, ну те, кто Сашку знал, чем можем, помогаем. Дров привезти, наколоть, воды натаскать на неделю, во дворе порядок держим. Ясное дело. Вот плохо, старичков все меньше остается — жизнь растаскивает то в одну, то в другую сторону. Новичков просить вроде неудобно: кто им такой Сашка? Никто. Да и за отказ винить не будешь — люди разные. А гну я вот к чему. Давно у Сашкиной Татьяны не были. Завтра суббота, я хотел поехать, но в подшефной школе ждут. Остальные на меня пронадеялись, и кто куда навострился. Сильно неудобно, но, может, ты съездишь? Или тоже куда снарядился?

— Нет, могу съездить. Запросто. — Ивану польстила просьба Таборова: «Во. Меня уже не обойдешь. Серьезного мужика сразу видать».

4

Вдова жила на правом берегу, в казенном двухквартирном доме. Дом поставили из соснового бруса, затем, не обшивая, покрасили: одну половину в темно-серый цвет, другую — в темно-зеленый — как того пожелали хозяева. Иван, помня объяснения Таборова, открыл зеленую калитку. Во дворе на качелях, привязанных меж двух берез, сидел мальчишка лет шести, сидел, видать, давно, потому что носишко его напоминал молодую розово-лиловую картофелину и мокро блестел; глаза, в общем-то, голубые, от холода перешли в какой-то белесый стылый цвет — сизо занемевшее лицо согревали лишь два теплых овсяно-желтых листика, прилипших вместо бровей.

— Здорово.— Иван протянул мальчишке руку, тот

сунул свою маленькую, холодную рыбешку и быстро отдернул, спрятал в карман телогрейки.

— Шефствовать пришел?

— Да не знаю. Как получится. Тебя, может, качнуть? Чтоб ноги выше головы?

— Давай, только быстро. А то мать увидит, качель снимет. «Вовка, нельзя, Вовка, не смей», — слов других не знает.

— Значит, ты Вовка? Вовка-морковка.

— Не, меня так не дразнят. Вовкин-суровкин — вот как.

— А кто дразнит-то?

— Девчонки и мать. Тут кругом одни девчонки живут.

— Ты суровый, что ли?

— Нет, строгий. А тебя как звать?

— Ванька.

Мальчишка рассмеялся.

— Ты почему так говоришь?

— Ваньку валяю.

— Валяют дурака — я знаю.

— Нет, и Ваньку тоже валяют,— весело вздохнул Иван.

— Давай, я тебя буду звать Ваня. Без всяких отчеств и дядей.

— Договорились. Никакой я тебе не дядя.

— Матери скажешь, что разрешил так звать?

— Скажу.

— Тогда качай, Ваня.

Разлетевшись, раскачавшись, не удержав сладкого ужаса, Вовка звонко и тонко ойкнул. На крыльцо выскочила женщина, простоволосая, в легоньком затрапезном платье, в галошах на босу ногу — видимо, мыла пол.

— Опять за свое? Вовка?! Осатанел, да? Давно на нервах не играл? — Она спрашивала, укоряла, но не кричала.

Иван, улыбаясь, загородил его.

— Это я осатанел. Здрасте. Иван Митюшкин прибыл на подмогу. Таборов велел кланяться.

— Извините. Перепугалась — поздороваться забыла.— Она не улыбнулась при этом заученно гостеприимно, не смутилась вслух: «Ой, я в таком виде»,— а молча задержала темные неподвижные глаза на Иване — запоминала новое лицо.— Татьяна я. И чего это Таборову не сидится? Двадцать раз ему говорила: не посылай боль-

ше, хватит, у меня головы уже не хватает заделье придумывать. Все сделали, спасибо. Чего людей гонять? Вы недавно в бригаде?

— Третью неделю. Холодно сегодня — остынете так-то.

— Ничего. Заходите в дом, сейчас чай поставлю. Правда, уборка у меня, не знала, не ждала.

— Чай еще заработать надо. Так-таки нечего делать?

— Есть, есть, Ваня. Дополна работы, пошли.— Вовка потянул Ивана.— Сама ворчишь, ворчишь: в сарае черт ногу сломит — и вдруг: дела нет.

— Все, Вовка. Конец!— Она беспомощно всплеснула руками.— Опять «тыкаешь», опять ровню нашел, из детсада дружка привел! Сколько говорить: нельзя так со взрослыми!

— Ваня, скажи.

— Помню, Вовка, помню. Мы с ним решили на «ты», чтоб головы не морочить. Может, по педагогике-то и не так выходит, зато душевней.

— Ну и сын у меня! Стоять бы тебе сейчас в углу, Вовка, ну да к вечеру заработаешь — день длинный, успеешь нашкодить.

А в сарае не только черт, но и человек сломал бы ногу. Доски, ящики, узловатые витые чурбаки, которые не возьмешь ни одним колуном, рваные сапоги, туфли, телогрейки, гора пыльных банок и бутылок — вся эта дребедень с какою-то мелочною, незначительною настойчивостью напоминала: в доме давно нет хозяина. Иван поморщился: «Как ржа. Как моль в запертом сундуке. — И пожалел Татьяну: — Боится, наверно, даже заходить сюда. Чужой глаз не видит, и ладно. Туда-сюда ведь мечется — не разорвется. Не до сараев, не до хозяйства: пацана растить да деньги зарабатывать — больше в таком случае ничего не успеешь». Сначала он решил сколотить ларь под уголь и, пока вытесывал стойки, велел Вовке перетащить на огород рванье и тряпье: «Костер потом запалим, картошки напечем». Чурбаки выбрасывать пожалел, собрал их в поленницу: «Может, когда еще приду, клин захвачу, все переколю». Затем разбил ящики — вот вам и готовая лучина, отнес за сарай банки и бутылки и между делом, по пути, смастерил Вовке хоккейную клюшку: вытесал из доски рукоятку, сделал на одном конце запил и вставил в него дощечку от ящика. Пара гвоздей, подвернувший-

ся моток изоленты, и Вовка, сдерживая восхищение, развесил под носом такие провода, что Иван головой покачал:

— Хороший ты, Вовка, мужик, но сопляк.

Тот быстро обмахнулся рукавом, попримерялся к клюшке и побежал в дом показывать.

Потом они жгли костер, ели обугленную, хрусткую картошку — губы сразу облепила черная окалина; по очереди пробовали клюшку на новой шайбе, которую Иван вырезал тут же из старого каблука, и Вовка все спрашивал:

— Ваня, ты где раньше был? Нет бы летом появиться — хоть бы плавать научил.

— А у тебя что? Языка нет? Взял бы крикнул, позвал. Я бы мигом примчался.

Вышла на крыльцо Татьяна:

— Эй, работнички. Пора и ложками поработать.

Ее усмешливо-спокойный, глуховато-мягкий голос вдруг приобщил Ивана к странному ощущению: вроде бы однажды он уже шел к этому крыльцу, вот так же бодро умаявшись на домашних работах, вроде бы уже испытывал умиротворенность и довольство от домашнего голоса, звавшего к столу. Иван потряс головой: «Ты чего это, парень? Не было такого и быть не могло».

Она переоделась и была теперь в темно-вишневом платье с широким узорчато-резным воротником и широкими же манжетами-раструбами, отделанными шелком более светлого колера. Платье явило стройный стан и напряженно, туго очертило грудь: его темно-вишневое тревожное свечение как бы отдавалось, отражалось в глазах, тоже темно-вишневых, но с некоторою долею медово-золотистого блеска. Вишневые отсветы падали и на смуглое лицо, с какой-то томительною тонкой печалью углубляя тени в скульных впадинках, прелестно, легко касаясь высокого лба. Темно-медовые тяжелые волосы Татьяна собрала в узел, и он, отягощая голову, замедлял ее повороты, наклоны, придавая этим движениям несколько надменную плавность.

«Может, из-за меня так оделась? Все-таки гость»,— подумал Иван и, показывая, что он человек с пониманием, заметил:

— К лицу вам платье. Очень идет. Хоть на вечер сейчас, хоть в театр — все оглядываться будут.

Давно не говорил Вовка, прямо измолчался весь.

— Бабушка Тася уж ругает ее, ругает. Как, мол, не жалко обновку на дом тратить. А устанет ругать и запоет: «Ох, Танька, хоть под венец тебя сейчас».

Татьяна схватила со стола ложку, замахнулась, но Вовка отпрыгнул.

Иван вздрогнул и, хоть замахивались не на его лоб, невольно отпрянул. Опомнившись, рассмеялся.

— Думал, и мне по пути попадет. Ну и строга у тебя мать, Вовка.

Татьяна погрозила ложкой.

— Теперь от угла не отвертишься! Не хватало еще мать просмеивать!

— А где эта бабушка Тася? — спросил Иван.

— Да с Вовкой тут домовничает. Ночью-то одного нехорошо бросать.

Иван уже знал, что Татьяна работает ночным диспетчером на автовокзале.

— Ну да! Домовничает! Чай целый вечер пьет — ни сказки не дождешься, ни поиграть. Мать мне конфет купит, а я и попробовать не успеваю.

— Молчи. С тобой сидеть — золотом платить надо. Ладно, давайте за стол.

Она достала из самодельного шкафчика-холодильника, вделанного в стену под окном, бутылку водки, и Иван будто сейчас только вспомнил, вскочил, бросился к вешалке, выхватил из пальто свою, загодя купленную.

— И я ведь припас. Думал, с устатку-то сам бог велел.

Татьяна впервые улыбнулась: влажно и сочно приоткрылись губы, весело заблестели ровные, плотные зубы, а глаза оставались при этом сосредоточенно спокойными.

— Так я и знала. У меня эта бутылка сто лет простоит. Кто ни придет, только соберусь угостить — свою достает. Даже неудобно.

Ее улыбка смутила Ивана. «Смотри, как серьезно улыбается. Вроде как при себе только малый запас веселья держит, а главный где-то в другом месте». И он непостижимым образом понял, ознобно догадался, что его долго будет смущать эта улыбка, он изведется, разгадывая ее смысл, сердце изболится от этого неизъяснимо волнующего несоответствия: влажный, сочный, веселый рот — и спокойные, нестерпимо спокойные глаза. Он опять одернул, оборвал себя: «Что-то много те-

бе сегодня мерещится. Сильно впечатлительный стал».

— Ну, ваше здоровье!

— Спасибо. За помощь спасибо.

— Корочку, корочку на! Занюхай, Ваня.

— Счас, Вовка, счас. А потом тобой закушу.

Вскоре омыло душу, освежило волной особой горячей доверительности, когда непременно тянет откровенничать, искать ласковые, дружеские слова для человека, сидящего напротив. Ивана подмывало сказать, что он прекрасно понимает, как несладко Татьяне живется. Что вдовью долю, может, и скрашивает людская отзывчивость, но веселее ее не делает, что Татьяна молода и красива и жизнь еще повернется к ней счастливым боком. Но совестно ни с того ни с сего жалеть и утешать человека, поэтому для разгона Иван начал издалека:

— С твоим хозяйством, Таня, замаешься...— запнулся, удивленно вытаращил глаза, точно у Татьяны спрашивал: не знаешь, мол, что это со мной.— Ой, извините!

— Да чего там «извините». Давно уж попросту надо было. Из таборовской бригады — и «вы», «вы» — мне как-то даже дико. Так что уж больше не извиняйся.

— Вот и хорошо,— сказал Иван.— Я тоже сначала хотел без всяких «вы» — по-товарищески. Но, думаю, кто ее знает, может, не понравится.

— Понравится, понравится.

— Так я о чем, Таня. Замаешься, говорю, с таким хозяйством. Зачем тебе эти печки, уголь, огородище вон какой? Возьми да сменяй на благоустроенную. Охотников знаешь сколько найдется? Из деревни же народу дополна, а им только дай свою грядку, свою ограду, сарай этот — с руками оторвут.

— Да нет, возиться неохота,— ответила она безразлично, ровным голосом, что-то на миг переменилось в ее лице: то ли дрогнули глаза, то ли легкой хмурью тронуло лоб, то ли губы задело неуловимо скользнувшей горечью. Иван не понял что, а лишь вновь непостижимым образом догадался: не стоило говорить о доме, и впредь даже заикаться о нем не надо.

— И то правда. Я ведь так — случайно сказал.— «Видно, другую жизнь в этом доме помнит. Видно, очень хорошую жизнь. С чего бы она тогда за него держалась? И в эту жизнь никого не пускает. Заповедник, запретная зона, но ведь молода, молода, четвертную не разменяла! Что ли, думает — и впереди у нее одно прошлое? Вот же

не повезло девке! Сколько, однако, в ней спокоя! Но такого, что вроде как дрожит вся, на что решится — ни остановить, ни уговорить. Да, с душой, с душой девка! Хоть плачь... Однако пора за шапку браться».

Иван встал.

— Ну ладно, нагостился. Спасибо, как говорится, за хлеб-соль.

— Как не стыдно, Иван! Уж кому спасибо говорить, так мне. Таборову кланяйся. Заходи когда и не с помощью. В общежитии ведь живешь? Ну вот. И заходи чаевничать с домашней стряпней. Передышка от сухомятки будет. Ну, спасибо тебе большое.

Ему показалось, что она облегченно вздохнула, когда он поднялся. «Интересу ко мне никакого! Да и с чего интерес-то? Подумаешь, горы свернул. Расселся, водку пью, советы даю — хорош гусь! Не знала, наверное, как избавиться».

— Ваня, Ваня, придешь, а? Приходи, катушку сделаем.— Вовка как-то покинуто и одиноко топтался возле него.— Дай честное слово, что придешь. Ваня, может, сыграем во что-нибудь?

— Хоть кем быть, Вовка, приду. Москву показать?

— Больно, Ваня. Но так и быть — покажи.

— Шучу, Вовка. Мы после повеселее что-нибудь придумаем. Пока. И мать слушайся. А то никаких катушек.

В автобусе Иван закрыл глаза, чтобы получше увидеть прошедший день, и неожиданно для себя протяжно, с жалобным всхлипом вздохнул — и раз, и другой, и третий. Не открывая глаз, улыбнулся, что ему так вздыхается. И решил: «Завтра съезжу к ним. Скажу, что погреб забыл доделать. Или еще что-нибудь. Съезжу, съезжу — чего там».

5

Назавтра, собираясь на правый берег, Иван не стал покупать водку: «И там откажусь. Подумает еще — каждый день употребляю. Ох и догадливый же ты стал — спасу нет! Сильно догадливый!»

Она удивленно отступила, открыв дверь:

— Ваня, здравствуй! Забыл чего?

— Вспомнил, что погреб еще не вычистил. Ну и примчался.

Она была в том же темно-вишневом платье, так же подобранна, спокойно-задумчива, и так же неподвижны

были темные, с золотисто-медовым отливом глаза. «Нет, вчера мне не спьяну показалось,— подумал Иван.— Много, много в ней спокою, но уж так она его хранит, держит — не подходи! Да и не знаю я никаких подходов. Как будет, так будет!»

Из комнаты вырвался Вовка:

— Ваня! Катушку или что будем делать?

— Поздоровался бы сначала.

Татьяна в упор с какою-то равнодушною приветливостью рассматривала Ивана. Он смутился, смешался, глупо увел глаза в потолок — ни дать ни взять великовозрастный Вовкин приятель, мнущийся у порога.

«Недовольна, что пришел. Может, собралась куда или, наоборот, ждет кого. А я явился. Не убегать же теперь. Да и как я ей помешаю? Я с Вовкой буду. А она — хоть на все четыре стороны!»

— Может, плюнешь на этот погреб, Ваня? Мне он ни к чему.

— Надо уж до конца довести, раз явился. Я, наверно, не ко времени?

— Не в этом дело. Просто необязательно на нас и воскресенье тратить.

— Не бойся, не на вас. Себя не знаю куда деть.

— Смотри, Ваня. Если уж так работу ищешь, работай.

С погребом он управился быстро, еще быстрее поставил Вовке катушку: сколотил козлы, с них в наклон пустил две доски, прикатил чурбан, чтобы ловчее залезать, наносил от колонки воды — накатистая, звонкая вышла катушка. Конечно, обновили ее. И фанерками, и подошвами, и просто штанами навели завершающий глянец. Покричали, поойкали, повизжали. Все. Пора по домам, никакого заделья на глаза не попадалось. Иван заметил, что, прощаясь, Татьяна уже не приглашала заходить на чай да на домашнюю стряпню: «Спасибо, до свиданья, Таборову привет». А Ивану, значит, от ворот поворот. «Ясно. Видала она таких помощников. Не для тебя, Ваня, и спокой этот, и голос тихий, и улыбка необыкновенная не для тебя. Ну ладно. Обойдемся. К Вовке-то я могу ходить? Должен же кто-то пацаном заниматься?!»

В понедельник Таборов спросил:

— Был?

— Ну. Кланяется тебе.

— Как она там? Жива, здорова? Что сделал?

Иван сказал.

— Смотри-ка. Проворный ты, Митюшкин. Бережешь — не скажу что секунды, но минуты уже бережешь. Выношу благодарность. Устно. Запомнил?

— Иди-ка ты.

— Так. Уголь мы ей завезли, дрова тоже. Побелено, покрашено, картошка в подполе, и ты, значит, окончательный марафет навел. Теперь до конца месяца протерпит. А то у нас сейчас взахлеб дела.

— Вот что. Чтоб больше об этом не говорить. Не посылай больше к ней никого. Мне нетрудно, и время у меня всегда есть.

— Даже вон как! — Таборов попробовал откинуть голову — этак сторонне оглядеть Ивана, но шея была так коротка и крепка, что голова только дернулась.

— Ты против, что ли?

— Не знаю. А ты почему такой шустрый?

— Ты запомни: мне нетрудно туда ездить.

— Запомнил. Она тебя просила?

— Нет. Сам так решил.

— И что из этого выйдет?

— Не знаю.

— Как мужик мужику. Езди, конечно. Тут не запретишь. Но крепко подумай.

— Подумаю.

— Вопросов нет. Разве что последний: время, значит, пришло?

— Иди-ка ты.

В тот же вечер Иван поехал на правый берег. Татьяна уже не удивилась, не поздоровалась, а молча, чуть прищурившись, ждала, что же он теперь скажет. Иван с торопливой, ненавистной себе, какой-то дрожащей бойкостью в голосе объяснил:

— Коньки вчера Вовке обещал. Ну и сегодня сварил маломальские.

Он поспешно развернул газетку, показал двухполозные самоделки и надеялся, что Татьяна отмякнет, подобреет, вернется на ее лицо усмешливо-ласковая, затаенная горечь, которая с мучительной силой притягивала Ивана.

— Вовка, Ваня твой пришел.

«Больше ни за что не приду! Так тебе, дураку, и надо! Ждут тебя тут, как же!» Но, конечно, приехал на сле-

дующий день, не придумывая никаких объяснений. И весь вечер играл с Вовкой в «морской бой».

Так и ездил, справляя должность великовозрастного Вовкиного приятеля, и, кстати, был доволен ею. «Ох и смешно, наверно, со стороны смотреть на меня! А что поделаешь, если сказать боюсь? Скажешь, а она вообще больше не пустит. Уж лучше молчком. Чем-нибудь да все равно это кончится».

Однажды он не приехал — не пустила сверхурочная работа. Когда появился на правом берегу, Вовка гордо сообщил:

— А я из-за тебя с матерью разругался!

— Как?! — У Ивана замедлилось сердце.

— Я ее спрашиваю: «Не знаешь, куда Ваня делся?» А она: «Отгул,— говорит,— взял, а то уж больно зачастил». Я ей: «А тебе что, жалко, что ли?»

— А она?

— В угол меня и не разговаривает.

Иван понял: пора для серьезного разговора пришла. Чем дальше откладывать, отодвигать даже и слово «нет», тем горше опустеет Вовкино сердчишко.

Он без оглядки, звенящим голосом спросил Татьяну:

— Говоришь, зачастил? А что делать?

— Наябедничал все-таки. Говорила, Ваня, говорила,— спокойный, прежний голос, но вроде чуть спешит, скрывает какую-то тревогу. И он — привычно уже — догадался: Татьяна не хочет объясняться под этой крышей и не знает, как предупредить объяснение.

— Ты дежуришь сегодня?

— Да.

— Я зайду к тебе?

— Ночью-то? Не уедешь потом.

— Что ж, что ночью.

— Заходи.

6

Муж ее погиб ясным сентябрьским днем, когда даль просторна и солнечно-грустна, а воздух сух и сгущен до прохладной голубизны.

Татьяне позвонил тогда Таборов, сказал: «С Сашкой беда».

С бесслезным, почерневшим сердцем, терпеливо, каменно сжавшись, она ехала в котлован по дороге, тихо освещенной солнцем и желтой парящей листвой, и щади-

ла себя, надеясь: «Покалечился? Зашибся? Господи, Сашка, Сашка! Лишь бы жил, жил!» — неужели беда и на такой день имеет право?

Сашка лежал на деревянных сходнях в тени скалы, с которой сорвался. Кто-то укрыл его брезентовым фартуком, но лицо прятать не стал. Устало опущенные губы, сонно закрытые веки, легкий низовой ветерок в веселых соломенных кудрях — сморила человека работа, прикорнул в тенечке. «Все, все, все!» — поняла Татьяна, никто не будет укрывать живого таким старым, выгоревшим, в растворных брызгах фартуком. Она подняла глаза на скалу: диабазовые уступы с башенки заливало небесным, слепящим, праздничным потоком, и эта праздничная голубизна так больно и бесцеремонно ударила в сердце, что Татьяна упала рядом с Сашкой и сухо, невозможно закричала:

— Не прощу-у!

Стоявшие вокруг Сашкины товарищи виновато склонили головы, подумав, что это их не простит Татьяна, это они недосмотрели, отпустили его на скалу без монтажного пояса.

Но не их судила Татьяна этим страшным криком: обеспамятевшее сердце ее не приняло столько боли враз. Сашка, она, их непрожитая любовь, теплое Вовкино посапывание в плечо отца, голубое праздничное небо, осенний счастливый покой, томящий душу ожиданием еще какой-то радости,— все, все летело, проваливалось в тьму, в смертную тьму: как можно смерть понять и как можно ей простить?

В дни похорон ей удалось упрятать это «не прощу!» в глубь онемевшей, смерзшейся души и не выпустить, удерживать до последнего кладбищенского прощания. Когда споро и бойко застучали молотки могильщиков, Татьяна оттолкнула их, упала на колени, обняла гроб и снова сухо, невозможно закричала:

— Не прощу-у!

Сашкиным товарищам послышалось, что она кричит: «Не пущу!» Они постояли, склонив головы перед наивностью горя, затем подняли Татьяну и отвели в сторону. А день опять был золотой, легкий, прозрачный. Меж кустов и деревьев приготовилась ловить первый снег паутина, а пока что останавливала запахи близких огородных дымов. Сырая земля высохла, согрелась и рассыпчато потекла на последнюю Сашкину кумачовую крышу.

Татьяна не заметила, в какой день и час опустила, не застила больше свет глухая и слепая боль, освободив сердце для спокойного, медленного горя, которое не мешало работать, ругать и ласкать Вовку, сдержанно-устало объяснять ему: «Папа уехал. Не знаю. Когда вернется, тогда вернется. Как с делами управится. На кудыкину гору. На север уехал, на север». Горе позволяло и улыбаться, но, верно, с какою-то машинальностью: чувствуешь, губы шевельнулись — и все, вроде не твоя улыбка, вроде как по заказу, вроде чужой команде подчинилась — в этом месте улыбнись, положено.

В сороковины она пришла на кладбище. Холодная, моросящая жижа — ни дождь, ни снег, пустынное скорбное пространство, убогая зелень неживых металлических листьев — Татьяна не заметила всего этого, присев на скамеечку возле Сашки. Но леденящее кладбищенское одиночество, неслышно ступая по раскисшей земле, вскоре окружило ее, присело рядом, бесцеремонно потеснило, подтолкнуло плечом: очнись, заметь меня. Татьяна огляделась: как пусто, сыро, черно кругом! С могильной тумбочки на нее смотрел, улыбаясь, Сашка, словно собирался сказать, как не раз говорил когда-то: «Ну, мать. Не хнычь. Кукситься хорошо кому делать нечего». Татьяна закрыла глаза. И, как бы помимо чувств, помимо рассудка, вошло в нее сознание, нет, ощущение, состояние какой-то особой, редко выпадающей прозорливости: исчезнут эти дни, составятся годы, и никто, никто не будет помнить Сашку, ни одна живая душа! Его не будет — и рассеется, исчезнет память о нем. Он был хорошим человеком, очень хорошим. Ее мужем. Но этого так мало, чтобы люди не забыли его. «Сашка, Сашка! Никакой родни у тебя, кроме меня. Только я тебя и запомню, только я и смогу. Сашка! Если я тебя забуду, пусть мне будет хуже всех на свете! Хуже нищенки, старухи одинокой. Слышишь? Не забуду, не забуду, не забуду!» — повторяла и повторяла Татьяна, с внезапной суеверной ясностью поняв: она не посмеет, никогда не посмеет забыть этой клятвы.

По прошествии времени, по истечении некоего житейского срока, отпущенного подругами и соседками на вдовий траур, они подступили к Татьяне с разговорами: «Тань, пора уж и на людях показаться. Не век же одной сидеть». «Танька, да ты только мигни — женихи стаей слетятся». «Танюшк, вон на Амурской, возле магазина,

тоже вдовец живет. Серьезный мужчина, самостоятельный. Машину держит. Парнишке-то отца надо. Одна, девка, не справишься».

Она либо отмахивалась, либо с равнодушной улыбкой говорила: «Ох и нелегко свахам хлеб достается. А от меня и крошки не перепадет. На меня угодить трудно».

Заглядывая в дальнейшую жизнь, Татьяна видела: как бы истово она ни помнила Сашку, но ради Вовки и, уступая своей долгой еще молодости, ей придется — уже при трезвом сердце — соединиться с каким-то человеком. Но этот человек должен уважать ее прошлое, беречь ее память, не требовать всего сердца, потому что никому, никогда не сможет она теперь отдать всего сердца.

7

Иван приехал последним автобусом. В стылой радужной мгле тепло желтело окно автостанции. Иван остался на улице: не с шофером же заходить! Но и когда тот, отметив путевку, вернулся в кабину, погазовал на месте, посигналил, торопя случайных полуночников, Иван все кружил и кружил вокруг вокзала, тянулся на цыпочках к желтому окну, и вдруг от затянутых льдом стекол наносило на него таким жаром, что он сдвигал шапку на затылок, утирал лоб: «Вот жжет меня, прошибает. Боюсь, что ли?»

Еще в автобусе он придумывал, что же скажет Татьяне, какие слова, но не придумал — помешала откуда-то взявшаяся вдруг мелочная наблюдательность: Иван замечал и кто входил, и кто выходил, и какие машины встречались и обгоняли автобус, со странным вниманием прислушивался к разговорам соседей. Наконец разозлился: «Да что это я! Еду, можно сказать, за судьбой, а всякими глупостями отвлекаюсь!» И тут же понял, что нарочно отгоняет решительную думу, не то боясь ее, не то смущаясь, самому было непонятно. Хотел вот на воздухе подумать, сосредоточиться, а вместо этого кружит и кружит, напала какая-то пустая расслабляющая жара. «Сейчас сюда милицию — и меня заберут. Точно. Скрадываю прямо-таки эту диспетчерскую. Жулик и жулик, кто посмотрит».

Он решительно вошел и хрипло-настывшим голосом сказал:

— Добрый вечер, то есть добрая ночь!

— Да уж, добрая. От мороза моя контора, того и

гляди, развалится.— Татьяна была в черном свитере, на плечах — белый прозрачный шарф, белизна его как бы охлаждала, смиряла смуглый пыл Татьяниных щек.

«И она, видно, волнуется»,— обрадовался Иван.

— Я уж не ждала тебя. Думала, на автобус опоздал. — Голос, однако, ровный и глаза прежние, неподвижно-темные.

«Ждала, ждала!» — опять обрадовался Иван, хотя долею рассудка и окорачивал свою радость — и черным боком это свидание еще может повернуться.

— Нет, как раз успел, да с шофером не хотел заходить.

— Поди, озяб, ног не чуешь?

— Что ты! Не погода — Ташкент. Я вообще холода не замечаю. Не думаю о нем и не замечаю.— Иван снял пальто, бросил на стул.

— Чайник сейчас включу. В Ташкенте тоже чай пьют.

— Тебе не чайник, самовар надо держать. Шофер замотается, спит на ходу, а ты ему — крепенького, горяченького.

— Ага, дождешься их. На ночь три машины оставляют, а я их почти не вижу.

— А если кому срочно потребуется? На самолет или еще куда? — Ивану стало совестно: «Так всю ночь можно проговорить и ничего не сказать. Не ей же начинать, мне. А я мелю и мелю...»

— Тогда на своих двоих.

— Таня! Так что же делать? — Иван спросил звонким, напрягшимся голосом, хотел зажмуриться от муки, которую вытерпел, говоря это, но удержался, и отдало в глазах горячей резью.— Люблю я тебя.

Она слабо, неуловимо то ли вздрогнула, то ли покачнулась, с какою-то беззащитной плавностью отвернулась, потупилась, собрала, стянула на груди шарф, словно защищалась, закрывалась этим белым крестом от Ивановых слов.

— Слышишь? Таня?

— Да.

— Что ты мне скажешь? — У него уже перехватывало, горело горло.

— Не знаю, Ваня. Может, ты не там свое счастье ищешь? Ведь жизнь-то у всех одна. И у тебя тоже. Ты подумай, Ваня.

— Я уже думал-передумал — надоело! Ты мне скажи: ты-то согласна, что я тебя люблю? Согласна?!

— Да.

Жаркая, нервная лихота, одолевавшая его весь вечер, наконец отпустила, сникла, и Иван почувствовал, что тело как бы пустеет — уменьшается, сужается — и от этого странного ощущения каменным бессилием налились руки и ноги — Иван очутился на стуле рядом с Татьяной, и так они сидели друг подле друга, молчали и никак не могли остановить эту молчанку, словно она теперь распоряжалась их союзом.

Иван удивился: «Вот же собрался, все сказал — должно бы повольнее стать, вроде не чужие больше, осмелеть бы можно, а все наоборот выходит: и язык как отнялся, и шевельнуться боюсь. Другое какое-то неудобство вынырнуло — смотрю на нее, сердце переворачивается: такая она мне нужная, хоть плачь! Погладил бы, обнял, на колени встал, чтобы видела только, что каждая жилочка ее мне драгоценна, а вот ведь не сдвинусь, не осмелюсь, хоть убей меня!»

Он видел, что может обнять ее, поцеловать — она же сказала «да» и, наверное, готова к его ласке, вон как напряглась, но душевное зрение останавливало его, удерживало: стерпит, примет ласку, но еще крепче сожмет шарф, еще беззащитнее после этого отвернется. Надо дождаться, пока из благодарности к твоей выдержке она сама не потянется, не приласкает тебя.

Он и уйти хотел молча, лишь коснулся легонько, нечаянно-понимающе ее плеча, но вспомнил про этот дом на правом берегу — не в нем же оставаться, но и не в общежитие же переходить? Затоптался на месте, закашлял, шапку истерзал в кулаке. Татьяна поняла:

— Ты же говорил как-то. Многим, мол, свою грядку надо. Может, поищешь таких?

Он обрадовался и тут же отчаянно покраснел, обваренный кипящим свинцовым стыдом: «Мужик тоже! Как приживальщик, на чужой дом позарился! И деться тебе некуда, не можешь ты ждать! Тьфу на тебя!» И вместе со стыдом, изгоняя его, торопливо заполнила Ивана радость: Татьяна все, все понимает, идет навстречу, значит, тоже хочет быстрее быть вместе. И, потеряв голову от этой радости, от этого стыда, он ткнулся Татьяне в руку и убежал.

8

Вовка, узнав о скорых переменах, сказал:

— Ваня, давай сразу договоримся: как мне тебя звать-то?

— Да ладно, Вовка! Хоть под землю с тобой провались!

— Просто «папа» я тебя тоже не могу звать. Все-таки ты не всегда моим отцом был, только сейчас станешь. Давай я тебя папа Ваня буду звать? И по-старому и по-новому. Давай?

— Договорились!

Перед новосельем Иван засомневался: приглашать ли бригаду — ненужной болью может отозваться в Татьяне это давно знакомое застолье. Но и не приглашать тяжело: скажут, зажал Ванька новоселье — углы обвалятся и в семейной жизни не повезет. О сомнениях своих, конечно, промолчал и даже было решил: «Ладно, без гостей обойдемся», — но Татьяна сама напомнила:

— Обязательно ребят позови. Я же вижу, как ты гадаешь: ловко, неловко, удобно, неудобно. Обязательно позови.

— Все-то ты видишь. Молодец.

— Да уж молодец. Вовка не слышит, а то бы добавил: как соленый огурец.

Поначалу новосельный пир горел ровным, аккуратным пламенем: женщины чинились и останавливали щедрую руку хозяина: «Нет, нет, мне самую малость, донышко закрыть». Мужчины солидно томились, скованные галстуками и пиджаками, — никого пока не проняло внутренним вольным весельем. Подняли Таборова, потребовали сказать слово. Он покрутил мощной шеей, расслабил галстук, расстегнул воротник, освобождая стесненное горло:

— Самое время, ребята, выпить за Татьяну и за Ивана. И пожелать им счастья. Прошу всех встать, запомнить эту минуту и выпить до дна!

Пир разгорался. Мужчины уже курили, скинув пиджаки, уже кое-кто с обидой спрашивал: «Да разве ж на скальных работах по стольку плотят?!», уже пылал на женских лицах свежий, юный румянец, и кто-то с хмельною призывною звонкостью проголосил: «Ох, девки, и горька у хозяев бражка!» Сразу же несколько голосов подхватили, пропели:

— Горько! Горько!

Татьяна спрятала лицо в ладони, вскочила, убежала на кухню. Иван нелепо сморщил губы и как-то виновато, растерянно приподнял плечи: я-то, мол, все понимаю, а ей-то каково? Смущенную тишину за столом тотчас же прекратил трезвый, веселый голос Таборова:

— А ну-ка, братцы! Три, четыре: «Эх, загулял, загулял, загулял...»

Иван вышел на кухню. Татьяна стояла у окна, все еще пряча лицо в ладонях. Он отвел их: сухие, горячие, больные глаза смотрели на него. Татьяна лбом прижалась к его плечу.

— Ох, Ваня, Ваня. Натерпишься ты со мной! Намучишься.

— Знаю. Знаю я это! Но все равно, все равно!

Полная январская луна за окном ярко и печально освещала сугробы на пустыре и голубовато-черную гряду ельника в конце его.

9

Когда Иван соглашался: «Знаю я это!» — он хотел лишь утешить Татьяну, пониманием своим оградить от прошлого, но на самом деле не поверил Татьяниным словам: начнутся их совместные дни, и некогда будет мучиться — жизнь напориста, быстра, беспамятна и оглядываться не любит. Кроме того, Иван сильно надеялся на свой характер: «Да я расстараюсь, расшибусь для дома — в мужике главный смысл, если он хозяин, если баба за ним как за каменной стеной. Нет, все по уму у нас будет! Она увидит, поймет, как я ее люблю. Может, и он ее так не любил?»

Татьяна уже видела, что Иван не умеет сидеть без дела, но таких бурных стараний, которыми окружил ее, Вовку, дом, Татьяна не ждала и даже испытала некоторую растерянность и смущение. Она возвращалась с дежурства и только руками всплескивала: опять он вымыл пол или выстирал белье, сварил обед или опять принес Вовке какую-нибудь обнову. Дождавшись его со смены, подав чистую рубашку после душа, накормив, она выговаривала ему с той ласковой усмешливостью, с какою обычно укоряла Вовку:

— Ты что же, барыню из меня хочешь сделать?

— Это я загодя, авансом отрабатываю. Вот учиться пойду, отпомогаюсь.

Осенью он собирался в вечерний техникум.

— А Вовку зачем балуешь? Третий костюм, как у доброй модницы.

— Ничего-о! Жених же растет. Когда-нибудь отквитает. Будет на старости баловать. Мне — чекушку после бани, тебе — косынку к Первомаю.

— Ваня, серьезно, не стирай ты больше — соседи засмеют.

— Да я же по пути. Не заметил как.

— Ага, так один не замечал, не замечал. Заметил, когда шея заболела.

— У меня крепкая. Хочешь, верхом покатаю?

— Можешь, можешь, знаю. Ваня, не надо! Не балуй... Да совестно же!

Ее стыдливая девическая сдержанность в ласках, какая-то пугливая щедрость в минуты близости еще более укрепляли готовность Ивана служить ей, прислуживать, с ума сходить, что она есть. В нем пробилась странная тяга к внезапным, бесцельным поступкам, до которой никогда прежде не добирался его практически деятельный ум. Он вдруг замечал на попутном кедре особенно сочную и зеленую ветку, ярко притихшую среди других, заснеженных и обыкновенных. Иван приносил ветку домой, протягивал Татьяне:

— Это не я. Какой-то парень на улице подходит, просит: передай своей ненаглядной — и как сквозь землю. Думаю, не выбрасывать же. Держи, ненаглядная.

— Давай, давай сочиняй. Не на тебя парень-то походил?

Она улыбалась, и ее спокойные темные глаза на миг оживлялись каким-то растерянно-грустным отсветом, бликом, теплой, мелькнувшей тенью.

Иван краснел: «Наверно, думает — блажь у мужика. Веточки носит. Смешно, конечно, если подумать: никакой пользы от этой веточки. Да ладно! Я-то не думал — принес и принес. Захотелось».

Однажды его остановил закат: розовые и нежно-зеленые слои облаков переливались, млели над влажно почерневшей мартовской тайгой; близкие белые острова на Ангаре неожиданно удалились, уединились в некое недостижимое, розово-зеленое пространство. Иван посмотрел, посмотрел на эти чудеса, пожалел: «Вот Татьяну бы сюда!» — но тотчас засмеялся вслух, представив, как два взрослых, трезвых человека стоят на обрыве и

говорят друг другу: «Ты посмотри, красота какая, а! Нет, чувствуешь, как дышится?» — комедия, да и только. Тем не менее и дома он долго помнил, видел этот закат и не утерпел, смущенно покашливая, сказал Татьяне:

— Солнце сегодня садилось — случайно со скалы видел. То зеленым, то розовым. Будто заманивает куда-то. И что-то так я засмотрелся — веришь, нет — показалось, ты рядом стоишь. И не знаю почему я подумал: нам долго, долго жить. Вроде как никогда никуда не денемся.

И опять он заметил в ее глазах грустную растерянность — мелькнула и пропала, а Татьяна быстро, легко коснулась пальцами его щеки, лба — то ли согласно, то ли виновато.

10

Лучше бы ему не попадалась эта фотокарточка. Татьяна была снята летом сидящей в развилке старой березы, и тень живой листвы мешалась с листьями сарафанного узора. Татьяна сидела, удерживаясь руками за ветви. Влажно искрясь, блестели зубы, волнующе-сочно темнели губы, а глаза горячо и счастливо выплескивали, отдавали смех тому, кого не было видно на фотокарточке. «При мне она так никогда не смеялась», — подумал Иван, и сердце как бы окунулось, ухнуло в тоскливую холодную пустоту, мгновенно поняв, почему Татьяну не оставляет ровная, далеко упрятанная грусть, почему она бывает растеряна и смущена его отчаянным влюбленным вниманием. «Она не забыла той жизни, не хочет забыть. И меня неохота обижать. Если бы забыла, и мне бы так смеялась, так радовалась. Ей неудобно, когда я веточки приношу, руки целую. Она боится мне поддаться — тогда все, все забыть надо. Вот и рвет сердце, не дает ему волю! И дитенка мы никогда не дождемся. Ни сына, ни дочки. Память-то в сердце хочет держать, а пока не переступишь ее, другому целиком не доверишься. Дитенок бы все переменил! Никто же не виноват, никто! Никто, никто. Вины нет, а муки много».

Теперь он с душевной болью замечал, как пустеет иногда, переносится куда-то Татьянин взгляд, отрываясь от книги или от шитья, или другого рукоделья. «Ну-ка, ну-ка, расскажи, где, что увидела? Проглядишь глаза-то!» И знал, что Татьяна с коротким, скрываемым вздохом ответит: «Да я просто так, задумалась». — «О чем?» —

опять спрашивал он. «Да уж не помню»,— опять отстраняла его Татьяна.

«Что ей еще не хватает? Только что на руках не ношу. Другая бы молилась на такого мужика!— временами поддаваясь обиде, раздражался Иван. Но тут же спохватывался:— Не надо мне другой! Пусть так, как есть. Пусть!»

Как-то он спросил Таборова:

— Слушай, а что за парень этот Сашка?

Спросил вроде бы невзначай, между прочим, умышленно пропустив слово «был»: догадается Таборов, о ком речь, — хорошо, не догадается — еще лучше. Таборов догадался и после затяжного, пристального раздумья сказал:

— Парень как парень, Ваня. Обыкновенный. Как мы с тобой. Не лучше, не хуже... Еще что-нибудь хочешь знать?

— Нет. Все ясно.

«В том-то и дело — обыкновенный, — подумал Иван. — Если бы был какой-нибудь выдающийся, семи пядей во лбу, я бы легко понял, почему она его помнит, не хочет забывать. А так — не догадаться, так в ней все останется, никого не допустит. Вот я ее люблю, а как люблю, как с ума схожу, и она полностью-то не узнает. Обыкновенное-то — самое потайное и есть, так что изводись не изводись, а терпи, люби. Вот и мне теперь ясно, что такое «на роду написано» и с чем его едят».

Так прошел год, приближалась весна второго.

11

Напрасно Татьяна верила, что прошедшие дни уживутся с нынешними. Та осенняя горькая клятва на Сашкиной могиле: «Только я и не забуду! Слышишь?! Никогда!» — с прежнею силой угнетала сердце, не вытеснялась новой жизнью, сулившей одно только счастье. Напротив, чем обильнее и щедрее выказывал свою любовь Иван, тем упрямее и настойчивее отстранялось от нее Татьянино сердце. Нет, беспрекословного подчинения прошлому не было, какою-то долею сердце жалело Ивана, тянулось к нему, но оно и не рядилось с прошлым, не выторговывало у него никаких уступок. «Я буду помнить обязательно, но и ты дай послабление»,— не взвешивало хладнокровно, что лучше: помнить или забыть — нет, нет, нет! Сердце разрывалось от мучительной

перегрузки: невозможно жить в прошлом и настоящем, невозможно настоящее предпочесть прошлому!

Татьяна думала: «Господи! За что я его мучаю? Зачем я согласилась — ведь я знала, знала: не смогу, не забуду, а он мне руки целует, Вовку от него теперь не оторвать, жалко мне его, стыдно, что любить не могу. И не скажешь — уж совсем без сердца быть, привыкать стала. А он же видит, чувствует, ему половинок не надо, ему все сердце, всю душу надо. Да и отдала бы! Но не могу, сил таких нет! Вон он как в глаза заглядывает, как спрашивает: «О чем думаешь?» Отвечать не надо, знает. Знает, да не все». И Татьяна с тоскливым жарким стыдом сознавала, что никогда в ней больше не вспыхнут те смешные, глупые, только для беспамятных минут слова, которые все достались Сашке, никогда она не сможет быть такой беспричинно счастливой, озорной, какой была при Сашке, не сможет так петь, плясать, хохотать, дурачиться, как это бывало с ней при Сашке. Потому что все это неповторимо. И стыдно, невыносимо стыдно даже подумать, что можно забыться и вдруг засмеяться или запеть, как прежде. «Вот ведь как жизнь с нами обходится! Нет чтобы ему с девчонкой какой-нибудь повстречаться — уж как бы она любила такого! Все, все бы у него было, все бы сначала испытал, как и положено человеку. А тут я на дороге, нет чтобы отвернуть мне, стороной обойти — поддалась, отняла у парня самую сладкую пору. А с Вовкой-то, с Вовкой что будет, если я не вытерплю?! Хоть не думай совсем. Может, и не надо думать? Бывают же дни, да что там дни — недели, я совсем успокаиваюсь и рада своей жизни, и Ивану рада. Совсем, совсем спокойная душа бывает: Если бы не знала, как ее в один миг скручивает, может, и остановиться бы на этом покое... Нет, нет! Нет! Потом-то как страшно, как совестно! Будто не человек я, а дворняга захудалая: нашла теплый угол, хозяина доброго и разнежилась — лапки кверху! Ведь память-то для дела дана, не просто так! Кто же, кто же его-то помнить будет?!»

На родительский день угадал последний майский холод с ветром и мелким ледяным дождем. До кладбища Татьяна добралась совершенно продрогшею и съежившейся, но, глянув на Сашкину карточку, коротко вскрикнула, и разом согрела ее быстрая, тяжелая волна суеверного ужаса: Сашка больше не улыбался, а смотрел как-то мутно и жалко. «Из-за меня, из-за меня! Бросила,

забыла! Сашка, не надо, не буду!» Она упала на мокрую, грязную, еще желтую траву, обняла, обхватила могильный холм, не зная, как искупить, вернуть силу забытой клятве.

Потом она опомнилась, поняла: Сашка не изменился, просто дождевые потоки на портретном стекле так исказили, затуманили его лицо, но не могла уже вовсе заглушить суеверного страха и горячечного, бесповоротного раскаяния. «Сашка, Сашка! Я все помню, я буду помнить! Не думай, это нетрудно — я поняла. Вон вокруг сколько людей помнят, плачут, ни дождя, ни холода не видят. И я так смогу! И я так буду!»

12

Иван знал, что Татьяна собирается на кладбище, потому что увидел на шкафу букет бумажных бело-розовых цветов, хотя сама она ничего не сказала. Он работал в третью смену и утром, возвращаясь из котлована, все поглядывал на низкое свинцово-белесое небо: «Как она поедет? Простынет, как пить дать. Но не остановишь же — такой день». Он вспомнил неожиданно поговорку, слышанную в детстве то ли от матери, то ли от бабки: «Дождь на радуницу — не обрадуешься». И, увертываясь от хлесткого ветра, согласился: «Уж это точно».

Ближе к вечеру он сбегал в магазин, купил вина, прибрал в доме, привел Вовку из садика, они играли и говорили до девяти вечера. Татьяна не возвращалась. «Да, такой день. Ни на автобус, ни на такси не попадешь. Замерзла уж, поди, совсем»,— объяснил себе Иван, стараясь не волноваться. Уложив Вовку спать, собрал на стол. Татьяны не было.

Он уже надел спецовку, сапоги, завернул бутерброды — до «дежурки» осталось меньше часа, когда Татьяна вернулась. Промокшая до ниточки, посиневшая, измученная. Иван перепугался, захлопотал вокруг нее, забегал. Растер полотенцем, переодел, напоил горячим чаем. Она молчала, а он ни о чем не спрашивал.

Глянул на часы: пора бежать, «дежурка» ждать не станет. Он разлил по стаканам вино и сказал:

— Давай помянем хорошего человека.

Татьяна бурно вдруг разрыдалась, кинулась к Ивану на грудь: «Ваня, Ваня! Какой же ты все-таки!» Он молча

гладил ее плечи. «Вот уж действительно: дождь на радуницу — не обрадуешься».

До котлована он добирался пешком, да и то подмывало вернуться: когда уходил, Татьяна все еще не успокоилась, всхлипывала и без конца повторяла: «Ох, Ваня, Ваня!»

13

Утром на кухонном столе он увидел открытку, прислоненную к тарелке с завтраком: «Ваня, прощай. Мы уезжаем. Напишу потом». Он покрутил открытку, вышел в комнату, точно собирался посмотреть, как же они уезжают. В комнате в самом деле была прощальная, нежилая чистота и прибранность. Иван сначала не понял, почему же нежилым на него пахнуло, — да, вон что: ни одной Вовкиной игрушки, ни одной вместе выструганной палочки, ни одной выпиленной фанерки. Иван поверил, с бессонной, тупой резью в голове подумал о Вовке: «Как же ты, парень? Батьку, папу Ваню, и продал? Не сказал, не простился. Вовка, пацан ты мой сердечный!.. Извини, парень, извини. Долго ли тебя уговорить, наобещать, сказать, что не успел папа Ваня, на работе застрял, а вы, мол, скоро вернетесь. Уже, мол, простились с папой Ваней вчера, ночью, он, мол, тебя будить не хотел. Извини, Вовка, не то подумал».

Иван вернулся на кухню, поставил открытку на прежнее место. «Ваня, прощай...» Вот те раз. Как прощай? Куда уезжаем? Да ладно тебе, папа Ваня. Все ты замечательно понял. Не смогла больше, не вытерпела... То-то она так ревела. Видно, уже решилась. Может, не ушел бы — не уехали? Может, уговорил бы? Вот и «быкай» сиди, гадай: может да может. Да она что?! Как же я без Вовки-то?! Скворечню вот собирались делать... «Потом напишу» — рассудила, решила, а я-то, я-то куда уеду?!»

Он хотел подняться, бежать на вокзал, в порт, узнавать, догонять, возвращать, посылать телеграммы, но сидел и сидел — так невозможно огрузла, каменно потяжелела душа.

Сквозь жидкие стены донесся из чужой квартиры голос диктора: «Местное время четырнадцать часов». Иван вспомнил, что в три должен быть в подшефной школе, его очередь. «Пойду, пойду. Обязательно пойду!» Он бросился в ванную, побрился, вымылся, наодеколонился, надел белую сорочку с галстуком, парадный костюм.

В школе, оказывается, проходила встреча с людьми интересных профессий, и от Ивана требовался «краткий, но романтичный рассказ (слова молоденькой учителки, ответственной за встречу) о самой мирной на земле профессии». Иван сидел в президиуме, но не слышал, как хвалили свою работу врач, журналист, машинист электровоза, а вместо ребячьих лиц видел белые смутные пятна — все пытался утихомирить раздраженно-усталую голову, которой досаждала дикая, неизвестно откуда взявшаяся мысль: «Вот сейчас возьму и скажу: при чем тут профессии? Дела всякого на всех хватит. Вот жить вас никто не учит. А это главное. От меня сегодня жена ушла — тошно так, хоть вой. И никакая профессия тут не поможет».

Но, конечно же, справился с собой.

— Дорогие ребята! — сказал Иван. — Выбрать дело по душе разговорами не поможешь. Дело надо руками пробовать. Приглашаю вас в бригаду, тем более каникулы у вас скоро. И дело узнаете, и заработок будет. С этим ясно. Мне другое дело поручено вам предложить. Мы хотим памятник погибшему бригадиру поставить. Это был такой человек! Замечательный! Его так любит... Все любят до сих пор. Он, может, и не герой был. Обыкновенный строитель. Рядовой, как в газетах пишут. Но ведь и рядовому памятник должен быть. Вот вы и помогите нам. И, может, сразу поймете, кем вам быть.

«Вот понесло меня, — выйдя из школы, равнодушно, будто не о себе, подумал Иван.— Таборов узнает, взбесится, тем более школьники согласились. А может, и не взбесится, когда узнает. В самом деле, памятник надо. Вон она его как любит. До сих пор». Он заторопился куда-то, как на пожар, аж легкие закололо. Только что не бегом мерил и мерил ветреные, холодные улицы. На одной его окликнули:

— Ванька! Ты на мастера, что ли, сдаешь — не догнать?

Запыхавшийся рыжий парень заспешил рядом — когда-то жили вместе в общежитии.

— А, Коля, привет!

— Вань! А я у тебя дома был. Еще собирался зайти. Холодильник покупаю, сотню не займешь?

«Какой холодильник? Вот сейчас возьму и скажу...»

— Пойдем, посмотрю. Если остались. Если есть, займу.

На лестничной площадке его караулила соседка тетя Дуся, болезненно толстая старуха, не выпускавшая папиросы изо рта.

— Ваня, сынок! Пожалей старуху, помоги ковер выбить.

«Какой ковер? А! Никуда не денешься!»

— Минутку, тетя Дуся. Вот товарища провожу и займусь.

Позже он спросил у нее, спросил спокойно, устало, нисколько не напрягаясь при этом обмане:

— Не видела, как мои уезжали? Не мог со смены раньше уйти и не знаю, такси-то пришло? Прямо изнервничался весь!

— Пришло, пришло. Я из окошка видела. Тоже удивлялась, что тебя нет.

«Ясно. Самолетом уехали, потому что до вокзала и без такси рукой подать».

Он побывал в аэропорту, походил по залу, заглянул в комнату матери и ребенка, в диспетчерскую — дежурил знакомый мужик, и Иван собрался уже спросить: «Моих не видел?» — но раздумал, осторожно прикрыл дверь и поехал домой. Он понял, что пока будет молчать, пока не признает, не узаконит вслух Татьянин отъезд, до тех пор можно будет надеяться. Только молчание теперь связывало их.

Дома он напился горячего чаю, и его сморило — задремал прямо за столом. Увидел Вовку, который спрашивал: «Папа Ваня, ну как ты там? Хвост пистолетом? Смотри. А не то живо-два подкручу»,— увидел и себя, когда он говорил Вовке точно такие же слова.

Очнулся с липким, похмельным потом на висках и на лбу. Губы запеклись, и во рту скопилась кислая горечь заспанной, но не забытой беды.

— Папа Ваня, что же ты? — вслух спросил Иван.— Как теперь-то будешь? А? Папа Ваня?

Пора было собираться на смену. Ветер стих, зеленоватые майские звезды холодно и аккуратно заполнили очистившееся небо, схваченная последним заморозком земля твердо ударяла в подошвы — дни теперь пойдут сухие и жаркие.

«Дежурка» уже стояла на углу. Иван открыл дверцу, чуть подождал на подножке, пока не покачнулись, не потеснились широкие спины, и втиснулся в веселый, прокуренный холод.



АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ

...этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью...

Ив. Бунин. Грамматика любви

Жена давно болела, он давно знал, что неизлечимо, и уже как бы притерпелся к предстоящей пустоте.

За гробом шел со спокойным серым лицом — даже хлесткая октябрьская крупа не выбила живой кровинки. Шел твердо и остро, без прощального тумана смотрел на покойницу. Сухой крупитчатый снег синё набился в складки простыни и в изголовье, вокруг ее черно-красного платка. Но бледный желтоватый лоб, белые, костистые скулы и нос не тронул. «Потом полотенцем обмахну. Ладно хоть не дождь. Нехорошо бы ей было». Справа под руку с ним шел Веня, их старший, беленький, долговязый, изревевшийся до икоты. Младшего, Васька, он вез на санках, и тот, укутанный соседками в тридцать три одежки, сидел квашонкой, важно и гордо поглядывал по сторонам сизыми материнскими глазищами.

Веню трясло, он прижимал, стискивал отцов локоть. «Вразнос парнишка. Мужик пока не проклюнулся. И еще этот ик привязался. Хоть пугай. Ну что он руку-то мне рвет. Что ж у могилы-то будет? Дальше-то, ребята, как будем?»

Поднимались в горку, он неловко ступил на ледышку, поскользнулся — Веня цепко и сильно поддернул, поддержал. Кладбище устроилось на пологом южном склоне хребтика, в кедраче, скорее даже не кладбище, а погостец: две-три стариковские могилы с крестами, две-три тесовые тумбочки со звездами — новосельное было место, как и их леспромхозовский поселок.

— Роман Прокопьич, Роман Прокопьич, — быстрым, задыхающимся шепотом окликнули его — догнала похороны диспетчерша Тоня. — Сварщик спрашивает: калитку делать или дверцы? — В гараже доваривали ограду, успевали к последнему холмику. Ответил не сразу. В дверцы, конечно, попросторнее заходить, половчее, но опять же гурьбы не предвиделось и в родительский день — на всем свете втроем остались, а троим куда дверцы?

— Калитку.

Вот и первая горсть, вот и последняя — простоял без шапки со строго сведенными бровями, шевеля все время запекшимися губами. Вроде как считал каждый камушек, каждый комок — сколько их надо, чтобы вовсе человеку исчезнуть? Гладил невнимательно Веню, прижавшегося к плечу: Васька поставил впереди, придерживая за концы шарфа. Когда могилу обхлопали лопатами, вбили привезенную ограду, Роман Прокопьич надел шапку:

— Все, нет у нас больше мамки, — так он хотел сказать напоследок, но губы не послушались, никто не понял его слов, разве только Веня — он сразу бросился к Ваське и торопливо усадил его в санки.

После поминок, после чересчур сладкой кутьи и чересчур горького вина, Роман Прокопьич места не находил: сдавило нутро, медленно и тяжело разрасталась в нем то ли изжога, то ли другая какая муть. И соды выпил, и холодной воды — не помогло. Топал по дому, вздыхал, без нужды поправлял на Ваське одеяло. Видел, что Веня не спит, следит за ним большущими, белкастыми глазами. Потом сел, выпростал тонкие белые руки:

— Пап, давай я пока с вами поживу?

— Отстанешь, Веня. А нынче экзамены. Нехорошо может выйти.

— Догоню. Что такого-то? Возьму и догоню. А мне с вами охота...

— Надо учиться, Веня. Как ни крутись, а что положено, то положено. Спи. Каждую субботу теперь приезжать будешь. Неделю со счетов — и дома, со счетов — и дома. Спи.

Ушел на кухню, снова выпил соды, подождал: может, легче станет. Нет, как было, так и осталось. Роман Прокопьич посидел на табуретке у печки, уперев руки в колени и чуть подавшись вперед. «Ох, до чего же муторно. Вроде и не больно, а прямо деваться некуда. Хоть на стену лезь... Тошно мне, душно, и не в соде дело. Никакая сода теперь не поможет».

Понял наконец, что давит и томит его не телесная боль, а душевная, прежде никогда не являвшаяся и потому, видимо, с такою физической ясностью досаждавшая теперь. Он привык любое душевное неудобство заглушать работой или незамедлительной прикидкой своих ближайших поступков, жизненных движений — трезвый этот расчет начисто вытеснял любую сердечную смуту. А впрочем, бывала ли она, эта смута? Где, в какую пору?

В лесную жизнь впряжешься — ни по сторонам, ни оглянуться некогда! Был вальщиком, трактористом, мастером, сейчас механик: лес, металл, зимники, лежневки, запчасти, по двое верхонок за неделю горело — уставал до хрипа в горле. Все как надо шло, все как у людей. А вот эта вдовая, небывало долгая ночь выделила его, обособила.

Не заметил, как сжевал папироску, обжегся, зло швырнул ее к печке: «К черту! Брошу курить. Перебьюсь! — сгреб с тумбочки непачатые пачки, перекидал в огонь. Вспомнил, где-то махра еще была. Пошарил, нашел в рыбацком сундучке — тоже выкинул, крошки выгреб. — И вино брошу. Ничего не надо. Так буду. Вожжи подберу, справлюсь». — Еще посидел, походил, потряхивая головой, слепо таращась в углы и окна, точно придумывал, что же еще переиначить, какую еще ревизию произвести? Стало не то чтобы легче, но терпимее.

Утром поехал с Веней в райцентр. Проводил его до

интерната, стеснительно и чинно пожал руку в дверях, молча выслушал сбивчиво-звонкие сочувствия выбежавшей учительницы. Покивал ей, пошел было на автостанцию, но вспомнил еще одно дело. Ощупывая легонько языком острый осколок давно сломанного зуба, постучал в дверь Лейкина, частного зубного врача.

— Давай так, — сказал плешивому, сморщенному Лейкину. — Меня все одно не заморозить.

Потом Роман Прокопьич стоял под навесом вокзала, ждал автобуса, баюкал щеку в остывшей ладони. Подкатывало в груди, подсасывало, маялась она еще и без курева. Роман Прокопьич тупо смотрел на вокзальную суету и, откликаясь внутренним тошнотным толчкам, приговаривал: «Так тебе. Так тебе. А еще и не так бы надо!»

Позже он уже не пытался перешибить боль болью, начальное горе отступило, но он все искал и искал новых хлопот, занявших бы ноющую, ненасытную пустоту. В гараже не хватало слесарей — выдумал себе вторую смену: уложив Васька, шел к верстаку, до полуночи шабрил, пилил, нарезал, потом будил сторожа, но домой не спешил. Сидели с подслеповатым хромым Терехуном, пили чай. После двух, трех кружек Терехун очухивался от сна:

— Парнишка-то сейчас один дома?

— Один.

— Вдруг проснется, звать начнет? А никого нет, темень кругом. Страх-то какой!

— Сообразит. Мужичок крепкий, в меня. Ни с того ни с сего не забоится. Да и с чего просыпаться-то? Меня нет, значит, спать надо.

— Мало ли что надо. Вообще, шел бы, Прокопьич. А то и я вроде не у места. Кого сторожить, если ты тут? Зачем тогда будил?

— Завидно стало. Успею, уйду. Ты чего не закуриваешь, Семен?

— Может, мне уволиться, Прокопьич? Заодно и сторожи. Ты в какие такие ударники выбиваешься, а? Кого укорить хочешь? Вязать таких сознательных надо. Народ напахался, спит, а ты, выходит, двужильный? Всех переработать собрался?

— Ладно, карауль потихоньку. Пойду. Ты траву, что ли, в махру подмешиваешь? Нет? Вот ведь наловчились делать — дух-то травяной, сладкий.

К дому почти бежал — вдруг да правда Васек проснулся. Соскальзывал в кочкастые глубокие колеи, промятые в снегу лесовозами. Прохватывало слабым, тревожным потом. Роман Прокопьич приостанавливался, часто глотал открытым ртом морозную темень.

Васек спал глубоко и мирно, даже не распечатав аккуратного конверта одеяла. Почти в ухо ему мурлыкал черно-седой кот, поленившийся спрыгнуть с подушки при появлении хозяина. Роман Прокопьич прогнал кота, посидел немного с Васьком, чувствуя тяжелеющие, бездельно свисшие с колен руки. Как попало разделся, огруз, лег поверх одеяла и закаменел...

Отпустило его к лету. Сажали огороды, Роман Прокопьич копался в своем, и неожиданно потянуло его разогнуться над сырой курящейся полынным паром землей, опереться на лопату, оглядеться. Так и сделал: на бугре за огородом уже согнал желтизну земляничник, тропка, промытая ручьями, весело и сыто чернела, черемуха розовела набухшими соцветьями — натягивало от нее терпким и чистым холодком. Роман Прокопьич вздохнул раз-другой — весенняя горчина и сладость охотно заполнили грудь.

— А что, Веня? — Роман Прокопьич впервые пожалел, что бросил курить. — Давай за лето веранду пристроим. Варенья наварим и чаи будем на веранде гонять. Ваську, так и быть, щенка возьмем. Пусть тоже с нами чаи гоняет.

Васек заколотил грязными ладошками в пустое ведро.

— Сейчас возьмем! Сейчас! Пусть сейчас чаи гоняет!

Веня нагнулся, отобрал ведро.

— Отобьешь руки-то.— Выпрямился, тоненький, большеглазый, с нежно засмуглевшими щеками. — Давай, пап, пристроим. И колодец уж тогда надо. Не набегаешься на реку. — Улыбнулся. — Щенок тем более будет. Водохлеб же.

Васек запрыгал, руками замахал.

— И я водохлеб! И я!

— Точно, Веня. И колодец выроем. — Роман Прокопьич взялся за лопату. — Обязательно с журавлем поставим.

Он знал, что заглазно его уже сватают, прочат в мужья вдовой фельдшерице Анисье Васильевне. И в магазине и на улице слышал, как за спиной вздыхала чья-нибудь сердобольная грудь: «И долго это маяться он будет. Усох уж совсем, почернел». Непременно вторила этому вздоху другая заспинная сваха: «И Анисья одна с девкой мается. Горе бы к горю, глядишь, и жизнь бы вышла».

Роман Прокопьич всерьез еще не примерял дальнейшую жизнь, но понял: к вдовству не притерпишься, у Васьки вон цыпки как птичья роговица, а рубашки, хоть и на кулаках тертые, почему-то в пятнах и полосах — прямо корова жевала. К тому же исчезла куда-то прежняя сосредоточенность: решил — сделал, дергался все, хватался то за дом, то за работу, и невыносимо ему было, что ни с чем не управляется.

Но и добровольным да сердобольным свахам не хотел поддаваться. «Знаю я их. От скуки хоть на дурочке Глаше женят. Их послушать — плевое дело себе жену, ребятам мать найти. Им — комедия, спектакль целый, а мне дом держать. Без всяких яких, в один пригляд, семью не соберешь. Другое дело, если Анисья сама этих свах напускает. Сама, может, щупальца-то раскинула. Залетит, мол, мужик, деваться ему некуда. Вроде бабочки на огонь. Только какая я бабочка?!» Роман Прокопьич возмутился: он и не взглянет в ее сторону, обходить за версту будет — не надо его заманивать, в спину подталкивать, дайте малость оглядеться.

Однако Анисья Васильевна вовсе не походила на женщину, привыкшую заманивать и завлекать. Дородная, статная, с азиатской крутостью в скулах и горячим сумраком в глазах, с далеко слышным голосом, — уж такая-то скорее предпочитала наступать, на своем настаивать.

Попробовал разгадать ее каверзы, чтобы при надобности помешать им — не на того Анисья Васильевна напала. Зашел в фельдшерскую, укараулив, когда там никого не было.

— Здорово, Анисья Васильевна! Заглянул вот по дороге.

— Вижу, проходи. Здравствуй, Роман Прокопьич.

— Да тут постою. Наслежу только зря. Ты мне порошков каких-нибудь дай. Ломает всего. — Ломать его,

конечно, не ломало, но, переминаясь у порога, вспотел изрядно!

— Простыл, что ли? Лето на дворе, а они простывают. Хилый мужик пошел. — Она неторопливо потянулась к шкафчику на стене — весело, чисто запохрустывал накрахмаленный халат. — Держи градусник. Да не торчи в дверях-то. Садись. Поглядим, что за хворь к тебе привязалась.

— Какой там градусник! Некогда. Давай какой-нибудь порошок, да побегу.

— Я вот тебе побегу. — Анисья Васильевна сильно, резко встряхивала градусник — подрагивал черный тяжелый узел косы. Подошла к Роману Прокопьичу, от ярко-загорелых щек, от полной, нежно-смуглой шеи натянуло травяной, огородной свежестью. — Не больно, видно, ломает. Вприбежку захотел. На, ставь. Чего смотришь? Ну, чего ждешь-то?! Градусник, что ли, не видел?

Роман Прокопьевич, утираясь рукавом, вовсе смешавшись, пробормотал:

— Ты это... Анисья Васильевна... Минутку... Тут на пару минут выскочу... В гараже ждут... Потом уж приду, замеряю.

Она горячо, раскатисто возмутилась, даже замахнулась:

— Так бы и треснула этим градусником! Уговаривать еще буду! Ты чего дурака валяешь? Ломает его. Смотри не переломись. Обойдешься. Нет, ты зачем приходил, Роман Прокопьич? Потолочься тут от нечего делать?!

— Да ладно, — слабо отмахнулся он. — Черт знает зачем. Показалось. — Выскочил, пробежался, остыл. «Пристала с этим градусником. Лечить вот ей с порога надо. Голосище-то дурной — загромыхала. Могла бы и спросить: как живу, кого ребятишки делают. Тяжело, нет ли вертеться-то мне. Как положено, по-соседски. А если и так все знает, могла бы просто поговорить. О том, о сем, о прочем».

С умыслом попался ей на глаза еще раз. Замедлил шаги, усердно поздоровался; может, она остановится, разговорится, и вдруг да проглянет ее вдовья корысть. Анисья Васильевна в самом деле остановилась, но не для зазывных речей:

— Ох ты и вежливый! Опять, что ли, заболел, за версту кланяешься?

— Да неловко мне — сбежал тогда. Веришь, терпеть эту колготню не могу.

— Ясно. На здоровье не жалуюсь, вот головой только маюсь. Так, нет?

— Ну, спасибо. — Роман Прокопьич вовсе не обиделся, но в голос подпустил обиженной мрачности. — Дураком, значит, помаленьку делаешь?

— Не засти дорогу-то, когда не надо.

— А когда надо?

— Когда рак на горе свистнет.

— Ясно. Теперь и мне все ясно. Пока.

Анисья Васильевна, смеясь, покивала часто — передразнила его давешнюю усердную приветливость.

«Нужен я ей. Думать не думает. Женщина самостоятельная, напрашиваться не будет. Правда что головой маюсь. Ведь думал, огнем горит, только знака ждет. А я бы ей... Не нуждаюсь, мол, сам определюсь... Нет, одно неудобство вышло. Вот чего я к ней пристал? Ясно-понятно: проморгаться и забыть».

Но не забыл. За лето так из него ребятишки да хозяйство жилы повытянули, что перед ноябрьскими, приодевшись и наодеколонившись, опять пошагал к фельдшерской. Заглянул в окна -- одна. На крыльце долго обмахивал голиком сапоги, хотя снег был еще легким и мелким — не приставал. Шапку сдернул заранее, в сенцах, и ни «здравствуйте», ни «давно не виделись», а от порога — напролом.

— Слышала, что про нас говорят?

— Слышала. — Анисья Васильевна сидела за столом, листала толстую громоздкую книгу. Ответила спокойно, глазами встретила, не отвела, и вроде запрыгали в них холодные, сизые огоньки.

— Ну и что скажешь?

— Да что. На чужой роток... — Только теперь занялись ее скулы темно-каленым.

— Нет, это понятно. Чего сама-то думаешь?

— Ничего. — Прокалились уже не только щеки, ярким пламенем лизнуло и шею в вырезе халата.— С какой стати я думать буду. Других забот, что ли, мало.

— Да как же так, Анисья Васильевна? Что я, баб наших не знаю? Уж сто раз к тебе подступались. Им-то что-то же говорила!

— Мало ли что. Не запомнила. — Анисья Василь-

евна неловко встала, уронила табуретку — наклонилась, зло покраснела, тяжело шагнула было к узенькому шкафчику, тут же махнула на него: «А, к черту», — остановилась у окна. — А ты что за допытчик? Не совестно? С лета, с маху: что думаешь, что скажешь. Разогнался. Осади, сдай малость. — Говорила не оборачиваясь, почти прижавшись лбом к стеклу. Руки в карманах — халат плотно обтянул большую, сильную спину, проступили пуговки лифчика.

— Не умею я издалека-то... То да се, шуры-муры — не привык. — Роман Прокопьевич сел на обитый клеенкой топчан, беспомощно, жарко вздохнул. — По мне чем много говорить, так лучше сразу: да так да, нет так нет.

— Что — да? Что — нет? — Анисья Васильевна вернулась к столу, тоже села. — Ерунду какую-то мелет. Опять, что ли, ломает всего? — Лицо охватило уже какой-то брызжущей пунцовостью, появились, пропеклись черные веснушечки на азиатских скосах. Но глаза держала вскинутыми — влажный, черно-коричневый жар их заставил Романа Прокопьевича отодвинуться, заерзать на топчане, прижаться к горячим кирпичам печки.

— Вообще-то я никуда не тороплюсь... Прыть эта моя дурная напрямую все хочет. И если толком-то, Анисья Васильевна, то вот я зачем. Говорят, конечно, мало ли что... Но я не против. То есть в самом деле, Анисья Васильевна, вместе нам легче будет жить.

— Вон что. Сваты пришли, а мы и не заметили. — У нее остывало лицо и оживала насмешливая громкоголосость. — Пожа-алуй-те, дорогие сваты, милости просим. — Она встала, в пояс поклонилась сопревшему Роману Прокопьевичу. — У нас товар, у вас купец.

— Анисья Васильевна, ей-богу, я серьезно. Нет, так и скажи по-человечески «нет». Потом просмеешь.

— Стой-ка, стой-ка, купец-молодец. — Она уперла руки в крутые бока. — Да ведь ты еще и жених, а, Роман Прокопьич? Что ж притулился, как бедный родственник? Давай гоголем, гоголем вокруг меня. — Анисья Васильевна притопнула, белую руку в сторонку отвела. — Я невеста неплоха, выбираю жениха... — Вдруг устало обмякла, села, оперлась лбом на подставленную ладонь. — Ох, извини, Роман Прокопьич. Какая из меня невеста. И сердце закололо, и в глазах потемнело...

— Давай жизнь-то поддержим, Анисья Васильевна. Вот ведь я что пришел — сообща, домом и поддержим. Я уж в одиночку-то надсажусь скоро.

— Давай попробуем, — устало согласилась она. — Давай сообща.

Роман Прокопьевич не знал, что сказать еще, — в самую бы пору закурить, переждать молчание. Можно бы, конечно, за вином сбегать, событие-то в самый раз для вина, но уж больно все строго вышло, больно сурово — «нужда проклятая все гонит, все умом норовишь, сердцем некогда».

— А я, дурак, и бутылку не захватил. Просто из головы долой. — Роман Прокопьевич кулаком по колену пристукнул. — С большим бы удовольствием за тебя выпил, Анисья Васильевна.

— Успеем теперь. Какая уж бутылка. — Анисья Васильевна говорила ровно и вроде даже насмешливо, а закапали на стол, пролились горячие, а может, и горючие слезы. Быстро убрала их ладонью. — Вот помолчали, считай, враз нагулялись, напровожались, наухаживались. Теперь деваться некуда. — Улыбнулась. Снова накалялись щеки и скулы. — Ладно, жених. Обниматься-целоваться пока повременим... Смех, честное слово. Чего молчишь, жених? Сосватал и испугался?

Роман Прокопьевич поднялся и тоже поклонился ей в пояс — само как-то вышло.

— Спасибо тебе, Анисья Васильевна. Все-о понимаю. Спасибо.

Повернулся, вышел, на крыльце нахлобучил вмиг выстывшую шапку на горячую голову.

Дома — еще со двора услышал — взвивались вперемежку визг, лай, мяуканье. Васек сидел на полу, у кровати, истошно крича, махал, тряс расцарапанной рукой. Рядом, припадая на передние лапы, тоненько вскуливал, взлаивал щенок, на рыжем носу проступали булавочные капли крови. Под кроватью, перебивая мяуканье злым пофыркиванием, прятался кот.

Роман Прокопьевич подхватил ослепшего от рева Васька, потащил к умывальнику:

— Давай-ка, герой, сопатку твою вычистим. Ну, будет, будет выть-то. Кто это тебя? Кот, собака?

— Никто-о! Я разнимал, а они не слушались. — Васек уже стоял, невнимательно тыкал полотенцем в щеки, лоб, в подбородок, опять отвлекся, засмотрелся.

Щенок, отчаянно колотя хвостом, заискивающе повизгивая, медленно вползал под кровать.

— Верный, опять получишь! — Васек с разбегу бухнулся на коленки, подполз к нему, схватил за шиворот. — Брысь, кому сказал — брысь! — Брызнуло из-под кровати яростное, зеленое шипение кота.

— Правда что, битому неймется. — Роман Прокопьевич веником выбил кота, веником же легонько поддал Ваську. — Все. Скоро кончится лафа. Мамка придет, разберется. Наведет порядок. По одной половице будем ходить. Да к тому же в носках. А Верный твой вообще — в мягких тапочках, — говорил просто так, не из охоты поворчать — никогда привычки не было, а из ощущения какой-то общей расслабленности, душевной зыбкости. «Устал — дальше некуда. Что вот мелю, спрашивается?»

Васек вроде и не слушал, занятый щенком. Мокрой тряпкой хотел стереть кровь ему с морды — тот пятился, извивался, рвался изо всех сил. Васек наконец прижал его коленкой к полу, утер вспухший нос и, пыхтя, заприговаривал, забормотал:

— Ну вот, а ты боялся. Мамка придет, а у нас порядок. Все лежим и спим. — Васек с усталым причмоком зевнул, а Роман Прокопьевич рассмеялся.

В субботу приехал Веня, соскучившись по Ваську, он и укладывал его в этот вечер, что-то неторопливо ласково шептал — Васек громко вздыхал и нетерпеливо, счастливым голосом требовал, когда Веня умолкал:

— Еще! Веня, еще! А он-то куда спрятался?!

Роман Прокопьевич ждал Веню на кухне. Давно стыл чай, холодно, крупитчато забелело сало на картошке, но Роман Прокопьевич не торопил его, сидел за столом, спрятав под мышками замерзшие вдруг ладони.

Веня вышел размякший, разнеженный, с сонно сощуренными глазами. Плюхнулся на табуретку:

— Ну и Вась-карась. Еле уторкал.

Роман Прокопьевич взял стакан с чаем, прихлебнул:

— Что ты! Говорун, поискать надо. Одни же все время. Намолчится, вот удержу и нет... Такое дело, Веня. Жениться хочу. Дом без матери, сам видишь, разваливается.

Веня выпрямился, тревожно, горячо расширились глаза, нежно заалели щеки.

— Анисья Васильевна матерью будет.

Веня не сразу откликнулся.

— Мачехой, пап.

— Не должна, Веня. Женщина добрая.

— Все равно мачехой.

— Конечно, не родная. Но я решил, Веня. Тебя вот ждал спросить. Как ты?

— Не знаю. Может, и добрая. — Веня потрогал самовар. — Я снова, пап, согрею.

— Подожди, Веня. Ты не мнись, прямо говори. Против, что ли? Или боишься?

— Меня ведь, пап, почти дома не бывает. Лишь бы Ваську хорошо было. — Веня наконец посмотрел на отца. — И тебе. А бояться чего — она веселая. Вон как в клубе пела.

— Вот и я говорю: добрая женщина. Значит, всем лучше будет. И тебе, Веня.

— Может, и мне.

Съехались, зажили. Анисья Васильевна сразу принялась белить, стирать — Роман Прокопьевич не успевал к колодцу бегать, потом крахмалила, вешала, гладила, расстилала, передвигала — дом захрустел, засверкал, заполнился яблочной свежестью вымороженного белья. В занятиях этих и хлопотах, пока руки были заняты, она привычно разговаривала сама с собой, чтобы в первую же передышку громогласно «подвести черту»:

— Нет, даже не думай, Роман Прокопьич! Никаких гостей, никакой свадьбы — обойдемся. Как сошлись прогрессивным методом, так и жить станем.

Он изумлялся:

— Я и не думаю, бог с тобой...

— Квашню поставлю в субботу: Веня приедет, посидим. Вот и отметим новоселье. Новоселье-новосемье. Ух ты, как складно.

Или объявляла со столь же неожиданным напором:

— Васька я тоже в паспорт запишу. И Веню, если согласится. Раз теперь братья Любочкины, надо записать. Чтоб честь по чести. Раз ты записал, то и я. Хоть и разные фамилии, а все равно родня.

Роман Прокопьевич неопределенно отвечал:

— Как знаешь... Если охота, что ж... — Про себя

между тем удивляясь снисходительно женской вере в бумаги, в силу каких-то записей. «Записывай не записывай, как жизнь покажет, так и выйдет...»

А жизнь показала, что Любочка, пятилетняя дочь Анисьи Васильевны, легонькая, конопатенькая, белобрысенькая, не ведая того, свела их всех на первых порах, смягчила многие непременные неровности и неловкости.

Чуть ли не по приезде, мягонько, но настойчиво вскарабкалась на колени Роману Прокопьевичу, он с растерянным смущением придержал щупленькое, верткое тельце — она умостилась, откинулась на кольцо рук, как на спинку:

— У тебя конфетки есть? — звонко и тоненько протянула-пропела.— И в кармане нет? Нигде нет?! А почему-у?

— Зубы болят.— Роман Прокопьевич чуть ли не краснел под ясным, наивным ее, неотрывным взглядом.

Потянулась к нему, прижала теплые ладошки к впалым щетинистым щекам.

— Не бойся, вылечим, у моей мамы лекарства много. — Ладошки скользнули по его щекам и смяли, оттопырили губы воронкой. — Скажи: Любочка, не балуйся, Любочка, смотри у меня.

Роман Прокопьевич неожиданно поддался — промычал, прогудел:

— Люочка, не ауйся... Люочка, сотри у еня...

Она снова откинулась как в кресле, раскатила быстренький, бисерный хохоток. Коротко посмеялась Анисья Васильевна — обдала мимоходом, почти беззвучным смехом.

Васек давно уже стоял рядом с отцом и тяжело, ревниво сопел. Когда Любочка отсмеялась, сказал, едва сдерживая слезы и набычившись:

— Слезай давай. Это мой папа.

Любочка привстала на коленки, обняла Романа Прокопьевича за шею.

— Вот и нет! Вот и нет! Это мой папа.

Васек дернул ее за подол, заколотил по спине кулаками:

— Слезай, слезай! Не было тебя и не надо, — разревелся, ногами затопал.

Из кухни выскочила Анисья Васильевна: «Что та-

кое?» Любочка выскользнула, вывернулась из рук Романа Прокопьевича, кинулась к матери:

— И мама моя, и папа мой. А ты — Васька-карась, по деревьям не лазь, — припомнила Любочка уличную кличку Васька.

Он ровно и громко затянул открытым ртом: а-а-а...

Роман Прокопьевич поддал ему: «Ну-ка, перестань! Тоже мне мужик». Анисья Васильевна подхватила Васька на руки, прижала: «И ты мой. Пореви, пореви. Ой как обидели-то!» — теперь тоненько, противненько завела Любочка.

— Ох ты господи.— Анисья Васильевна присела, прижала и ее. — Давайте в две дуды. Вот весело как стало! Ну, ну. Ревун да хныкалка — куда я с вами денусь?

Любочка справилась первой, оттолкнула материну руку и сама стала гладить Васька, дуть ему на макушку:

— Васек, Васечек. Ну ладно, ну хватит, — завздыхала, то ли передразнивая мать, то ли всерьез.

В воскресенье за столом с пирогами, за самоваром собралось, по словам Анисьи Васильевны, новоселье. Возле самовара сидели взрослые: взволнованно румяная Анисья Васильевна в жаровой кофточке с отложным воротником; потный, осоловевший от чая Роман Прокопьевич в новой жесткой, белой рубахе, и Веня, в своем школьном, мышином костюмчике, с тонкой, тревожно выпрямленной шеей и потупленно-замеревшими глазами. Сидели молча, вроде бы сосредоточившись на застольных шалостях Любочки и Васька. Они тараторили, смеялись, кричали — куролесили кто во что горазд и, вконец разойдясь, принялись строить друг другу рожи: Любочка, сморщив нос и губы, вытаращив глазенки, трясла головой, потом спрашивала: «А так умеешь?» Васек, сглатывая восторженную нетерпеливую слюну, кивал и тут же косоротился. Любочка хохотала: «Умеешь, умеешь. А вот так можешь?»

Анисья Васильевна зажала уши.

— Уймитесь. Ох и глупомордики. Лопнете сейчас, на кусочки разлетитесь. Ой, страх, ой, ужас! Васек! Не пугай ты меня!

Васек запрыгал, вовсе уж раззадоренный притворным страхом Анисьи Васильевны.

— Мама, мама! А ты вот так умеешь?! — надул

щеки, одну щепоть приставил ко лбу, вторую к подбородку.

Веня по-прежнему сидел неподвижно и молча, но показалось, что он метнулся — так быстро и жарко глянул на брата, оказывается, привыкшего уже звать эту женщину мамой. Глянул, тут же спрятал глаза и покраснел. Анисья Васильевна все заметила, все поняла, запылала еще взволнованнее — конечно же, уронила нож, а наклоняясь за ним, зацепила тарелку. Роман Прокопьевич налил еще чаю, отодвинулся от стола, как бы подчеркивая: он хочет посидеть в сторонке, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане.

Анисья Васильевна потчевала Веню:

— А черничные-то ты и не пробовал. Ешь, пожалуйста, Веня. В интернате-то совсем отощал, — с нервным радушием приговаривала она, а Веня, не поднимая глаз, отнекивался.

Любочка и Васек притихли, чинно дули на блюдца, гоняли по ним радужные пузыри. Вдруг Любочка уставилась на Веню с ясной, наивной пристальностью.

— Ве-ня-а! — вдруг тоненько пропела-протянула Любочка. — Ве-ня-а!

— Что тебе? — Веня, слабо улыбаясь, повернулся к ней.

— Ве-ня, Ве-ня, — пела Любочка.

— Ну что? Что?!

Она повторяла и повторяла это слово, удивленно, радостно, ничего не добавляя к нему, — достаточно было выпевать его чистеньким тоненьким голоском, чтобы все поняли, как интересно видеть и звать человека по имени Веня.

Анисья Васильевна потянулась к нему через стол.

— Ты зови меня тетей Анисой. Слышишь, Вениамин? И распусти, распусти душу-то. Я дак уж не могу. Неловко пока, не по себе, ну да и плохого ничего не сделали. Не из-за чего пока глаза-то прятать. Раз уж так вышло, Вениамин, давай противиться не будем. Слышишь?

Веня поднял глаза:

— Да я понимаю, — чуть запнулся, чуть покраснел, — тетя Аниса.

Впрягся Роман Прокопьевич в новый семейный воз и, чтобы хомут не стирал, не сбивал шею, потащил ров-

но, без рывков, не дожидаясь ни вожжи, ни тем более кнута. Давно, с первой своей промысловой осени, запомнил он и распространил на дальнейшую жизнь таежное правило: «Носом тыкать да понукать в лесу некому. Или сам старайся, руки наперегонки пускай, или пропадай». Так говорил дядя Игнатий, взявший когда-то его, долговязого, мослатого мальчишку, в напарники бить орехи в Дальней тайге. В зимовье они пришли к вечеру, позади был жаркий сентябрьский день, была долгая петлистая тропа с немереными тягунами и спусками. Поэтому Роман Прокопьевич — в те времена просто Ромка, — скинув понягу, плюхнулся на пенек и замер, как бы растворяясь в вечерней прохладе. Дядя Игнатий повесил понягу на крюк, под козырек зимовья, взял ведра, ушел к ключу, вернулся — он малость пришел в себя:

— Что мне делать, дядя Игнат?

Тот закурил, взял топор, подбил, подправил рассохшуюся дверь, из-за стрехи достал четвертинку с дегтем, смазал петли, потом уж ответил, да и то нехотя:

— Был бы ты парень, сразу бы прогнал. Хоть и так не маленький. И я-то хорош — взял напарника... Да, правда, и выбирать не из кого... Два кола да два двора — вот и вся деревня. Все равно, Ромка, еще так спросишь, выгоню. Сам гляди.

Стал глядеть и мигом все увидел: надо дров нарубить, натаскать, сухой лапник на нарах свежим заменить, печку подмазать, дыру на крыше свежим корьем заложить. Больше он ни о чем не спрашивал дядю Игнатия, так молчком и отколотили полтора месяца...

Вот и положенную долю домашних работ справлял он незаметно и быстро. Анисья Васильевна только подумает, что надо бы воды запасти к стирке, а он уже с утра пораньше коромысло через плечо да по ведру в руки; только соберется она картошку перебирать, а он уже в подполье, поставил «летучую мышь» на приступочек и знай гнется над ларями; только захочет она снег со двора в огород перекидать, а он уже навстречу ей с деревянной лопатой и метлой — Анисья Васильевна руками разводила и весело возмущалась:

— Да это что такое! Мне поворчать охота, власть показать, а он? Отгадчик какой нашелся. Прямо не

жизнь, а по щучьему велению да моему хотению. — Както даже нарочно отодрала в дровянике слабую доску, думала, не заметит, а уж тогда она в самом деле отведет душу, наворчится. Но он заметил, приколотил, по пути проверил на крепость все доски ограды и палисадника. Анисья Васильевна повинилась:

— Доску-то я оторвала. Догадался, нет?

— Правильно сделала. Еле держалась, да руки не доходили.

— Больше не буду. Все ты у меня видишь, все в голове держишь. Буду теперь только хвалиться. Ну у меня, мол, хозяин, ну мужик. — Она вздохнула с неожиданною, сожалительной кротостью, голову этак сочувственно приклонила к плечу и руки на животе сложила. — Уж больно молчишь ты много, Роман Прокопьич. Может, хвораешь?

— Все нормально.

— Может, я что не так? Может, мной недоволен?

— Да все так. Молчится, вот и молчу.

— Если накопится что, Роман Прокопьич, не держи. Всего не перемолчишь.

— Не накопится, я небережливый.

— Ну и слава богу.

И точно. Он не останавливался подолгу на смущавших его или вызывающих некую душевную изжогу минутах, тем не менее минуты эти существовали, были всегда при нем, могли однажды объявиться и вволю помучить хозяина.

Когда в первую их супружескую ночь Анисья Васильевна, дремно отяжелевшая, вдруг ясным, смеющимся голосом сказала:

— Теперь тебе любые семь грехов простятся, — у него неодобрительно отвердело сердце, отодвинулся от прохладного, белого плеча, сухо, осуждая и себя и ее за разговорчивость, спросил:

— Как так?

— Вдову приветил. — Она рассмеялась, придвинулась к нему. — Приютил-приветил, семь грехов снял. — Он опять отодвинулся, отвернулся:

— А-а. Извини, Аниса, мне чуть свет вставать. — Он морщился: «Что ж про это говорить, как язык поворачивается?»

— Спи, спи. — Анисья Васильевна громко вздохнула и опять рассмеялась. — Работник ты мой.

Засыпал: «Ладно, перемелется», вздрагивал: «Ничего, ничего, попривыкнем», перед тем как совсем провалиться: «Перебьюсь, а там наладится».

В другую ночь приподнялась на локте, полулежа устроилась в изголовье над ним — ломко прошуршала подкрахмаленная простыня, коснулись его маленькие горячие ступни.

— Роман, расскажи, как маленьким был?

— Да разве я помню?! — Он опять удивился. — А зачем тебе?

—Ничего же не знаю. Молчишь, как прячешь что-то.

— Как я маленьким был? Да как Васек. Жил, правда, хуже. Босой, в цыпках, брюхо щавелем набито — да ничего. Кости были, мясо наросло. Маленький был, хотел большим стать — чего тут еще упомнишь? А стал большим — все работаю и работаю.

— Это я понимаю, Роман Прокопьич. Вот тебя пока понять не могу. Живем, живем, и не знаю, то ли мы сообща хозяйство ведем, то ли и друг дружке нужны... Вообще нужны, не только так вот...

— Живем ведь — разве мало? Ты подумай-ка: жизнь поддерживаем, дом есть. Нет, немало, Анисья Васильевна.

— Вроде так. Да все равно неспокойно. Вроде сердцу воли мало. Тесно как-то, ну и ноет, мешает. А может, кажется. Больно уж жизнь-то ты строго поддерживаешь. От гудка до гудка и молчок.

— Дался тебе этот молчок!

— А куда его денешь? Похоже, Роман Прокопьич, что не просто ты молчишь, а сказать ничего не хочешь...

— Ну беда. А что я должен говорить?

— Не знаю. Только не должен. Без нужды и не начинай. Нет нужды, тогда, конечно, молчи. А охота, ох как охота, чтоб появилась она, чтобы понял ты...

— Да что понял-то?!

— Ничего.

Анисья Васильевна села, резко и зло взбила подушку, как-то размашисто, больно толкаясь, улеглись. Роман Прокопьевич прижался к стенке: «Вот разошлась. Нарочно так ворочается, будто нет меня тут». Она, полежав, полежав, вновь повернулась к нему:

— Может, Роман... извини меня... может, ты жену забыть не можешь?

Он медленно, придерживая грудь, вздохнул:

— Ты теперь моя жена.

Замолчала и больше не шевельнулась.

«Вот же травит себя. Да и меня по пути. Блажь не блажь, дурь не дурь — бабий сыр-бор какой-то. Зачем Зину-то вспомнила? Судьба раскрутила — не головой же биться. При чем тут забыть. Тоже жизнь была. Васек с Веней — как забудешь? Живая память, и я живой. Но отошла та жизнь, и сердце отболело. У Анисы тоже человек был, хлопоты были, муки свои, Любочка... Снова теперь начали — так что ей надо? Живем же, не тужим — обязательно, что ли, душу скрести?.. Характер, видно, на первых порах унять не может. Пускай, если ей так легче».

В субботу топили баню. Веня из школы не приехал — Роман Прокопьевич прождал его и пропустил первый пар. Послал Анисью Васильевну:

— Иди ребятишек купай. Я потом — все равно жар не тот.

— А я выкупаю, подтоплю — сама хоть с тобой похлещусь. Забыла, когда парилась.

Сначала повела Васька. Оттерла, отшоркала — только поворачиваться успевал, — окатила: «С гуся вода, с Васеньки худоба», — завернула в полушубок, поверх шалью затянула, в охапку его и домой. Румяно блестели его щеки и глаза из-под шапки, весело, тоже умыто — зырк, зырк.

Любочка же капризничала, противилась, выскальзывала, то пискляво закатывалась: «Ой, мама, щекотно», то трубно, ненатурально голося: «Мы-ло, мыло щиплет. Пусти, не тронь», — и с маху плюхалась на пол. Анисья Васильевна измучилась, накричалась, а одевая Любочку, не удержалась, нашлепала и, голосящую, брыкающуюся, утащила в дом.

Роман Прокопьевич открыл им дверь:

— Вот это я понимаю! Помылись так помылись, — и вернулся к газете, оставленной на столе. Любочка мгновенно умолкла, подбежала к Роману Прокопьевичу:

— Видишь, я какая!

— Вижу, вижу.

— Ну?! — Любочка ткнулась влажным лбом в его руку. — Чего молчишь?

— С легким паром, Любочка!
— Нет, как Мустафа скажи.
— С легким банем, сэстренка, — так говорил их сосед по дому татарин Мустафа.
Любочка с разбегу запрыгнула на кровать к Ваську:
— С легким банем, братишка! Ура-а! — завизжали, в ладоши захлопали, ногами засучили.
Роман Прокопьевич спросил:
— Готово у тебя, нет?
Анисья Васильевна будто не слышала, старательно заглядывала на кухне в шкафчики и тумбочки.
— Подтопила ты, нет, спрашиваю?
— А когда бы я это успела?! — Она хлопнула дверцей кухонного стола, распрямилась. — Спрашивает он, барин нашелся!
— Сама же собиралась. —Роман Прокопьевич отложил газету, чуть скособочился, выглядывая в проем двери — что это с ней?
— Я много кой-чего собиралась! — Она слепо, путаясь, натягивала телогрейку. — Вот только в домработницы не нанималась. Хоть бы предупредил, что тебе не жена, а прислуга требуется. — Ушла так резко, что конец шали прищемило дверью, чертыхаясь, приоткрыла, выдернула шаль и опять с силой вбила дверь.
В бане отошла, отмякла, и, когда Роман Прокопьевич нырнул, пригнувшись, в сухой, дрожащий жар, она встретила его этаким отсыревше-довольным голосом:
— Веники готовы. Пожалте париться, Роман Прокопьич.
Открыла каменку, плеснула полковшичка и в прозрачную, раскаленную струю сунула сначала темные, тяжелые пихтовые лапы — разнесся, забил баньку смолистый хвойный дух; потом окунула в этот горячий дух еще не расправленные толком березовые лохмы — пролился в пихтовую гущину медленный ручеек осенней, терпкой прели.
— Ну, Роман Прокопьич, подставляй бока.
Он забрался на полок, улегся — опалило каким-то остро посвистывающим ветерком. Анисья Васильевна, меняя веники, обмахивала, овевала его, чтобы глубже и полнее раскрылась кожа для жгучего, гибкого охлеста листьев и ветвей. Потом скользом, скользом, потом впотяг, потом мелко, часто припаривая, прихлестывая от лопаток до пят, от носков до груди, Роман Прокопьевич,

медлительно переворачиваясь, только уркал, как сытый голубь.

Слез, малиново светящийся, с шумящей головой от смолисто-березового хмеля, нетвердо прошел к кадке — и с маху на себя один ушат, другой, третий — ледяной, колодезной — занемел на миг, застыл и вновь наполнился жаром, но уже ровным, необессиливающим.

Анисья Васильевна поддавалась венику как-то раскидистее, вольнее, смуглое тело ее вскоре охватило темно-вишневым пылом, лишь ярко, розово-густо проступали из него соски. Слабым, рвущимся голосом попросила окатить ее тут же на полке:

— Силушек моих никаких...

Пар потихоньку схлынул, из-под пола потянуло холодком, чисто зажелтело, залучилось стекло лампочки. Отпустила и вяжущая, сонно-горячая слабость — тело наполнилось до последней жилочки томительной, благодатной чистотой. Анисья Васильевна, сидевшая на широкой лавке, вся потянулась, выгнулась:

— Ох ты, сладко-о как! — чуть откинулась, чуть улыбнулась, прикрыла глаза.

Роман Прокопьевич вдруг застеснялся, отвернулся к черному, слезящемуся оконцу.

— Роман! — засмеялась. — Не туда смотришь,— придвинулась, задела, опять засмеялась.

— Да неудобно, Аниса.— В поту сидел, а все равно почувствовал, что еще потеет. — Окошко это тут...

Рывком встала, даже вскочила, схватила ковш с кадки, замахнулась:

— У! Так бы и съездила! Пень еловый. — Бросила ковш, вскинула руки, собирая волосы. — Все, Роман! Все! — Будто только что раскалились крепкие, слегка расставленные ноги, чуть оплывший, но все еще сильный живот, матерые, набравшие полную тяжесть груди — раскалились от злости, обиды, от нетерпения сорвать эту злость и обиду.

— Что все-то? — Он исподлобья взглядывал на нее.

— Больше ни кровиночкой не шевельнусь. Вот попомнишь!

После, за самоваром, причесанная, в цветастой шали на плечах, румяно-свежая, исходившая, казалось, благодушием, она неторопливо говорила:

— Черт с тобой, Роман Прокопьич. Тебя не пробьешь. Хотела, чтоб душа в душу. А ты как нанялся

в мужья-то. Ладно. Раз так, то так. Вроде и семья, а вроде и служба. Вот и буду как службу тянуть.

Он не откликался, сидел в нижней рубахе, млел от рюмочки да от чая, про себя посмеивался: «Покипи, покипи. На здоровье. Пар-то и выйдет», — еще принял рюмочку, закурил. Он теперь не отказывался ни от вина, ни от табака. Как и положено семейному человеку.

Конечно, Анисья Васильевна не переменилась тотчас же, на другой день, но несколько спустя домашние разговоры стали тусклее, бесцветнее. Она уже не сердилась, не язвила, не шутила — исчезла из обихода сердечность, а осталась хозяйская расторопность, привычка к хлопотам и заботам. Угасли и ночные разговоры. Но когда Роман Прокопьевич обнимал ее, не противилась, хранила должную отзывчивость.

«А грозилась: все, попомнишь! Напугала — не нарадуешься. Вот теперь у нас все чин чином. Прямо душа отдыхает», — так рассуждал Роман Прокопьевич, полностью довольный теперешней жизнью, удачно продолжившей прежнюю, по знакомому и вроде бы прочному кругу.

Но вскоре заметил себе на удивление, что довольство его непрочно, тонко и легко рвется. Возвращался с нижнего склада, где день-деньской латали кран-погрузчик, настолько дряхлый, что давно бы пора ему на кладбище, в тяжелые челюсти пресса, но и заменить его нечем, новый-то никто не припас. Латали, ладили на порывисто хлюпающем, воющем ветру, снег задувало в рукава и раструбы валенок; прорех и дыр было столько — там подварить, там перебрать, там заклепать — зла не хватало. Да еще слесарь Сорокин, здоровый, мрачный мужик, все время пророчил:

— Рассыплется. Соберем, и рассыплется. — Гулко откашлявшись, плевал. — Ворот от кафтана. Дырка от бублика.

Роман Прокопьевич слушал, слушал его и наконец рявкнул:

— Не каркай! Рассыплется — тебя поставим.

Сорокин плюнул:

— Меня-то, конечно. В любую дыру поставь, стоять буду.

Промерзший, злой, голодный поднимался Роман Про-

копьевич на крыльцо, а дома и не увидели, как он вошел. Посреди комнаты было расстелено ватное одеяло, на котором «выступал» Васек, смешно набычивался, набычивался и топориком тюкался в одеяло, медленно переваливался через голову, и в эту секунду Любочка опрокидывалась над ним в мостике — два громадных красных банта в ее косичках качались, скользили по зеленому верху одеяла. Анисья Васильевна устроилась сбоку, на низенькой скамеечке, хлопала в ладоши, локтями удерживая рвущегося с колен кота, негромко, певуче приговаривала:

— Ай да мы, ну и молодцы! — Лицо ее при этом жило ласковым, усмешливым покоем, брови слегка выгнулись, глаза расширились веселым искренним интересом к ребячьей возне. Прыгал, рвался к одеялу и тут же пятился, взлаивая, щенок, тоже с бантом на шее. Любочка и Васек вскочили, красные, взъерошенные, и с серьезно-торжествующим сиянием на мордашках поклонились Анисье Васильевне, коту и щенку.

Роман Прокопьевич, тихо выглядывая от порога, вмиг согрелся, разулыбался, впрочем, и не заметил, что разулыбался, и тоже захлопал в ладоши, полез в карман за конфетами:

— Ну-ка, становись в очередь по одному!

Любочка и Васек бросились к нему.

— А мы в цирк играем! Васек клоун, а я акробатка. — Любочка первой взлетела к нему на руки, Васек обнял отца за колени.

— Дайте отцу хоть раздеться-то. — Анисья Васильевна поднялась, отошло с лица недавнее усмешливо-ласковое оживление, оно стало озабоченно-ровным, с легкою, деловитою хмурью на переносице. — Навалились — с ног собьете.

Из чугуна налила теплой воды в умывальник, на стул повесила свежевыглаженный лыжный костюм, с печки достала опорки — валенки с обрезанными голенищами, которые заменяли Роману Прокопьевичу тапочки. Накрыла на стол:

— Садись, ешь на здоровье, — а сама пошла прибрать в комнате после циркового представления.

Роман Прокопьевич хлебал щи, но обычного, сосредоточенно-жадного азарта к еде не было, мешало недовольство собой. «Поторопился, сильно поторопился. Надо было еще у порога постоять, посмотреть, а не в ладоши

хлопать. И ребятишек спугнул, и Анису. Так уж ей интересно было, так уж сладко, вроде и не в годах женщина. Прямо хоть самому кувыркайся. Может, и мне бы похлопала — черт, что-то совсем не в ту сторону меня уводит. Да, надо было еще постоять и еще посмотреть».

После обеда в воскресенье он заснул на диване. Спал недолго, за окном еще было светло, чуть только отливало начальной, сумеречной синевой. На кухне, за столом, друг против друга сидели Веня и Анисья Васильевна, говорили старательным шепотом, то есть довольно громко и со смешным присвистом на шипящих. Он видел их лица, освещаемые окном: ее, тревожно-внимательное, морщины вокруг глаз собраны с некоторым скорбным напряжением; его — худое, печально-смущенное, нежный кадычок судорожно и неровно бегал на тонкой шее.

— ...не знаю я, тетя Аниса... Мы на одной парте сидели, а в прошлый вторник она пересела. Не здоровается теперь.

— Может, обидел, Вениамин? Вы же сейчас дерганые все, думать некогда — раз, два, и такое ляпнете... А она — девчонка, да с норовом, да не замухрышка... Нет, ты не обижайся, Вениамин, я же вообще рассуждаю... Ты-то у нас мухи не обидишь...

— Я ей только записку написал, в кино звал... А она сразу же и пересела... Из рук, тетя Аниса, все валится.

— Ох, Веня. Не горюй ты так. Девчонки в ее годы все в барышни норовят. Уж и глазки строят, и ровесники им не пара — дурочки, да что с ними сделаешь? Потом сами поймут. Главное, ты, Веня, ее пойми. Она к тебе и потянется.

— Я не обижаюсь. Хорошо бы, как вы говорите... Только не выйдет, тетя Аниса. Ее еще в классе нет, а уже слышу — идет. Это она меня насквозь видит... А я посмотрю, и уж ничего не знаю.

— И хорошо, Веня. Хорошо. Душа в тебе живая, вот и болит. Если девка с умом да в сердце не пусто, не бойся, быстро разберется... — Анисья Васильевна вздохнула.

Роман Прокопьевич заворочался, на кухне замолчали. «Это Верка Маякова мозги ему закрутила. Всем парень хорош, но любит слюни пускать. Не в меня... Как бы двоек не нахватал, — подумал невнимательно, точно о погоде за окном, опять приоткрыл глаза: Анисья Ва-

сильевна, косясь на комнатный проем, что-то совсем тихо шептала Вене. — Переживает за него, а он и рад стараться. Душа нараспашку. А со мной будто в рот воды... Вон ведь как она сочувствует... Мне бы, что ли, в какую историю попасть. Случилось бы что... Тоже бы, наверное, руку гладила и в глаза заглядывала... Что мне это заглядыванье далось! Должно, заболею скоро — вовсе что-то раскис. Надо кончать. Хватит голову морочить».

Тем не менее сильно поманивало сесть сейчас напротив Анисьи Васильевны и попросить: «Посмотри на меня, ради бога, как на Веню, — дернулся, встал с дивана. — Черт! То ли опять засыпаю, то ли еще не проснулся!»

Умылся, походил, вроде развеялся. Хотел было сказать Анисье Васильевне, что вот, мол, совсем у тебя мужик свихнулся, дурней дурного желания его одолели, и надо дать ему каких-нибудь порошков — видно, застудился в тот раз на крапе. Покружил, покружил вокруг нее — не сказал. Постоял, поглядел, как она чистит картошку на ужин, хоть и про себя, но не удержался, проговорил: «Посмотри ты на меня, ради бога, Аниса. Как на Веню», — стало ему смешно, стыдно до зябкости в крыльцах, быстрей за шапку — и на улицу.

Долго закрывал ставни, долго стоял у ворот, смотрел на бледненький, тощенький — одна спина да рожки — месяц. Льдисто, по-весеннему оплывшие сугробы, черная полоса дальнего леса, искристое пространство перед ним успокоили Романа Прокопьевича, и уже спокойно он подумал: «Вот что. Куплю ей какую-нибудь штуковину. Из бабьего барахла. Так сказать, ценный подарок. Тем более мартовский праздник скоро. Все они на подарки падкие. Вот и потешу. А там посмотрим, как обрадуется, как глядеть будет».

Утром уговорил бухгалтера выписать ему досрочно аванс и с деньгами за пазухой заторопился к магазину — хотел до открытия застать продавца одного. Тот впустил его в подсобку, запер дверь на железный крюк и, не поздоровавшись, вернулся к мешкам и ящикам, которые то ли пересчитывал до прихода Романа Прокопьевича, то ли передвигал-перетаскивал.

— Матвеич, что ты там в заначке держишь? — против воли голос заискивал с грубоватой бодростью.

Матвеич повернулся: невозмутимое лошадиное лицо, пыльно-голубые ленивые глаза.

— А ты ее видел? Заначку-то эту?

— Да должна быть. Покажешь, так увижу.

— За погляд, сам знаешь, деньги платят. — Матвеич присел, привалился к мешкам — любил человек отдыхать. Он и в магазине все приваливался — то к косяку, то к полкам с товарами. — Что надо-то?

— Анисья скоро именинница. Такое бы что-нибудь, не больно фасонистое, но не наше. Из одежи там или на ноги. Черт его знает, ничего же еще ей не покупал, — договаривал и уже понимал: напрасно договаривает, вроде разжалобить этого пыльного Матвеича хочет.

— Можно посмотреть, можно. — Матвеич вовсе уж разлегся на мешках, так, легонько только локтем подпирался. — Слушай, все спросить забывал: у тебя автокран на ходу?

— На ходу.

— Мотоцикл у меня, видел, наверное, во дворе, под клеенкой стоит. А в городе гараж сварили... — Матвеич замолчал, сел, с ленивым равнодушием уставился на Романа Прокопьевича.

— Привезем твой гараж. Ясно. — Роман Прокопьевич чуть ли не вздохнул с облегчением: слава богу, можно теперь не улыбаться через силу. — Давай короче, Матвеич. Товар на стол.

Тот вытащил из картонной коробки большой целлофановый пакет.

— Вот могу завернуть. Анисья твоя в ножки поклонится.

— Да уж. Что это за штуковина?

— Брючный костюм. — Матвеич зашелестел целлофаном. — Тройка. Штаны, маленькая вот кофточка, вроде жилетки, и большая кофта.

— Не смеши, Матвеич. Как она его тут наденет? За грибами разве? Или на работу в лес перейдет. Нет уж. Баба в штанах все-таки и не баба.

— Эх! Понимал бы. В городе вон от мала до велика в этих тройках ходят. В драку, считай, за ними. Старуха уже, смотришь, голова трясется, а все одно в штанах. Мода, Прокопьич. Я к тому ж чистый дефицит предлагаю. Японский. Днем с огнем не сыщешь.

— Врешь, поди. Так уж и в драку. — Роман Про-

копьевич и сомневался по-прежнему, и проникался постепенно необычностью возможной покупки. — Из дому же меня выгонят за твою тройку. Днем с огнем, говоришь?

— Бери, Прокопьич. Точно. Откажется, у меня с руками оторвут.

— Значит, чуть чего, сдать можно? Заворачивай.

Спрятал до поры у себя в мастерской, в несгораемом ящике, где хранил наряды и дефектные ведомости, а в праздник принес домой, неловко вытащил из-под телогрейки, выложил на стол.

— Носи на здоровье, Аниса.

Молча развернула, соединила вещи на длинной лавке. Сначала брюки, потом жилетку, потом кофту — пока расправляла, выравнивала каждую вещь, густо покраснела. Роман Прокопьевич стоял сбоку, засунув руки в карманы, ждал, когда же она взглянет.

Анисья Васильевна выпрямилась и, не отводя глаз от костюма, тихо сказала:

— Спасибо, Роман Прокопьич. Очень хорошая вещь.

— Как она тебе? Ничего? — «Не взглянула даже. Жилочка никакая не засветилась. Глаза бы мои не смотрели на этот костюм. Навялил же, силком всучил, крыса магазинная». — Угодил, нет?! — слегка повысил голос, не слыша ответа.

— Спасибо, Роман Прокопьич. Еще бы. Чистая шерсть. — Она отошла к столу и сразу переменилась, повеселела, как бы вырвавшись из некоего пасмурного пространства. — А Веня открытку прислал. Вот перед тобой принесли. Вот уж обрадовал! — Протянула открытку Роману Прокопьевичу.

По бокам и поверху ее шли крупные буквы, нарисованные красными чернилами, с разными завитушками, листиками, цветочками: «Лучшей женщине в мире желаю счастья», — а в центре маленьким, аккуратным Вениным почерком было написано: «Дорогая тетя Аниса. Поздравляю с Международным женским днем, крепкого вам здоровья и большой радости. Веня».

Повертел открытку так-сяк, бросил на стол. «Откуда что берется. Сообразил». Лучшей женщине в мире! «Как язык поворачивается? А тем более рука? Лучшая... женщина... Правда, что язык без костей».

— Он что, за тридевять земель у нас живет? Зачем

писать, когда приедет сегодня? Дурачок все же еще суетливый.

Анисья Васильевна бережно взяла открытку, открыла буфет, прислонила к задней стенке.

— Божницы нет, туда бы спрятала. — Охота ей было взорваться, обидеться за себя и за Веню, но сдержалась, дрожащими руками стала сворачивать подарок Романа Прокопьевича, тройку его злосчастную. — Затем прислал, что сердце доброе. Приедет, еще раз скажет. У доброго человека добра не убывает.

— Да разве в словах дело?

— А в чем? Думаешь, деньги запалил и обрадовал? Лишь бы отделаться. А то, что Вене костюм надо, забыл. Любочке — пальто, Ваську одеть нечего.

— Слов, знаешь, сколько можно наговорить? Причем бесплатно.

— Ну, коне-ечно. Нету их, так ни за какие деньги не возьмешь. Уж за этот твой костюм не выменяешь. — Она затолкала тройку в пакет, сунула в сундук. — А я бы поменяла. Я бы отдала, Роман Прокопьич. — Накинула платок, взялась за полушубок.

— Далеко?

— Ребятишек позову.

Остался один, достал из буфета графин с самодельной рябиновкой, выпил стопку и сразу же другую. «Поглядела так поглядела. Дождался. Бог с ней, с обновкой. Согласен, не по вкусу, но сам факт-то могла отметить. Что вот для нее постарался. Не забыл, денег не пожалел. То есть уважаю и на все для нее готов. Поди, нетрудно порадоваться-то было, прижаться там, поцеловать, на худой конец, поглядеть ласково. Нет, Венькина открытка ей дороже. Ну, Анисья Васильевна. Плохо ты меня знаешь. Я ведь не остановлюсь. Как миленькая будешь и в глаза заглядывать. Еще попереживаешь за меня».

Через месяц с лишком он случайно услышал, что в конторе предлагают путевку не в очень дальний, но хороший санаторий. Его точно подтолкнуло: «Беру. Надо взять. Отправлю ее. Может, вдали-то настроится как следует, заскучает. Пускай отдыхает, на воле-то быстрее поймет, что я за человек», — подхватился, побежал. Мимолетом вспомнил, что в санаториях этих, на разных там курортах народ со скуки начинает бесстыдничать,

семьи забывать, — сам Роман Прокопьевич в такие места никогда не ездил и сейчас вспомнил слухи да россказни, которыми потчевали мужики друг друга в перекуры, и он, посмеиваясь над этими разбавленными веселой похабщиной байками, никогда им не верил. Разве может серьезный человек верить на слово? «Шашни всякие не для Анисы. Уж что знаю, то знаю».

В конторе узнал, что выкупать надо немедленно — побегал, побегал по поселку, у того занял, у другого — вечером положил путевку на стол.

— Вот. Отдыхать поедешь, Аниса.

Она так и села.

— Да ты что, Роман. — Придвинула путевку, рассмотрела ее, прочитала. — Да ведь целый месяц выйдет. А кто огород будет садить?

— Сами посадим.

— Никуда я не поеду. Иди сдавай, рви, выбрасывай! Что ты все отделаться от меня хочешь? Молчит, молчит — на тебе! Штаны носи, езжай черт знает куда!

Теперь он чуть не сел.

— Да ты что! Как отделаться? Для тебя же стараюсь. Как тебе лучше.

— Что я там забыла? Постарался, называется. Ты кому что доказываешь?

— Ничего не доказываю. — Он не знал, что говорить, что делать — вот уж действительно постарался, врагу не пожелаешь. — Поезжай, Аниса, отдохни. Чего теперь.

— Не собиралась, знать не знала — не хочу. В другой раз наотдыхаюсь.

— Так куда путевку-то теперь девать?

— Куда хочешь.

— Пусть валяется. Смешить никого не буду.

— Пусть.

Он вышел, не одеваясь, постоял на крыльце, замерз, но тяжелую, какую-то клубящуюся обиду не пересилил. Тогда, не заходя, улицей пошел к соседу, шоферу Мустафе играть в подкидного.

Уговорил Анисью Васильевну Веня.

— Тетя Аниса, интересно же. Справимся мы тут, поезжайте. Походите там, подышите. Надоест, вернетесь. Ну, съездите — мы вам письма будем писать. Вообще, тетя Аниса, отдыхать никогда не вредно.

— Ох, Веня. Как не ко времени. Потом кто так де-

лает? Люди вместе ездят. Одна-то я и раньше могла. Не смотри ты на меня так! Ладно. Только ради тебя, Веня.

Уехала. Установились жаркие белесые денечки. Снег сошел за неделю, быстро высохло, запылило желтовато-белой пыльцой с опушившихся приречных тальников. После вербного воскресенья пришло от Анисьи Васильевны письмо, в котором она жаловалась на головные боли, на ветреную, холодную погоду, наказывала, где что посадить в огороде и даже план нарисовала, пометила, где какую грядку расположить. Еще спрашивала, как питаются, мирно ли живут Васек с Любочкой, как Веня готовится к экзаменам — целовала их всех, а всем знакомым кланялась. Отдельно Романом Прокопьевичем не интересовалась, никаких отдельных наказов и пожеланий ему не слала.

Как-то Роман Прокопьевич оставил Любочку с Васьком играть у соседей, а сам впервые, может, за всю жизнь пошел бесцельно по поселку, по сухим, занозистым плахам мостков-тротуаров. Встретил слесаря Сорокина, угрюмого, здорового мужика, и хоть не любил его, остановился.

— Чего шарашишься, Прокопьич? — гулко откашлявшись и плюнув, спросил Сорокин.

— Надоело по двору, вот по улице захотелось.

— Закурим, что ли, на свежем воздухе?

Закурили, постояли, потоптались.

— Слушай, Прокопьич. Ты меня на неделю отпустишь?

— Далеко?

— Лицензию свояк достал. На зверя.

— А работать кто? Дядя?

— Да я свое сделаю.

— Сделаешь, отпущу.

Сорокин еще закурил.

— Может, зайдем, прихватим? — кивнул на магазин.

— Неохота. — Роман Прокопьевич слегка покраснел, в доме теперь было рассчитано все до копеечки — какая там выпивка. — Да и ни рубля с собой не взял.

— Ну, подумаешь, я же зову, я угощаю.

Садилось солнце за крышу конторы, розово светились кисти на кедре, твердела потихоньку, готовилась к ночному морозцу земля, и от нее уже отдавало холодом — трудно было отказаться и еще труднее со-

гласиться Роману Прокопьевичу, свято чтившему правило: самостоятельный мужик на дармовую выпивку не позарится.

— Пошли, — все же согласился, — с каким-то сладким отвращением, и если бы видела его сейчас Анисья Васильевна, он бы ей сказал: «Вот до чего ты меня довела».

Посадили огород, снова набухла, завеяла холодом черемуха. Пора было встречать Анисью Васильевну. Сообща, как умели, выскребли, вымыли дом, в день приезда велел Любочке и Ваську надеть все чистое, луж не искать и два раза повторил:

— Автобус придет, бегите за мной.

В сущности, и не работал, а торчал все время у окна, не бегут ли.

Любочки и Васька не было и не было, Роман Прокопьевич наконец вслух возмутился:

— Хоть бы раз по расписанию пришел! Не автобаза, а шарашка какая-то!

— Ты про автобус, что ли? — спросил только что вошедший Сорокин. — Да он с час уже как у чайной стоит.

Роман Прокопьевич, забыв плащ, побежал к дому. «Не дай бог, не дай бог, если что!» — только и твердил на бегу.

Любочка и Васек сидели на крыльце.

— Приехала?! — Распаренный, багровый, от калитки выдохнул он.

Любочка приложила палец к губам.

— Мама устала, говорит, не дорога, а каторга, просила не будить, — шепотом прочастила Любочка.

Роман Прокопьевич сел рядом с ними.

— Идите гуляйте.

Они убежали.

«Да она что! Да она что! Видеть, что ли, не хочет?! Извелся, жить не могу, а она устала. Я ей все скажу. Это что же такое! Прямо сердца нет!»

Он вскочил и неожиданно для себя начал топтать землю возле крыльца, поначалу удивляясь, что трезвый мужик белым днем может вытворять такое, а потом уж и не помнил ничего, наливаясь темным, неиспытанным прежде буйством. Топтал землю и выкрикивал:

— Я без нее! А она! Я без нее! А она...



ПАРОМ ЧЕРЕЗ КИРЕНГУ

1

Зина собиралась в дорогу. Чемодан разбух от свертков, кульков, узелков. Зина разгибалась, отдувала со лба рассыпчато-шелковую, льняную челку, обреченно оглядывалась: на кровати, на камоде, на стульях лежали и висели кофточки, сарафаны, юбки — для всего этого не хватило бы и трех чемоданов. Она отчаялась, хваталась то за одну вещь, то за другую, пока наконец не догадалась:

— Да ну их к черту! Нагишом поеду, а не повезу. Вот эту не повезу! Эту! Эту! — Зина металась между стульями, срывала кофточки и юбки, швыряла в угол.

Маленькая Верка восхищенно всплеснула руками:

— Ой, мама балуется! — Присела перед кучей тряпья. Нахмурилась. Укоризненно закачался бант.— И чевой-то девка бесится. Прямо узды на нее нет! — Верка уже играла в бабушку, и голосишко ее, еще лепетный, молочный, забавно, но верно схватывал бабушкины ворчливые нотки.

Странно, со всхлипами расхохотавшись, Зина бросилась к ней, подхватила, подкинула — белоголовую, в желтом бумазейном платьишке.

— Солнышко ты мое! Цыпленочек! Одуванчик-хитрованчик! — Целовала Веркину тоненькую нежную шею, большущий упрямый лоб, остренькие плечи.

Мать Зины, Марья Еремеевна, разбитая этими сборами, сидела на табуретке у двери, уперев руки в колени.

— Давай, трави, рви душу-то! Вот што ты ее тискаешь? Ох, девка. Не ее ты жалеешь, а более себя. Кукла она тебе, щенок толстоморденький? Отпусти сейчас же! Смотреть не могу — сердце заходится. Ну, што реветь-то! Ох, Зинка. Ну, што ты из меня делаешь? — Марья Еремеевна потянула концы платка к глазам. — Счас какие еще слезы. Вот уедешь — там наплачешься. И я тут обревусь, на сироту глядючи.

— Перестань, мама. До всего ведь договорились. Что же снова начинать? Кто кому душу рвет — еще посмотреть надо.

— Договорились, договорились. Легше, что ли, стало? Я ночей не сплю: ладно ли договорились. Кто его знает, сколько ты там пробудешь. А у меня сил, сама знаешь, не больно-то. Старый да малый — много мы тут наживем. Уж отцовской ласки Верке не досталось, так еще и материнской лишится.

— Ну, вот! Ну, вот! Так я и знала! До последней минуты довела, а теперь — ночей не сплю. Теперь как я поеду? Хоть из себя выпрыгни! Ну, советчица ты, Марья Еремеевна, ну, агитатор. Спасибо, в ножки кланяюсь!

— Будет, будет кваситься-то. Прямо белуга ты, Зинка... Чуть чего, сразу мать виновата. Што я такого сказала? Нечего дергаться, характер выказывать. Без прикидки ни одна живая душа не живет. Вот я и прикинула, ничего не скрыла. Чтоб и на новом месте заботу помнила, не фыр-фыр — вот я, пташка-канарейка, бездомная да бездетная. Характеру хватило безотцовщину принести — вот и слушай теперь мать, больше некого тебе слушать.

— Давай, давай, все собирай. Опять ты за эту безотцовщину взялась. Который год попрекаешь... Зачем тогда говорила: поезжай, поезжай, чего тут высидишь. Хорошо. Буду возле тебя сидеть и в рот заглядывать.

— Я и счас скажу: поезжай. Нечего переворачивать. А душа все равно болит: ведь вон в какую даль заедешь. А ехать надо — от своих слов не отказываюсь. Судьбу пытать — самые твои годы. Я вот проворонила, просидела с вами — ничего не дождалась, никакой другой доли.

Хоть ты постранствуй, пока мои ноги ходят да руки не отнялись.

— Ох, мама, у тебя семь пятниц на неделе. Наревелись, а теперь опять — странствуй.— Зина ладонями размазала слезы и придвинула к себе чемодан.

2

Давно еще, в девчонках, Марья Еремеевна провожала бабушку на богомолье в Иркутск. Прошагали двести верст, поклонились мощам святого Иннокентия и назад. Больше Марья Еремеевна из своего захолустья никуда не выбиралась — ни пешком, ни машиной. Схоронив мужа, растила дочерей — Аграфену и Зинаиду. Была враз сторожихой, прачкой, дворником — вытянула девок, выучила. Аграфена закончила бухгалтерские курсы и уехала на Сахалин, там и замуж вышла. Зинаида тоже специальность получила — маляра-штукатура в ремесленном училище, но семейной жизни не нашла. Марья Еремеевна ни кавалеров ее не видела, ни женихов — Зинаида Верку в подоле принесла. Уж как Марья Еремеевна ногами топала и по щекам хлестала, уговаривала Зинаиду не рожать, не прибавлять сиротства — и так его на белом свете хватает, но Зинаида переупрямила. Растет теперь Верка, краса ненаглядная, радость бабушкина.

Пока сторожила, стирала, мела дворы, пока дочерей в люди выводила, решила Марья Еремеевна, что лучшие ее дни остались на ясной, тихой, августовской дороге, по которой шла она когда-то с бабушкой на богомолье. Разогнувшись над корытом или остановив метлу посреди двора, Марья Еремеевна любила вслух вспоминать:

— Бабушка приморится, сядем мы с ней на обочинку, кваску попьем или воды простой, хлеба с луком, с яйцом пожуем и — сидим, посиживаем. Поля, луга вокруг, леса — звоном, медом, голосами какими-то далекими воля-то на тебя и накатит. Я не своя прямо делалась. Вскочу, и будто кто за мной гонится. Мчусь к поляне, обсевку какому-нибудь. Цветы рву, визжу от радости и все время охота мне то ли кувыркаться, то ли валяться, то ли летом каким-то по траве, по волнам этим прошмурнуть.

Дальше идем. Смотрим, как народ живет-работает. Сами где пособим — в поле ли, в огороде. И што удиви-

тельно: ни одного плохого человека не встретили. Может, маленькая была, не замечала еще плохого-то? Угостят, переночевать пустят, в дорогу добрым словом проводят. Может, и счас так? Чего не знаю, того не знаю. Давно не ходила. Но про себя думаю: а зачем русскому человеку меняться? И счас, посмотришь, тоже душу-то не жалеют. А? Так оно или нет?

С Веркой Марья Еремеевна нянчилась, не бросая метлы — дворницкий участок был рядом, как и магазин, который сторожила. Откараулив, быстро расшоркивала тротуары — торопилась домой, «еще на одну ударну вахту заступать» — отпускала Зину на работу. Верка спала под репродуктором; при Зине он молчал, при Марье Еремеевне орал во все горло — она боялась задремать, и, не дай бог, в это время Верка расшибется, пуговицу проглотит, «да мало ли кака холера может приключиться». Верка привыкла к неумолкающему дребезжащему голосу и, когда заговорила, сама стала напоминать Марье Еремеевне: «Баба, радиво», нетерпеливо тыкала кулачком в сторону черной коробки: что же, мол, ты не включаешь. Марья Еремеевна смеялась:

— Так меня, Верка, так. Бабка у тебя — радиво, чистое радиво. Круглые сутки, без передыху, мельтешу, и никто меня не остановит. Там хоть новости передают. А у меня, Верка, никаких новостей, одно старье. Да и откуда у старых людей новости могут быть? День да ночь. Давай-ка я тебя кашей покормлю. Посидим, послушаем, кашу-то и скушаем.

Однажды Марья Еремеевна услышала, что некий пожилой англичанин отправился пешком вокруг света. Поступок его так взволновал Марью Еремеевну, что она несколько дней не могла успокоиться:

— Ведь старик уже, считай — ровесник мой, и на тебе — зашагал. Вот што ему не сиделось? Не-ет, я знаю, почему он пошел. Он, может, до этого похода и носу из дома не высовывал. Деньги копил, с духом собирался — это долгое дело, с духом-то собраться. Может, помрет по дороге —вторую жизнь надо, чтобы столько-то прошагать. А если и помрет, дак с чистой совестью: о чем мечтал-думал, с тем и в могилу лег. Эх, мне бы по земле походить. Вот уж насмотрелась бы!

Старик англичанин, пешком пересекавший пустыни и океаны, видимо, долго занимал воображение Марьи Еремеевны, и существование его обернулось наконец не-

сколько странным и неожиданным для Зины предложением:

— Зинка, а ты-то чего в нашей дыре сидишь? Давай поезжай куда-нибудь, посмотри белый свет. Вон хоть к Аграфене езжай, на Сахалин. А лучше — на чистое место, без родни, одна-одинешенька, так-то сладко в свой интерес пожить!

— Прямо сейчас, что ли? Или до завтра погодить? Нашла одну-одинешеньку! Ну, мама!

— А я с Веркой здесь посижу. Ей три года скоро, время в садик подходит. Справимся, безо всяких. Пока тяну-могу, пользуйся, Зинка. Што ты тут высидишь? В вашей ремстройконторе одно старичье — как тебе с ними не надоело! Поезжай, Зинка. Тебя ведь жалею — ничего больше не думай. Не жалела бы, так не отпускала.— Марья Еремеевна понизила голос, оглянулась с быстрой слезой на Верку. — Может, отца ей там найдешь. Устроишься по-человечески. Здесь-то ты кого дождешься — стариковское у нас место, стоячее. Ни стройки путной, ни другого заделья на будущее. Поезжай, век благодарить будешь.

— Никуда я не поеду! Никаких чистых мест и никаких мужей не надо!

— Дура ты, Зинка. Это только кажется в твои двадцать два, что ничего не надо. Да и черт с ним, с мужем. Просто так поезжай. На людей посмотри, себя покажи.

— Легко сказать — поезжай. Страшно же: никого не знаю, меня никто не знает. Об Верке с ума сойду.

— Не сойдешь. Не в детдоме оставляешь.

Постепенно Зина привыкла думать, что куда-то поедет, где ее не ждут и вообще даже не знают, что она живет на свете, что есть такая Зина Чепрасова, мать-одиночка, лучший маляр в Свийской ремстройконторе. Эти главные, как считала Зина, свои приметы она часто повторяла про себя с хмурою улыбкой, словно представлялась кому-то, с кем-то знакомилась, предупреждая усмешливой прямотой возможное любопытство к своей судьбе. Далекий край, где она собиралась жить, был в видениях лесистым, тихим, с чистыми, густыми лугами по берегам прозрачных, неторопливых рек. Зине виделись и вечерние зори, золотисто-мягкие, с розоватым дымком у воды, и себя она воображала на белом речном камне в медленно-сизых сумерках. Видела кого-то рядом, но не с тою грубою очевидностью, как мать — «Верке отца найдешь, себе му-

жа», а тоже в нежной, сумеречной дымке — наконец-то найденного, желанного, единственного.

Только где этот край? Марья Еремеевна, наслушавшись радио, каждый день меняла географические привязанности: Джезказган — «тепло, конечно, там, фруктов много. Но, поди, по-русски-то не говорят. Будешь там, как глухонемая». Синегорье на Колыме — «интересное место, но уж больно далеко. В случае чего и не дотянешься». Где же, где этот край?

Как раз заговорили о БАМе. Зина послушала, послушала, и дрогнуло сердце: вот уж действительно чистое место. Речки да горы, да звери — небывалое, одним словом, место. И у Марьи Еремеевны БАМ вызвал устойчивое изумление:

— Ты посмотри, што делается! По два раз на дню погоду с этого БАМа передают. Шестьдесят лет живу, никто и не заикнулся, дождь в нашем Свийске или солнышко. Дела никому нет. А тут пожалуйста: што в Москве, што на БАМе: и давление, и градусы, и в ближайшие сутки. Поезжай-ка. Поезжай туда. Я вроде как весточку каждый день от тебя получать буду. Сегодня на мою Зинуху дождь сыплет, в плащишке, значит, побежала на работу, косынку эту, цалофановую, повязала. Считай, видеть тебя каждый день буду. Давай собирайся.

Зина собралась и поехала.

3

Прилетела в Казачинск, старый таежный райцентр. Узнала, что до Магистрального — бамовского поселка — еще двенадцать верст, автобусы не ходят, можно на попутке добраться до паромной переправы, а «там — не заблудишься, там — рукой подать».

Прошла тесными, раскисшими после недавнего дождя проулками к деревянному горбатому мосту через протоку, постояла на нем, привалилась к перилине. Сейчас в Свийской ремстройконторе бригадир дядя Коля кричал, наверное, тоненько, подделываясь под голос тети Нины, своей жены, работавшей в их же бригаде: «Перекур, товарки».

Зина огляделась: на берегах протоки редко стояли вербы, одинаково выгнув над водой зеленовато-белые грустные шеи; гусиная травка, клейменная коровьими копытами, весело подкатывала к самым заборам, к темным,

каким-то чугунно-мордастым домам. «Вот он, дальний край, — думала Зина. — Ни лугов, ни прозрачной речки, ни белого камня над ней. Пока летела — все дома была. А теперь уж точно: одна-одинешенька. Ну, ни одной знакомой души! Это как же я теперь буду?»

Под мостом, в густой мшистой ряске, испуганно и торопливо завтракал селезень-чирок, сдуру залетевший или заплывший в центр села. Сам не свой. «Как ворованное ест, с оглядкой. Тоже, поди, не знает теперь, где кого искать...»

Вышла за околицу, обозначенную полуразобранной жердевой изгородью, увидела дорогу, пролегшую меж болот, озер, островов, матерых, влажно-угрюмых ельников — дикая, темная синь их могла проглотить не одного царевича, на сером волке, а, по крайней мере, тыщу — с Зиной в придачу. Она поежилась, поойкала про себя и — пошла.

На галечной узкой косе, почти под окнами леспромхозовского поселка Ключи, ждали парома люди, машины и две лайки, рыжая и белая, с терпеливым достоинством сидевшие чуть на отшибе. То ли встречали хозяина, то ли добирались к нему.

Зина наклонилась к воде — прозрачные, быстрые струи задевали донный песок, он приподнимался тонкими, колеблющимися жгутами. Приподнимался и медленно, роисто оседал — вот-вот коснется дна, но река сшибала песчинки, сносила к далеким ленским плесам. Киренга не давала этим подводным песочным часам работать, знать не желала никакого времени! Зина глянула на другой берег и засмеялась: на широком песчаном языке, высунутом из глинистого, ольхового обрыва, лежал белый камень, валун, на котором она уже сиживала в своих видениях. «Вот и камень бел-горюч нашла, и речка прозрачная есть. Чего тебе еще надо, Зинка?»

Захрустела, заскрежетала галька под железным брюхом парома. Высунулся из рубки паромщик, краснорожий и чересчур веселый:

— Эй, романтики! Машины вперед. Техника решает все. Матери небесные! Да куды вы все гуртом-то!

Лайки заскочили первыми, ловко, привычно забрались по бухтам канатов на крышу будки, вежливо улыбнулись веселому паромщику. Он опять заорал:

— Ах, вы! Молодцы! Без гаму, без сраму — и в дамки! Счас, счас! — Унырнул в рубку, выложил перед соба-

ками какие-то объедки на газете. Они понюхали, из вежливости взяли по кусочку и замерли, умно помаргивая черно-сизыми глазами.

К Зине подошел парень, впрочем, скорее мальчишка, конопатый, бледно-зеленый, всклокоченный, в длиннополой куртке с множеством карманов, и из каждого выглядывали сургучные мордочки бутылок.

— Ты приехала на БАМ,

Не придешь ли в гости к нам, —

частушечным топким покриком вывел он, и Зина поняла, что мальчишка пьян. Она отвернулась к воде.

— Приходи, приглашаю. Именины, день ангела, рождество Семеново! Эх, гуляю! На зарплату живем, на надбавки гуляем! — Мальчишка заглядывал ей в лицо, неверно и смутно приваливался к бортовому канату. Откачнулся от него, как умучившийся боксер, призывно вздернул руки. — Всех приглашаю. Третья палатка. Сенька Худяков. Эх, лапти, вы лапти мои!

Из новенького «газика» вылез седой, сухолицый мужчина с черными, строгими, сильными бровями. Оттащил подальше от каната Сеню Худякова.

— Для всех, значит, закон сухой, а для тебя мокрый? Бамовец нашелся. День ангела средь бела дня. Опомнись, Семен Худяков. — Мужчина, одной рукой придерживая качающегося Сеню, второй быстро выхватывал из его карманов бутылки и швырял в воду. — Опомнишься — благодарить будешь. А если не благодарить, то хоть подумаешь как следует: зачем ты сюда приехал? — Мужчина выбросил последнюю бутылку, и откуда-то сверху слетел протяжный сожалительный стон. Это паромщик, округлив глаза и перегнувшись через штурвал, не сдержал своих переживаний.

— А ты что стонешь? — поднял голову седой мужчина. — Уж не нырнуть ли за ними хочешь?

— Я ничего, Владимир Палыч. — Паромщик отпрянул внутрь рубки. — Мое дело штурвал крутить и наблюдать за жизнью.

— А дальше что? Понаблюдаешь, а дальше?

— Сделаю выводы, Владимир Палыч. Категорически. Буду начальником станции Магистральной. Обо мне еще услышат. Не только местное население.

— Что-то долго ты наблюдаешь, а выводов нет и нет.

Зина услышала, как за спиной кто-то вполголоса спросил:

— Что за мужик?

И кто-то вполголоса ответил:

— Секретарь райкома. Здешний.

Сеня Худяков уселся на кнехт, задремал было, но вдруг дернулся, потряс головой и заревел.

— Ничо-о не выходит. Машину дали — сломал, девчонка не пишет, сам балдею — какие тут именины. Ничо-о не выходит. Никому-у не нужен, — он размазывал слезы по веснушчатому бледному лицу.

Владимир Павлович снял с крюка ведро, на веревке бросил за борт, зачерпнул воды.

— На-ко вот, попей да умойся. Всем нужен. Проспишься, Семен Худяков, и всем будешь нужен.

Сеня, всхлипывая, обливаясь, долго пил, и был он такой жалкий и неприкаянный, что Зина отвернулась, обмахнула глаза. «Совсем дурачок еще. Лопоухий. Мать-то, наверно, испереживалась — отпустила такого». Она вздохнула и принялась смотреть на Киренгу — паром как раз достиг стрежня.

Плыли по реке острова, праздничные, в красно-золотом, сентябрьском тальнике; встречь им шли чумазые неприглядные буксиры, баржи, до бортов просевшие под тяжестью тракторов, самосвалов, бульдозеров; в дрожащей, прозрачной дали выгибались, скользили, таяли берега, украшенные серебристой желтизной ольшаников, тихим, млеющим золотом березняков, а ближняя к парому земля была измята, разворочена гусеницами, колесами, ножами бульдозеров. Древняя, нетронутая красота изо всех сил сопротивлялась приходу человека. Но все-таки без чумазых буксиров, изжеванных берегов, этого железного громыхающего парома красота окрестная не была бы столь живой, одушевленной, столь печально и чудно уязвленной.

4

Потом Зина шла по берегу вдоль длинного, наспех сделанного причала, где скрипели лебедки, ревели автокраны, сипло посвистывали буксиры, с глухим урчанием в утробах катились в кузова машин бочки с горючим. Поодаль от причала, на высоком обрыве, были уложены рельсы, всего какой-нибудь десяток метров, и на них осадисто, тяжело стоял вагон без окон, весь в металлических шторках и задвижках — Зина ре-

шила, что вот оно, начало БАМа, а вагон поставили вместо некоего памятника, показывающего, откуда проляжет дорога. Подошла, покачалась, побалансировала на рельсе, постояла, склонив голову, подумала: «Вот так. С этих шпал и пошагаю. Может, до самого Амура».

Зина не знала, что вагон этот — часть энергопоезда, сплавленного по большой воде, и скоро его уберут, перетащат на положенное место. Не знала она также, что с утра в кустах возле обрыва прячется фотокорреспондент, карауля, высматривая момент, когда брошенный вагон превратится, по разумению фотокора, в символ. Зина появилась кстати. Легкая тонкая фигура на обрывающихся рельсах, задумчиво склоненная голова, таежные хребты на заднем плане — фотокор возликовал: вот он, долгожданный кадр. Снимок этот с краткой надписью: «Утро БАМа» — обошел многие газеты, но Зине в руки так и не попал.

В палаточном городке, куда она добралась через глинистый, вязкий овражек, спросила у первых встречных, где найти начальство.

— А вон в шляпе ходит. — Ей показали на плотного, толстенького человека в зеленой робе, в болотных сапогах и мохнатой маленькой шляпе, напоминавшей пилотку.

— Здравствуйте, — догнала его Зина. — Вот работать к вам приехала.

— Очень рад. Дикарем?

— Нет, сама по себе.

— Начальником поезда хочешь?

— Какого поезда?

— Строительно-монтажного. Вместо меня?

— Я уж лучше маляром-штукатуром останусь. А вас увольняют, что ли?

— Не увольняют, но уволят, если приму еще хоть одного человека. — Он остановился. — Будем знакомы. Бугров. Чепрасова? Очень рад. Плакса? Нет? Ну, просто умираю от радости. Тогда слушай: не приму я тебя, товарищ Чепрасова. Не уговаривай, не объясняй, не клянись — бесполезно. Не приму. Будь здорова. Надеюсь, мы больше не встретимся.

— Хоть бы спросили чего-нибудь...

— Все знаю, все слышал. Тебе не терпелось — своими руками... хлебнуть настоящей романтики... чтоб было что в жизни вспомнить и детям рассказать... Так?

— Вовсе не так. Давайте работу. Все равно не отстану.

— Этот вариант тоже знаком. Отстанешь. Совесть есть — отстанешь. Нету совести — проводим. Пока.

— Говорят про вас, пишут, до небес возносят, а вы... вы... — Зина замялась.

— Бюрократ? — подсказал Бугров.

— Нет.

— Чинуша?

— Нет!

— Шляпа, валенок, гусь?

— Да нет же!

— Извини, но покрепче не могу. А то обзовешь матерщинником.

— А вы без души совсем!

Бугров весь как-то огорчился: плечами пожал, враз руки развел, толстое курносое лицо сморщил. Но промолчал, плечи опустил и покатился круглым, грустным колобком.

Зина, совершенно расстроившись, пошла было, слепо и вяло, вслед за Бугровым. Спохватилась, огляделась и вздрогнула: увидела над поляной, между рядами палаток большеглазое, большегубое женское лицо, вытесанное из огромного соснового комля. Узловатые мощные корни причудливо обняли лицо, напоминая крылья некой сильной, только что взлетевшей птицы. От неожиданного взлета глаза женщины испуганно, удивленно, гневно расширились, а сочные большие губы подернулись улыбкой — должно быть, захватило дух от этого вознесения.

Но Зина не заметила улыбки, ее отталкивали, гнали удивленно-гневные глаза: «Тебе-то что здесь надо? Ты-то откуда взялась?» Зина сгорбилась, совсем поникла, ушла с главной поляны Магистрального, присела на лавку под обеденным навесом. К раздувшимся брезентовым стенам котлопункта подъезжали и подъезжали машины с голодными, веселыми, голосистыми парнями, девчонок было мало, и приезжали они не в кузовах, а в кабинах. Брезентовая крыша котлопункта парусила, взметывалась под напором голосов и хохота. Зина пожалела, что она не среди этого бурного разноголосья, всхлипнула, кто-то немедленно откликнулся ей таким же долгим и тяжким вздохом. Она подняла голову: напротив, тоже на лавке, сидел черный, кудрявый парень со слезно горящими, сизо-терновыми глазами.

— Передразниваешь, что ли? — спросила Зина.

— Зачем передразнивать. Самому, девушка, так тяжело, наверно, плакать буду. Вот ты приехал, остался, а я назад поеду. — Парень говорил с акцентом.

— Издалека ехал?

— Узбекистан, девушка. Рашид — так меня там звали. Здесь никак не зовут... Думал, БАМ — такая стройка, можно хоть сторожем ехать.

— Почему сторожем?

— Рука одна нехорошая. Не может работать. — Зина увидела, что левая рука парня засунута в карман пиджака. — Я техникум кончал дорожный, много кой-чего знаю. Руки нет — голова есть. Разве голову на БАМе не надо?

— Сейчас руки им нужны, да и то не всякие. Лучше бы тебе подождать было, пока головы понадобятся. Потом, конечно, техникум твой пригодится.

— Зачем потом? Думал, Рашид сейчас нужен. Потом нехорошо. Все сделают — только пассажиром будешь. Я не пассажир, я — сначала хочу. Говорю начальнику: хоть сторожем ставь.

«Нечего,— говорит,— сторожить. Нету воров».— «Как это воров нету, — я ему отвечаю. — Кто же тогда на Иркутском вокзале меня обокрал? Может, тоже сюда едут».— «Нечего им здесь делать, — начальник говорит. — Они работать не умеют, а здесь работать надо». Тогда я ему сказал, что сторожить всегда можно. Колышек в землю вбил — уже можно охранять. Много еще сторожей надо. На всякий случай, говорю, давай сторожем стану. Не согласился. Придется назад ехать.

— Как обокрали?!

— Сил не было, заснул. Все унесли, и пальто укрывался — тоже унесли.

— А деньги?

— И деньги. Сам удивлялся, что не слышал.

— Так ты же голодный! — Зина отвернулась, расстегнула кофту, из лифчика достала платок с деньгами — там советовала держать их Марья Еремеевна. Протянула Рашиду трешку. — Иди поешь. А то до дому не доберешься. И сторожить сил не будет.

— Спасибо, девушка. Есть совсем неохота. Что я буду говорить дома? Спросят: «Зачем ездил, Рашид? Чтобы незнакомые девушки угощали тебя обедом?» Ой, какой стыд. Так далеко ехать, а назад будет еще дальше. Ра-

шид, Рашид, почему тебе всю жизнь не везет? Спасибо, девушка. Приезжай в Узбекистан. Будем вспоминать, как встречались на БАМе.

5

«А что я скажу дома? Прокатилась, мол, и хватит. Мать же изведет: эх ты, раззява, скажет. В кои веки, скажет, случай выпал судьбу-планиду в свои руки взять. И тот проморгала. Вот и сиди в Свийске, поглядим, кого высидишь... Конечно, мать просмеет. И правильно сделает. В самом деле раззява».

Зина снова увидела Бугрова, вывернувшегося из-за палаток. Вскочила, кинулась к нему:

— Товарищ Бугров! Вы все-таки на работу меня принимайте! Нельзя мне уезжать.

— Здрасьте! Давно не виделись. Про белого бычка опять захотела послушать. Ты вот посмотри лучше во-он туда. — Бугров показывал на пригорок за овражком, где сидели на рюкзаках три парня — широкоскулые, с необъятными плечами, с бронзовыми, широко открытыми шеями — прямо близнецы, застава богатырская.— Видишь, какие мужики! Лесорубы — первый класс. Пла̀чу, а не беру. Нельзя мне брать. Как ты этого не поймешь?! По штату больше не положено. Своим-то пока делать нечего.

— Между прочим, уезжать мне не на что. На еду немного есть, а уехать не хватит. На последние собралась, думать не думала, что вы меня погоните.

— Милая моя! И это знакомо. Я готов всю зарплату отдать, только бы душу вы мне не тянули. И так уж двоих за свой счет отправил — проходу не давали.

— Что же мне, топиться теперь, что ли?

— Разговор окончен, все сказано, и бесповоротно. Будь здорова, кланяйся маме.

Зина оставила рюкзак и чемодан в девчоночьей палатке под присмотром дежурной и вслед за машинами отправилась по дороге в постоянный поселок, строящийся в двух километрах от палаточного. Срезала угол по полю, где разгружались вертолеты, большой и маленький. Из большого вытаскивали ящики со стеклом, шифер, древесностружечные плиты, тюки с паклей. Из маленького — консервы, апельсины, яблоки, коробки с шоколадом и печеньем. Зина немного поротозейничала, потому что не видела раньше вертолетов так близко. Грузчики торопи-

ли друг друга, покрикивали: «Давай, давай», сияя пыльными, потными лицами, ни на минуту не замедлились до шагу, все бегом, бегом. «Это чтобы вертолет долго не стоял, — догадалась Зина. — За простой грузовика и то платят, а тут, наверно, каждая минута ой-ей сколько стоит». Почему-то ее так утешила собственная догадливость, что в постоянный поселок Зина входила с ожившей надеждой: «Еще все наладится».

Стояло несколько домов из бруса, в сторонке грудились несобранные передвижные домики, на бугре, ближе к сосняку, вытянулось почти готовое строение, по размерам подходившее и для клуба, и для школы, и для столовой. И везде торчали из красновато-серой земли лиственные сваи в дегтяных подтеках.

В прохладном, влажно-хвойном воздухе Зина сразу учуяла запах масляной краски и обрадовалась ему, устремилась навстречу, как к близкому и давнему знакомому, найденному в чужом краю. Три девчонки, при раскрытых окнах, красили панели в кухне, стесненной громадной, неуклюже сложенной печью. Красить девчонки не умели: слишком густо развели краску, и кисти шли туго, коротким мазком. Черенки кистей девчонки обернули носовыми платками, чего настоящий маляр никогда не сделает — неловко и все равно не защищает руку от масляных веснушек. В углу стоял накатный валик — видимо, не пошел по густой краске. Зина с напористым нетерпением сказала:

— Девочки, здравствуйте. Можно, я вам помогу? Прямо руки чешутся.

— Новенькая? Нет? Откуда перевели?

— Да ниоткуда. С самолета — и к вам. Ну, можно покрашу?

— Ну, так и быть.— Высокая, смуглая, с матово-синими глазами девчонка протянула ей кисть. — Побуду малость Том Сойером.

— Сейчас, сейчас. Я без кисти. — Зина нагнулась, подлила в краску олифы из узкогорлого бидона, сноровисто, без всплесков, размешала, взяла валик, чуть тряхнула его, крутнула, одновременно окунув в краску; не уронив ни капли, развернула на стене ровную голубую ленту, плотно сошедшуюся с филенкой. Девчонки опустили кисти, отошли. Зина, прикусив губу, быстро откатала одну стену, другую, третью — высокая, смуглая весело сказала за спиной:

— Вот разлетелась. Правда что с самолета. Передохни, остынь, дымишься уж. Ты случайно не инструктор по малярному делу?

Присели на корточки у печки, передохнуть. В самом деле, никто из девчонок до нынешней осени не держал в руках малярной кисти. Одна работала бухгалтером в тресте столовых, другая — воспитательницей детского сада. Высокая и смуглая, ее звали Асей, — крановщицей на стройке. «Недаром она больше всех мне понравилась, считай, подруга, раз со стройки». Зина вздохнула.

— А я, девочки, маляр пятого разряда. Вы по нужде, временно за кисть взялись, а я бы со всей душой! — Зина опять вздохнула, пожаловалась на Бугрова, на невезучесть свою, удивилась в который раз, что на такой-то стройке ей не нашлось места. Девчонки сочувственно поддакивали и говорили: «Начало же. При начале всегда так».

— Прямо не знаю, что делать. И от ворот — поворот, и даже ночевать негде. Хоть под кустом.

Ася спросила:

— Упрямиться будешь или сразу уедешь?

— Еще чего! Конечно, добиваться буду.

— Тогда так. С парома в Ключах сойдешь и прямо поднимайся на пригорок. Увидишь дом с зеленым палисадником — один там такой. Тете Фене, хозяйке, скажешь, что Ася прислала. Я у нее два месяца жила — не было места в палатках. Тетка хорошая, пустит.

— Асенька! Золотая моя!

— Вообще не унывай. Чуть чего — ты маляр. А маляры и в Казачинске, и в Ключах нарасхват. В любом случае переждать сможешь.

— Да нет уж. Я на БАМ ехала. Маляры, Асенька, везде нарасхват.

— Тоже верно.

Тетя Феня оказалась молодой, румяной, крепкой женщиной. Выслушав Зину, рассмеялась:

— Нашла тетю. Это Аська — чудила, тетя да тетя — не могла ее отучить. Сколько тебе? Ну вот, а «тете» — двадцать пять. Смотри не вздумай тетей звать. А то мужик мой и тот смеется. Из лесу приедет, с улицы кричит: «Тетя Феня, баню топила?» Вон в боковушке жить бу-

дешь. Я и кровать не убирала. Ладно, ладно. Сколько сможешь, столько дашь. Я квартирантов не для денег пускаю, а из интересу. Кадры для БАМа берегу.

6

Теперь Зина отплывала первым паромом в Магистральный, а вечером причаливала к Ключам, к материку, который был, в сущности, продолжением Свийска, местом, где догоняли Зину прежние, бесшумные дни. Переплыть бы Киренгу раз и навсегда, а оставленный берег лишь вспоминать, как вспоминают люди малую, скрывшуюся за речным поворотом родную пристань.

Заходила в контору к Бугрову, если заставала, спрашивала:

— Перемены будут, товарищ Бугров? Устала ждать. Да и не на что.

— Ты кого переупрямить хочешь? — Бугров сдвигал маленькую, пирожком, шляпу на затылок (пожалуй, он не снимал ее и ложась спать), стучал пальцем по крутому бугристому лбу. — Меня? Так я бы давно сдался. Ты хочешь переупрямить штатное расписание. Сомневаюсь, чтоб у тебя это вышло. Легче БАМ построить.

— Сколько народу у вас, шум вон какой, рук не хватает — неужели одного человека приткнуть некуда? Что же вы за начальник?

— Какой есть. Ты еще никуда на меня не жаловалась?

— С какой стати?

— Ну, стать всегда найдется. А то напиши куда-нибудь, расчихвость.

— Все равно ведь не примете.

— Не приму.

— Тогда пока. Может, мне утром и вечером наведываться? Утром не было места — вечером появилось.

— Хоть целый день сиди. Могу персональную табуретку выделить.

Прежде чем наведаться к девчонкам в Постоянный, Зина час-другой простаивала на расхлестанной колесами черной поляне перед магазинами-времянками. Отсюда уезжали на работу: рубить просеку под будущую магистраль, отсыпать дорогу к причалу, строить общежития, столовую, клуб. Проворно и шумно набивались в кузова парни — только мелькали на широких спинах названия

городов: Братск, Ангарск, Шелехов, — покачивались, подрагивали надписи эти при зыбистой, валкой езде, постепенно удаляясь, сливались в одну. Машины набирали скорость, и тогда на ветру, над кабинами, взвивались крыльями девчоночьи косынки, красные, желтые, розовые, трепетали над будущими городами, согревали здешнее неуютное пространство. Зина забывалась, счастливо щурилась, будто ей в лицо бил этот трепещущий ветер, за ее плечами звонко щелкала и улетала косынка, за ее спиной надежно и бережно стояли многие города и жители этих городов.

Спохватившись, снова запечалившись, Зина шла через поле к Постоянному, помахивала узелком со спецовкой. Но все равно оставался, жил на щеках нежный холодок рабочей дороги.

Девчонки-маляры встречали ее уже как сестру родную, но к этой почти родственной радости примешивалась доля сочувственной почтительности: руки у девки золотые, а вот бьется, как рыба об лед. Третью неделю бьется.

— Зиночка, бригадир ты наш нештатный!

— У Бугрова была? Опять «нет»?

— Здравствуй, здравствуй, радость моя, дай поцелую, — это налетала на нее Ася, смуглая, порывисто-гибкая девчонка, с которой Зина особенно сошлась.

Зина переодевалась, учила девочек ремеслу: показывала, как обминать, причесывать кисть, чтоб не «полосила», как «оттягивать» филенки, чтоб не «плакали», не проваливались за линейку сосулистыми подтеками, как подбирать колер панелей к колеру беленой стены.

В «перекуры» сидели с Асей на теплом стволе лиственницы под кустом боярышника с рясными, пламенно-румяными ягодами.

— Ох, Асенька, надоело болтаться! Если бы хоть надежда была — молчала. А так на паром вечером сяду, ну, не знаю, куда деться. Холодно с реки, пусто.

— Ну, как же ты без путевки поехала?

— Да кто его знает. Не подумала. Наверное бы, дали. Я ведь на хорошем счету была.

— Зинка, есть предчувствие! — Ася обнимала ее. — Наладится, утрясется, вот так заживем!

— Хоть бы. И по Верке соскучилась — уж. Ночью снятся. И днем мерещится. Как у них там?

— Какая Верка?

— Дочка. Я не говорила, у меня же дочура-печура есть.

У Аси округлились матово-синие глаза, невозможным любопытством засияли, поярчели на смуглом лице:

— Так ты замужем была?!

— Нет. Что ты! Просто Верку родила.

— Бросил, да, Зиночка? Обманул?

— Нет, Асенька. Никто меня не обманывал. Приехал парень в командировку, холодильники монтировал в магазинах. А я плитку там выкладывала. Познакомились, стали встречаться... Он уезжал, я уже знала. У него семья — что я ему скажу? Да и не хотела говорить. Тошно мне было, места не находила. Мать уговаривала не рожать, но я решилась. А теперь Верка — золотко мое, ласточка.

Ася обняла Зину.

— Миленькая Зиночка! Как я тебя люблю!

7

К Асе приходил почти каждый день ее земляк Митя, рыжий, стеснительный, голубоглазый парень, недавно демобилизованный. Он плотничал на Постоянном же, стеснительность, видимо, мешала ему сблизиться с кем-то из бригады, и вот тянуло к Асе, соседке по улице, свидетельнице его детства в глухом и далеком Тулуне. Митя приходил, подсаживался к ним на лиственничное бревно, молчал, курил, краснел, со старательной серьезностью морщил розовый, в крупных веснушках лоб. Ася вышучивала его, высмеивала, зло, без устали, точно не земляк приходил, а враг лютый.

— А-а, Афоня-тихоня явился! — безжалостно-певучим голосом встречала его Ася. — Воду мутить, девок любить! Вот отгадайте, девочки, загадку: не пьян, а лыка не вяжет, не ел, не пил — язык проглотил. Что это такое? Не знаете? Бурундук тулунский. Митяй-лентяй.

Он вымученно усмехался. Над склоненной шеей, над ушами парок вился — так они накалялись. Говорил, крутя головой:

— И чего только выдумывает. И чего неймется?

Зина жалела Митю и спрашивала его:

— Ты где это руку-то расцарапал? Давай перевяжу.

— Ничо, затянет.— Митя благодарно улыбался, неловко раздвигал тяжелые, ошметистые губы — вспыхива-

ли литые, белые, как кедровые ядрышки, зубы.— С собакой баловался. Ну, шутя хватанула.

— Во-во! — Ася пренебрежительно всхохатывала. — Армию отслужил, а все с собаками балуется.

Когда он уходил, Зина накидывалась на нее:

— Зачем ты так! Хороший, тихий парень. По дому, видно, скучает, по родным местам! Ты для него самый близкий человек тут! А ты — как с цепи. А он терпит и терпит. Как пес на тебя смотрит.

— Да ну его! Губошлеп какой-то. Не люблю таких. И дома так же. Придет в гости, я думаю, пригласит куда — в кино или на танцы,— а он на кухне с бабкой бубнит и бубнит. И вот тоже — все про собак, все про птичек ей байки разные чумит. Я разозлюсь и — выгоню. Всех женихов от дому отбил, а сам — в армию. Да ну, терпеть не могу!

— Может, любит, да сказать не смеет?

— Ага! Нужна мне его любовь. Молчит, молчит, а у самого в глазах что-то прыгает. Чертики-таинки какие-то. Себе на уме. Знаю я этих бурундуков. Сами себя перехитрят.

Митя, угнетенный Асиным упорным злословием, ее сердечной черствостью, все чаще поворачивал свое простодушно-корявое, конопатое лицо к Зине, все реже опускал перед ней дымчато-тоскующие, голубые глаза, должно быть, вглядывался в ее жалостливую, отзывчивую душу и, должно быть, находил в ней схожую угнетенность и одинокость. Улыбался неловкими губами и рассказывал, к примеру, как ловил он волосяной петлей жирующих тетеревов, или вдруг, без всякого перехода, начинал пощелкивать языком — изображал играющего глухаря.

Ася хохотала:

— Ну, все. Нашел бабушку. Ты сейчас, как моя бабушка. А если еще начнешь поддакивать ему, удивляться, тогда — чистая бабушка.

8

Он провожал теперь ее до белого камня на песчаной косе. Иногда вместе с Асей, чаще — один. При Асе молчал или слабо отбивался от насмешек, крутил головой: «И чего ей неймется?» Без нее с неожиданным, как-то неидущим к его неказистому лицу оживлением показывал Зине на кусты боярышника, таволожника, обрывал ягоды, листья.

— Ведь что творится на белом свете! Устал человек, нанервничался, заварит ягоду, попьет — и опять как умытый. А у таволги весной листья сочные, вкусные — получше салата будут. Вот даже сейчас, попробуй пожуй — во рту сразу посвежеет.

— Митя, откуда ты все это знаешь?

— Да помаленьку набиралось. С детства же по тайге хожу. Я уж рябиной запасся, навялил. Хочешь, завтра угощу?

— Хочу, — Зина, признаться, не испытывала бурного интереса к птицам, собакам, травам, но в отличие от Аси видела в этой Митиной страсти душевную его основательность и доброту.

У белого камня прощался с ней за руку, неизменно говорил:

— Всего, Зина. Не расстраивайся. Что-нибудь придумаем.

В такие вечера она вступала на паром с легким сердцем, оборачивалась, долго махала Мите, присевшему на белый камень. Мглисто-сизыми заберегами ложилась на воду дымка, ясно и холодно сгущался, проступал из бледных звезд месяц и тотчас же падал в быстрые струи Киренги, сморщив, съежив серебряную рожицу, застревал возле тальниковых, сумеречно-тихих островов, — переливчатым, дальним звоном входил в Зину вечер.

Перебивал его простуженно-зычный голос паромщика:

— Зинаида, там поезда еще не пошли?

— Гудят, Вася, разве не слышишь?

— А у тебя как, порядок?

— Никак, Вася. Не берут, — весело отвечала Зина.

— А чему радуешься?

— Реветь надоело, вот и радуюсь.

— Давай матросом ко мне. Любо-дорого. Тельняшку дам, человеком сделаю.

— Боюсь, Вася. Плавать не умею.

Часто, весело постукивали хвостами лайки, рыжая и белая, давние Зинины знакомые, тянулись умными, милыми мордами к рукам: погладь, приласкай.

...Феня, квартирная хозяйка, поставила перед ней кружку молока, блюдо с жареными ельцами, картошку:

— Поди, живот к спине приклеился. Опять без толку ездила?

— Спасибо, Феня, не хочу. Без толку — не без толку, а ездить надо.

— Давай, давай, не выкамаривай. Не хочет она. Где это тебя угощали-потчевали?

— С девчонками в столовой была. Вот недавно.

— На какие шиши там кормилась?

— Говорю же, с девчонками. Вот они и угощали.

— Смотри. Думала, еле ноги тащишь. Знала бы, так плясать заставила. Держи.— Феня протянула конверт.

Зина выхватила его и, вскинув на манер платочка, пошла-поплыла вокруг Фени барыней, чмокнула в щеку и убежала в свою боковушку.

Марья Еремеевна писала: «Дочка, вот што. Ты сообщаешь, што живешь нормально. Не ври, Зинка. Ни один человек нормально не живет: то одно не клеится, то другое, по себе знаю. Толком напиши, что у тебя за работа, какую зарплату тебе положили, што за девчонки в бригаде. Не особенно вожжайся с девчонками-то. Их дело девчоночье, а твое материнское. Самостоятельной будь: на танцульки иди, когда пригласят, а не сама туда лети. Не хихикай, не визжи — мужикам солидность нравится, а не хаханьки. Не злись, што напоминаю, но одной тяжело жить. Што, не видела, как я с вами билась? Верка здоровенька, вот счас топочет вокруг. Сначала часто спрашивала, где мама? Счас пореже, хоть я о тебе каждый день заговариваю: то с ней, то сама с собой. И радио, конешно, сообщает, какая погода на БАМе. Хорошо, што живешь на квартире у семейных, не избалуешься. Хозяйке, смотри, помогай. Полы когда помой, в стирке помоги. Говоришь, мало с тебя берет, вот и благодари. Хороший, стало быть, человек. Пока нечего больше писать. Крепко целуем тебя. Главное, не болей и нараспашку-то не бегай».

Засыпая, в дремной, сладкой полумгле Зина увидела себя солидной женщиной: ровной, неторопливой, семейной — идет она по какой-то улице, по дощатым тротуарам с Веркой, и встречные, как один, уважительно раскланиваются с ней.

Подумала уж совсем напоследок: «Мите пока про Верку не скажу. Он — добрый, и все равно ребятишек любить должен».

9

Через неделю, утром, девчонки в Постоянном встретили ее непривычным молчанием. Вскидывали на нее встревоженно-виноватые глаза и тут же отводили, прятали. Ася спросила:

— Бугрова видела?

— Нет.

— Только что был. — На Асиных смуглых щеках пробился темно-вишневый, какой-то пушистый румянец. — Знаешь, что сказал? Чтоб больше не давали тебе красить. Говорит, не надо поселять иллюзий.

— Как? — Зина села на бугристую, заляпанную краской скамеечку. — А вы что? — И заплакала.

Ася присела перед ней, горячими, мягкими ладонями убрала слезы. Румянец на ее щеках стал еще гуще, еще пушистее.

— А мы дуры, Зинка! Дуры беспросветные. Растерялись, промолчали. Извини, Зина. — Ася вскочила, сдернула косынку, сжала в кулаке. — Он где-то здесь ходит. Сейчас, Зиночка, сейчас. Мы ему все скажем! Совсем сдурел. Начальничек.— Ася умчалась, девчонки за ней.

Зина так и не встала со скамеечки, сидела, навалившись грудью на колени, тупо уставившись в грязный, некрашеный пол. Девчонки вернулись обескураженно-притихшие.

— Мы уж и ревели, и кричали, и просили. Сказал: отправляйтесь по своим местам. Не устраивайте базар в рабочее время. Сам все знаю.

Ася снова присела перед ней:

— Зиночка, я ему сказала, что тоже уйду. Что не хочу с таким начальником работать. Что противно так и нехорошо. Он как гаркнул: «А ну, марш отсюда! Не уйдешь — выгоню! Распустились!» Зиночка, ну, что теперь делать, а?

Зина встала:

— Давайте уж напоследок помашу еще с вами. Накат научу делать. Можно?

— Ну что ты, Зинка, в самом деле!

Девчонки белили квартиру молча, споро, подладившись под Зинино настроение, когда ее окликнули:

— Чепрасова! —в дверях, привалившись к косяку, курил Бугров. Сколько он простоял — неизвестно. — Пошли, проводи меня, потолкуем.

Пошли к палаточному городку, но толковать не толковали, Бугров молчал, Зине тоже не говорилось: «Может, он меня с милицией решил выставить. Приведет и сдаст».

Бугров остановился у орсовских складов:

— Видишь будку? — На поляне, между палатками, радужно сиял новыми стеклами киоск. — Папиросы, консервы, конфеты и прочая мелочь будет в этой будке. Вот — предлагаю тебе поторговать.

— Но... Какая я торговка? В жизни не приходилось.

— До ста считать умеешь? Прекрасно. Больше ничего не требуется. Подойдет человек, спросит папиросы и так далее. Авось не проторгуешься. С начальником орса я договорился. Ну что, поторгуем?

— Поторгуем... А как ваше имя-отчество?

— Вот те раз. Да кто ж это у начальников спрашивает? Спрашивают у секретарш, у знающих людей. Иван Петрович я.

— Спасибо вам, Иван Петрович.

— Видишь, маляром никак не могу, хоть ты и мастер. Девчонкам тоже зарабатывать надо. А тут, на папиросах, конечно, поменьше будет. Но ведь ты закрепиться хотела? Ну вот, закрепляйся. И тебе, Чепрасова, спасибо. За настойчивость. Все. Повтори таблицу умножения. Пригодится.

Зина побежала в Постоянный. На бревне у дома сидели Ася и Митя, серьезные, склонившиеся друг к другу.

— Остаюсь! Остаюсь! Асенька! —издалека закричала Зина. Ася бросилась навстречу, обнялись, расплакались, рассмеялись.

Митя протянул руку:

— Поздравляю! — Зина и его расцеловала в румяные щеки, в неповоротливые, теплые губы. Митя заполыхал, заморгал рыжими ресницами, головой закрутил.

— Зинка, что ты с ним сделала! Его, кроме собак, никто и не целовал. — Ася рассмеялась, заговорила звонко, весело. — Нет уж, правду сказано: только нецелованных не трогай.— Что-то дрогнуло в Асином голосе, мелькнула суховатая, дребезжащая нота, но Зина ее не заметила.

Митя опять провожал Зину. На нее напала смешливость, и «говорун» замучил: болтала, болтала и даже не слышала собственных слов. А Митя молчал, старательно хмурил розовый лоб, но где же Зине было это заметить.

У белого камня Митя, как-то жадно, порывисто похватывая воздух, спросил:

— Зина. У тебя будто дочка растет? Ася говорила...

— Растет, — Зина еще улыбалась, не отошла от нервно-веселого возбуждения.

— Я верь, Зина, не знал. — Митя мялся, головой крутил. — Провожал вот, по-доброму хотел... Зина, не обижайся. Я ведь как о жизни думаю: на чистом месте семью завести, детей растить, работать. Тайга чтоб под боком была. Но своих детей, собственных. По-другому я не смогу. Выходит так, Зина. Извини. Ничего не получится.

Зина стояла выпрямившись, побледнев, а все ей казалось, что вязнет все глубже и глубже, проваливается в сырой песок. Дернула головой, резко отклонилась, точно уворачивалась от летящего камня или неожиданно взбрызнувшей перед глазами ветки.

— Нужен ты мне! Иди отсюда. «Своих детей», «ничего не получится!..» С чего ты взял! Валенок тулунский! — Зина побежала по воде, не дождавшись, пока паром приткнется к берегу.

Дома, в своей боковушке, она досыта наревелась, спрятав голову под подушку, чтобы не услышала Феня. «Стыд-то какой! Про Верку смолчать хотела. Солнышко мое, золотко. Никого мне не надо! Ласточку мою прятала — ой-ой! За ее счет счастье купить хотела. Дура беспросветная! Не буду, никакой солидной жизни не надо. Какая есть, и ладно. И Аська — змея. Тянули ее за язык. Так мне и надо! Не ловчи, не твое это дело! А он подумал — заманиваю. Испугался. Да нужен он! Все равно бы сказала. Стыд, стыд! Конечно, заманивала. И Аська, может, просто так сказала, без умысла. Да и с умыслом — так правильно сделала. На всю жизнь научила. Верка, миленькая, ей-богу, никогда больше обманывать не буду!»

10

Она торговала медленно, неумело, часто просыпала мелочь, нерешительно отдавала сдачу, все проверяя в уме, правильно ли сдает, не обманывает ли. Подбадривала себя, когда оставалась одна: «Ну что, несчастная, торговка частная? Тебя-то кто пожалеет?» Но что стоять ей здесь не век, Зина знала точно. Добилась этого места — добьется другого. А теперешнее место было

бойкое, на возвышении, и даже Бугров, подходивший за сигаретами, позавидовал:

— Ну и обзор у тебя!

Быстро поняла: коли уж в главных ее покупателях ходят парни, то шуток, подначек, мимолетных ухаживаний не оберешься, и, какие бы кошки на сердце не скребли, — улыбайся, отшучивайся — деваться некуда.

— Девушка, а девушка? Ты зачем приехала: фамилию сменить или биографию переделывать?

— Фамилию. Но не на твою.

— Зиночка, почему корова ест зеленую траву, а молоко у нее белое?

— Потому что ты не стал бы пить зеленое молоко.

— Можно, я буду звать вас милочкой? Милочка ты моя?

— Можно, милок.

Почему-то не показывалась Ася — ни на второй день, ни на третий на обед не приходила, в палатке нельзя было ее застать. «Неужели прячется, видеть меня не хочет? — расстраивалась Зина. — Или совестно, что Мите сказала? Или приревновала? Смеялась, смеялась над ним, а увидела, что уходит, — вскинулась. И на меня разозлилась. А злиться-то, может, больше всех мне надо».

Хотела выбрать время, повидать Асю в субботу, но тут отправили на два дня в Казачинск. Два дня все машины Магистрального, все бульдозеры, грейдеры, тракторы отсыпали, ровняли, укатывали дорогу от Казачинского аэропорта к Киренге — был объявлен субботник. Районные власти распорядились кормить шоферов и трактористов бесплатно, Зина помогала чалдонистым, скуластым девчонкам из казачинской столовой варить, жарить, парить с утра до вечера, изредка выставляя в окошко мокрое, сомлевше-красное лицо, — поесть механизаторы были горазды.

Вечером в субботу, перед разъездом, главный механик снял тяжелый черный замок с пузатого столовского буфета:

— Мужики, по сто дорожных. Заработали. Бутылка — на пятерых. И девчат приглашайте. Кормили — дай бог.

Рядом с Зиной сидел черный, лохматый, белозубый парень. Когда запели: «Славное море, священный Байкал», он так дико и оглушительно заревел, что Зина отпрянула в сторону, вышибла у другого соседа стакан, стакан бухнулся в тарелку с борщом — жирные, тяжелые

брызги поднялись фонтаном. Парню запретили петь. Он наклонился к Зине, сиплым, охрипшим басом сказал:

— Петь вовсе не умею, а люблю — спасу нет. Как примкну к песне — обязательно какой-нибудь конфуз. Николай я... Зина... Сразу скажу тебе все свои недостатки: значит, с пением ты сама слыхала. Потом очень люблю хвастать. Учти: не врать, а хвастать. Разреши, я похвастаю?

— Зачем?

— Когда человек скрытничает, скромничает — скучно с таким человеком. Боюсь я его, черта болотного. А когда человек хвастает, он как на ладони. Посмеиваются над ним, подкусывают, но верят, что это — хороший человек. Хочу, чтоб мне верили. Ясно?

— Ясно. Если умеешь, хвастай.

— Смотри, Зина, на эти рычаги. — Николай выложил на стол огромные, черные, медвежьи кулачищи. — Они все могут. Копать канавы, бить шурфы, ставить дома, держать баранку. Я строил все ГЭСы Сибири, поработал на КамАЗе, приехал сюда. Везде одни благодарности и ценные подарки. Что меня носит по свету — не знаю. Может, затем, чтоб вот так, в каком-нибудь Казачинске, взять и похвастаться: Николай Кокулин был там-то и там-то, сделал то-то и то-то? Не знаешь? И я не знаю.

— Дальше куда поедешь?

— Пока побуду. Здесь пока еще не работа, а приработок. Дома, овощехранилище, подсобки. Мелочи. Вот подожду большой трассы, потружусь. А там видно будет.

Он подвозил ее до Ключей. В кабине, прикуривая, с излишней откровенностью покосился на нее:

— А ты доверчивая. Слушаешь, удивляешься, застревают в тебе чужие слова. Это хорошо, по мне.

Торопливо, не к месту, Зина брякнула:

— А у меня дочка есть.

— А муж?

— Мужа нет.

— Тяжело живешь?

— Не знаю. Нет, наверно. Не думала. Иногда разве.

— Ясно. Вали все до кучи. Значит, неважно.

Утром погудел под окнами.

— Поехали. Теперь уже на воскресник. Зина, а ты давно здесь? Вроде раньше не попадалась.

— Месяц.

— А-а. Я как раз на уборочной был. Слушай, я вчера

не успел сказать. У меня ведь тоже двое пацанов, с матерью моей живут. Пока по свету колесил, жена с офицером сбежала. — Николай поддернул кепочку на глаза и чуть набок, вроде отгораживался от Зины.

— Хвастаешься или врешь?

— Вру.

— А зачем врешь?

— Чтоб тебе не обидно было.

— А на кого обижаться?

— Ну, чтоб полегче тебе дышалось.

Зина засмеялась.

— Ты хвастун, ты — болтун.

— Но из таких, что на дороге не валяются.

— Ну конечно!

11

В понедельник у Зининой будки появилась Ася. Подходила медленно, и чем ближе, тем ярче вишневели щеки.

— Асенька! Ты куда пропала?! Я извелась вся, чего только не передумала. Ни Мити, ни тебя не вижу.

Ася недоверчиво и даже испуганно глянула на Зину, поняла, что та искренна, вмиг переменилась, взлетела на порожек будки, заслонила палаточный городок влажно-сияющими, матово-синими глазищами.

— Зинка! Зиночка! Ведь я думала — все! Все кончилось. А так тянуло к тебе. Думаю, пойду взгляну.

— Дурочка. Из-за Мити, да?

Ася кивнула.

— Наревелась, конечно. Поболело, поболело, да что сделаешь. Все правильно, Асенька.

— Мы ведь поженимся, Зин. В эту субботу.

— Ну-у! Поздравляю. — Кольнуло сердце, прихватило холодком и отпустило. — От самой, самой души!

— Ты переходи в палатку, на мое место. Мы квартиру тут у одного деда сняли. На выселках. Здесь пока бесполезно просить — молодоженов, как маслят после дождя. Россыпи.

— Когда?! — Зина даже придержала дыхание.

— Да хоть сегодня.

— Вечером, сразу же. Ты только подожди. Я зайду, ты — выйдешь. Оно вернее.

— Слушаюсь, Зинка! И на свадьбу ведь придешь? И вообще, все как было?

— Да ну тебя! Само собой!.. Ася, а как же? Ругала его, смеялась, и — на тебе — свадьба!

— Может, до сих пор бы смеялась... А ты как-то повернула его другой стороной, понять помогла... что ли. В общем... Ой, глупости какие ты спрашиваешь!

12

Зина сошла на берег, на песчаную косу возле камня. Привалила к нему чемодан, рюкзак. Обернулась: паром отчалил, Киренга отдаляла и отдаляла его. Зина вздохнула: «Ну, слава богу. Переплыла». Подняла руку, слабо и грустно помахала. Паромщик Вася откликнулся тонким прощальным гудком. Две лайки, рыжая и белая, стояли над срезом борта и легонько помахивали хвостами — тоже прощались с Зиной.

13

Кто знает, кто скажет, что было дальше? Кто-то другой, не я.

Содержание

Повести

Рассказы

Вячеслав Максимович Шугаев

ЛЮБОВЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Повести, рассказы

Редактор **Ю. Бондарев**
Художник **Г. Саленков**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **В. Юрченко**
Корректор **Т. Люборец**

ИБ № 2055
Сдано в набор 25.11.80. Подписано к печати 2.04.81. А10006. Формат 84×108/32. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 21,84. Уч.-изд. л. 23,17. Тираж 100 000 экз. Заказ № 69. Цена 1р. 70 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

5
92
63

19
33
49
62
71
81
24
57
88

ат
ч.
з.

ам
СР

та
к-

1 р. 70 коп.

СОВРЕМЕННИК


ВЯЧЕСЛАВ ШУГАЕВ Любовь в середине лета